3.1972

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

3 МАРТ 1972

СОДЕРЖАНИЕ

ЯНОШ САС — Ответ *(Повесть. Перевод И. Салимона)* 3

ФАЗЫЛ ХЮСНЮ ДАГЛАРДЖА — Стихи *(Перевод и вступление Фазиля Искандера)* 45

ЖОРЖИ АМАДУ — Лавка Чудес *(Роман. Продолжение. Перевод Юрия Калугина)* 51

ФРАНСУАЗА САГАН — Немного солнца в холодной воде *(Роман. Перевод Н. Немчиновой)* 128

Критика

СТОЯН КАРОЛЕВ — Просторы реализма. Изображение человека у Иво Андрича и Эмилияна Станева. *(Перевод А. Опульского)* 210

М. ХАРИТОНОВ — Вольфганг Борхерт, прочитанный сегодня 220

Публицистика

ОЛВИН ТОФФЛЕР — Столкновение с будущим *(Отрывки из книги. Перевод В. Воронина. Послесловие Э. Араб-Оглы)* 228

Культура и современность

Заметки на полях

Ц. Кин — Самокритика интеллектуала 257

Наши гости

Писатели из Дортмунда 263

Среди книг

Издано в СССР

Георгий Пенчев — Эпопея мужества и героизма. Л. Лазарев — Из прошлого в будущее 267

Издано за рубежом

Т. Мотылева — Жизнь французского коммуниста. Татьяна Николеску — Смерть Орфея. Т. Балашова — Порядок против мятежа, или Новые сказки про Людоеда 271

Из месяца в месяц

276

Авторы этого номера

287

На цветной вклейке — из работ болгарского художника ЗЛАТО БОЯДЖИЕВА.

На обложке — картина ЗЛАТО БОЯДЖИЕВА «Ряженые».

ЯНОШ САС

Ответ

ПОВЕСТЬ

Перевод с венгерского И. САЛИМОНА

Дорогая!

Я только что вернулся домой со станции и все еще ощущаю специфический запах поезда. Вспоминаю твое лицо и глаза — те, прежние,— и сразу успокаиваюсь, иначе события двух минувших дней свели бы меня с ума. Особенно отчетливо память воспроизводит тот момент, когда ты мыла руки в ванной и мне захотелось поцеловать тебя в плечо, я коснулся твоей руки... Впрочем, ты и сама прекрасно все помнишь. А может, и не помнишь, может, отстранилась от меня бессознательно, поддавшись инстинктивному чувству неприятия? Пустяк? Но он ошеломил меня, лишил дара речи, а это случается со мной очень редко. Не помню, как я выбежал в прихожую, как очутился на улице. Опомнился я только тогда, когда на углу услышал стук хлопнувшей двери. Этот звук испугал меня, и я вернулся. Дверь открыла твоя мать, я солгал ей, что бегал за сигаретами.

В пути от Брашова домой мне тысячи раз вспоминалась эта сцена. Струится вода, вижу в зеркале твое лицо, свою руку на твоей руке и то движение: оно было не резким, но подчеркнутым и мгновенным. Отчего это? Я без конца спрашивал себя, да и тебя тоже: «Отчего?» Ты всякий раз отвечала (если не прямо, то во всяком случае клонила к этому): «Лишняя я тебе». Но почему? В чем ты можешь упрекнуть меня? Как мог я сделать тебя лишней? Ты еще дома то и дело повторяла, будто не занимаешь в моей жизни сколько-нибудь заметного места. Но чем ты ущемлена? Тем, что я много работал? Разве это можно ставить в вину? Я знаю, ты не любишь громких слов, но все-таки, положа руку на сердце, скажи, разве я не прав? Разве я обижал тебя или обманывал? Ты в последнее время устала, пожалуй, немного хандрила, видимо, довела тебя школа, и, конечно, тебе нужно отдохнуть... А оказывается, я всему виной, из-за меня ты стала такой замкнутой и усталой. Ты начала скучать и впадать в дурное настроение, а в такие минуты даже безобидное слово может вывести человека из равновесия. Может быть, поэтому мы и ссорились так часто все эти месяцы?

Но ведь все это несерьезно. Мы схватывались по пустякам — из-за какой-нибудь пропавшей вещи, из-за того, что забыли купить гор-

чицу, из-за пропущенного кино... Дома ты сказала, что тебе невмоготу, что я обедняю нашу жизнь, а в Брашове ты уже говорила о том, что эти мелкие перебранки носят признаки более глубокого кризиса, того, что я не оставляю тебе места в своей жизни. Но я и теперь повторю то же, что говорил раньше: я много работал. Ты прекрасно знаешь, что я жил одной работой, но я всегда любил тебя, люблю и сейчас. Да, мы ругались, ссорились, это бывает у всех, оба очень уставали. У меня теперь все трудное позади, ты в отпуске, отдохнешь у стариков, а то, что было,— быльем поросло, оно лишь временное, преходящее, и не нужно ему придавать значения. Почему ты не хочешь согласиться с этим? Ведь я люблю тебя — всего какой-нибудь час дома, а мне уже тебя не хватает, я бросаю писать, выбегаю на балкон в надежде увидеть тебя на дороге, словно ты вышла погулять на набережной или забежала к Пири, и вот сейчас щелкнет ключ в замке...

Даже после тяжких обид, обмана и роковых ошибок люди налаживают совместную жизнь. А мы? Стоит только захотеть. А почему бы тебе не захотеть? Неужто совсем разочаровалась во мне? Я уже говорил и сейчас повторю: я никогда не думал и не думаю о другой женщине, все думы — о тебе одной, во сне и наяву. Все это, пожалуй, банально, но зато правда. Еще когда ты уезжала и я в последнюю минуту решил проводить тебя, у меня мелькнула мысль уехать с тобой и написать из Брашова директору, попросить отпуск на две недели. В конце концов он мне полагается еще за прошлый год. Но потом раздумал, понял, что тебе необходимо побыть одной. Вот увидишь, как благотворно подействует на тебя этот месяц, у тебя появится хороший аппетит, сон, вернешься домой совсем другим человеком.

За меня не беспокойся, дорогая, я все такой же, каким был. Если ты пришлешь телеграмму, с первым же поездом примчусь к тебе, как в свое время примчался в Клуж, ибо ты была и осталась самым близким мне человеком, и поверь — лишь твоя обида внушает тебе мысль, будто ты ничего не значишь для меня. Когда я с раннего утра до поздней ночи пропадал на работе, все равно я неизменно думал о тебе, и в минуты, когда готов был трахнуть о землю мензурку, ты удерживала мою руку... и напрасно ты думаешь сейчас, что это пустые слова, и насмешливо улыбаешься, впрочем, я и в самом деле восторженный, расчувствовавшийся жираф, но что бы там ни было, я жду, жду тебя... Пишу тебе всякую чепуху. Лучше спи. И знай: я люблю тебя.

■

Герцогиня! Надеюсь, как и приличествует Вашей гордой голубой крови и фамильному гербу, Вы, поразмыслив о нашем житье-бытье, теперь с должным достоинством оцените все перипетии нашей жизни и поймете, что Вам просто не к лицу — простите за вульгаризм — с бухты-барахты взять и драпануть. Между прочим, Ваш супруг просит извинить за вчерашнее слишком сумбурное письмо, но надеется, Вы согласитесь, что именно Ваше, а не чье-либо еще, поведение вывело его из себя, что, впрочем, вряд ли совместимо как с бесстрастием, приличествующим нашему рангу и обязательным для него, так и со здравым рассудком, сопутствующим призванию химика. Но, как выяснилось, химики тоже не бесчувственны, что само по себе удивления достойно.

Сообщаем также, что из пребывающих здесь Ваших придворных дам сегодня утром, во время прогулки верхом (то есть на автобусе по пути в лабораторию по производству алхимических чудо-препаратов) Ваша приближенная, всегда все замечающая Пирошка, обнаружила у

нас под глазами круги и, сокрушенно качая головой и причмокивая языком, довела это до нашего сведения. После чего тут же поинтересовалась, как Вы живете-можете, и, явно не скрывая своих сомнений, слушала нашу версию, согласно которой Вы потому не простились с ней чувствительно, что не имели времени из-за уймы дел, скопившихся перед отъездом.

Наши эксперименты в алхимической лаборатории поначалу продвигались из рук вон плохо, то и дело стенки мензурок и листы бумаги, испещренные таинственными знаками, заслоняло Ваше милое лицо, но потом — чего уж греха таить — удалось с головой окунуться в сатанинскую науку. По пути домой у нас появилось было желание зайти в школу, где Вы, поддавшись своим филантропическим порывам, занимаетесь просвещением оболтусов. Нам страшно захотелось подождать Вас у ворот, как это мы столько раз делали в былые времена. Но потом мы отказались от этой мысли, ибо были убеждены, что на сей раз ждать Вас пришлось бы напрасно.

Глубоко опечаленные этим обстоятельством, хотя внешне ничем не выдавая своих чувств, мы, как тому подобает, побрели домой, где нас встретил строгий порядок, который Вы изволили завещать нам. Известное Вам семейство Кактусов, а также Сплетница (урожденная Традесканция) и Рододендрон изнывали от жажды, и хотя мы щедро напоили их, они тем не менее не перестали тосковать по Вашим заботливым рукам. Мы вполне понимаем и сочувствуем им. Всем нам так не хватает хозяйки замка.

Бесконечно преданный Вам муж ждет Вашего возвращения.

Все-таки ты могла бы черкнуть несколько строк.

■

Сегодня утром я, внезапно проснувшись, посмотрел на часы: стрелки показывали пять. Я очнулся весь в поту, словно после какого-то кошмарного сна, хотя, как тебе известно, никогда не помню своих снов. В детстве я осаждал свою мать просьбами рассказать, что мне снилось, считая, что ей известно и это. Я вскочил с постели, отдернул занавеску (она действительно слишком пестрая — ты была права), и когда яркий свет упал на стол, мне почему-то вдруг вспомнилось, как мы с тобой познакомились. Может быть, потому, что тогда так же сверкал стол, за которым ты сидела. Отчетливо помню: на тебе было голубое летнее платье с вырезом, короткими рукавами и какие-то простенькие сандалии. Мне даже пришла тогда в голову мысль, что другие женщины одеваются как будто моднее. Если не ошибаюсь, Клари Чопоти была в платье из какого-то ворсистого материала, а на сидевшей рядом девушке — по имени, кажется, Буба — шуршало яркое нейлоновое платье (во всяком случае все так считали, хотя оно, конечно, было не из нейлона), с накрахмаленной нижней юбкой. И все равно ты казалась самой элегантной; помню, когда я сказал тебе об этом, ты приняла мои слова за дешевый комплимент, но я в самом деле был в этом уверен, и мне совершенно неважно, объективным было мое суждение или нет,— более того, именно субъективность была для меня важнее всего, я сразу же стал пристрастным, ибо ты нравилась мне.

А как необычно я очутился на том первомайском обеде! Нет, не необычно, скорее банально. Я даже сопротивлялся немного, когда меня решили послать в Брашов для обмена опытом,— не хотелось прерывать работу здесь. Но главный инженер заболел, и директор настоял на моей поездке. Да ты и сама все знаешь, зачем только я надоедаю тебе своей писаниной. Но сегодня утром я снова все перебрал

в памяти, все обдумал и пришел к убеждению, что должен тебе написать.

Помнишь, небольшая комната была битком набита, дым стоял коромыслом, мы едва слышали друг друга. Играла радиола, танцевали. «Un jour, tu verras...» Ты усмехнулась, заметив, что у меня скверное французское произношение. Я отмахнулся, мол, главное, чтоб сбылись слова песни: «В один прекрасный день, увидишь, мы встретимся вновь». Ты бросила на меня холодный взгляд, и я прочел в нем не только недоумение, но и осуждение подобной сентиментальности. И потому поспешил заметить, что я не циник.

Ты опять пристально посмотрела на меня. С той поры я так и не знаю, голубые у тебя глаза или зеленые. Иногда они даже синие-синие, как ультрамарин, порой зеленые, светло-зеленые, как трава ранней весной. Впрочем, я не очень-то силен в сравнениях, они всегда вызывали у тебя усмешку. Словом, ты пристально посмотрела на меня, но промолчала. Мне показалось странным, что несмотря на очень хорошее настроение ты совсем мало говоришь, и я сказал тебе об этом. Ты не ответила. И с подчеркнутым интересом, словно услышала что-то исключительно важное, стала сосредоточенно вслушиваться в чьи-то слова. Потом, когда шум усиливался, ты будто охватывала взглядом всю комнату, и я замечал, что взгляд этот был невидящим. Хотя лицо твое было невозмутимым, я не сомневался, что тебя терзает какая-то мысль, какое-то смутное, неведомое чувство, обострявшее черты твоего лица, отчего оно казалось усталым. «Что гнетет эту девушку? — думал я. Ты мне очень нравилась, помнишь, я сразу же подсел к тебе.— Наверно, у нее есть какая-то тайна, что-то причиняет ей боль. Я должен раскрыть эту тайну». Но это, скорее, был предлог, оправдание в собственных глазах внезапно возникшего интереса и растущего влечения к тебе.

Наконец, мы сели к столу. К тунцу не оказалось лимона. (Тебе, наверно, смешно, что я описываю все так подробно, будто это происходило не с тобой, но, повторяю, я не могу не писать об этом.) Ты вскочила, чтобы сбегать за ним домой. «Проводишь?» — спросила ты таким тоном, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Все засмеялись. Возможно, над чем-то другим, но я помню, что все смеялись...

«Родители уехали за город»,— сообщила ты по дороге. Квартиры я не разглядел. перед глазами была только ты: контуры твоей стройной фигуры в полумраке прихожей, затем при ярком свете на кухне. «Здесь у нас кладовая,— сказала ты, повернувшись ко мне,— без твоей помощи мне не обойтись — лимоны на верхней полке».

Ты принесла из кухни стул. «Я сам»,— предложил я. Встав на стул, я достал лимон и передал тебе. Моя рука невольно коснулась твоей, и мне это было приятно. «Еще один,— попросила ты,— нас ведь много. Не будем скупиться».

Спускаясь на пол, я обнял тебя за талию. Твое лицо было близко, я вдохнул твой аромат, и такое чувство радости овладело мною, будто все это происходило со мной впервые. Я попытался поцеловать тебя. Без гнева и возмущения, а, скорее, с какой-то неизъяснимой грустью ты отстранила лицо. «Зачем так спешить»,— сказала ты, и я понял: ты права, все гораздо серьезнее, чтобы можно было спешить. Ведь еще есть время, очень много времени, вся жизнь! Я и впрямь подумал так, хотя тут же с горечью отбросил эту мысль.

В доме Чопоти над нами, помнишь, стали подтрунивать:

— Уж не на Кипр ли они ездили за лимонами?

— Нет, они бегали на улицу Капу, в магазин самообслуживания.

И как бы ты ни отрицала, я снова повторю: во время обеда ты позволила мне ногой касаться твоей ноги, а во время танца ничуть не противилась, когда я крепко прижимал тебя, хотя и не раз пыталась поддеть меня тем, что я танцую старомодно, что, мол, теперь партнеры держатся только за руки, не смотрят друг другу в глаза и делают мелкие шаги. Тем не менее ты танцевала так, как я тебя вел. Напрасно станешь отрицать, все было именно так. И когда в семь часов вечера я собрался уходить, ты меня не пустила. Не спорь, это говорит во мне не польщенное воображение мужчины. Нет, нет! Было именно так — тебя тоже влекло ко мне. Мы как-то сразу, внезапно ощутили обоюдное влечение,— проще сказать не умею,— ты тоже почувствовала, что мы созданы друг для друга. Неужели это только плод моего воображения, результат внезапного увлечения? Разве в магнитном поле взаимных симпатий люди не теряют чувство уравновешенности, у них не кружится голова и они сохраняют способность здраво мыслить? Разве это не тот случай, когда принято говорить, что любовь слепа? А прожитые вместе четыре года? Неужели ты была несчастлива? Совершила ошибку? И теперь вдруг осознала ее? Ведь ты уехала и этим хочешь дать понять (что же еще может означать твой шаг?), что между нами нет ничего общего.

Как мы сидели с тобой в углу, прижавшись друг к другу! Говорили о литературе, о твоих волнениях перед государственными экзаменами, о предстоящем назначении, о твоем страхе перед учениками, о сомнениях насчет того, сможешь ли ты привить им любовь к литературе, и не лучше ли тебе заняться научно-исследовательской работой в академии, поскольку у тебя, кажется, есть способности к филологии; мы рассуждали о диалекте «чанго», и я, конечно, без умолку рассказывал о своих студенческих похождениях. Признался тебе, что иногда пишу стихи, когда-то даже собирался опубликовать их... Но не прочел ни одного, правда, ты просила об этом с нескрываемой насмешкой. Спорили о моде. Затем о кинокартинах. Тебе особенно полюбился один из главных героев фильма «Летят журавли» (уже не помню его имени), а я поносил современные пьесы и назидательные новеллы, ты же хвалила Брехта, предлагая вырваться из традиционных рамок театрального барокко... Я, невежда, мало что понимал, но меня интересовало все. (Видишь, я всегда стараюсь оправдать себя!)

— Что вы там замышляете, заговорщики? — прервал нас Чопоти. Он, как мяч, скакал вокруг — толстый и добродушный, с лукавой усмешкой на круглом, полном лице. Мы знакомы с ним еще по университету — он неплохой химик, но ему, пожалуй, не хватает упорства. К счастью, он попал в хороший коллектив. Да и с женой ему изрядно повезло. Помнишь, как ухлестывал за Клари Чопоти «чертовски смазливый» Преда? Клари — самая милая гусыня на свете, впрочем, тебе это лучше известно, чем мне. Слышал я, будто она сетует теперь, что не попала в университет. Представь себе бедных школяров — ведь она собиралась стать преподавателем географии «по жребию»: бросила в шляпу десять бумажек и вытащила географию. Но для Чопоти Клари — настоящий клад, поскольку она прощала ему (наверно, прощает и по сей день) все его похождения. Кто-то нам рассказывал, как однажды Клари приняла десять таблеток люминала, и после того, как ей промыли желудок, она, поглаживая лысеющую голову мужа, проговорила: «Я верю, Дюсика, ты любишь только меня...»

Вот как умеют жить люди, видишь? Что же мешает жить нам, даже во сне не допускавшим ничего подобного? Неужели мне надо было быть несправедливым к тебе? Неужели этого тебе не хватало? Знаю, я не ангел, у меня миллион всяких недостатков, но все же...

Вот уже два дня, как ты уехала. С тех пор я не перестаю любить тебя. И если ты полюбишь другого, я выпрошу в музее пистолет и убью его. Ни на что не посмотрю, слышишь? Убью. Потом будешь носить мне передачи в тюрьму.

■

Дорогая! До сих пор я не получил от тебя ни одной строчки.

Сижу в буфете за пустым столом, в самом углу. Двое наших сотрудников — один из них тот самый худощавый Йованович, которого ты прозвала Зубочисткой,— всякий раз, как только я принимаюсь писать, допрашивают, что со мной, и я отвечаю, что директор требует срочно представить отчет. По правде же, мне просто не хочется писать в лаборатории, так как Граф и Хаднадь непременно станут совать нос. А почему бы мне и не писать жене, которая уехала в отпуск? Вчера под вечер директор остановил меня и спросил, не могли бы мы с тобой зайти к ним как-нибудь вечером. Я хотел было тут же придумать какую-нибудь версию о твоем внезапном отъезде, но, по-видимому, до того был смущен, что Делеану, который способен видеть человека насквозь, вероятно, все понял. Он прищурил глаза, как делает всегда, когда замечает что-нибудь такое, что другой хотел бы временно или навсегда сохранить в тайне. «В таком случае приходите один, когда захотите»,— пригласил он, и слова «когда захотите» произнес не то чтобы с издевкой, а, скорее, с мрачной безнадежностью, будто наверняка зная, что в таких ситуациях человеку вряд ли что-либо захочется. Но не исключено, что это лишь плод моего уязвленного воображения.

Мне очень не хватает тебя. Вчера после обеда я заказал телефонный разговор с тобой на сегодняшний вечер. Проснулся в пять утра, снова ровно в пять утра, и первым делом подумал, что ты не отзовешься, но сейчас уверен, что ты обязательно придешь на переговорный пункт. Утром, ощущая горький привкус сигарет во рту,— не так-то легко томиться в одиночестве в квартире, где все напоминает о тебе (не улыбайся!) — становишься невольно таким отъявленным пессимистом, как в пору юности, когда окончательно приходится мириться с тем, что светловолосая дама твоей мечты принадлежит другому. Видишь, я даже шучу — у тебя научился, но ничего не поделаешь, я никогда не был очень способным учеником, хотя и стараюсь, а это уже кое-что.

Но если говорить откровенно, без тебя мне нечем дышать, с утра до вечера я задыхаюсь, хочу сделать глубокий вдох и не могу, везде ищу тебя, наивно верю, что вот сейчас открою дверь в ванную и увижу тебя там, за голубой занавеской душа, или у кухонного стола, где ты намазываешь масло на хлеб... Из автобуса глазею на витрины и ломаю голову, что бы купить тебе (о, какой я внимательный, любящий муж!), и когда... Но стоит ли продолжать — ты все равно поднимешь меня на смех и, как всегда, обвинишь в сентиментальности. Представляю, как я смешон в твоих глазах!

Собственно, все это я хотел сказать тебе по телефону, но когда говоришь, не видя собеседника, легко сбиться. Так что это письмо — послесловие или предисловие к телефонному разговору, все равно, считай как хочешь. И в конце концов ты могла бы написать — даже совсем чужие люди и то переписываются. А теперь мне пора идти. Привет.

■

Кати, моя маленькая Кати, я очень боялся телефонного разговора, страшно боялся, как бы все не запуталось еще больше, а именно так и получилось. Не помню, как добрел домой,— все дорогу мне чудился

твой голос, но ты говорила совсем не то, что по телефону, совсем другое, нечто вроде того, что кричала мне когда-то из Клужа, помнишь, связь тогда все время прерывалась, в трубке что-то хрипело, щелкало... Ведь ты меня любишь, я чувствую и знаю, что это так, об этом я догадывался и по твоему дрожавшему от усталости голосу. Значит, случилось что-то совсем другое, о чем ты не хочешь (пока?) или не решаешься рассказать, а может, и сама не знаешь, как это выразить. Не хочешь больше ссор? А кто их хочет? Неужели мы и впрямь докатились до того, что без ссоры не можем уладить ни одной размолвки?

Как это случилось и что, собственно, случилось — не знаю и не понимаю, но голос у тебя другой, какой-то чужой. Поэтому мне вчера и вспомнилась наша первая встреча, вспомнилось, как внезапно произошло наше сближение, ибо сейчас я испытываю нечто противоположное тому чувству, которое тогда возникло, а теперь исчезло. Поразительно, до чего одинаково могут появиться два совершенно разных чувства, но я утешаю себя мыслью, что это только каприз, усталость, все пройдет и... Может ли эта горечь заглушить сладостные воспоминания о четырех годах? Не останавливай меня: да, сладостные, а не сладкие, не какие-то желейные — ты это презираешь, не подобные малиновому соку, от одного цвета которого тебя мутит (помнишь, както раз на Бульваре я хотел угостить тебя прохладительным напитком?), и не просто приятные, а как бы это сказать — напоминающие вкус яблока. Каждая клеточка моего тела осязает тебя, ведь тело — это тоже я, ведь оно неотделимо от разума. Я чувствую, что теряю тебя, но не хочу сдаваться, и ты тоже не хочешь, не должна сдаваться...

Ладно, я успокоюсь.

Как бы я ни излагал свои мысли, грубо или сентиментально, важно одно: я хочу знать правду, знать, что же произошло, что нас разлучило. Неужто и впрямь чувства могут быть автономны? Неужто они сами собой могут остыть, иссякнуть, исчезнуть? Были чувства и нет их — ибо они стихийно зарождаются и так же стихийно исчезают? Как же тогда могла родиться безумная мысль строить выбор и брак на чувствах? Разумно ли опираться на то, что может улетучиться, как дым?

Для химика любая консистенция вещества означает определенность. Но для того чтобы два человека жили вместе и были счастливы, нужно, ну просто необходимо нечто прочное. Брак по расчету искалечил, убил чувства. А на чем зиждется брак, построенный на чувствах, если эти чувства не способны выдержать нагрузки? Мы привыкли говорить: общие идеалы, общие цели. Верно, в какой-то мере это объединяет, сплачивает воедино двух людей, и все же есть (должна же быть) причина нравственного распада, разложения, которые не происходят сами по себе. Необходимо найти возбудителя, он должен где-то быть, возможно, он таится в самих условиях нашей жизни, в нашем прошлом, не знаю, но его надо найти и обезвредить. Усталость, как говорят химики, вызывается износом, насыщенностью или перенасыщенностью. Что обижало тебя, истощило, что оказалось той каплей, которая переполнила чашу терпения? Ты должна помочь мне, иначе мы ничего не добьемся. Или ты устала от меня и хочешь месяц-другой побродить беспечно? Напиши, и я перестану посылать эти письма, не оставляя, однако, надежды доискаться причины. Ты должна понять, что другого средства у меня нет...

Возможно, ты права: лучше мне сейчас не ездить в Брашов.

Уже далеко за полночь, спокойной тебе ночи.

■

Опять утро, и я продолжаю.

Теперь уже с точностью хронометра просыпаюсь ровно в пять часов. До половины седьмого остается достаточно времени, чтобы написать тебе. Еще ночью, лежа в постели, я вспомнил, как однажды мы спорили о чем-то подобном у директора. Было это больше года тому назад, когда приезжал из Клужа Пети Кирай, чтобы написать очерк о нашем заводе. Тебя дома не было, ты вместе с классом поехала на субботу и воскресенье в Сучаву, и когда вернулась, я как бы между прочим заметил, что мы основательно сцепились и тебе остается только сожалеть, что ты не приняла в той схватке участия. Спорили мы тогда не о химии или спорте и даже не о том, где химик-исследователь принесет больше пользы — в каком-нибудь столичном институте или на заводе в провинции,— и на этот раз никто не нападал на министерство, а говорили мы (если не ошибаюсь, я так и сказал) о гармоническом развитии, о том, что по теории Пети называется эмоциональной культурой.

Нас собралось довольно много: Граф, Йошка Хаднадь и его жена, Нора (которую директор чуть ли не нараспев упрямо называл Леонорой), старый Мафтей, Пири и господин доктор (между прочим, оба целуют тебя, а Пири просила передать, чтобы ты хотя бы прислала им открытку). Жена Делеану уложила детей спать, опять посетовала на то, с каким трудом засыпают малыши из-за грохота на стройке. Граф принес бутылку коньяка «пять звездочек», директор принялся варить кофе в колбе, а мы острили насчет того, что она опять взорвется, как в прошлый раз, когда к нам приезжал берлинский инженер. Помнишь, во что превратился белый костюм этого бедняги, хорошо, что он обладал чувством юмора и имел костюмы в запасе.

Вначале Хаднадьне затеяла дискуссию с Пири и Норой о платьях с удлиненной талией. Грузный, широкоплечий здоровяк Пети (ты както сказала, что помнишь его и даже немного знакома с ним еще по Клужу), похожий на мускулистого штангиста, ерзал на стуле так, что стул под ним скрипел. Он не мог долго слушать, сам любил побалагурить и начал рассказывать, что был в Москве на демонстрации мод Диора, но едва вызвав у женщин интерес, тут же перевел разговор на другое, заговорил о новых театральных постановках, потом перешел на анекдоты. Граф, как тебе известно, большой молчун, слушал, слушал и вдруг спросил, как поживает... он назвал имя, которое, по-видимому, никому ничего не говорило, да и мне тоже. Пети Кирай на миг помрачнел, затем сказал, что тот жив и здоров, и махнул рукой, мол, незачем о нем вспоминать.

Мы отхлебывали кофе и похваливали директора за его искусство. Пети поставил свою чашечку и, по обыкновению глубоко вздохнув, дал собравшимся понять, что просит соблюдать тишину,— он собирается говорить. И что удивительно, все поняли своеобразное предупреждение, хотя эту манеру Пети мог знать только я да Граф.

«С вашего позволения, я вам кое-что расскажу,— начал Пети.— Ганси Граф только что поинтересовался одним нашим общим другом из Себиу. Этот талантливый человек, инженер-электрик, с детства был помешан на радиоэлектронике, а сейчас увлекся кибернетикой и добился серьезного успеха. В частности, он один из создателей запоминающего устройства электронно-счетной машины, являющейся достижением мирового масштаба. Между прочим, сам он не без странностей, типичный фанатик. Когда он работает (а работает он всегда!), для него ничего не существует, он сутками может не есть и не пить, если не заставят, а то наденет разные носки, ну, как известный по анекдотам рассеянный профессор, но вместе с тем прекрасный собе-

седник — с ним можно говорить о чем угодно: он интересуется водным поло и модами, обстоятельно разбирается в достоинствах и недостатках неореализма, просто черт знает как у него на все хватает времени. Первый брак его был неудачным, в него влюбилась какая-то смазливая певичка из театра оперетты, но через два года он ей наскучил, и она его бросила. Ну так вот, с этим человеком произошло ужасное несчастье. Один друг, вернее коллега, посадил его возле института на свой мотоцикл. Об остальном можете догадаться. Если не ошибаюсь, они врезались в грузовик. Водитель мотоцикла отделался тремя сломанными ребрами и переломом ключицы, а нашего друга, поскольку они мчались, конечно, с бешеной скоростью — ведь это у нас теперь модно, как твист, впрочем, есть уже новый танец, который затмил его...— словом, нашего друга прямо-таки вышибло из сиденья и с огромной силой бросило на груду камней. С тяжелым повреждением черепа его доставили в больницу. Несколько месяцев боролся он со смертью, перенес две трепанации черепа; чтобы спасти его, то и дело собирался консилиум лучших специалистов. Не раз теряли всякую надежду, но парень все же выжил, начал поправляться. Было неясным одно: сможет ли его организм нормально функционировать. Мы еще не постигли всех тайн мозга, поэтому глупо говорить, что врачи сотворили чудо; но как бы там ни было, а наш друг вышел из пасти смерти полноценным человеком: ни речевой аппарат, ни память, ни какой-либо другой жизненно важный центр не пострадали. Правда, по-прежнему оставалась опасность того, что рубец на месте заживления, раздражая кору головного мозга, может стать причиной приступов эпилепсии».

Вступление у Пети Кирай получилось несколько длинным, хотя он, очевидно, и так упустил много важных деталей. Затем он перешел к самой сути. «Нашего друга отправляют, конечно, в санаторий, где он, как нетрудно догадаться, знакомится с молодой девушкой примерно лет двадцати, красивой, умной и образованной. Девушка влюбляется в нашего друга, а тот, хотя его и влечет к ней, сторонится ее, боится признаться в своем недуге. Девушке известно о постигшем его несчастье, она готова к самопожертвованию — двойная сила любви и уважения, безотчетной страсти и бескорыстной преданности доводит ее до исступления. Девушка эта, кстати, архитектор и знаменитая фехтовальщица — на ее счету несколько международных встреч, чемпионат страны и прочее...»

Граф, будучи заядлым болельщиком, не выдержал и перебил: «А это случайно не Ольга Бан?» — «Нет»,— отмахнулся Пети. Он все равно не назовет имени, незачем гадать. Да и дело не в имени. «Словом, парень ни на что не решается. И вполне резонно, поскольку девушка не представляет себе, что ей грозит в будущем. В конце концов он все выкладывает ей начистоту. Девушка, не колеблясь, заявляет, что она готова к чему угодно. Расстаются они женихом и невестой. Счастливая невеста дома все рассказывает родителям, что в нынешние времена случается довольно редко. В ее семье, однако, господствовали патриархальные порядки, а глава семьи пользовался непререкаемым авторитетом. Отец девушки, между прочим, всеми уважаемый геолог, сын хирурга, словом, воспитывался в старой интеллигентной семье, где придерживаются передовых взглядов, почитают французскую культуру, в партии не состоят, но, как говорится, сочувствуют. Родители и слышать ни о чем не хотят. И тут назревает столкновение между старым и новым. Девушка сначала впадает в меланхолию, ходит как тень, лишается сна и аппетита, проигрывает на соревнованиях одну встречу за другой и, наконец, решается порвать с семьей. Она работает, заявляет она родителям, пользуется известностью и может поступать

так, как ей заблагорассудится. К ней приводят хирурга, который оперировал нашего друга. Девушка молча выслушала его и, когда врач ушел, заявила, что она непреклонна в своем решении. По мнению профессора, тут, как в лотерее,— приступ может случиться, а может и не случиться. А если и будет один, вполне вероятно, что больше он не повторится...» — «Вряд ли»,— тихо, спокойным тоном произнес Додо, склонив, как всегда, голову на плечо Пири. «Это не столь существенно, доктор,— продолжал Пети Кирай,— слушайте дальше. На свадьбу родители девушки не пришли. Правда, в мировой истории подобное уже случалось, но парень понимает, что родители девушки опасаются того же, чего боится и он. Семь месяцев прожили они счастливо. Да разве можно быть несчастливыми первые месяцы? Парень снова начал работать, меньше, но так же успешно, как прежде. Теперь он уже благодарил за свою вторую жизнь не только врачей, но и жену. Но вот однажды ночью случился приступ...»

Додо, как врач, проявил к этому живой интерес. Он резко поднял голову с плеча Пири и несколько громче, чем обычно, спросил: «А затем еще один приступ, на следующий или на третий день, верно? Что-то вроде серии приступов...» — «Нет»,— возразил Кирай. «Значит, парню повезло»,— не унимался Додо. «Возможно,— пожал плечами Пети, и его нервно мигавшие глаза подернулись грустью,— на третий день произошло нечто другое. Девушка ушла от него».— «Как ушла? — спросил Делеану. «Очень просто,— ответил Кирай.— Уложила вещи и ушла. Сказала, что не вынесет ни минуты больше. Просто не может. И вернулась к своим родителям».

Как бывает в таких случаях, заговорили все сразу. Помню визгливый голос Хаднадьне: «Девушку нельзя винить...» — «Перестаньте,— забыв о вежливости, взволнованно перебил ее директор.— Мы судим не на основании уголовного кодекса. Избалованную девчонку к суду не привлечешь». По его мнению, с ней следовало обойтись так же, как поступали во времена Фридриха Великого: всыпать двадцать пять горячих...

Однако пора кончать, дорогая, ибо уже половина седьмого. Правда, я не успел рассказать тебе о самом главном — о теории Пети, но о ней напишу вечером или завтра утром.

■

Дорогая Катинка, вчера я добросовестно вскипятил молоко и тем не менее к утру оно скисло, очевидно, именно от того, что я его уже кипятил вечером; готов признать, что мне, как химику, нужно уметь хотя бы кипятить молоко. Да, есть за мной один большой недостаток: я человек нехозяйственный. Уже разбил столько стаканов и тарелок, что их вполне хватило бы на целый ресторан, купил столько килограммов мяса, что даже вегетарианец и тот мог бы умереть с голоду. Так дальше продолжаться не может! Возвращайся домой и сама увидишь, что по сравнению со мной самый первоклассный кондитер будет выглядеть халтурщиком, а Делеану, этот прославленный кулинар, будет учиться у меня делать покупки.

Ты бросила меня, и я брожу один по земле, словно потерял что-то самое главное, без чего нельзя жить. Я хотел написать, что ищу свою руку, как солдат, у которого оторвало ее,— еще отец рассказывал мне о раненых, просыпавшихся по ночам от страшной боли в руке или ноге, которой у них уже не было. Можешь надуть губы от эффектного сравнения, но так просыпаюсь и я на рассвете, сдерживая в душе крик: где ты? Хочешь верь или не верь, но я готов был бы расставить повсюду все твои фотографии, если бы не боялся, что ты вдруг нагрянешь.

На чем же я остановился? Да, когда Пети закончил рассказ, разгорелся спор. Многим из нас хотелось оправдать девушку, и мы ее оправдывали. Я и сам подумал: в конце концов бывают положения, когда неверность вызвана невыносимостью сложившихся условий, и никаким нравственным законом нельзя обрекать кого бы то ни было на роль вечной санитарки, заставлять всю жизнь ухаживать за больным человеком. Однако я понял, что Пети интересует не этот конкретный случай. Вот только не догадывался, какой вывод он собирается сделать. Йошка Хаднадь сослался на Достоевского — ты ведь знаешь, что он без ума от этого писателя,— он напомнил сцену, когда князь опрокидывает вазу, впадая в безумие, будучи вечером в гостях в доме Епанчиных. Доктор поддакнул — он в таких случаях всегда педантичен,— сначала заговорил об эпилепсии вообще, а затем о болезни самого Достоевского, о чем он прочел в какой-то книге. Но Пети Кирай, вспылив (в пылу полемики он всегда входит в азарт и часто оскорбительной несдержанностью пытается доказать свою правоту), буквально накинулся на Додо: «Сейчас речь идет не о болезни. А впрочем, врачи, как я это нередко замечал, забывают, что подлинный объект их профессии не болезнь, а здоровье. Нас интересует не болезнь нашего друга, а поведение девушки».— «Одно с другим связано,— улыбнулся Додо как всегда снисходительно.— Диагноз нельзя ставить без учета обстоятельств и взаимосвязи внешних и внутренних причин».— «Верно,— прогремел Пети.— Но на кой черт нам сейчас нужна эта прописная истина? Вы, надеюсь, все читали «Идиота»? Йошка Хаднадь только что упомянул вазу, разбитую в доме Епанчиных, но он забыл о том, что отвергавшая всех женихов, гордая, знавшая себе цену красавица — дочь генерала Епанчина — не потому разрывает с несчастным князем, что он болен. Ей ведь тоже известно, что с ним случаются приступы безумия, и все же ее влечет к нему. Аглая решает даже выйти замуж за Мышкина. И только потому рвет с князем, что он по-прежнему любит Настасью...» — «Помилуйте, коллега,— сверкнул зубами Додо,— ведь эта Настасья тоже сумасшедшая, и в любви князя к ней больше патологического влечения, чем нормального чувства...» Кирай разозлился и, повысив тон, сказал, что Додо пора наконец понять, что он говорит не о больном князе, а о здоровой Аглае, которая не отвергает больного князя.

Вмешалось сопрано Хаднадьне: ей кажется, что Йошка прав. Она видела только фильм, но до сих пор ее бросает в дрожь при одном воспоминании о приступах того сумасшедшего...

Нора пристально посмотрела в глаза Пети и сказала, что она согласна с ним. Дело тут, конечно, не в этой девушке, а в том, что мы, люди, вправе претендовать на сложные чувства. Она задумалась, потом заметила, что в данную минуту более точно выразиться не может, и добавила: «С каждым из нас может стрястись беда, большая или маленькая, и каково бы нам было, если бы в такой момент наш спутник жизни отвернулся от нас?» Альт Норы (кажется, так называют этот бархатный голос, правда, он у нее немного хрипловатый — не столько от курения, сколько от того, что она никогда не делает нормального вдоха, когда говорит) всегда водворяет тишину. Красивых женщин, если к тому же они и умны, неизменно окружает ореол уважения. Но на сей раз Кирай не стал сдерживать свой пыл. А может, он именно хотел подчеркнуть родство их душ, свою симпатию к ней (он даже не старался отвести взгляда от Норы) тем, что пренебрег неписаными законами насчет привилегий красивых женщин. Во всяком случае, он перебил ее. «В жизни бывают не только несчастья и крайности»,— сказал он. «Вот именно! — невозмутимо продолжала Нора.— Утверждают, что самый главный враг чувств — привычка, скука серых буд-

ней. То и дело приходится слышать: они надоели друг другу. Этого никоим образом нельзя допускать».

Нора закончила свою мысль, но Кирай, прежде чем начать говорить, взглядом как бы попросил у нее разрешения, и я заметил, Нора тоже одними глазами, не без легкой иронии и вместе с тем любезно уступила ему слово. Только после этого он признался, что пришел точно к такому же выводу. Он, конечно, рассказал об исключительном случае, но если хорошенько поразмыслить, крайности всегда резче оттеняют суть явлений. Исключительность этого случая, сказал он, не означает, что типичные случаи не бывают частными, и привел слова Толстого о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. В этом смысле любой случай является частным и, очевидно, каждому можно найти объяснение. Он не настаивает на том, чтобы несчастливые по какому-то высшему нравственному долгу до конца жизни не разрывали супружеских уз. Это, по его мнению, как раз было бы безнравственно. Вопрос в том, почему эти люди несчастливы, более того — он наконец так сформулировал вопрос: действительно ли они несчастливы?

Неожиданно он всех стал называть на «ты». «Ты сейчас мог бы сказать, что чувства в равной мере субъективны и объективны. Это в самом деле так. Если подходить к этой проблеме с точки зрения субъекта. Вместе с тем, положа руку на сердце, могу утверждать, что восемьдесят процентов нынешних несчастливых браков порождены... прошу вас не шарахаться от изобретенного мной термина... тем, что эти люди лишены эмоциональной культуры. Ибо что может удерживать вместе людей, которых терзают беды, заботы, болезни, которых повседневная жизнь может и сблизить, и отдалить друг от друга — а это, как подметила Нора, случается довольно часто,— словом, что же может удерживать их вместе? По всей вероятности, дети, скажете вы. Но довольно часто распадаются семьи, где есть даже два ребенка. Что же тогда? Давайте проанализируем все с самого начала».

Он довольно пространно рассуждал затем о браке по расчету, в котором материальная сторона играет главную роль, об аристократах, женившихся на девицах из богатых буржуазных семей и тем положивших начало утрате своего политического господства. Он высказывал общеизвестные истины, но делал это, как всегда, интересно, и, несмотря на одностороннее, а порой и необъективное освещение того или иного вопроса, его все же стоило послушать, хотя бы ради того, чтобы и самому включиться в полемику. Вот и теперь он в категорической форме утверждал, что буржуазный брак исключает чувства, поскольку он зиждется на имущественных интересах, с чем, конечно, ни в коей мере нельзя мириться.

«Нельзя делать такие обобщения»,— к нашему величайшему изумлению, произнес Мафтей, который в тот вечер был даже молчаливее Графа. Насколько я помню, в тот день в его отделе какая-то комиссия проверяла оборудование, и меня ничуть не удивляло, что его распухшие, красные веки то и дело закрывались, но тем не менее он, видимо, прислушивался к тому, о чем шла речь. По его мнению, как бы доходчиво и остроумно ни излагал свою точку зрения Пети, то, что он сказал, справедливо лишь в общих чертах. Он знает много таких браков, которые подтверждают правоту Кирая, но знает и другие, по-настоящему счастливые браки. Можно ли их отнести к тем исключениям, которые подтверждают правило? «Не совсем,— ответил Пети Кирай.— Дело тут вовсе не в правилах, а в исторически сложившемся положении. Разве это значит, что я исключаю субъективные факторы?! Именно таковым объективно должен был стать буржуазный брак. Для партнеров он был школой лицемерия, да и как же ина-

че? Человек способен вызывать осознанное чувство у других, и в этом его превосходство над животным, благодаря этому он и стал человеком. Внешне — счастливая семья, а под спудом — столько всего неполноценного, обманного, начиная от роли матери почтенного семейства и кончая донжуанством мужа, который волочится за артисточками, покупает абонемент в дома терпимости или ищет другие приключения. Одним словом, любовные утехи призваны были создать иллюзию подлинного счастья. Кто не мог мириться с этим, тот старался вырваться из порочного круга, и ему либо удавалось это, либо он погибал».— «Понимаю, что вы хотите сказать»,— перебила Нора Кирая, когда тот завершил свою тираду. Делеану полушутя попросил было слова, но затем извинился перед Норой и сказал, что выскажется позже... Нора стала доказывать, что пришло время, когда люди должны свободно, руководствуясь только своими чувствами, строить семейную жизнь, то есть личное счастье. «Но всякому известно, что и ныне бывают браки по расчету, они, правда, строятся не на имущественной основе, а на другом: например, на высокой зарплате или общественном положении мужа, или, скажем, на социальном происхождении жены. Каждый из нас мог бы привести немало подобных примеров. Сколько браков заключается ради того, чтобы получить прописку в столице или в другом городе, или ради того — и это стало довольно частым явлением,— чтобы обзавестись жилплощадью? Против этого, пожалуй, бессильна эмоциональная культура...»

Пети не согласился. Назвал все это преходящим явлением. Когда Хаднадьне пролепетала, что всегда будут карьеристы, Пети, насмешливо улыбаясь, повернулся к ней: «Неужели? По-моему, когда-нибудь они переведутся».— «Вряд ли. Во всяком случае пока еще не перевелись».— «Но я имею в виду не их, а тех людей, которые вступают в брак по любви, без всякой корысти или, если угодно, без карьеристских целей. Причем их, конечно, гораздо больше, чем карьеристов. И тем не менее, сколько несчастливых и среди этих браков! В чем же причина? Отсутствие эмоциональной культуры выявляется сразу же при выборе спутника жизни. Ведь не в приданом счастье. Так в чем же тогда? Во взаимном влечении, в симпатиях и в том, что рождается из этого,— в чувстве. Здесь немалое значение имеет и сексуальная сторона. Но кто ограничивается лишь одним половым влечением к тому, с кем намеревается прожить всю жизнь, тот скоро разочаруется. Говорят, у кого какое счастье, кому какой человек встретится. Но счастье и в том, кого ты выберешь, кто тебе понравится, к кому влечет тебя. А для этого нужно кое-чем обладать, и это «кое-что» называется эмоциональной культурой. Если приключится эта беда, наступят трудности, начнут угнетать серые будни— мало ли что может произойти с обоими,— что же тогда поможет им? Взаимное уважение, любовь, обоюдная солидарность людей, ценящих достоинства и красоту друг друга? Но для того чтобы осознать, что верный спутник жизни — твой друг и твой любимый — несравнимо дороже объекта минутной страсти, человек должен обладать эмоциональной культурой».

Мы еще долго спорили, хотя остальное было несущественным. Мне кажется, все это имеет какое-то отношение и к нам, поэтому я и написал так подробно. Директор тоже принял участие в разговоре — я об этом потом напишу. Пожалуй, расскажу еще о споре Норы и Кирая, когда мы уже шли домой. Но который же теперь час? И будильник и ручные часы стоят. В квартире Пири горит свет, значит, еще не спят. Пойду спрошу.

■

Катика, почему ты молчишь? После обеда, когда я, вернувшись домой, вставляю ключ в замочную скважину, во мне спорят два голоса — один нашептывает: там, за дверью, едва переступив порог, увижу на полу твое письмо; другой ворчит на него за то, что он обманывает меня, ведь за дверью явно ничего нет. А я, словно некое третье, постороннее лицо, стараюсь быть безучастным и рассудительным, но не получается... Признаюсь, едва выйдя с завода, я уже начинаю думать о твоем письме, даже отчетливо вижу его — твой почерк на конверте, черный штемпель на марке. Потом оно то исчезает, то появляется вновь, словно повинуясь спору двух внутренних голосов. За дверью, конечно, пусто...

Мне понятно твое молчание, не могу понять только, почему ты решила отвечать мне именно таким образом? Мне даже ясно, что ты хочешь сказать. Ты всегда умела молчать. Вскоре после нашего знакомства меня поразило непроницаемое безмолвие, которое иногда выражает твое лицо. Бывая у тебя в Клуже, я замечал замкнутость, которая то и дело туманила твой взор, хотя ты и вела себя со мной свободно и непринужденно. Я даже задавал нелепый вопрос, что с тобой происходит, но ты всегда отмалчивалась. Если уже тогда меня тревожила неизвестность, таящаяся за твоим молчанием, то теперь она беспокоит меня во сто крат сильнее. И размышляя над тем, почему ты была такой, я неизбежно делаю вывод, что причины и теперь те же.

Сегодня утром память воскресила тот вечер, помнишь, в Шуллере, когда ты открыла мне все. Вспомнилось до мельчайших подробностей, как мы забрались туда. И давка у кассы фуникулера, и те ошалевшие, орущие, дерущиеся мужчины и визжащие женщины, и та грубая и заносчивая кассирша — я никогда ее не забуду. На мне разорвали рубашку, ты пыталась вытащить меня из толпы, кричала, что лучше подняться пешком, но вырваться из толчеи было невозможно. Я буквально задыхался. Было это скорей всего в воскресенье, потому и народу собралось так много. А впрочем, не помню. Меня терзали дурацкие предчувствия, я решил: раз так плохо началось, значит, плохо и кончится. Ты пыталась отереть пот с моего лица, но началась такая давка, что тебе не удалось даже пошевелить рукой.

Но зато какая удивительная тишина воцарилась потом, когда вагон стал подыматься вместе с нами. Ее нарушало лишь гудение троса да легкий стук роликов, подпрыгивавших у стоек, а мы парили в вышине. Равновесие между всем остальным миром и нами было идеальным, и это парение между небом и землей было физическим, реальным воплощением моего душевного состояния с тех пор, как я познакомился с тобой. Я хотел было поделиться с тобой этой мыслью, но ты не позволила. Не надо говорить, пусть что-нибудь останется невысказанным. Я не понял, почему ты так сказала. Мне даже представилось это циничным, чем-то вроде новой моды не доверять чувствам, которые выказываются сразу. Однажды мы поспорили, помнишь, там, в цитадели — ты меня просто отчитала за высокопарные слова.

А какая чудная погода выдалась тогда! Только в первый вечер небо заволокло тучами, и мы грустили, словно случилась какая-то беда. Как мы тянулись к солнцу!.. Ты как раз сдала государственные экзамены и была бледной от долгого пребывания в библиотеке, а я насквозь пропах химикатами (тебя рассмешило это выражение). Помнишь, как мы волновались,— уж очень хотелось, чтобы на турбазе было мало народу и ты смогла получить единственный одноместный номер. Это была скромная, но приятная победа, когда все сбылось, как было задумано. Я любовался твоим умением молча, не говоря ни слова, радоваться одними глазами, походкой, ставшей вдруг упругой и

решительной. Мне досталась койка в общей комнате и сосед, который ужасно храпел. На другой день мы покатывались со смеху, когда я копировал его. Он выделывал что-то невероятное: визжал как пила, хрипел, свистел без перерыва до шести часов утра. Утром он встал, ушел умываться, вернувшись, надел клетчатую рубашку, потертые кожаные шорты, белые с узором гольфы и большие кованые ботинки. Увидев меня лежащим с открытыми глазами, он подошел и представился, словно извиняясь. Лицо его выражало смятение и стыд, я чуть было не рассмеялся, но мне вдруг стало жаль его, и я сказал: «Я ничего не слышал». Очевидно, по моим воспаленным, затекшим глазам он понял, что я солгал. Наверно, это обидело его, он помрачнел и отвернулся, потом схватил свой рюкзак и, не прощаясь, ушел.

Я все равно не смог бы уснуть, и ты хорошо знаешь почему: ты не пустила меня к себе. Я ничего не сказал — начал уже осваивать игру в молчанку. Мне никогда не удавалось освоить ее в совершенстве, видимо, хорошего артиста из меня тоже не получилось бы. Но у темперамента есть свои законы, и они порой сильнее общепринятых норм и правил. Пожалуй, слишком часто я досаждал тебе, грубо и горячо говорил о том, что меня задевало или просто казалось важным, не думая о всех последствиях. И не всегда для того, чтобы просить твоего совета или услышать твое мнение, а просто так, чтобы излить душу. На следующий день, даже спустя какой-нибудь час или два, обдумав все до конца, я нашел бы, наверно, совсем другие слова. Может быть, при необходимости постоянно соблюдать дисциплину научного мышления — ведь подобная опрометчивость в науке чревата опасными последствиями — эта беспорядочная реакция на другие стороны жизни означает для меня какую-то отдушину и все это вместе создает душевное равновесие, в котором я, по складу своего характера, испытываю острую нужду. Или это поиски оправдания?

Во всяком случае в тот вечер, когда мы простились у твоей двери, я сдержался и промолчал. Может быть, потому, что между «нет», произнесенным тобою тогда, и твоей тайной — я называю это тайной — усмотрел взаимосвязь. Кажется, я никогда не говорил тебе об этом, более того, на следующий день, наверно из глупого самомнения, только и сказал, что не понимаю, почему ты так поступила. Ничего больше. Между тем я отчетливо сознавал и то главное, и мотивы твоего поступка. Ни минуты я не сомневался, что это был просто каприз, игра, а может быть, жеманство. Я знал, что ты меня любишь,— как все было тогда просто.

Теперь меня вдруг осенило, что та ситуация (ты по ту, а я по эту сторону двери) повторилась в нашей жизни. Она повторилась, когда я проводил тебя в Брашов и, глупец, не усмотрел ничего особенного — тогда это показалось мне естественным или случайным — в том, что у твоей матери мы спали в разных комнатах. Ведь отец твой был в отъезде, и я подумал, что тебе надо вволю наговориться с мамой. Интересно, то же ли это было «нет» или все-таки иное? Ты понимаешь, оно причиняет мне неизмеримо большую боль, чем то, прежнее, ибо тогда была причина запираться от меня, а теперь... Одним словом, это уже внутренний протест, отчужденность, холодность, отвращение. Может быть, я неправ? Успокой меня, скажи, что это просто усталость, скажи мне, дорогая, что это пройдет, когда ты отдохнешь, окрепнешь. Напиши же мне что-нибудь, хоть два слова, ответь, чтобы я не думал о самом плохом.

О чем я думал тогда, в первый раз, у твоей двери? О недоверии. Ты знаешь, что я имею в виду,— не о твоем недоверии, а вообще. Да, в этом ключ к разгадке тайны, думал я. Что-то или кто-то убил в тебе доверие к людям. Нет, я ошибаюсь: ты верила в людей, но не верила

в любовь, в счастье. Это громкие слова, но потому они и стали для тебя такими, что ты не верила в них.

Труднее всего человеку бороться с мерзостью — она может надломить его. Для этого не надо быть слишком чувствительным, достаточно быть молодым и безоружным. Он был мерзавцем, и не стоило ворошить прошлое. Он обманул тебя не только тем, что по привычке обещал вечное счастье,— это была самая затасканная ложь, какой он оделял каждую женщину, а для тебя она была откровением, самой жизнью. Он понимал это, ведь он тебя знал. Но самое главное — он обманул тебя тем, что даже то, что он дал тебе, не было настоящим. Ты и сама чувствовала это, догадывалась, но только благодаря мне узнала точно и окончательно. Благодаря мне? Благодаря нам обоим, благодаря тому, что мы встретились и соединились.

Никто не знал, что Л. карьерист. Он не из породы пронырливых, пробивных, и волком в овечьей шкуре его тоже не назовешь. Он из тех, кого можно назвать лишь потенциальным или пассивным карьеристом,— такие не ищут случая, а просто пользуются им. И открыто бегут в кусты, если что-то может им помешать. Он сблизился с тобой не по расчету, но порвал из корысти, так как дочь снятого с работы директора завода — плохая партия.

Мне кажется, карьерист может обладать многими качествами, более того, у него могут быть и незаурядные способности, но все дело в том, что ему не хватает упорства и терпения честным путем добиться желанной цели. Тщеславие побуждает его ни во что не ставить своих друзей, а честолюбие и самомнение внушают мысль, что все, чего бы он ни захотел, ему всегда доступно. Такой человек может быть и вреден и полезен — если у коллектива хватит сил обуздать его нрав и заставить его талант служить делу.

Но такие любители ловить рыбу в мутной воде, как Л., обычно безнадежно серы, и хотят они не преуспеть в чем-то, а просто подняться повыше, не лелеют большую мечту, а стремятся просто быть на виду, не жаждут популярности, а, наоборот, мечтают о сереньком уюте, о «железобетонной» должности. Такие просто стараются втереться в доверие, чтобы обеспечить себе премию, продвижение по службе, а летом — путевку в санаторий.

В первую же ночь выяснилось (не боюсь писать об этом — я должен об этом написать), что он даже любить не умел и совершил обман уже тем, что сделал тебя женщиной. Эгоизм парализовал в нем даже инстинктивные порывы, он настолько стал его второй натурой, что и любовный порыв доставлял радость ему одному,— он не способен был дать тебе даже того, чем человека наградила сама природа.

Та, вторая жизнь, которая началась для тебя после нашей встречи, означала одновременно счастье (что поделаешь, нет лучшего слова) и несчастье. Только теперь ты вдруг поняла, какой была бедной, когда считала себя богатой, ощутила все убожество той жизни и еще сильнее жалела свои растраченные чувства, растоптанное доверие. Понадобилось немало времени, чтобы я понял, что происходит с тобой. Я ревновал тебя к Л., ненавидел его, поскольку наша жизнь еще долго возрождала в твоей памяти прожитые с ним дни. Ты была счастлива, но слишком медленно проходило щемящее чувство, вызванное разочарованием.

По утрам, в пять часов, царит полная тишина — даже на стройке не работают,— и в пустой комнате (потому что без тебя она действительно пуста) мне приходит мысль, что в последнее время именно это щемящее чувство делало тебя молчаливой. Неужели ты и во мне разочаровалась? Но почему? Знаю, с тобой что-то происходит, что-то тебя угнетает, чем-то я тебя обидел. Чувствую, что истина где-то рядом,

но один, без тебя, я не могу ее найти. А знать ее, поверь, дорогая, нам обоим необходимо, без этого мы ничего не решим. Теперь я уверен в том (ведь я тебя знаю как свои пять пальцев), что за твоим, похожим на прежнее, душевным состоянием скрывается какая-то разочарованность, невысказанная боль. Но что же произошло между нами? Я готов рвать на себе волосы, что вовремя не придал этому значения. Сейчас ты могла бы сказать, что той энергии, какую я трачу на эти письма, вполне хватило бы на то, чтобы предотвратить все... Ты права. Но все же, если стряслась какая-то беда, давай вместе одолеем ее. Ведь это и есть эмоциональная культура: уметь любить и в беде — во всяком случае я так понимаю. Неужели же мы отвернемся теперь друг от друга и не будем стараться найти выход? Ты не хочешь, чтобы я к тебе приезжал, согласен, но тогда пиши, отвечай, ты должна мне ответить! Если в нашей совместной жизни было хоть что-то настоящее, подлинно человеческое,— мы не вправе сдаваться без боя.

Пиши и попытайся любить, ведь ты любила и хорошо знаешь, что я тебя люблю.

■

Мама, дорогая!

Ваше письмо доставило мне огромную радость. После телефонного разговора это первая весточка о Кати, можете себе представить, как я жду известий о ней. Теперь вам уже все известно, так что простите меня за прошлое вранье. Я не хотел вас волновать. Правда, я и сам многого не знал тогда. Да и сейчас скорее догадываюсь о том, что произошло. Внезапный, похожий на бегство отъезд, усталый, холодный голос по телефону, молчание — всего этого более чем достаточно (вот именно — более чем достаточно) для того, чтобы я понял: нас постигла какая-то большая беда.

Теперь я знаю немного больше, но тем не менее полной ясности у меня нет. Как понимать, что Кати больше невмоготу? Вы, мама, были у нас, видели, как мы живем. Я не без опасения пишу, что мы имели все необходимое. У матерей на этот счет всегда особое мнение. Но что бы там ни было, это «все необходимое» — относительное понятие. Мы молоды, оба работаем, имеем квартиру, библиотеку, радиолу... но ведь Кати не такой человек, чтобы впадать в меланхолию из-за того, что у нее нет холодильника, или из-за того, что она не может сидеть позади мужа на мотоцикле. У нас не те идеалы (не хочется писать в прошлом времени), и запросы у нас общие, между нами никогда не возникало разногласий по этому поводу, а тем более ссор.

Значит, речь идет не об этом. Ей невмоготу? Неужели я создал такую обстановку, что наша совместная жизнь стала для нее невмоготу? Возможно, но, честное слово, мне никогда и в голову не приходило считать ее обузой, как это она в последнее время постоянно внушала себе. Правда, последние полтора года я работал как зверь, даже в отпуск не удалось уйти прошлым летом. Но ведь у Кати тоже была своя работа, причем она довольно много была занята. Мне ли рассказывать вам, мама, о работе, ведь вы сами всю жизнь трудились. Верно, что в эти полтора года я меньше уделял внимания Кати, но она никогда не любила, чтобы ее опекали. Вы, мама, тоже знаете, за какое большое дело я взялся и, конечно, по вечерам обычно возвращался домой предельно усталым. Но ведь так не будет продолжаться вечно. А если бы и вечно, разве два близких человека не могут сочувствовать друг другу и помогать в работе?

Кажется, врач прав: все это следствие нервного переутомления, и когда она отдохнет, пройдут и эти навязчивые идеи. Потому-то и не

хочу сейчас ехать в Брашов, понимаю — Кати нужно побыть одной, пусть совершает прогулки, ходит купаться, побольше спит. А через месяц я приеду за ней и мы вернемся домой.

Поверьте мне, дорогая мама, никаких других причин нет. Понимаю, что вы подозреваете невесть что, и знаю также — мало ли что может произойти с каждым. Но если бы произошло хоть что-нибудь похожее на то, чего вы так опасаетесь, мама, то как бы мне ни было это неприятно, я все равно признался бы сейчас, ведь нет никакого смысла отрицать: с Кати можно жить только по законам правды.

Прошу вас, напишите, будет ли Кати отвечать на мои письма или нет. И о себе тоже. Что поделывает дядя Шани, как переносит уход на пенсию?! С любовью целую вас...

■

Старина!

Мое письмо тебя, наверно, удивит. Вот уже добрых полтора года, как мы не пишем друг другу. Это признак неверности или верности, если друг обращается к другу только в беде? Зачем ходить вокруг да около, у меня довольно крупная неприятность: от меня уходит жена.

Ты, к сожалению, не знаком с ней. Для того чтобы легче было разобраться в сложившейся обстановке, надо кое-что рассказать тебе о ней. Она из тех обаятельных женщин, лицо которых привлекательно отнюдь не холодной симметрией, а фигура — совершенством формы, хотя и лицо у нее красивое, и фигура изящная, но красота их не броская, она как бы в тени. Знаешь, о таких ныне говорят: приятная, но ничего особенного. Главное в ней другое — то, что делает женщину поистине обаятельной. В ней все прелестно: взгляд, всегда выразительная улыбка, жесты, походка. В ней нет ни грана от наших модниц, хотя одевается она и модно, и со вкусом. Умна, образованна, с широким кругозором, хорошая преподавательница, увлекается литературой, искусством. Все это сочетается в ней с какой-то глубоко человечной отзывчивостью, с жадной тягой к счастью. Благодаря душевному складу это выражается у нее и острее и выразительнее, чем у других. Жизнь в родительском доме (ее родители, как принято говорить, прекрасно живут, старый Вильмош и по сей день влюблен в свою жену), настоящая любовь к литературе, вспыхнувшая у нее еще в детские годы (а это свидетельствует о том, что она — натура мечтательная, горячо откликающаяся на все важнейшие события), разумеется, еще сильнее развили эту отзывчивость. Прими во внимание еще и то, что отец ее старый коммунист, талантливый самоучка, прямо-таки боготворивший свою дочь. Но он не избаловал ее, он создал вокруг нее такую духовную атмосферу, в которой стиралась грань между мечтой и реальностью, между идеалами и жизнью. Другая девушка, может быть, меньшего ждет от жизни, но зато счастлива, если ей удается чего-то добиться,— она более упорна в борьбе, во всяком случае, легче переносит разочарования, а здоровый инстинкт помогает ей на любую неудачу смотреть как на временную.

С Кати все произошло иначе. Она влюбилась — по случайному совпадению он тоже химик, и ты увидишь потом, какую огромную роль будет играть это случайное совпадение во всей истории. Вкратце суть дела: мужчина разыгрывал любовь, а может и любил по-своему, ведь легко допустить, что он только так и умеет любить, а возможно, и вовсе не умеет. С Кати их свел случай: с какой-то компанией он отправился в Надькёхаваш, вернее, выехал из Клужа, но в Брашове заночевал у своих родственников. Вечером к родственникам пришли гости — Кати с родителями. Л.— я не хочу называть его полное имя — сначала беседовал со стариком, который в ту пору был еще

директором химического завода, а потом стал ухаживать за его дочкой. На следующее утро он ушел в горы. Осенью они встретились в Клуже. Л.— научный сотрудник академии, аспирант, а Кати — студентка второго курса филологического факультета. Через полгода Л. представлял Кати своим друзьям как невесту. Лето они провели вместе, родители Кати благоволили к парню, поговаривали о свадьбе. В конце лета условились сыграть свадьбу на рождество. В начале декабря Катиного отца сняли с работы, и Л. поспешил ретироваться.

Как подействовал этот разрыв на девушку, которую я тебе описал,— нетрудно представить. Все это я рассказал лишь для того, чтобы ты понял: в душе этой девушки, несмотря на все симпатии ко мне, происходила мучительная борьба — она мне не доверяла. Недоверие ее не проходило довольно долго. Но когда прошло, я чувствовал, что она с удвоенной силой хочет создать и уберечь свое счастье. Предательство Л. застало ее врасплох. Такой поступок кого угодно может выбить из колеи, а ее он буквально потряс. Но наша совместная жизнь исцелила ее, наша любовь дополнялась дружбой, мы были близкими друзьями, хорошо понимали друг друга. Кати с трудом привыкала к новому окружению, но в конце концов освоилась, у нас появились общие друзья, мы наслаждались романтикой нового города, самозабвенно трудились, увлеченные своей работой. Добавлю еще: я многим обязан ей, так как благодаря широкому кругу ее интересов и привязанностей вырвался из плена той односторонности, которая грозит многим из нас, и вернул себе всю прелесть студенческих лет, когда меня одинаково интересовала и неорганическая химия, и концерт Бартока, и опыты в лаборатории, и новая театральная постановка. У меня появилась охота снова писать стихи. Разумеется, только для себя, не для публикации.

Теперь ты вправе спросить: «Если все это так — поверь, старик, я написал тебе истинную правду,— как же могли вы допустить такое? И в конце концов, что же произошло?»

Хорошо, я расскажу. Наш небольшой коллектив взялся за нечто исключительное. Исключительное? Видишь ли, на мой взгляд, это действительно нечто незаурядное, и, по-видимому, так оно и есть, поскольку речь идет об открытии — о создании нового искусственного материала. Больше о нем ничего сообщить не могу, надеюсь, ты не расценишь это как недоверие с моей стороны. Такая работа, как тебе известно, длится годами, сопряжена с огромной затратой энергии, превращает человека в каторжника, хотя это все же сладкая каторга. Правда, иногда хочется бросить все к черту, потом вдруг испытываешь ликование и снова впадаешь в отчаяние, пока вдруг тобой не овладевает какая-то спокойная уверенность, что ты идешь единственно правильным путем.

Так вот, значит, последние полтора года, и особенно последние десять месяцев, мне пришлось еще больше приналечь на работу. И не столько потому, что наступил решающий этап, сколько из-за одного обстоятельства, неимоверно взвинтившего темп нашей работы.

Постараюсь вкратце пояснить — опять обещаю быть кратким, а сам пишу уже четвертую страницу. Ничего не поделаешь, у меня на этот счет богатый опыт: ежедневно пишу Кати длинные письма.

Из министерства к нам приехала бригада; разумеется, она побывала и в нашей группе. Я упомянул о случайном совпадении. Так вот, одним из членов бригады был Л. Я краем уха слышал, что после аспирантуры его приняли в министерство, но потом об этом забыл. Знакомство наше было, можно сказать, шапочное, он года на два старше меня и учился раньше. Представь, я никогда не видел его с Кати. Правда, в ту пору я заканчивал учебу, готовился к государст-

венным экзаменам и почти не выходил на улицу. Но от ребят слышал, как ему крупно повезло: поступил в академию, в аспирантуру, хотя и не имел особой склонности к исследовательской работе. Одним словом, чего только не говорили о нем, но я тогда думал, что это от зависти. А все, что я о нем знаю,— конечно, со слов Кати.

Короче говоря, Л. приехал к нам.

Наша встреча отнюдь не была тягостной, ведь мы, собственно, никогда не были соперниками. Я когда-то возненавидел Л. за все, что он причинил Кати, моя жена долго, даже в начале нашей супружеской жизни, страдала из-за него (я, признаюсь, иногда считал, что она тоскует по нем). Но с годами ненависть прошла, и увидев его, я совершенно равнодушно поздоровался. На его лице тоже ничего нельзя было прочесть, хотя я и предполагал, что, может быть, какой-нибудь мускул на нем дрогнет, выдаст его удивление или он смутится и, чтобы скрыть это, деланно веселым тоном ответит на мое приветствие. Но я ошибся. Мы пожали друг другу руки и начали говорить о деле. Конечно, Л. был не один, а со всей бригадой, которую он, кстати, возглавлял. Мы провели экспромтом небольшое совещание в лаборатории — они задавали вопросы, мы отвечали. Л. спросил, сколько лет мы работаем. «Два года»,— ответили мы. Нам казалось, они довольны нашими успехами. Перед подобными беседами невольно волнуешься, тебе хорошо известно, как подбадривает в работе любое доброе слово и как раздражает непонимание. Обе стороны по-разному подходят к делу: исследователи восторженно увлечены, другие, какой бы искренний интерес ни проявляли, остаются посторонними, смотрят на все со стороны. Нам удалось заразить их своей восторженностью. Они поздравляли, а мы, конечно, ликовали. Через два дня бригада уехала, и с Л. я больше не встречался.

Это было, если не ошибаюсь, в конце марта прошлого года. Не успели Л. и его товарищи уехать, как дня через два утром, когда я шел на завод, возле меня остановилась директорская машина, и Делеану сказал, чтобы я попозже, когда освобожусь, зашел к нему. Я пошел сразу — не люблю, когда отрывают от дела... До чего же я подробно пишу, хочется рассказать все до мельчайших деталей, словно чтобы оправдаться в чем-то! Одним словом, директор передал мнение бригады, будто наша работа никому не нужна. Я сразу же усмотрел тут происки Л., потом, устыдившись, отбросил эту мысль. Однако на всякий случай все же спросил, не Л. ли высказал такую точку зрения. И не ошибся. Значит, решил подсидеть, подумал я,— классическая подсидка. Я поделился с директором своими сомнениями (между прочим, Делеану прекрасный парень, я мог бы написать о нем очень много хорошего: начал трудовой путь простым рабочим, во время национализации стал директором, окончил политехнический институт, очень инициативен, это по его почину на заводе стали заниматься научными исследованиями. Одним словом, такой человек, о которых говорили когда-то: свой в доску). Возможно, за границей тоже занимаются этим делом, даже наверняка. И, видимо, Л. что-нибудь известно, но откуда? Ведь в специальной литературе никаких сообщений не было, первые публикации появятся гораздо позже, после внедрения в промышленное производство. Да и тогда речь может идти только о теоретическом описании, там не дураки, чтобы раскрывать технологический процесс. По мнению Л., сказал Делеану, нам выгоднее купить патент, а потому бессмысленно тратить время и силы стольких людей. Все может быть, конечно, но неужели за границей довели уже дело до стадии патентования? Этому трудно поверить. И к тому же не исключено, что Л. высказал лишь предположение. Ну что ж, поживем — увидим, к каким последствиям приведут его слова.

Месяц было тихо. Затем пришел запрос, чтобы мы снова выслали обоснование экономической эффективности работы. Делеану съездил в министерство, узнал, что ничего подобного никем не запатентовано. В чем же дело? Есть основания предполагать, сказали ему, что западногерманская или английская химическая промышленность в скором времени приступит к производству нового синтетического материала. Сослались на какую-то статью и доклад на одной из международных конференций. Я хорошо знаком со специальной литературой, читал и тот доклад: общие теоретические рассуждения, одни лишь предположения о возможности производства нового материала.

Тебе известна психология интриги? Я не особенно разбираюсь в подобных делах, но знаю, что иногда достаточно чихнуть, чтобы грянул гром. Надо только выбрать подходящий момент, знать, где и когда чихнуть. Так, наверно, получилось и на этот раз. Министерство поддерживает исследовательскую работу, не мелочится, но в то же время не хочет быть расточительным и правильно поступает: зачем же выбрасывать деньги на ветер? Но по случайному стечению обстоятельств иногда выясняется, что необоснованно субсидированы крупные капиталовложения, допущена явная бесхозяйственность. И вот тут начинают на чем-то экономить. Приостанавливают, правда временно, некоторые проводимые или начатые работы, объявляя их излишними. Именно в такой момент Л. высказал свое мнение, и эффект не заставил себя долго ждать.

В начале июля я поехал в министерство и мне удалось кое-что прояснить. Встретился там я и с Л. Встреча эта оставила у меня неприятный осадок. Мы говорили откровенно, откровенно до беспощадности. Вернувшись домой, я твердо знал: нужно наверстать упущенное время. Боялся ли я Л.? Скажу откровенно, старина: не боялся, но работе он мог навредить. Я выложил все Делеану, холодно принял поздравления директора и коллег. Хлопот и забот мне предстояло немало.

Тебе известно, что в исследовательской работе необходима последовательность и методичность, нельзя опустить что-то, надо работать больше, гораздо больше, чем обычно. Я ходил к семи часам утра, а домой частенько возвращался в полночь. Дела пошли хорошо, нынешней весной мы в основном закончили работу в лаборатории и начали готовиться к проведению эксперимента в производственных условиях. Месяц назад приступили к нему; правда, не все еще ладится, способ производства не совсем освоен, много неясного, незавершенного в технологии. И тем не менее, если не произойдет чего-либо непредвиденного, к осени наладим производство. Министерство довольно, Л. помалкивает. Как будто все в порядке.

Вот так все и было. Можешь себе представить, как я жил эти полтора года. Я мог бы привести в свое оправдание миллион доводов, но зачем — все равно итог один: Кати не могла вынести этого и ушла. Мне остается винить себя за то, что я не рассказал ей обо всем,— ведь тогда ей наверняка было бы легче перенести эти полтора года, когда я действительно приходил домой только есть и спать. Она никогда не жаловалась, и я принимал ее молчание за согласие. Позже стал замечать, что она становится слишком молчаливой, но приписывал это ее большой занятости и усталости. И как я мог рассказать ей обо всем?! Я опасался, что одно напоминание об Л. разбередит ее старые раны. Но может, молчал из трусости? Боялся, что Л. уложит меня на обе лопатки, а если ему удастся меня подсидеть, как же я тогда буду смотреть в глаза Кати?

Кати знала только, что у нас нелады с министерством. Разумеется, я нервничал, дома постоянно на что-нибудь жаловался, стал раз-

дражительным. Но о подлинной причине своего раздражения не говорил. И даже после поездки в Бухарест не осмелился рассказать всего — ведь то, что произошло там между Л. и мной, нанесло бы Кати большую душевную травму. Я все откладывал: вот, думаю, придет время, тогда и расскажу. Неужели она сама узнала обо всем? Может быть, ей причинило боль то, что я скрывал от нее, и она восприняла это как недоверие? Может быть, именно для ее чувствительной натуры мой промах оказался невыносимым?

Но в конечном счете, как бы там ни было, я работал. И моей самой большой виной перед ней все же была работа. Даже узнав, что я что-то утаиваю от нее, она должна была понять: поступая так, я хотел ей добра, а не зла. И в самом деле, это был трудный год, я не мог уделять ей больше внимания, кроме того, что просто был рядом.

А что я могу обещать ей теперь? Посоветуй, старина: могу ли я обещать, что моя жизнь не всегда будет проходить в непрерывном труде? Ибо именно это главное. Кому это не под силу, тот всю жизнь будет несчастным. Я люблю ее, но вправе ли я ввергать ее снова в несчастье? Лгать, что это временное явление, что у меня будет много свободного времени? Но откуда мне знать, не замахнемся ли мы завтра на что-нибудь более значительное?

Ошибаюсь? Вряд ли. Разве ты уверен в том, что, узнав о причастности Л. к нашей работе, Кати сумела бы понять, что я умолчал обо всем из любви к ней, из такта? Могла бы она понять, почему я столько работаю? Нет, она не могла принять мой образ жизни.

И еще было одно: я грубил. У кого не сорвется иногда с языка крепкое словцо, в конце концов нельзя же постоянно ворковать! Беда в том, что Кати более ранима, чем другие. Все наши ссоры, как на грех, начинались из-за мелочей. На первых порах (да, только после первых стычек) я всегда просил у нее прощения. Разумеется, я раскаивался, если случайно говорил ей что-нибудь очень обидное (нет, просто обидное) или какую-нибудь глупость. Но потом мне надоело извиняться, я предоставлял времени, ночи, заботам, работе снимать гнев. Видишь, о чем бы я ни говорил, все свожу к работе.

Но что делать? Бросить работу? Отказаться от исследований, перейти в какой-нибудь отдел на заводе и отсиживать там по восемь часов? Знаю, это тоже работа. Но я всю жизнь винил бы Кати, что из-за нее похоронил свое призвание. А ведь и она не смогла бы принять такую жертву.

Миллион вопросов. Я кончаю. Прошу не твоего совета, а хочу знать твое мнение. Пиши так, будто мы и сейчас прогуливаемся с тобой по берегу Жила и беседуем. Когда ты был в последний раз дома? Мои вот уже два года не чают, как увидеть меня. А что, если нам как-нибудь встретиться дома? Напиши, старина, как можно скорее. Как поживают твои морские свинки? Обнимаю тебя.

■

Дорогая!

Я отправил Беле пространное письмо, поэтому не писал тебе вчера. В пять часов утра начал, вечером продолжил и лишь сегодня утром закончил. Очень жаль, что вы с ним до сих пор не знакомы. Наплел ему с три короба, кто знает, что из всего этого он поймет? Здесь не хотел никому изливать свою душу, не потому, что не доверяю, но опасаюсь возможных сплетен, а Бела будет нем как могила.

С тех пор как ты уехала, ни разу не включал радиолу. Просто не представляю, как можно в одиночестве слушать музыку. Ты, наверно, сейчас улыбаешься, но мне все равно. В квартире полнейший хаос — Пири собиралась прислать уборщицу, я отказался. Право же, мне те-

перь ничего не нужно, лишь бы приехала ты. Рубашки я отнес в прачечную, зачем же звать прачку? Завтра утром уберусь, только не знаю, куда ты девала тряпки? Придется пыль вытирать носовым платком, но боюсь, как бы ты не высмеяла меня и не отругала из своего далека.

Пишу без разбору всякую всячину, а к главному никак не приступлю.

Получил письмо от твоей мамы (не ругай ее за это) и из него узнал нечто такое, что меня поразило. С тех пор постоянно повторяю про себя: тебе невмоготу. Не знаю, как ты об этом сказала,— пытаюсь представить выражение твоего лица, услышать твой голос. Наверно, ужасно тяжко было тебе жить рядом со мной. Но почему ты мне не сказала ни слова? В отместку за то, что я что-то скрывал от тебя? Но ведь я скрывал только ради тебя.

Сейчас все расскажу. Быть может, уже поздно, но ты все-таки должна знать правду.

Оправдываться я не собираюсь.

Ну так вот знай: не министерство, а Л. хотел подкопаться под нашу работу. Я редко употребляю это слово, избегаю его даже тогда, когда ясно вижу, что кто-то ведет подкоп. Мало ли всяких лентяев и бездарностей прикрываются этим словом. Но тут и я не могу сказать иначе.

Помнишь, я говорил тебе, что министерство чинит препоны. Но все было отнюдь не так просто, как, наверно, тебе казалось. И не в этом теперь суть.

Случилось, между тем, вот что: в марте прошлого года Л. приезжал к нам. Я буду приводить одни факты, а ты не ищи ответа на вопрос, почему я молчал до сегодняшнего дня (как-нибудь напишу и об этом). Он приехал с министерской бригадой, у нас состоялась встреча с ним; Л. вел себя вполне порядочно, но не успели они уехать, как Делеану вызвал меня и сказал такое, что я сразу же подумал: «Тут не обошлось без Л.». Было бы глупо и нескромно предполагать, что в нем заговорила зависть. На какое-то мгновение у меня мелькнула мысль: «Он хочет навредить тебе, демонстрирует свою силу, бахвалится тем, что твоя судьба — поскольку ты связала свою жизнь с моей — и теперь у него в руках». Л. объявил, что наша работа нерентабельна, что мы зря тратим материальные средства и человеческую энергию, тогда как гораздо выгоднее купить за границей лицензию. С директором мы условились подождать, что последует дальше.

Я вернулся в лабораторию, но работать не мог, не находил себе места. Было больно и обидно. То и дело я выходил в коридор, курил одну сигарету за другой. Потом стал курить прямо в комнате. «Что с тобой, Тиби?» — спросила Нора. «Ничего,— ответил я,— нервы шалят...»

Йошка Хаднадь крикнул, чтобы я выбросил «соску». Это была уже чуть ли не десятая сигарета. Я вышел в коридор, через несколько минут за мной последовал Граф. «Хоть разок, один-единственный раз съезди со мной на рыбалку. Попробуй...» — упрашивал он. Я огрызнулся: «Оставь, у нас, брат, такие дела, что не до рыбалки!» Граф удивился: «Но ведь нас превозносили до небес!»

Он был прав. Министерская бригада похвалила нашу работу. Разумеется, Л. тогда молчал. И заговорил только у директора. «Старый прием,— подумал я,— да вряд ли от Л. можно было ожидать чего-либо оригинального. К тому же работа идет не так уж плохо, и плевать мне на козни Л. Ведь ему, наверно, хочется выбить почву у меня из-под ног. Но не тут-то было!» «Черт его знает,— улыбнулся я Ганси,— с левой ноги встал я сегодня, что ли?» А он знай гнет свое: «А все по-

тому, что на рыбалку не хочешь ехать». Я засмеялся. «Смейся, смейся,— сокрушался он.— Кончится тем, что ты попадешь в психиатрическую больницу, будешь там принимать карбаксин. А знал бы ты, какая там, на берегу, тишина, только птицы щебечут да стрекочут кузнечики...» — «И рыбы»,— добавил я. «А что ты думаешь, и рыбы,— поддакнул он.— И никаких тебе забот, только следишь, когда клюнет...» — «Клюнет или не клюнет — вот в чем вопрос»,— пошутил я. Но он уже сел на своего конька: «А на следующий день какая свежая голова. Если я раза два в неделю не порыбачу, то и работать не могу». Я помню, когда мы бились над одной проблемой и не могли сдвинуться с места, он каждый день ходил рыбачить, и хочешь верь, хочешь не верь — именно на рыбалке догадался, где мы допустили ошибку. Держал удочку, смотрел на воду, ни о чем не думал, и вдруг его осенило... Меня даже зло взяло, и я сказал с издевкой: «Поставлю вопрос перед партийной организацией и дирекцией о том, чтобы всем коллективом ходить на рыбалку».

Все это я описываю только потому, что разговор с ним меня успокоил. Да и в самом деле, чем может повредить нам какой-то бюрократ-перестраховщик? Ребята у меня как на подбор, знают себе цену — бригада дружная, один за всех — и все за одного. Конечно, обидно, но не надо из мухи делать слона. «Ладно, господин граф,— сказал я Ганси,— пошли работать».

Однако под вечер, прежде чем уйти с завода, я вдруг решил забежать к директору. Не то чтобы у меня закралось сомнение, ведь это его инициатива — вести на заводе научно-исследовательскую работу, он отстаивал ее в министерстве, поддержал наше предложение. Ты знаешь, какой он кристально чистый человек — ни одной задней мысли, что думает, то и говорит,— и мне захотелось поговорить с ним откровенно.

Я застал его в кабинете и все рассказал о Л. Он внимательно слушал меня, по привычке чуть прищурив глаза. «Хорошо, Килиан»,— проговорил он, наконец, и добавил, что хотел бы только знать, зачем я рассказал ему эту историю? Смутившись, я ответил: «Я считаю, что вы должны знать все. Зная все, вы не будете придавать значения словам Л...»

Он пристально посмотрел мне в глаза и спросил: «О себе печешься или о работе?» Я ответил, что не делаю различия между тем и другим. «Что же, это хорошо,— улыбнулся он,— но если ты боишься не за себя, то, может быть, нам, поскольку Л., неровен час, докажет свою правоту, лучше прекратить работу?»

В ответ на это я напомнил наш разговор в то утро, когда мы пришли к единому мнению, что Л. ведет нечестную игру. Правда, тогда я ему ни слова не сказал об Л.

«Ты играешь в покер? — спросил директор и добавил: — Насколько мне известно, тот, кто передергивает карты, неизбежно проигрывает».— «Не всегда так,— возразил я.— А если партнеры дрогнут?» Он посмотрел на меня и спросил: «Чего ты боишься?» — «Того, что этот человек создаст против нас определенное мнение и этим навредит нашей работе...» Он разозлился: «Чего ты добиваешься? Чтобы я избавил тебя от необходимости бороться за свою правоту, когда борьбу эту обязан вести каждый? И забудь историю с тем человеком. Что бы он ни делал, у тебя неотразимое оружие против него — твоя работа».

Делеану — весь тут, со всей его беспощадной прямотой, за это я и полюбил его с первого дня нашего знакомства. Он умеет силой ясной логики добираться до самой сути вещей и говорить правду прямо в глаза. Меня никогда не обижала эта его манера, которую кое-

кто осуждал. Его, действительно, не назовешь любезным, но бестактным или грубым он никогда не бывает. И на этот раз он успокоил меня, я почувствовал, что все преувеличиваю, и мне даже неловко стало, что я вновь завел разговор на эту тему. Еще, чего доброго, Делеану подумает, что я хочу заручиться его поддержкой, словно он сам не знает, на чьей стороне правда.

Повторяю, я снова обрел покой, и дома не сказал тебе ни слова.

Пошлю тебе письмо в таком виде, как есть,— нужно бежать. У тебя все хорошо? Тихонечко спрашиваю: «Не поехать ли мне в будущее воскресенье все же в Брашов?»

■

Добрый вечер, учительница!

Только что вернулся с заседания партбюро, сегодня поздно кончилось. Трещала голова, и я решил идти домой пешком. На проспекте встретился с Йовановичем. Обрадовался ему. Ты знаешь, как я его люблю. Он никогда не унывает и умеет заражать своим весельем; вообще, поколение сорок четвертого года почему-то другое, чем наше. Только сейчас узнал, что ему уже тридцать восьмой год пошел. И тем не менее, кажется, что он моложе меня, хотя вряд ли у него была безоблачная и спокойная жизнь, ибо с сорок четвертого года он партийный активист и, если не ошибаюсь, добрый десяток лет беспрерывно работает на стройках; он приехал к нам из Бекаша еще в те времена, когда здесь было больше бараков, чем жилых домов, а завод только-только начали строить. «Что с вами? — спросил он.— Под глазами синие круги, как у ночного сторожа. Заметил на собрании, как вы экономили спички: прикуривали одну сигарету от другой». Я ответил, что в последние дни пришлось подналечь немного. «Но ведь дела идут хорошо, чем же вы недовольны?» — допытывался он. Я махнул рукой, дескать, цыплят по осени считают. Тогда он сказал, что я странный тип и любой пустяк принимаю близко к сердцу, как красная девица. Стоит кому-нибудь кашлянуть в министерстве, как у меня ангина...

Я оторопело посмотрел на него. Неужели это действительно так? Незаметно мы дошли до моста. На набережной красуются три блочных дома — один оранжевый, второй светло-зеленый, третий голубой. «Хороши наши коробочки, а?» — похвастал Йованович. Я сказал, что везде плохие дверные ручки. Он засмеялся и сообщил, что у себя дома уже раз тридцать чинил ручки. Мы говорили о всяких пустяках. Затем он пригласил меня выпить кружку пива. «Я тороплюсь»,— отказался я. «Женушка, наверно, ждет,— шутливо подмигнул он,— ну тогда спешите. А то еще, чего доброго, сбрехнете где-нибудь, что партийный секретарь разрушает семейное счастье».— «Жена уехала, у нее отпуск»,— сказал я и взглянул на него: не заметит ли, что я вру... «А почему вы в отпуске не вместе?» — спросил он и признался, что жена выцарапала бы ему глаза, если бы он один уехал отдыхать. Хватит и того, что он двенадцать лет колесит по стране — не успеют обжиться где-нибудь, как уже снова надо сниматься с места, живут, как бродячие циркачи, а тут — одна в отпуск...

Мы расположились на веранде нового ресторана. За одним из столиков сидела наша молоденькая лаборантка Эта. Ты бы не узнала ее, совсем переменилась за последнее время, подстриглась под мальчишку, покрасила волосы в пепельный цвет. «Столько женщин, похожих одна на другую,— сказал Йованович,— у всех одинаково светлые волосы, черные брови, словно по одному шаблону нарисованные под миндаль глаза, просто не знаю, как их не путают кавалеры...» — «Она работает у нас,— кивнул я на Эту и поздоровался.— А вы, я вижу,

тоже знакомы»,— удивился я, заметив, что и Йованович поздоровался с ней. «Еще бы,— сказал он,— каждый день атакует меня. Требует квартиру». Я удивился: «Ведь у них есть квартира. Хотят получить побольше?» — «Разве вы не знаете? — в свою очередь удивился Йованович.— Она разводится с мужем...» — «Впервые слышу. Но если даже и так, почему же она вас атакует?» — «Здесь-то и зарыта собака. Девчонка действует хитро, но меня не проведешь. Приходит ко мне и, вздыхая, сетует, что с мужем своим не может больше жить, поскольку не сошлись характерами и взглядами... И, обратите внимание, не вообще взглядами, а политическими взглядами!» — «Тут что-то не так»,— усомнился я. «Муж у нее примерный парень,— продолжал Йованович,— гнал бы к чертям эту гусыню. Если надумала — разводись, но зачем же беднягу помоями обливать? Он ничего не потеряет, а, наоборот, выиграет, если избавится от этой крали, к счастью, ребенка не успели еще завести...»

Обо всем этом я пишу так подробно только потому, что разговор мы начали с Эты, а кончили браком и разводом. Мне вспомнился тот вечер в доме Делеану, трактат Пети и многое другое... Я чуть было не рассказал обо всем Йовановичу, но передумал.

По дороге домой я вспомнил его слова на мой счет: стоит в министерстве кашлянуть... Неужели он прав? Во всяком случае, мне кажется, что сказанное Йовановичем имеет прямую связь с тем, что я собираюсь написать и непременно напишу тебе.

Как ты уже знаешь, я все-таки поехал в министерство. Ни слова не сказал тебе, с каким гнетущим настроением ждал я этой поездки, какие тягостные предчувствия терзали меня. Я опасался, что Л. тоже будет присутствовать при разговоре. «А что, если моих научных аргументов,— думал я,— окажется недостаточно, если в полемике понадобится и дипломатия, хитрость, чтобы отразить перекрестные удары? Я в этом не разбираюсь и в конце концов окажусь битым». Вместе с тем я не сомневался в нашей правоте, в том, что аргументы Л. взяты с потолка. И все же боялся. Тогда я объяснял это каким-то безотчетным страхом перед всякими интригами — это отчасти так и было, но сегодня мне ясно, что главная причина заключалась совсем в другом. Перед поездкой я нередко ловил себя на том, что настоящие наши аргументы подменяю всевозможными эффектными лжеаргументами, расписывая преувеличенные и приукрашенные перспективы, и понадобилось несколько дней внутренней борьбы, чтобы я отбросил их, считая зазорным для себя унижаться до обмана. Чувство стыда сменилось гневом, я возненавидел Л. Мне казалось: если бы не он, я бы плевал на все. Но это тоже было неправдой.

Выходил я из кабинета начальника отдела счастливым. Уже у него в кабинете почувствовал, как освобождаюсь от своей робости, приобретаю уверенность в себе,— меня понимают, значит, все в порядке. Первой мыслью было рассказать обо всем тебе, как только вернусь домой. В лифте я уже твердо решил забежать по пути в «Ромарту», где мне приглянулся красивый костюм из джерси, и проклинал себя за то, что не записал твой размер. (Да, кстати, наконец-то купил тебе туфли с узкими носами, они теперь появились и у нас в магазине.) На одном из этажей в лифт вошел Л.

Он оторопело поздоровался, хотя должен был знать, что меня пригласили. Я деловито пожал ему руку, теперь мне уже было плевать на него, но я его настолько презирал, что даже присутствие его не могло не омрачить моей радости. Меня так и подмывало поддеть его, но, разумеется, я сдержался. Ведь он все равно узнает, кто одержал верх, и пусть видит, что я считаю ниже своего достоинства хотя бы одним словом упомянуть о деле.

Л. сам заговорил о нем. Возможно, чтобы убедить меня в своей объективности. «Каковы результаты?» — спросил он. «Положительные»,— несколько вызывающе ответил я. «Рад за вас». И я не понял, была ли это насмешка или он в самом деле рад. А что, если он поступил так не по злому умыслу и все подозрения насчет коварной интриги — плод моего воображения? Я не удержался и спросил, на чем были основаны его аргументы. Мы уже вышли из лифта, и Л. поинтересовался, не Делеану ли поставил меня в известность обо всем. «Вы не ошиблись,— ответил я и добавил: — не вижу в этом ничего плохого».— «Так не принято».— «А еще лучше, если бы вы и мне изложили свои аргументы».

Мы вышли на улицу. Л. посмотрел на меня и с легким удивлением заметил, что я бы неправильно понял его.

Все было ясно. Значит, Л. заранее рассчитывал на то, что я могу обвинить его в неприязни, необъективности и предвзятости. Был ли он откровенным, чистой ли была его совесть? «Значит, я неправильно вас понял»,— сказал я.

Л. засмеялся: «Будьте осторожны, играть в откровенность опасно...» Затем спросил, обедал ли я, и предложил проехать к озерам, в ресторанах сейчас можно задохнуться.

Я согласился. Почему бы и нет? Авось, узнаю правду или скажу ему в глаза то, что думаю. Надо внести во все полную ясность. Разумеется, я чувствовал себя на коне.

Мы сели в такси. Помнишь, какая ужасная жара стояла в начале прошлого лета? Казалось, погода после многих дождливых лет вознамерилась сразу восполнить упущенное. Плавился асфальт, раскаленным воздухом нельзя было дышать. Но когда мы подъехали к памятнику летчикам, в окно ударил свежий ветер. Помню, глядя на кусты роз вдоль шоссе, я подумал: что бы ты сказала, если бы увидела нас вместе? А впрочем, что тут особенного? Можно ли всю жизнь клеймить человека, совершившего однажды дурной поступок? Может быть, он собирается поговорить со мной именно потому, что хочет покаяться в том, как поступил с тобой. Возможно, именно угрызения совести, мучительное сознание непоправимости совершенного привели его к необходимости доказать, в том числе и самому себе: все, что было,— быльем поросло, и не только потому, что прошло уже много времени и все изменилось, но главным образом потому, что сам он изменился.

Когда мы уселись за дальним столиком под тенистыми деревьями, я уже без всякой задней мысли смотрел ему в глаза. У меня было хорошее настроение, и я заговорил первым. «Раз уж я начал опасную игру в откровенность, буду продолжать. Зачем вы сказали Делеану, что проще и рентабельнее купить за границей лицензию?» — спросил. я. «Я высказал только предположение...» — «А на чем основано ваше предположение и знаете ли вы, что Делеану ездил в министерство навести справки о лицензии и ничего похожего не обнаружил?» — «Знаю».— «Зачем же тогда понадобилось, чтобы мы снова доказывали экономическую эффективность своей работы?» — «Вполне очевидно, если бы Запад опередил нас...» — «Очевидно... С этим вернулся и Делеану. Только на сей раз вполне очевидно, что мы идем впереди Запада. В этом министерство убедилось сейчас, и, как выяснилось, никогда в этом и не сомневалось. Весь сегодняшний разговор носил, скорее, профилактический характер, чтобы мы окончательно поняли...»

До сих пор он хранил спокойствие, но тут перебил меня и произнес голосом, в котором прозвучали нетерпеливые нотки: «Окончательно? Ладно, я тоже буду откровенен. Но поймите меня правиль-

но. По-моему, химическая промышленность для нас важна прежде всего как прибыльная отрасль. И мы никогда не достигнем мирового уровня, если будем изобретать порох. Мы располагаем такими сырьевыми ресурсами, что есть смысл закупать лучшую в мире технику, которая быстро окупится. Но пускаться в рискованные авантюры со всякого рода открытиями, транжирить колоссальные средства и человеческие силы на то, что нам могут предложить на мировом рынке и с помощью чего мы в короткий срок реализуем капиталовложения и получим немалую выгоду, это, простите, нелепо, это игра в науку...»

«Вы говорите сейчас не по существу,— возразил я.— Не надо делать вид, будто мы, не зная даже Бэкэленда, ломаем голову над применением смолы, получаемой из соединений фенола и формальдегида, и хотим изобрести, конечно, не порох, а бакелит. Вы возводите в абсолют то, что, кстати сказать, является исключительно разумным в нашей политике, направленным на развитие химической промышленности: быстро достичь мирового уровня. А его, по-видимому, можно достичь, лишь переняв лучшие достижения мировой науки и промышленности. Значит ли это, что мы должны отказаться от исследований и, в нашем конкретном случае, от создания нового искусственного материала и налаживания его производства, когда у нас имеется для этого индустриальная база?» — «Нельзя путать,— возразил мне Л.,— реальный потенциал нашей химической промышленности с ирреальными и, соблюдая правила игры в откровенность, я бы сказал, с честолюбивыми, карьеристскими мечтами. Что значит наша индустриальная база? Разве можно ее сравнить с западногерманской или американской? На их базе действительно можно пускаться в самые рискованные поиски».— «А Карозерс? По-вашему, он тоже зря потратил пятнадцать лет, прежде чем из воображаемых молекул полиамида получил нейлон?» — «Так ведь тогда не было современной промышленности искусственных материалов!» — засмеялся Л. «Вот, вот! — В моем голосе прозвучало нескрываемое удивление.— Без науки невозможен промышленный прогресс, и наоборот. Поражаюсь, что приходится напоминать вам прописные истины и тратить попусту время. Вы или шутите, или не соблюдаете правила игры. Почему вы не хотите говорить прямо, почему отвергаете нашу работу?»

Я еще не надоел тебе с этим Л.? Мне он тоже осточертел. Этот человек либо корчит из себя шута, подумал я, либо он полнейший профан в химии, если серьезно верит в то, что плетет. Я потому подробно описал разговор с ним, чтобы и ты убедилась, что иного пути узнать, какую цель он преследовал, затевая всю эту историю, у меня не было. Обед тем временем подходил к концу, и Л. велел откупорить уже вторую бутылку.

«Вы только что обвинили меня в карьеризме,— возобновил я разговор,— а вам не пришло в голову, что это, мягко выражаясь, оскорбительно?» — «Правилами игры обижаться запрещено».— «Да я, собственно, и не думаю обижаться. Я уверен в необходимости нашей работы, в том, что она полезна с любой точки зрения, в том числе и с народнохозяйственной. Но вы вряд ли и сами думаете так, как только что сказали. Вы краем уха что-то слышали о нашей политике промышленного развития и теперь подчеркнуто ратуете за это «что-то». Не знаю, чего вы хотите этим добиться, перед кем угодничаете, да это меня и не интересует. Но я убежден: вы просто из желания оправдать себя не хотите признать, что развитие научно-исследовательской работы — это тоже государственная политика».

Тут Л. попытался перебить меня, но я не дал. Хватит виляний, которые он выдавал за откровенность. Ты знаешь, что я не остановлюсь на полпути, не успокоюсь, пока не доведу начатое (пусть, как ты счи-

таешь, и необдуманно) до конца. Но на сей раз я продолжал говорить отнюдь не потому, что у меня накипело внутри, нет — теперь я был уверен, что нащупал истину. Я руководствовался не мимолетными, непроверенными впечатлениями — то, что я говорил, было итогом давних мыслей, продуманных еще дома.

«Не возражайте и не пытайтесь убедить меня в том, что вы согласны с этой политикой. Вы подходите к ней со своей меркой, крайне узкой и односторонней, чтобы оправдать в собственных глазах свое нежелание заниматься исследовательской работой, и это, разумеется, ваше личное дело. Сейчас вы скажете, что выполняете полезную работу в министерстве... Допустим. Но вряд ли может принести пользу то, что вы хотите вставить нам палки в колеса. Да это, как видите, вам и не удалось...»

Я, кажется, доконал его. До сих пор он держался высокомерно и уверенно, а теперь сник. Он наполнил бокалы, и я догадался, что он старается выиграть время. Взвешивая, идти ли ему дальше или ограничиться тем, что есть. Стыд и самолюбие, а может быть, изрядное количество выпитого вина, однако, заставили его заговорить. «Не думаю»,— сказал он быстро, делая вид, будто и не прикидывал, продолжать ли разговор вообще. Я видел, каких усилий стоило ему придать своему лицу надменное выражение. На какое-то мгновение это ему удалось. Но затем лицо его вновь отяжелело, словно он чем-то был удручен. Таким он и остался в моей памяти — я пристально наблюдал за ним.

«Значит, я все-таки правильно понял вас»,— сказал я. «Послушайте,— по слогам произнес он,— если вы рассчитываете на пятнадцать лет, как Карозерс, я не дам вам и двух — и вам запретят продолжать работу. Я постараюсь, чтобы было именно так».

Я промолчал. Мои подозрения оправдались. Я подозвал официанта и расплатился. Л. тоже вынул кошелек, но я не стал его ждать. Попрощался — никто из нас и не думал протянуть другому руку — и вышел на улицу Напротив ресторанного садика, недалеко от озера, есть троллейбусная остановка. От нее как раз в это время отходил троллейбус.

Однако наша встреча этим не захончилась. Л. вышел вслед за мной, когда я хотел было перейти на другую сторону. Изо всех сил стараясь не терять равновесия (вино, видимо, подействовало на него, хотя он и не совсем опьянел), он подошел ко мне, фамильярно взялся рукой за борт моего пиджака, пристально посмотрел в глаза и сказал, что мне тоже не во всем будет сопутствовать удача. Произнося слова «не во всем», он еще крепче ухватился за борт пиджака. «Уберите руку»,— сказал я тихо, но решительно, как разговаривают с пьяными.

Он оттолкнул меня. Чтобы не упасть, мне пришлось отступить. Кровь прихлынула у меня к голове, и, если бы он сделал еще хоть шаг, я бы ударил его. «Кланяйтесь своим домашним»,— произнес он и поклонился. И знаешь, в голосе его я не уловил ни малейшего признака издевки, лицо его снова отяжелело, и он показался мне печальным. Я вдруг почувствовал жалость к нему. И чтобы хоть как-то не проявить ее, быстро перешел на другую сторону и сел в троллейбус. До самого поворота я видел, как Л. неподвижно стоял у остановки.

Я в точности воспроизвел тебе все, как было, дорогая, ничего не опустив и не прибавив. Знаю, какой ты строгий критик, и потому, поверь, ничего не приукрашивал.

А теперь осталось отправить письмо. Я писал его два дня подряд вечером и в пять часов утра, как позволяло время. Сейчас половина седьмого, в открытое окно видны горы.

Дорогой старина!

Вот это да! Хоть мы и живем в эпоху ракет, но о таком быстром ответе я даже мечтать не мог.

Это не умно, Бела, отказываться ворошить вопросы интимной жизни. Ведь того, что ты, между прочим, логически предполагаешь, в действительности не было. Ты, однако, прав в том, что охлаждение между мужчиной и женщиной может быть не только следствием ослабевших или запутанных отношений, но и причиной осложнения этих отношений. Повторяю, ты прав, но все это к нам никак не относится. Любопытно, что наши наблюдения совпадают,— я тоже замечал, что подобные конфликты встречаются довольно часто, причем помимо объективных причин, составляющих небольшой процент (партнеры не удовлетворяют друг друга), чаще всего они возникают под влиянием субъективных факторов, то есть вследствие отсутствия культуры. Твое письмо напомнило мне теорию одного моего клужского приятеля насчет эмоциональной культуры. На мой взгляд, если под этим понимать воспитание чувств, то есть умение людей владеть своими чувствами и как можно дольше продлевать период истинного счастья и интимной жизни, то эта культура, безусловно, включает в себя и культуру половых отношений. Достаточно напомнить хотя бы о том, что эмоции многобрачия без этого невозможно нейтрализовать моногамной формой отношений. Более того, только благодаря этой (двойственной, но по сути дела единой) культуре объективная необходимость моногамии может стать субъективным жизненным принципом, то есть субъективной необходимостью. Впрочем, хватит философствовать. Тем более что счастье двух людей зависит еще от многого другого, как это подтверждает и наш пример. Что же касается второго вопроса, то ты совершенно прав, старина. С тех пор как я написал тебе последнее письмо, я и сам многое понял, и сейчас мне просто стыдно, что я выискивал и находил столько лазеек и оправданий, которые могли бы меня полностью реабилитировать. Ты пишешь, что я обюрократился. Возможно. Возможно, во мне говорило уязвленное самолюбие. Теперь уже не имеет никакого значения, сколько было ревности к Л., боязни, что в случае неудачи я опозорюсь перед Кати. Я и ее унижал недоверием, как не доверял и начальству. Всем своим последующим поведением я отдалил ее от себя, а что касается начальства, то мне хотелось любой ценой продемонстрировать быстрый успех. Работа наша от этого не пострадала, так как мы шли по правильному пути, и даже мое уязвленное самолюбие не могло направить ее в другое, ложное русло; даже моя лихорадочная поспешность не могла навредить ей, отчасти благодаря моим коллегам, а отчасти благодаря моей совести ученого. И к счастью, я еще не докатился до того, чтобы аргументировать ложными выводами,— просто я боялся.

А боязнь и творчество, как видно, несовместимы. Этот страх загубил наше счастье, ведь счастье двух людей в какой-то мере похоже на творчество — для того чтобы оно жило и развивалось, необходимы обоюдное чувство, энергия, взаимопонимание и преданность. Я же заботился только о себе — и это не могла не почувствовать Кати,— замкнулся, думал только об одном: работать и работать, все остальное может уменьшить шансы на успех. Кати перестала понимать меня, затем пришла в отчаяние и, наконец, разочаровалась. Ей ничего не оставалось, как бросить меня. Но ведь по сути дела я первый бросил ее. Всякое могло прийти ей в голову: должно быть, разлюбил или надоела, а может, и я такой же, как тот, первый. Она не хотела еще раз испытать то, что уже однажды пережила. (С тех пор как я стал одиноким, я не перестаю винить себя в том, что не боролся за нас

обоих, не замечал ее, жил только работой, только и делал, что твердил об усталости, раздражался по всякому пустяку... Возможно, она сама решила бороться именно тем, что ушла от меня? Или теперь она тоже думает только о себе, не рассчитывая на то, что может пробудить во мне стремление к самообновлению, которое поможет мне снова найти самого себя и найти ее?)

Между строк твоего письма я прочел еще один невысказанный вопрос: любила ли меня Кати? Но разве имеет какое-то значение то, что было в прошлом?! Ведь прошлые эмоции ни к чему не обязывают. Мне понятно, чем ты озабочен: не одиночество ли и тоска толкнули Кати на брак со мной? Думаю, старина, твоя озабоченность ни на чем не основана. Если бы она не любила, зачем ей было поступать именно так? Она и ушла потому, что любила меня и больше не могла выносить той атмосферы, которую я создал; но любит ли и сейчас, не знаю, да и откуда мне знать. А это так важно!

Ты спрашиваешь, как мои коллеги. Они заметили, что со мной происходит что-то неладное. Перед отъездом в Бухарест мне пришлось даже объясниться с директором и секретарем парткома. А когда я вернулся, один из нашей группы, Граф, как-то остановил меня по дороге домой. Я опишу тебе наш разговор — кстати, он рассуждает так же, как и ты. Разумеется, тогда я воспринял все это как попытку утешить меня, более того, обвинял всех в том, что они мирятся с интриганами как с неизбежным злом, а свою непримиримость, протест и возмущение я считал единственно правильными, законными, моральными и даже, если хочешь, революционными.

Граф начал так: «Я боюсь, ты опять скажешь, что я помешался на спорте...» (Так оно и есть. Теперь ему разрешается только удить рыбу, так как у него барахлит сердечный клапан, но когда я пришел на завод, он еще был капитаном волейбольной команды. Он знает результаты всех футбольных матчей сборной страны за последние двадцать-тридцать лет, рекорды и т. д. У него есть обширные выкладки, с помощью которых он пытается определить пределы спортивных возможностей). «Ну, а если это так и есть?» — сказал я. «Может, ты назовешь мне очень способного футболиста, который, получив подножку, начинает думать уже не о судьбе матча, а о том, как бы отомстить своему противнику?»

Я: «Что ты хочешь этим сказать?»

Граф: «Ты сам хорошо знаешь».

Я: «Значит, меня уже не интересует исход матча?»

Граф: «Я так не думаю, но тебя чересчур интересует та нога, которая подставила тебе подножку. Для тебя главное — отомстить...»

Я: «Это клевета!»

Граф: «Ладно, ладно...— Он улыбнулся.— Ты не подставишь ему подножку, не собьешь с ног в сутолоке, но создается такое впечатление, будто продолжаешь игру лишь для того, чтобы свести с ним счеты и наказать его».

Я, конечно, протестовал, опровергал, спорил, возмущался, как человек, которого не понимают или не хотят понять. Почему же меня не понимали? Как это могло произойти? Виной всему — тщеславие, таков мой окончательный вывод.

Вот так. Многое предстоит начать заново. Особенно отношения с женой. Еще раз благодарю за все... Бела, приезжай к нам — город так вырос и изменился, что ты его не узнаешь. Ключ и теперь найдешь у нашего соседа, доктора. Но обещаю, к вечеру вернемся домой не так, как в прошлый раз. Видишь, я оптимист, пишу во множественном числе. Твой эксперимент с метилцеллюлозой замечателен. Что ни говори, наши макромолекулы даже вам пригодились. Обнимаю тебя.

■

Привет, Катинка! Снова пять часов утра. Вчера вечером не писал тебе, был в гостях у Пири, они пригласили меня на ужин. Пири раскатала тесто, и мы до отвала наелись вареников с капустой. Жаль, что было мало вина, мне очень хотелось напиться. Пири с мужем собираются к морю, у них уже есть путевки, с двенадцатого августа. Господин доктор играл на флейте, судя по всему, они из-за чего-то поссорились; он ласкался к ней, как ручной барашек, и все норовил положить ей голову на плечо, но Пири не позволяла. Однако посплетничал и хватит...

Буду продолжать рассказ о том, что произошло.

Возвращаясь в поезде домой, я с горечью вспомнил о разговорах накануне моего отъезда. Стало быть, я не ошибся. Все мои аргументы казались неопровержимыми. У меня состоялись два разговора перед отъездом, передам по порядку оба.

Когда пришел запрос из министерства, Делеану вызвал меня к себе. В его кабинете я застал и Йовановича. Разумеется, я начал сразу с того, что напомнил о своем предостережении. Делеану одернул меня: «Прекратите, Килиан!»

На какое-то мгновение мне подумалось, что сейчас Делеану в присутствии Йовановича повторит все то, что я рассказывал ему об Л. Если бы речь зашла и о тебе, это было бы особенно для меня мучительно. Правда, Йованович не тот человек, который растрезвонит, и все же...

Разговор носил деловой характер. Оба они придерживались мнения, что министерство в конечном счете поддерживает нас. Делеану заметил, что я сомневаюсь в этом, и спросил: «Что это с вами опять, Килиан?» — «Ничего,— ответил я,— все-таки интриги — страшная вещь...» — «Вам нечего бояться»,— вступил в разговор Йованович. «Легко сказать,— возразил я.— Я только химик и в таких делах беззащитен...» — «В том-то и дело,— перебил Йованович,— что не только химик, но и коммунист...» — «Мы уже обсудили это, Килиан,— сказал Делеану,— все обстоит просто: дело решают факты. Если мы окажемся неправы, ну, значит, мы неправы». Я ни минуты не сомневался в том, что он не станет никого винить, скорее вместе со всеми будет искать ошибку. Он убежден в нашей правоте, но и не исключает возможность ошибки, и с этим надо считаться. «Возможность ошибки исключается»,— заверил я. «Превосходно! — засмеялся Йованович.— В таком случае победа за нами. Что же вам еще надо?..» — «Я скажу за него, Косинус (так называют Йовановича близкие знакомые и друзья),— проговорил Делеану,— он хотел бы, чтобы в Правительственном вестнике официально объявили его лабораторию запретной зоной...» В ответ я сказал, что это неплохая идея — по крайней мере могли бы убедиться в том, что наш друг, заваривший эту кашу, без боя не сдастся.

Й о в а н о в и ч: «Постойте, дорогой, вас послушать, так можно подумать, будто мы живем в дремучем лесу! В конце концов наверху тоже сидят не младенцы. Но предположим, этот чиновник будет и впредь мутить воду и сумеет убедить кое-кого. И тогда мир не рухнет. Если правда на нашей стороне, пойдем в Центральный Комитет, а докажут нашу ошибку — вы преспокойно вернетесь домой и...»

Я: «Но разве не ясно, насколько это недостойно — впустую тратить столько энергии».

Д е л е а н у: «Вы не правы, Килиан. Я понимаю, потрачены многие годы упорного труда, вы любите свое дело, и вам кажется, что кто-то грязной рукой марает вашу работу. Но зачем же терять голову?

Откуда такая неуверенность в себе? Я уже говорил вам однажды, что в этой борьбе вы не одиноки».

Я: «Знаю, но это не борьба, а какая-то подозрительная возня».

Йованович: «Погодите! Почему же не борьба? Что же это такое, черт возьми, если не борьба? Только вы хотите остаться в стороне. Я, дескать, химик, изобретатель, создаю материально-техническую базу социализма. Что вы еще хотите от меня? Никто этого и не отрицает. Если нужно, вас снабдят современным оборудованием, если нужна более просторная лаборатория — построят. Но как быть с карьеристами, которые стоят на пути? Кто уберет их с дороги?»

Я: «Но если я не разбираюсь в таких делах!»

Уже сидя в поезде, я мысленно снова спорил с ними. Решил промолчать о своей встрече с Л., все равно их не переубедить. Закрыв глаза, я видел их перед собой. Директор сидит, с его светлыми коротко подстриженными волосами, за письменным столом (позади него на полке в красном переплете «Химия» Ульмана). Звонят телефоны, он с усмешкой смотрит на меня, щурит глаза. Йованович расхаживает по кабинету, его худощавая, высокая фигура бросает на меня тень, когда он останавливается рядом и говорит: «Ну, все в порядке, старик?!» Все-таки обидно: они хоть и любят меня, но не хотят понять. Видимо, мне одному придется вести борьбу.

Я вышел покурить в тамбур. Вспомнил свой разговор с Норой. Живо представил ее себе: она сидит в лаборатории в белом халате, вокруг нее хаотический беспорядок — в тигле окурки, в пробирке цветок, в колбе кофе. Нора рассказывала, что в плоештской школе для девочек она во всем слыла первой ученицей. Никогда не зубрила, просто была прилежной, как все девочки. Помнит еще одну девушку, по прозвищу Дикси. Дикси завидовала ей, она была красивее Норы, все мальчики готовы были бегать за ней. Но она всегда была второй ученицей. Норе нравилось, что она побеждает свою соперницу, она даже бравировала этим. «Вторая ученица» постоянно ябедничала на нее по всякому поводу: за подсказки, за то, что после десяти часов вечера ходит с мальчиками по городу, одним словом, не оставляла в покое, но она не обращала на это никакого внимания. Я понял намек Норы. «Все вы лезете в примерные»,— сказал я. «А ты все-таки выслушай до конца»,— продолжала Нора. Так случилось, что ей не повезло на выпускных экзаменах. Влюбилась, не до занятий было, не тем голова занята. Дикси стала первой, она — шестой. Подсев к ней на банкете, Дикси принялась утешать ее. А Нора смеялась. И мне намекала: мол, смейся и ты. В ту пору она еще не знала, чего хочет от жизни, и все же смеялась. Но она уже тогда понимала, что той цели, которой хочет добиться Дикси, ей мало. Смейся же и ты, намекала она, не терзай себя. Вот увидишь, все будет в порядке.

А я твердил свое. И Норе сказал примерно то же, что и остальным. Но она тоже со мной не согласилась. И тогда я спросил у нее: «Стало быть, по-твоему, нужно мириться с тем, что в то время когда ты работаешь, другие ломают голову над тем, как бы выдернуть из-под тебя стул?» — «Какой стул? — спросила Нора.— Формулу нового вещества никто не сможет выдернуть из наших мозгов. Единственное, о чем стоит говорить: мы можем ошибиться. Работа, правда, продвигается успешно, в этом ни у кого нет сомнений. Однако не исключено, что она недостаточно увязана с народнохозяйственным планом. Нет, ты погоди,— остановила меня Нора, заметив, что я собирался перебить ее,— я тоже не верю в это, но не считаться с такой возможностью нельзя. А вдруг именно так обернется дело? Но даже и в этом случае не будем думать о худшем...»

Я: «Нет, будем, уж если вы все считаете козни карьеристов нормальным явлением, а нашу ошибку — вполне вероятной».

Нора: «За что ты так зол на людей? За то, что они принимают жизнь такой, какова она есть?»

Я: «Вы все принимаете как должное, со всеми соглашаетесь!»

Нора: «Не думаю. В чем-то ты ошибаешься, Тиби. Привык к яркому свету, и малейшая тень тебя пугает. Не знаю точно, но полагаю, твоя ошибка в том, что тебе кажется, будто рушится мир, в то время как ничего особенного не происходит. Создается впечатление, что тобою движет не только моральный протест, а еще что-то, что выводит тебя из равновесия...»

Я: «Но разве наша жизнь не была бы намного содержательнее и лучше, если бы не было такого свинства?»

Нора: «Кто знает! Даже наверняка была бы лучше. Но не забывай, что идеальной чистоты можно добиться только в лабораторных условиях».

Интересно, что бы сказала Нора, если бы знала содержание моего разговора с Л.? Эта мысль неотступно преследовала меня в тамбуре вагона, и вдруг я вспомнил, как ты мне тоже однажды сказала, когда я вспылил дома из-за какого-то пустяка: «Почему ты реагируешь так, будто случилась непоправимая беда?» Тогда я грубо ответил тебе, что ты вообще меня не понимаешь. Но ведь никто и не может меня понять, ведь никто, кроме Делеану, не знает о наших взаимоотношениях с Л.

Я вернулся в купе, решил лечь спать, забыться. Но это мне никак не удавалось — мозг сверлил один и тот же вопрос: почему болтал Л.? Он пригласил меня обедать, очевидно заранее предполагая, о чем пойдет разговор. Болтал спьяну? Вряд ли. Он что-то знает или на что-то рассчитывает. Не удивляйся, что, несмотря на решение министерства, меня больше всего интересовала угроза Л. Такие люди способны на все. Он будет брать на заметку все наши ошибки и раздувать их. Это одно. Второе — он рассчитывает использовать против нас время Стало быть, надо сделать так, чтобы время работало на нас. У меня оставалось только одно оружие — ускорить темпы работы.

Много размышляю я над тем, в чем допустил ошибку. Ведь по сути дела на интригу Л. я ответил более интенсивной работой — и в этом нет ничего плохого. Но беда в том, что моя работа в значительной степени утратила подлинный смысл. Мы часто говорили с тобой, дорогая (теперь я с невыразимой тоской вспоминаю те разговоры), о том, что с такой силой влечет меня к работе. Я говорил — это убеждение сохранилось у меня еще со студенческих лет,— что все то, что наше поколение усвоило со школьной скамьи, что я еще двенадцатилетним мальчишкой видел вокруг себя, о чем и раньше кое-что слышал у нас в Лупени (но, конечно, осмыслил все позднее) и что мы называем преобразованием мира,— все это самым непосредственным образом ощущается в моей работе. Я знаю, у нас это составляет суть любой работы, именно так социализм возвращает труду его подлинный смысл: ведь труд — это победа над материей, а социализм и обеспечивает условия для того, чтобы эта победа получила общественное значение. Но химия искусственных материалов — сама по себе творчество: создавать новые материалы, вносить коррективы в творения природы, более того, делать ее разнообразнее и богаче, получать нечто такое, чего она сама не может дать (это возможно в наших условиях, когда техническая революция становится органической частью социальной революции),— это замечательно! Было бы неверно утверждать, будто человек ясно осознает все это, но творческое начало какими-то путями проникает ему в душу, формирует его сознание. Так

вот, именно это мое сознание претерпело изменения, поэтому я говорю, что моя работа утратила свой главный смысл. Я неустанно думаю о том, что будет со мной, если я потерплю неудачу? Будут ли доверять мне и впредь? Дадут ли новую работу в области экспериментальной химии?

Меня жуть берет при одной мысли, что было бы, если бы ты не остановила меня. Ведь теперь я знаю, что ты меня остановила. Тем, что ушла. Конечно, ты могла бы и не уходить, а как-то иначе уладить наши дела, впрочем, теперь уже говорить об этом поздно. Скорее всего после этой работы я, греясь в лучах полного успеха, взялся бы за какую-нибудь безделицу, за что-нибудь такое, что сулит сравнительно быстрый успех, который, разумеется, был бы замечен,— всего лишь ради того, чтобы избежать конфликтов, чтобы не болела голова, чтобы меня любили и уважали.

Как я дошел до жизни такой? Ведь все — правда, каждый по-своему — предупреждали меня. Я был тщеславен. Тщеславен и по отношению к тебе — к тебе особенно, как бы я ни тешил себя тем, что из такта и любви не хотел ничего говорить тебе. Нет, это не было недоверием, мне просто было стыдно признаться тебе, что я боюсь Л. Впрочем, тогда я и не хотел признаться в этом, выдвинув аргумент, что боюсь-де за исход нашей работы.

Теперь ты знаешь все.

Сможешь ли простить мне то, что я так отдалился от тебя? Веришь ли ты мне? Вот вопрос, с которым я ложусь спать и встаю, и если ты хоть немножечко любишь, не покидай меня. А надежда на то, что ты меня любишь, во мне не угасла. Помнишь — это было всего два месяца назад,— какой радостью светились твои глаза, какая счастливая улыбка озарила твое лицо. Не бойся слов — что поделаешь, кроме них у меня ничего не осталось,— признаюсь, вспоминая о твоей радости, я чувствую себя счастливым. Я мог бы писать о бессонных ночах, о гулкой тишине в квартире, но мне, как старикам (теперь я начинаю понимать их), лучше всего запомнился уютный беспорядок в комнате, тропинка на берегу Ойтоза, школьный зал, сутолока на главной улице; и всюду я вижу твое озаренное счастьем лицо с сияющими радостью глазами, с улыбкой на устах...

Сейчас я мог бы написать, что это я омрачил твое чело и стер с лица улыбку, и это действительно было бы банально. Но я отдаю себе отчет в том, что пишу. И если бы ты тоже поверила мне, тогда стиль, слова и фразы ничего бы не значили. Целую тебя.

■

Доброе утро! Вкратце расскажу сон.

Мы оба на каком-то космическом корабле, но не в одноместной кабине, в какой летали Гагарин или Титов, а в большой межпланетной ракете летели не то на Марс, не то на Венеру — точно не помню, да это и не важно.

В космическом корабле много людей, но что интересно — ни одного знакомого лица, хотя мы знали каждого. Я работал не химиком, а занимался какими-то другими научными исследованиями. Ты преподавала в школе, созданной на космическом корабле,— с нами летели двадцать или тридцать детей.

На нас были не герметические костюмы, а летняя одежда — на мне косоворотка, на тебе — легкое ситцевое платье. Так мы сидели в саду корабля, где небольшие кусты, зеленая травка и несколько клумб имитировали земной парк, позади была оранжерея.

Мы беседовали.

Отчетливо помню: обиженным, раздраженным тоном я упрекал тебя в том, что не смог найти тебя в Брашове, где была назначена наша встреча и откуда мы должны были отправиться на космодром. Затем я и впрямь жду тебя у Черной часовни, смотрю на свои ручные часы, вбегаю к вам — твоя мать говорит, что ты ушла десять минут назад, и я мчусь обратно. Постепенно смеркается, вокруг часовни тишина, на небольшой площади гулко отдаются мои шаги, в школе напротив звонит звонок, и площадь мгновенно заполняется детьми, уже и преподаватели расходятся, а тебя все нет. Может быть, ты ждешь в учительской, думаю я, спешу туда, но тебя нигде нет. Наконец, сталкиваюсь с директрисой. «Но ведь она взяла отпуск»,— говорит директриса. Бегу на станцию в надежде найти тебя там, ведь скоро отходит наш поезд...

Обо всем этом я собирался рассказать тебе там, в саду космического корабля, и уж точно не помню, но, кажется, рассказал. Во всяком случае я снова все увидел и, сидя на скамье, с недоумением смотрел на тебя. Хотя мы уже давно в пути, мне все не верится, что мы вместе. Я спросил: «Можешь простить?» — «Это невозможно»,— с грустью ответила ты... «Я не предам тебя, как тот, другой»,— сказал я и попытался тебя обнять, но ты не позволила.

Ты: «Я поверила тебе, а ты оставил меня одну. Другой, по крайней мере, просто ушел, а ты обрек меня на одиночество и вместе с тем остался со мной. Нет ничего ужаснее одиночества вдвоем».

Я: «Но ты все же здесь».

Ты: «Это ничего не меняет. Я не могла отказаться от полета. Ты ведь знаешь, я уже давно дала согласие лететь...»

Я: «Мы оба дали согласие».

Ты: «Ты давно забыл об этом и полетел только потому, что испугался пересудов, если бы отказался от полета».

Глаза твои стали серыми, сросшиеся брови нахмурились, на лице снова появилось суровое выражение — следствие болезненной внутренней борьбы.

Я: «Еще не все потеряно. Ведь и в самом деле не поздно. Я никогда не забывал своего обещания. Веришь?»

Ты: «Не знаю...»

Я: «Ты не сможешь больше сбежать от меня в Брашов. Теперь мы здесь вместе, и так будет всегда. На земле мы можем сбежать друг от друга, но здесь, видишь, и в самом деле нельзя жить без эмоциональной культуры».

Ты: «Ты остался со мной и все же убежал от меня. Сейчас я здесь с тобой, но к тебе я не вернулась. На земле... На земле или здесь—безразлично. Потому что мы заперты вместе? Потому что нет станции, где бы можно было сойти?»

Я: «Полет продлится сорок лет».

Ты: «Эмоциональная культура? Сорок лет жить друг с другом без того, чтобы жить друг для друга?»

Я промолчал. Я сидел рядом с тобой на скамейке и смотрел на зеленые побеги, на клумбы. Потом вдруг все исчезло, мы очутились в своей квартире, в космической квартире. В ней все так, как обычно было у нас: красная скатерть на кривоногом столе, на эллипсообразном сервировочном столике (помнишь, как мы хохотали, когда узнали в магазине, что он называется «бубинго», и несколько недель так называли друг друга) маленькая статуэтка, радиола в углу — к чему перечислять все? Ведь ты еще не забыла, в конце концов сама обставляла квартиру, я только купил шторы... Хватит об этом. Какой ужасный беспорядок. Я расхаживаю по комнате, смотрю на часы — они стоят,

времени уже нет, кто знает, как давно я жду тебя? В ванной комнате я бреюсь перед зеркалом, волосы у меня уже седеют, под глазами мешки, лицо все в морщинах. Полосатое полотенце, которым я пользуюсь после бритья, висит на вешалке, я вытираю им лицо. Зову тебя. Наспех одеваюсь и бегу в сад, сажусь на скамейку. Кто-то присаживается рядом.

«Кати!» — кричу я.

Это была не ты.

Я проснулся.

Было ровно пять часов. Встал, открыл окно. Закурил. Пошел на кухню сварить кофе. Затем сел писать. Сижу за столом, и мне вдруг вспомнился, не знаю почему, один наш вечер. Мы долго говорили о нем потом как о каком-то сне, может, он потому мне и вспомнился.

Помнишь, то была наша первая зима. Шел дождь со снегом. Возвращаясь домой из кино, мы шли, спотыкаясь, обходя рытвины. Дождь перестал, земля похрустывала у нас под ногами. Подмораживало. Ты озябла, я обнял тебя, и так мы шли дальше. Свернули в ту улочку, где тогда стояли еще деревенские дома (на днях я был в тех краях, улица заново отстроена, даже магазины открыты), из-за дощатого забора на улицу свисали ветви какого-то дерева. Капли дождя замерзли на густых ветках, казалось, дерево, вопреки зиме, зацвело — так сверкали на нем замерзшие капли дождя. Мы стояли под деревом, ветер заколыхал ветки, и дерево зазвенело тихим, но чистым перезвоном колокольчиков. Мы стояли как зачарованные и слушали.

Пожалуй, теперь мы бы и не заметили то дерево, не обратили бы внимания на его зимний убор, торопливо прошли бы под ним и не услышали перезвона колокольчиков. Но мы все-таки должны начать заново. Почему ты не отвечаешь? Может, сегодня то дерево показалось бы нам нелепым — это я его сделал нелепым. Но, по-моему, не все еще потеряно. Теперь я уже знаю, какую совершил ошибку. И следовало бы не начинать заново, а продолжать с той точки, где я однажды остановился. Я еще могу вернуться туда. Нет, под то дерево уже трудно найти дорогу, для этого нужно быть моложе. Но зато в зрелом возрасте любовь может быть уже настоящей, осознанной.

Мне необходимо, чтобы я тебе был нужен. Возьмешь ли ты меня снова? Теперь ты уже должна ответить.

■

Дорогой отец!

Давненько я не писал вам, живу хорошо, здоров. Много всего накопилось за это время. С чего же начать? С плохого вроде бы не хотелось — да ничего дурного и не произошло, разве только... Видите, хожу вокруг да около, нелегко мне писать об этом.

Словом, с Кати, вернее со мной, произошла беда: я все испортил. Но не думайте, никакого мужского греха на мне нет, дело в другом. Из тщеславия я создал дома обстановку, которую она не могла вынести. У меня сейчас такое душевное состояние, что не успокоюсь, пока не внесу во все полную ясность. Я ставил себя превыше всего, и, как ни крути, это больше, чем тщеславие, то есть одна из его худших форм — эгоизм.

Как все получилось? Не всегда это зависит от душевного склада и характера, все имеет свою историю. Потому я и пишу вам, отец, чтобы знать, правильно я думаю или нет.

Иногда счастливые случайности идут во вред человеку. Нечто подобное произошло и со мной. Я уж не буду говорить о том, что мне без всякой борьбы удалось получить образование. Хотя, кто знает,

может быть, все началось с того, что мне слишком легко доставалось все на свете. Ну ладно, допустим, ребенок не понимает, что все блага, которые он получает, добываются трудом и борьбой других. Но я не забыл о нищете в Лупене, помню и о войне, а теперь уже знаю, что все причитающееся мне — это, собственно говоря, историческое завоевание класса. Это часто забывают, именно вследствие счастливых случайностей. Счастливой случайностью оказалось и то, что вы, отец, с самого начала руководили моими домашними занятиями химией, что мой учитель сразу обратил внимание на меня, что в лаборатории шахты работал наш хороший сосед, дядя Дрегуш — одним словом, с самого начала я отовсюду получал помощь и поддержку. И так продолжалось всю мою жизнь. Был бы я менее способным, не таким сообразительным и прилежным, мне бы в большей мере пришлось ощутить хотя бы бремя учебы. Вы, отец, могли бы быть пенсионером, имеющим возможность лишь скромным заработком дополнять мою стипендию, чтобы я хоть немного испытал трудности в жизни. Я мог бы после государственных экзаменов попасть на такой химический завод, где бы не велась научно-исследовательская работа, и мне пришлось бы добиваться перевода, годами ждать, тогда, по крайней мере, узнал бы, что в жизни не все идет без сучка и задоринки. Но произошло обратное. Я понимаю, все эти счастливые случайности могли произрасти на хорошо возделанной и удобренной почве, но мне-то слишком легко давалась жизнь, слишком быстро я добивался во всем успеха. Потому-то я и склонен был преувеличивать свои исключительные способности и считать естественным этот безмятежный, беспрепятственный ход жизни.

Когда я впервые стал подвергаться нападкам, то вместо того, чтобы обратиться к тем, кто мог помочь и поддержать меня, я замкнулся. Эгоизм тоже имеет много разновидностей. Ребенок тоже эгоистичен, когда норовит раньше младшего брата получить кусок повкуснее. Я не нуждался в чужом, мне ничего не было нужно, но я видел только себя, только о себе заботился. Враждебный выпад настолько возмутил и оскорбил меня, я считал его таким несправедливым и незаслуженным, что потерял голову. Меня снедала одна мысль: как я жалок, в каком унизительном положении могу оказаться, и я решил во что бы то ни стало не допустить этого — все что угодно, только не оказаться побежденным! Страх возможного позора день и ночь преследовал меня. Страх усиливался тем, что я чувствовал себя одиноким, лишенным друзей, хотя они были рядом со мной, в том числе и Кати.

Не потому я пишу вам это, отец, что хочу в чем-то вас упрекнуть. Во всем я виноват сам, даже в том, что был избалован жизнью. Я не должен был утрачивать чувства меры — ведь только тогда кончается детство и начинается пора возмужания, когда ты начинаешь осознавать свою роль и место в жизни и среди людей. Вы мне еще в детстве прививали чувство солидарности, как видно, я нетвердо усвоил урок. Между тем солидарность означает: ты один из многих.

Но вы, отец, конечно, не можете не знать, что я все же никакой не отщепенец. Легкий успех вскружил мне голову, я вел себя неправильно, но не такой уж я неисправимый. Сейчас жена открыла мне глаза на правду, и я не вправе предстать перед ней с одними обещаниями создать ей человеческую жизнь.

Напишите, что вы об этом думаете, отец, но не делайте мне, как своему сыну, никаких скидок,— напишите всю, какой бы она ни была, правду, ибо речь идет сейчас о жизни двух людей. Может, это по-детски наивно, но я знаю, вы прекрасно поймете меня: я не погрешу против истины, если скажу, что мои слова продиктованы не только

раскаянием, когда я с уверенностью говорю Кати, что все можно еще наладить.

Я ее очень люблю, потому и не хочу обманывать. Мужчина не застрахован от заблуждений и ошибок, но если спутница жизни не сможет согреться даже у огня его человечности, то пусть такой мужчина убирается к черту.

Теперь вы знаете, почему я так удручен. Не показывайте мое письмо маме, я даже не напишу свое имя на конверте. Она слишком близко примет все к сердцу. Как вы живете, здоровы ли? Обнимаю, любящий вас...

■

Дорогая!

Помнишь, в одном письме я писал тебе, что не верю в самопроизвольное изменение чувств. С тех пор как ты ушла — да и самим фактом своего ухода,— ты прямо-таки принудила меня искать причину. Конечно, человек склонен искать причину неудач в ком-то и в чем-то другом (не обязательно в другом человеке, но во всяком случае не в себе самом). Если бы мы обладали способностью постоянно осознавать свои ошибки, мы просто не совершали бы их. Случается, хотим мы того или не хотим, что складывается новая ситуация и требуется некоторое время для того, чтобы самооправдание стало самопроверкой. Вначале мне было чуждо это, но в конце концов я не смог уклониться от самоанализа. Отнюдь не хочу ставить его себе в заслугу, не хочу хотя бы уже потому, что твое упрямое молчание, по сути дела, вынуждает меня к этому.

В одном из своих писем я обещал написать тебе, что сказал в тот вечер Делеану, выслушав Пети. Между прочим, некоторое время я полагал, что директор оправдывал меня. «Я со многим согласен,— сказал Делеану после того, как Пети закончил говорить и разгорелся жаркий спор,— но Кирай в чем-то глубоко неправ. Я не хотел бы, чтобы он понял меня превратно, но его заблуждение имеет буржуазные корни. Между прочим, счастье он видит исключительно в счастливой любви...» Пети перебил его, сказав, что он говорил о браке, о совместной жизни двух людей. Делеану продолжал: «Но ведь эти два человека не только вместе живут, они к тому же еще и работают! Труд в буржуазном обществе имеет слишком мало общего со счастьем. А в нашем? Ошибочно представлять дело так, будто счастливая любовь и есть само счастье. Я не хочу утверждать, что люди должны быть влюблены в свою работу, но верить в то, что счастливая любовь решает все, что бы ни происходило в мире, считать, что дома ты хозяин, дома тебя любят, дома ты делаешь все, что хочешь, потому что здесь тебя понимают и боготворят,— значит питать буржуазные иллюзии. Это — бегство от жизни». По его мнению, тот, кто сегодня отработает кое-как восемь часов, не стараясь найти в работе личного удовлетворения,— тот напрасно торопится после нее к своей жене или мужу, надеясь получить от любви все, чего не сумел найти в труде. Конечно, нельзя распространять это на всех, ведь каждый человек — свое уравнение с одним неизвестным, но он уверен в том, что значительную часть неудачников в семейной жизни составляют те, кто то и дело меняет любовниц или любовников, кто каждую весну разводится, и делает все это потому, что ждет от любви чего-то такого, что могло бы восполнить упущенное в другом месте. Они, разумеется, разочаровываются то в одном, то в другом, им все кажется ненастоящим, тогда как настоящее рядом,— беда только в том, что для

их неистраченной энергии, неудовлетворенных запросов этого мало, слишком мало. Ибо человек действительно рожден для полного счастья, и это все понимают — пусть смутно, безотчетно, но все же понимают. Он повторил, что сказанное им нельзя распространять на всех: он знает прекрасных работников, семейная жизнь которых сложилась неудачно. Но это частный вопрос. Поэтому он и начал с того, что во многом согласен с Пети...

Спор продолжался, дядя Мафтей тоже приводил всякие доводы, каждый ссылался на различные случаи. Это не столь важно. Пети во всем согласился с Делеану, мотивировав тем, что он понимал эмоциональную культуру как часть социалистического сознания, то есть как нравственно-эмоциональную интеллектуальность человека, живущего в коллективе, а существование последнего без первого немыслимо.

Позже, когда ты меня бросила, слова Делеану стали для меня важнейшим аргументом самооправдания. Вначале я высокопарно ссылался на свою работу, полагая, что если из-за нее я и пренебрегал тобой, то ты должна была это понять. Между тем ссылаться на слова Делеану я не смел, поняв, что в чем-то моя логика неубедительна. Долго я не хотел отбрасывать мысль, что все-таки ты виновата в том, что произошло, что твоя жажда счастья не могла примириться с создавшимся положением, тебе было мало того, что ты получала от меня, ты считала себя обманутой и разочаровалась. Правда, ты любишь свою работу, но меня ревнуешь к моей. Борясь за свое полное счастье, ты готова свести на нет мое. Одним словом, я считал тебя эгоисткой.

Теперь моя несправедливость причиняет мне боль. Куда легче конструировать теории или ссылаться на них, вместо того чтобы считаться с фактами, с грубой действительностью. Делеану, конечно, прав, но я его всеобъемлющую истину приспосабливаю к своим уродливым и, по правде говоря, эгоистичным лжеистинам, точь-в-точь как Л., только наоборот — он частную истину намеренно трактовал как всеобъемлющую.

Прикажешь привести факты? Но я только этим и занимался в своих последних письмах. И все же должен еще кое о чем рассказать. Я искренне верю, что все скрывал от тебя из такта и любви — и все из-за Л. Но где-то в глубине моего сознания затаилась истина: я боялся потерять тебя. Сможешь ли ты понять, что человек и при всех своих ошибках способен любить? Только такая любовь тебе не нужна — и ты права. Права? Твоя любовь не похожа на мою, она не терпит компромиссов, ты хотела и впредь иметь все или ничего, поэтому не могла вынести моей половинчатости, замкнутости, моего эгоизма. Знала ли ты, что происходит со мной, или только догадывалась? Все равно. Кто любит, тот и по мельчайшим, незаметным для постороннего глаза движениям любимого знает, что его мучает, что творится в его душе. А я слепо взирал на перемены в тебе и мне даже в голову не приходило, что я могу быть причиной твоего вновь наступившего упорного молчания, усталой задумчивости, апатии. И тем не менее я любил тебя, в моих мыслях ни на мгновение не появлялась другая женщина, другая жизнь, жизнь без тебя — я безраздельно принадлежал тебе, по крайней мере так мне казалось. Конечно, это подавлялось другими заботами и неприятностями, доведенными тщеславием и эгоизмом до крайности. Но ведь ты никогда не любила признаний. Я знаю, тебя угнетало не то, что я приходил домой усталый и раздраженный, что мы месяцами не ходили ни в кино, ни в гости, не ездили за город и даже отпуск не могли проводить вместе. Тебе недоставало не любовного ле-

пета и воркования, а той половины моих забот и неприятностей, которые причитались тебе согласно солидарности в любви. Если б я мог хотя бы тем себя успокоить, что оберегал тебя! Хотя и то было бы не чем иным, как глупостью и тщеславной позой, но все-таки не эгоизмом.

Пойми: я привык, что ты есть на свете, что ты живешь, существуешь, принадлежишь мне, уже сложился привычный ритм нашей жизни, нет нужды прилагать новые усилия, чтобы поддерживать его. И тем временем все постепенно испортил.

Больше ничего не скажу.

Да и о чем писать еще? Снова обещать тебе иную жизнь? Однажды я уже обещал и, по-моему, кое-что выполнил из своих обещаний. Но на самом деле получилось совсем не так: мы обещали друг другу то, что обещали. А в конечном счете я получил от тебя больше, чем дал сам. Ибо ты отдала мне не только свою любовь, свое тело и свои мечты, одарила меня не только полным доверием, но и справедливостью — она проявилась в том, что, когда я отдалился от тебя, ты не согласилась на компромиссную жизнь.

Но на что мне справедливость без тебя? Это уже не аргумент: я люблю тебя и знаю — ты тоже любишь. Так по-разному можно любить и так по-разному несчастливо можно жить. Напрасно мы пытаемся выдвигать теории о счастливой любви, так мы можем ухватить лишь крупицу истины. Твоя истина конкретна, ибо ты требуешь от любви человечности. Без этого действительно незачем двум людям жить вместе, без этого нет смысла жить.

■

Дорогая моя!

Наконец-то получил ответ, спасибо. Я знал, что когда-нибудь он придет, ждал и боялся. Прочитал его бессчетное множество раз и не знаю, с чего начать писать тебе. Загадывать, что сулит будущее, или оглянуться назад?

Я ни в чем не виню тебя: за тобой был один грех, как ты сама признаешь,— твое молчание. А Корделия не стала бы молчать, если бы имела дело не с величественными грехами и капризами Лира. Теперь я уже все понимаю: ты не хотела дожидаться, пока я совсем не испорчусь, пока совсем не загублю наше счастье. Я не имею морального права на это, но все же устанавливаю как простой факт: ты и сама отреклась от всего. Да, да, тем, что ушла. Это удобнее и легче всего. Ты не хотела примириться, да и нельзя мириться, потому-то я и прошу тебя: возвращайся. Зову тебя не потому (цитирую твои слова), чтобы научиться культурно скучать, в меру, как это подобает цивилизованным людям, ссориться, постепенно стареть. Ты права, это не жизнь.

К чему обязывают нас наши чувства? (Как приятно, что я снова могу писать во множественном числе!) Думаю, к взаимопониманию и ни в коем случае не к компромиссам. Я все преувеличивал, так как был слаб, потерял голову: не важно, был ли на самом деле Лаци (ты права, я из суеверия не называл его имени) карьеристом или нет, хотел ли он меня подсидеть или нет. Существенно то, что я сам вел себя почти как карьерист. Не собираюсь оправдывать Лаци (снова все преувеличив). Но свою собственную ошибку я вижу ясно и не оправдываю себя. Не только не хочу, но я уже и не смог бы жить так, как в минувшие полтора года. Ты права, мне совсем не нужно делать выбора между тобой и работой.

К чему обязывают нас наши чувства? К тому, чтобы мы не позволяли им угаснуть. Культура — это то же самое, что обработка. Мы должны осмелиться пользоваться ими, видеть их подлинную ценность и значение. Нельзя приносить их в жертву глупости. Этому я научился. Люблю тебя больше, чем когда-либо. Пожалуй, это от страха потерять тебя. Придут серые будни, но я уже не боюсь их.

Ты пишешь, что нельзя начать заново то, что нами уже было испорчено. Надо начинать как-то по-новому, это я тоже знаю. Вначале нас согревала радость, что мы встретили друг друга,— так всегда бывает. А теперь? Нас согревает то, что мы знаем свои слабости, свои недостатки и, несмотря на них, вопреки им, все же можем любить друг друга.

Ты права: для несчастливой жизни нужны силы. Знаю. Те, кто любит друг друга, должны победить, даже если они несчастны. Но, говорят, что несчастье — временное состояние. Давай и мы будем верить в это. Я жду тебя.

ФАЗЫЛ ХЮСНЮ ДАГЛАРДЖА

Перевод с турецкого и вступление ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА

Фазыл Дагларджа сейчас один из самых известных турецких поэтов, он переведен на многие языки, известен во многих странах. Поэт родился в 1915 году в довольно бедной семье. Чтобы получить бесплатное образование, окончил военное училище, о котором у него на всю жизнь сохранилось впечатление стойкого кошмара.

Говорят, он человек со странностями. Было бы более странно, если бы напряженно мыслящий человек не производил иногда странное впечатление. Обычно человек ходит, говорит, пьет кофе, сообразуясь с ритмами окружающей жизни. Поэт свою внешнюю жизнь невольно подчиняет ритмам своих мыслей, отсюда и впечатление странности для тех, кто не может видеть музыкальную линию его внутренней жизни.

Несмотря на огромную популярность, Фазыл Дагларджа, во всяком случае до самого последнего времени, избегал давать интервью журналистам. Странность? А может, уверенность, что все важное, что он хочет сказать, он говорит стихами, а о неважном он и не хочет говорить с читателем. Так что странность при ближайшем рассмотрении оказывается псевдонимом уважения к читателю.

Кстати, в нашей стране он охотно рассказывал о себе. Не слишком ли странно, особенно для тех, у кого не получился разговор с поэтом в Турции? Я думаю, этим мы обязаны опять же свободной воле поэта, а не упорству его собеседников. По-видимому, поэт счел возможным рассказать что-то о себе бледным языком прозы, раз стихи его еще не переведены на русский язык.

Судя по рассказам тех, кто его видел, в общении он мягок, спокоен, склонен больше слушать, чем говорить. По-видимому, общаясь с людьми, он отдыхает, а не самоутверждается, как это делают многие люди, и не только творческих профессий. Эти люди, мысленно закатав рукава, присаживаются за дружеский столик с твердым намерением теперь-то и показать, какие они поэты, какие они инженеры или общественные деятели. Фазыл Дагларджа с друзьями отдыхает, а работает так, как это положено серьезному человеку.

Недавно Питтсбургский университет наградил его своей премией, дающей возможность бесплатно поехать в Америку. Фазыл Дагларджа этой поездкой не воспользовался. Не будем гадать почему.

Независимость художнической совести — вот бог этого небогатого и немолодого человека, держащего книжную лавчонку на одной из улиц Стамбула, где он продает свои книги и книги других турецких поэтов. Время от времени в витрине его лавки появляется небольшой плакат с очередным стихотворением поэта. Эти короткие, в несколько строчек, стихи удивительно своеобразны и в то же время совершенно органичны для национальных особенностей мышления. Нередко они связаны и с самыми болезненными вопросами общественной жизни Турции. Иначе трудно представить, почему люди собираются у этой лавки увидеть очередное стихотворение поэта. Причем иногда приезжают сюда крестьяне из окрестных сел и просят кого-нибудь пограмотней переписать им понравившиеся строчки. Очевидно, лучшие из этих стихов играют роль правдивого градусника, еще теплого, только вынутого из-за пазухи страны.

Не так давно, когда президент Турции собирался вылететь в Америку, страну облетела неожиданная консультация поэта, данная президенту:

Не садись в их «голубой самолет»,
Каким бы голубым он ни был,
Оставайся на нашей черной земле...

Угрюмый совет поэта, разумеется, не остановил президента, но и призыв к независимости не пропадает, иначе бы стихи не облетели страну...

Работа — поцелуй

Всякая работа — поцелуй.
Огонь целует руки кузнеца.
Руки дерева —
Небо.

Красота и ум

Если поймешь,
Полюби меня.
А если красива,
Тем более пойми,
Сильнее люби.

Коронованная печаль

Голова петуха — коронована.
Голова вола — коронована.
У кого голова коронована —
Лишается головы.

Ум

Ум —
Тревожный глаз,
Не защищенный
Веком.

В бесконечности

Свет — радость. Дорога — радость.
Хлеб — радость. Ночь — радость.
Что бы там ни было,
Человек — это все-таки радость.

Ночь впервые

Птицы первыми замечают:
Там внизу
Вода превращается в ночь.

Маленький рассказ

Глядеть
Не хватало взглядов.
Плакать —
Очей не хватало.

То же

Увижу тебя — хорошо.
Не увижу — тоже неплохо.
Пью и тихонько старею.
Не пью — получается то же.

Голод света

Дни —
Половины
Огромного каравая:
Еще есть, что кусать.

Пополам

Свет —
Половина ночи.
А что, если мы
Другая половина?

Пусто, полно

Два — много.
Один — мало.
Как найти равновесие?

Две половины

Две половины есть у человека.
Одна уходит в черную землю,
Уносится в небо
Другая.

Караван

То ли покорность и рабство,
То ли терпенье любви
Сквозь тысячи лет проносят верблюды.

Еще темнее

Когда мир стал черней
Темноты слепых,
«Светает»,—
Сказали слепые.

После обеда

Вот теперь он наелся.
Теперь,
Если ты захочешь,
Он, пожалуй, может любить.

Одиночество

Три четверти мира —
Вода.
Я не могу быть только землей.
Я тоже на три четверти вода.

Умножение

Дважды два —
Четыре.
Я, помноженный на тебя,—
Бесконечность.

Резонанс

Кричу: — Эй!
Гора отвечает эхом.
Тишина —
Звучное эхо молчанья.

Существование

Родившись однажды —
Живем.
Однажды, думать начав,
Рождаемся снова,
Чтобы узнать,
Зачем родились в первый раз.

Стрела

Вылетела
Из лука какого-то предка.
Вот и ждем:
Не долетела еще.

Бесстрашный

Вы говорите — ночь?
Должно быть, слишком темно:
Я —
Не вижу ее.

Снизу вверх

Учитель неба —
Гора.
Самый старый орел —
Учитель горы.

Снова

Увидел снова.
Поцеловал снова.
А вдруг опять
Вчера начнется снова?

Ночь

Ограбила глаза,
Зиянье пустоты
Прикрыла
Покрывалом темноты.

Черная улица

Какая-то боль
Больше дома родного,
Больше ночи
Не дает вовращаться домой по ночам.

Застывшая темнота

Ночь —
Значит птицы не могут летать.
Птицы не могут летать —
Значит ночь.

С теми, кто любит

Если уж
Небо полюбит —
Солнце
родится.

Общественное мнение

Сейчас — ночь.
Но если газеты
Скажут: — Солнечный день...
Поднатужусь
И отброшу тень.

ЖОРЖИ АМАДУ

Лавка Чудес

РОМАН

Перевод с португальского ЮРИЯ КАЛУГИНА

4

В сумерках растворяется дневной свет: Ладейра до Табуан, почти пустая, еще не пришла в себя после карнавала. Мастер Лидио Корро, облокотившись на стол с бумагой, рисует и красит, творит «чудо». Он начал работу еще до карнавального шествия и должен закончить ее непременно сегодня. Несмотря на усталость и лень, лицо его расплывается в улыбке.

Чудо, которое он взялся изобразить, было выдающимся, достойным обета и благодарности — благодарности, которую Лидио Корро, художник кисти, выражает по заказу клеевой краской и силой своего таланта. Но Лидио не думает ни о размерах предоставленной милости, ни о категории чуда, его улыбка и удовлетворение исходят из самой картины: от получившихся светотеней, красок и трудной композиции со светом, с фигурами людей, бегущими лошадьми и девственным лесом. Особенно ему нравится ягуар.

Мазок кистью здесь, другой — подальше, чтобы оттенить зелень леса, черноту ночного неба, бледность лиц. Сцена патетическая. Мастер заканчивает свою работу. Возможно, следовало бы нарисовать один-два луча, разрезающих потемки, чтобы придать драме большую силу.

Берясь сейчас за кисть, чтобы внести поправки и закончить «чудо», Лидио Корро, невысокий и коренастый сорокалетний мулат, полный живости и лукавства, принялся за дело с неохотой. Накануне он напился сверх всякой меры, они с Будианом потеряли счет стопкам на пирушке в доме Сабины. Лидио с того момента уже ничего не помнит: как закончился праздник и как он попал в Лавку, кто его привел — когда он проснулся, было почти два часа дня, он увидел себя одетым и в ботинках на топчане, где всегда спал и забавлялся с проститутками, в комнате за мастерской. Мастерская и одновременно квартира с кухней; под водопроводным краном можно помыться, а это доставляет такое наслаждение; на дворовом участке Роза сажает и рвет цветы. Эх, если бы Роза решилась раз навсегда, какой сад он вырастил бы своими руками! Лидио приготовил очень крепкий кофе. На этом карнавале никто не видел Розу де Ошала.

Продолжение. Начало в № 2.

Творцу «чудес» хотелось вернуться в постель и поспать до вечера; только тогда он открыл бы дверь Лавки, чтобы принять друзей, побеседовать с ними. Их ожидает много тем для обсуждения: вчерашние события, раздутые всякого рода слухами, сплетнями и абсурдными сообщениями. Кто-то пришел в дом Сабины, принес любопытную новость: с временным начальником Управления полиции Франсиско Антонио де Кастро Лоурейро случился припадок, когда он узнал, что афошэ негров и мулатов ослушалось его распоряжения и вышло на улицы.

Франсиско Антонио принадлежал к дворянской семье знатного происхождения, он был своенравен и злобен, непреклонен — его приказам должны были слепо подчиняться, быстро и безоговорочно их выполнять. Он не выносил, чтобы кто-нибудь осмелился презреть и нарушить предписанный им закон; а тут было организовано афошэ и вышло на улицы! К тому же все это сопровождалось беспорядками, провокациями, оскорблениями! Это была неслыханная наглость, невозможная затея, трудная, сложная и многогранная, требующая времени, денег, организации и величайшей секретности. Он отказывался верить, что одна лишь эта грязная сволочь, толпа метисов, задумала и отважилась осуществить столь невероятный замысел. Здесь, очевидно, действовала дерзкая и ловкая рука монархистов либо это подрывные козни подлой оппозиции. Но если это все действительно устроено лишь метисами и неграми, тогда ему оставалась только смерть или, что еще хуже, отставка.

В присутствии Франсиско Антонио, который славился своей отвагой и жестокостью, даже опасные бандиты теряли самоуверенность, самые смелые преступники напускали в штаны со страху. И вот этот герой полиции, этот каратель был выставлен на посмешище, и где — на улицах города, на площадях освистан и осмеян хулиганами и мальчишками. Уязвленный в своем самолюбии, униженный и охваченный ненавистью, вынужденный подать в отставку, он оказался в постели в окружении врачей и лекарств.

Рисуя необыкновенное «чудо», Лидио дал волю своему воображению: как знать, не приносит ли в этот момент семья временного начальника полиции обет господу богу с целью спасти жизнь и служебный пост Франсиско Антонио и не придется ли еще ему — мастеру Корро, участнику афошэ, секретарю Зумби, распорядителю на балах — написать портрет полицейского начальника в постели, позеленевшего от злости и бессилия, с сердцем, заболевшим от самб и кантиг, сердцем, в котором остались только тщеславие, спесь и презрение к народу. Никогда не устраивалось такого замечательного шествия, никогда народ не выступал с такой храбростью и отвагой против правил и предписаний властей. Когда Арканжо, прочитав в газете декрет о запрещении афошэ, самбы и батуке, предложил ему все же организовать карнавал, Корро тоже сказал: «Это невозможно». Но кто может воспротивиться золотому языку Арканжо, у которого всегда куча доводов и аргументов? На Лидио легла великая ответственность за все случившееся. Он, а также Будиан, Валделоир и Аусса были заправилами. Не говоря уже об Арканжо, который играл главную роль.

Корро взялся за кисть и краски лениво, с неохотой: да и как может участник карнавала работать сразу же по его окончании — в среду, в день отдыха? Но срок сдачи заказа был жестким — завтра до девяти утра, без малейшего опоздания, так как к одиннадцати хозяин заказа, получивший благодеяние, за которое надо теперь расплачиваться «чудом», некто Ассис, человек из провинции, с деньгами, владелец плантаций табака и сахарного тростника, уже договорился со священником о мессе с проповедью и пением. Он принес настоящий

обет — истратить на все это большие деньги, целый урожай табака: только свечей длиною по метру он заказал две дюжины. А фейерверк, сеньор Корро? Вся семья пробудет неделю в городе, тратясь на отель,— куча людей. Вы, сеньор, тоже приглашаетесь, после мессы будем праздновать, если бог даст.

— Ах, мой уважаемый, к четвергу невозможно, в самом деле у меня не получится. Тут как раз будет карнавал, а в карнавальные дни на меня никто не рассчитывает, тем более в этом году. Если вам так к спеху, то обратитесь к кому-нибудь другому.

Но плантатор не захотел и слушать о другом, ему подходил только Лидио Корро — слава живописца дошла до Юга и до сертана. Из Ильеуса и Кашоэйры, из Белмонте и Фейры-де-Сант-Ана, из Ленсоиса и даже из Аракажу и Масейо приезжали в Лавку клиенты. Сеньор Ассис был категоричен: «Только вы мне годитесь, сеньор, мне сказали, что нет никого компетентнее вас, а мне нужно, мой друг, самое хорошее и лучшее; это было первостепенное чудо, сеньор Корро, не просто ягуар, а чудовищный, безжалостный зверь, глаза у него, поверьте, излучали свет!» Если верить этому провинциалу, на сей раз господь превзошел самого себя.

Из зеленого леса — густая чаща деревьев под мрачным небом, несущим дурное предзнаменование,— появляется ловкий, голодный зверь с черными и желтыми полосами; он как бы господствует над небом и полем, господствует над всей картиной: рядом с его огромным туловищем люди — пигмеи, а деревья походят на кустики в саду. Сверкают глаза большой кошки, эти горящие глаза — единственный в картине источник света, ибо, поразмыслив, мастер Корро отказался от лучей: они выглядели бы фальшивыми, чрезмерно яркими. Чтобы испугать, достаточно глаз животного, обладающих пламенным, гипнотическим блеском,— глаза, пронзающие темноту, парализующие путников.

Рев ягуара разбудил четырех взрослых и трех детишек, спавших на лужайке. Лидио изобразил их оцепеневшими от ужаса. С диким ржанием умчались галопом лошади, видны лишь их крупы. Удивительное чудо, потрясающее, необычайное явление, не вмещающееся в рамки картины: именно поэтому — из-за ее трудности — она в конце концов оказалась способной вырвать Лидио Корро из сетей лени и усталости, захватить его. Легкая работа не волнует — он, художник, имеет свою гордость и честь: разве один сеньор Франсиско Антонио имеет право на самолюбие, достоинство, высокомерие?

Не каждый день пишешь такое «чудо», да еще с таким совершенством. Причудливым почерком он подписал под картиной: «Великое чудо, которое сотворил господь 15 января 1904 года для семьи Рамиро Ассиса, когда последний, путешествуя из Амаргозы в Морро-Прето с супругой, незамужней сестрой, тремя детьми и няней-негритянкой, подвергся нападению ягуара на лужайке, где они спали. Они закричали, призывая на помощь господа, и ягуар, став вялым и кротким, мирно удалился».

Написанная в шести строчках, история выглядит очень простой. А вот изобразите на картине, мастер Корро, тревогу, страх, волнение, отчаяние семьи, мать в безумии. В руках Рамиро Ассиса лишь нож для резки табака, так как карабин был привязан к седлу лошади.

Он рисует зверя, который крадется мягко, предательски. Ягуар направляется к самому маленькому из детишек, еще ползающему на четвереньках, улыбающемуся огромной кошке. Именно в этот момент Коакина, жена Ассиса и мать ребятишек, испустила ужасный вопль:

— Господи, защити моего ребенка!

Господь откликнулся молниеносно. В одном шаге от ребенка

зверь остановился, как будто его задержала небесная десница. В мольбе слились голоса взрослых и детей, не считая самого маленького, еще не крещенного и довольного, улыбающегося ягуару. В едином вопле они призвали всемогущего святого: «Защити нас, о господи!» Рамиро Ассис обещал господу богу золотые горы.

«Вам надо было видеть, сеньор Корро, чтобы поверить: ягуар повернулся, медленно дошел до густого леса и тут же исчез. Я обнялся со своими. Все говорят, что вы — самый знаменитый рисовальщик Баии. Мне нужна картина, на которой было бы изображено все, что я вам поведал, ничего не прибавляя и не убавляя».

Кто вам это сказал, сеньор Ассис, тот попал в точку и оценил справедливо. Много живописцев «чудес» в Баии; только между Табуаном и Пелоуриньо есть еще три, помимо мастера Лидио, но равного ему нет ни здесь, ни во всей стране. Это говорит народ, а не он, Корро, которому не слишком-то свойственно хвастовство. «Постараюсь изобразить господа получше...»

Мастер Корро задерживается на облике Христа, распятого на кресте, но одна его рука свободна, указывает на ягуара и семью. В верхней части картины, где господь творит чудо, свет наступает на тьму, занялась заря.

Лидио Корро возвращается, однако, к своей излюбленной величественной фигуре — полосатому ягуару, жестокому, гигантскому, со сверкающими глазами и пастью, которая как бы улыбается ребенку. Художник постарался сделать все возможное, чтобы погасить улыбку, ласковость; он придавал ягуару облик тигра, даже сходство с драконом. Однако это оказалось выше его сил: чем свирепее он его писал, тем ласковее ягуар улыбался; как будто между зверем и ребенком — тайное соглашение, старинное знакомство, незабываемая дружба. Наконец Лидио сдается. Красной каймой окружает он картину и белой краской выводит свое имя и адрес: мастер Лидио Корро, Лавка Чудес, Табуан, № 60.

В вечернем полусвете, при фиолетовом сумеречном закате мастер Корро, искренне взволнованный, любуется законченной работой: отлично! Еще один шедевр выйдет из этой мастерской, из Лавки Чудес (если бы Роза согласилась, он переименовал бы ее в Лавку Розы и Чудес), где трудится и борется скромный, но знающий свое дело художник. И знающий не только это ремесло рисования «чудес», не только это искусство изображать обеты, данные людьми перед святыми, но также и многое другое,— достаточно спросить на улице, кто такой Лидио Корро и сколько всяких замысловатых вещиц и вещей он придумывает.

Кроме того, он не один: их двое. Лидио Корро и Педро Арканжо, почти всегда они вместе — и с ними, когда они вместе, никому не справиться; они — кумовья, братья, более чем братья... Если хотите узнать о них, пойдите в полицию и спросите у доктора Франсиско Антонио де Кастро Лоурейро.

Пятясь, мастер Лидио отступает к двери, чтобы разглядеть картину получше. Света уже мало, опускается вечер.

— Красиво,— слышится голос Арканжо.— Если бы я был богат, мой дорогой, я каждую неделю заказывал бы тебе по крайней мере по одному «чуду». Чтобы держать у себя дома и смотреть, когда захочется.

Живописец обернулся, улыбнувшись в темноте, и очутился перед иностранкой; его поразила ее фарфоровая, прозрачная белизна, вид девочки.

— Кирси,— представил ее Арканжо, и было заметно, как он ею гордится.

— Очень приятно,— сказал Корро и протянул руку.— Входите, будьте как дома — и, обращаясь к Арканжо, добавил: — Скажи, чтобы она села, и зажги лампу.

Он не выразил удивления в связи с приходом иностранки, неожиданной гостьи. Поставил картину против света и долго ее рассматривал, изучая цвета. Гринга, высокая и стройная, также посмотрела через плечо с одобрением и воодушевлением, горячо зааплодировала и что-то воскликнула; слов ее они, однако, не поняли. Теперь только не хватает Розы, которая все время где-то пропадает. Как знать, может быть, внезапно появится и она во плоти и крови? Здесь, в Лавке Чудес, все может случиться и все случается.

5

Если в течение дня в Лавке Чудес бывает много народу, то вечером там полным-полно. Оживление нарастает после того, как зажигаются лампы, что оповещает о начале спектакля. Потом останутся лишь друзья и их подружки, завязывается непринужденная беседа на всевозможные темы.

Даже сегодня, в первую среду после карнавала, нет недостатка в посетителях, желающих посмотреть картины волшебного фонаря, аттракцион, оборудованный на кухне. Кому пришла в голову идея устроить тут подобие кинематографа? Лидио Корро, Педро Арканжо? Трудно сказать точно, но безусловно именно Корро смастерил нарисованные в профиль фигуры, вырезал их из картона, скрепив нитками движущиеся члены тела. На обязанности Арканжо лежало приводить их в движение, разыгрывать сцены, болтать и острить.

Гасятся огни, остается лишь тусклый огонек керосиновой лампы в ящике с черной тканью, откуда увеличенные тени наивных и распутных персонажей проецируются на белую известковую стену. Все очень просто и примитивно и стоит всего два медяка. Зрелище привлекает молодых и старых, богатых и бедных, моряков и грузчиков, приказчиков и коммерсантов. Даже женщины отваживаются приходить сюда тайком.

На стене появляются тени двух близких друзей — Толстячка и Худышки, обнимающихся и клянущихся друг другу в вечной дружбе. Затем на сцену выходит шумливая Лили Соска — и тотчас же вечной и искренней дружбе приходит конец. Оба друга оспаривают милости кокетки, награждая один другого ругательствами, зуботычинами, пощечинами, подножками, пинками — драка вызывает аплодисменты публики.

Кончается все грубейшей похабщиной: Худышка, победив Толстячка, набрасывается на Лили Соску и овладевает ею. Однако это не кульминационный момент супербоевика, он не стоил бы двух медяков. Толстячок, придя в себя, возвращается на сцену, и Худышка спохватывается лишь тогда, когда оседлан соперником. Публика беснуется, следя за представлением.

Кончается сеанс, посетители, взбудораженные и хохочущие, выходят; вскоре подойдут другие. Волшебный фонарь функционирует с шести до десяти вечера. За два медяка это, в общем, не дорого.

6

Иногда, окончив «чудо», написанное искусно и прихотливо, мастер Лидио Корро испытывает желание отказаться от вознаграждения и задержать у себя картину, не сдавать ее, оставив на стене мастер-

ской. По крайней мере наиболее красивую картину. В Лавке Чудес, впрочем, всего лишь одно «чудо» вывешено на стене.

На нем изображена фигура бледной, похожей на скелет личности, жертвы скоротечной чахотки. Человек этот был однажды спасен от смерти, когда в час последнего кровохарканья его тетка, разуверившаяся в медицине и горячо преданная непорочной деве, обратилась с мольбой к богородице Кандейас и препоручила ей судьбу племянника, плавающего в море крови.

Тетка сама пришла к Корро и заказала работу — толстая дама, увлекательно рассказывающая, более болтливая, чем Ассис со своим ягуаром, и к тому же хвастливая. Мануэл де Прашедес, присутствовавший при их беседе, посматривал на толстуху с вожделением: «Люблю ощущать мясо в руке; собака, знаете, любит кость, но попробуйте дать ей филе или жареную печенку и посмотрите, каков будет результат».

Облагодетельствованная тетка была счастлива, что с нею произошло чудо, она рассказала о нем, похваляясь своим престижем у непорочной девы. Мануэл де Прашедес не преминул заявить, что он также очень предан богородице Кандейас, ни разу не пропускал ее праздника, посещает ежегодно, пусть льет дождь или жарит солнце. Святая дева и в самом деле чудотворна: он, Мануэл, обязательно бывает у нее на празднике, никогда не пропускает...

Разомлев, тетка, жеманная и самодовольная, настояла на том, чтобы заплатить вперед половину стоимости заказа,— и это к счастью, больше ее уже не видели. Говорят, что при новом кровохарканье богородица воздержалась оказать племяннику помощь, неизвестно по какой причине, но, вероятно, важной!

По просвещенному мнению Розенды Батисты дос Рейс, которой Корро рассказал этот эпизод, святая дева, очевидно, почувствовала себя оскорбленной нескромным поведением толстой тетки и одного грузчика, занимавшихся своими делишками, прикрываясь ее именем, и наказала их, оставив чахоточного в постели харкать кровью. Розенда отличалась осторожными и, как правило, верными критическими суждениями: она немного разбиралась в чудесах.

Картина на стене изображает мрачную комнату, написанную патетически, с хлещущей на первом плане кровью. Приподнялся на холостяцкой постели тощий, обескровленный, агонизирующий человек — кожа да кости, восковой цвет лица, на котором проступает смерть. А тетка, веселая ханжа, в цветастой юбке, красной шали на высокой прическе, взирает на фигуру богородицы и молит о сострадании. Кровь льется с постели, с простыни, покрывает пол, отражается в небе. Немного в стороне от этой багровой лужи стоит фарфоровый ночной горшок с зелеными, розовыми и красными цветками. Такие же цветки на юбке тетки, в изголовье кровати и в ногах. Возможно, ими мастер Корро хотел нарушить тяжелую атмосферу отчаяния и смерти — ах, моя уважаемая, нет святого, который бы спас этого несчастного. Достаточно посмотреть на картину, увидеть его лицо.

Фальшивое, неудачное, это единственное «чудо», оставшееся в мастерской, было повешено между олеографией святого Георгия на его белом коне, схватившегося с огнедышащим драконом, и афишей парижского кабаре «Мулен руж», на которой Тулуз-Лотреком изображена сцена канкана; француженки, задрав юбки, демонстрируют ляжки, подвязки, чулки и кружевные панталоны,— кто знает, каким дьяволом занесло сюда эту афишу?

Ему хотелось, ах, как хотелось сохранить у себя некоторые из своих «чудес», самые красивые, написанные искусно, с выдумкой, но как это сделать, если нуждаешься в деньгах? Срочно нужны деньги,

много денег. Кое-какие сбережения у него есть, но он одолжил их под проценты сеньору Эрвалу, оптовому торговцу в Нижнем городе [1].

Типография, какой бы небольшой ни была, стоит не пару медяков, на нее надо собрать кучу денег.

Типография — его единственная мечта на свете, и ее нельзя не осуществить. Единственная потому, что другая, относящаяся к Розе де Ошала, не зависит ни от работы, ни от денег, это несбыточная мечта. Чтобы превратить ее в действительность, господь и богородица Кандейас должны объединить все свои силы, всю свою мощь ради высшего чуда, и, возможно, еще понадобится сделать подношение Ошолуфану, которым является старый Ошала, величайший из всех божеств.

7

Чудо — это она, моя любовь — Роза, танцующая с непринужденным смехом, в развевающейся белой юбке и семи исподних, с обнаженными руками и плечами под кружевной кофтой, с ожерельями, бисером, браслетами. Сказать, какова она, Роза, Роза де Ошала, негритянка Роза, описать ее всю — с бархатными туфельками, с серебряными украшениями, с ее ночным благоуханием, иссиня-черной шелковистой кожей, всем ее великолепием с головы до ног, глубоким изяществом, высокомерием, томностью глаз; ах, моя любовь, чтобы описать все это, нужен прославленный поэт с лирой и длинной шевелюрой, а не уличные певцы, исполняющие дрянные стишки, которые хороши как куплеты, но для Розы, ах, этого совсем недостаточно!

Однажды Роза шла по улице, празднично вырядившаяся, так как направлялась в Белый дом, чтобы преподнести дар своему отцу Ошолуфану. Из окна богатого особняка двое состоятельных сеньоров, один пожилой, другой совсем молодой, увидели, как она с царственным видом проходит, неся свой дар, разнаряженная, мелодично постукивая каблучками, в волосах у нее был цветок розы, а волосы походили на утренние водоросли, бедра покачивались, подобно волнению на море, а выглядывающая из-под блузки грудь озаряла день.

Оба вздохнули, и молодой, баловень семьи, отпрыск переженившихся друг с другом — ради сохранения чистоты крови — кузенов и кузин, рахитичный и хвастливый неженка, заикаясь, сказал: «Какая женщина, полковник, эта креолка! Сколько бы я дал, чтобы она была моей!» На что старый полковник — в свое время он был крепким дубом, бурной рекой, диким жеребцом, землетрясением — отвел глаза от негритянки и, бросив взгляд на красивого болтуна с бедной декадентской кровью хилого слюнтяя, сказал: «Эх, мой милый, такая женщина не для вас, эта штучка не для младенца, еще не умеющего сидеть на горшке, да и не для старого крокодила. Для меня она уже больше не подходит, а для вас... никогда не подойдет».

Лидио Корро берется за флейту, и ее звуки будят звезды, Педро Арканжо своей гитарой достает луну и приносит ее издалека — для Розы всего мало, от нее рождается самба в Лавке Чудес. Флейта стонет, поет о любви, рыдает.

Роза всегда приходит, когда ее не ждут, появляется внезапно. Так же неожиданно и исчезает; неделями и месяцами никто ее не видит; пунктуальна она лишь в немногих определенных обязательствах кандомблэ, когда принимает Ошалу в бараке Белого дома, где плавает барка Ошума. За исключением участия в хороводе девушек на таких больших празднествах, во всем остальном она поступает непредвиденно.

[1] Прибрежная часть города Баии.

В один прекрасный день она появляется и живет целую неделю, с понедельника до субботы, приходя раньше всех, уходя ранним утром, на редкость оживленная, со смехом и песнями, шутя и переговариваясь с Корро, опираясь на его руку, нежно склоняет головку на его плечо. Она такая ласковая возлюбленная и такая деятельная домашняя хозяйка, приводящая все в порядок и убирающая помещение, что он думает — наконец-то она обосновалась тут раз и навсегда, любовница в связи, супруга в браке, его жена. Но когда все кажется уже определенным и прочным, Роза улетучивается и не дает о себе знать в течение месяца или двух — это время лишено для Корро всякой радости.

Когда случилось это чудо — больше года назад, случайно, внезапно, без прелюдии и проволочек,— Лидио, который уже долгое время ее домогался, пожелал немедленно узаконить связь: «Приноси свои пожитки и переезжай навсегда».

Как-то ночью они возвращались вместе с праздника, шли по пустынной и опасной дороге и она сама попросила его показать ей представление с волшебным фонарем, о котором столько говорят: она смеялась до упаду над Худышкой, выпила стакан освежающего напитка алуа и, разгорячившись, стала чуть ли не предлагать себя, будто ей это было нужно. Она прожила у него, приходя и уходя, три дня и три ночи: убрала мастерскую и комнату, постелила все новое и чистое, наполнила дом песнями. Лидио улыбался, наблюдая за ней. Но достаточно было ему заговорить о том, чтобы соединиться окончательно, как она становилась серьезной и суровой, строгий голос звучал с угрозой и предупреждением: «Никогда не заговаривай со мной об этом, никогда больше, иначе я не вернусь. Если ты меня любишь, если я тебе нравлюсь, все должно оставаться так — когда мне придет в голову, когда я по собственной воле захочу прийти. Я у тебя ничего не прошу, только одного — не вмешивайся в мою жизнь, не следи за мной, не шпионь, потому что, если я узнаю, клянусь, ты меня больше никогда не увидишь». Она сказала это таким тоном и так подчеркнуто, что не оставила возможности для спора. И он ответил: «Чтобы видеть и иметь тебя, я готов проглотить жабу и змею, если понадобится».

Он выполнил обещание: не задавал ей вопросов и не захотел прислушиваться к сплетням. Сплетни, болтовня, интриги — на самом деле никто не знал о Розе ничего определенного. Она жила в Баррисе, в доме со всеми удобствами и с палисадником, с занавесками на окнах и со сторожевой собакой; неприступный очаг — только ребенок, одетый весьма прихотливо, играет с собакой среди цветов; мулаточка, достойная того, чтобы поместить ее в церковный алтарь, Роза, девочка с гладкими волосами, смуглянка цвета плода сапоти.

Как живет Роза, подробности ее существования знает только Мажэ Бассан, знает и причины и следствия — все это надежно хранится в ее необъятной груди. Грудь жрицы должна быть такой огромной, чтобы в нее вмещались все заботы сыновей и дочерей, и близких, и посторонних, и чужеземцев. Это — хранилище отчаяния и злобы, надежд и мечтаний, это сейф любви и ненависти.

Только Мажэ Бассан, грозная и ласковая Мать, только она одна знает о Розе и ее жизни, остальное все — болтовня. «Она живет с белым богачом, стариком из знатного рода, бароном или графом, герцогом Анзоис э Карапуса», «сочеталась церковным и гражданским браком с португальским коммерсантом, и от него у нее ребенок». Все это просто трепотня кумушек, пересуды сплетниц из любви к злословию. Лидио никогда не спрашивал, не желал что-либо узнать.

Роза приходит шаловливая и веселая — достаточно ее присутст-

вия, а что ему до всего остального? Она разговаривает, смеется и танцует, поет, и голос у нее низкий, печальный. Роза окутана сумерками в убогом освещении Лавки, где флейта Лидио плачет и молит. Для кого она танцует? Для кого вращается ее тело, раскачиваются ее бедра, полны истомы глаза? Для Лидио, постоянного и случайного любовника? Или для кого-то, кого здесь нет и неизвестно, кто он ей — муж, любовник, знатный или богатый, отец ее дочери? Может быть, для Арканжо?

Чудо — это, мой дорогой, Роза и ее пение, старинная песня, исполненная обещаний, лукавства, остроумия. Умирает во флейте мастер Лидио Корро, проявляя свою любовь, которая разрывает его страдающую душу. Чтобы иметь Розу у себя хоть изредка, он готов есть жаб и ящериц, гремучих змей. Перед ним Роза танцует и поет, предлагает себя и отвергает его.

Танцует перед ними двумя. Педро Арканжо не подает и виду; об огне, пожирающем его, никто не должен знать; Лидио не может даже заподозрить этого, а Роза и тем более. Его лицо замкнуто, выражение каменное. Эту загадку Арканжо, эту шараду без ответа не разгадает даже Мажэ Бассан.

Звучат рукоплескания красавицам, открывается хоровод самбы, трепещет флейта, громче звучит гитара. Каждый со своей тайной, томлением,страданием. Вблизи от Арканжо, наклонившись, танцует шведка, вся беленькая, белокурая. Но она не одна. Рядом Сабина дос Анжос, королева Саба, по выражению мастера Педро, с большим животом в ожидании ребенка; беременная, она лишь накануне танцевала безостановочно самбу и сейчас вот снова вступила в хоровод, где уже вертится Розенда Батиста дос Рейс из Муритибы, колдунья, обладающая волшебными чарами. Недавно на празднике кувшинов ошосси она упала у ног Ожуобы, и он, поднимая ее, коснулся кончиками пальцев ее упругой груди. Поблизости от стула стоит гибкая тростинка Ризолета, ее лицо расплывается в улыбке, обращенной к Педро Арканжо.

Единственная, однако, та, кто ревнует его к гринге-морячке, единственная среди всех это та, в чьих объятьях он еще никогда не был и чьи уста он никогда еще не целовал; единственная, у кого сердце пылает от ненависти и просит смерти — смерти для белой и для всех них, без различия цвета кожи,— это Роза де Ошала, с освобожденной грудью под кофтой, с раскачивающимися бедрами под семью юбками, она танцует перед ними обоими. Лидио вздыхает, улыбаясь; через короткое время он будет держать ее в своих объятьях, этот пылающий костер. Арканжо замкнут в своей загадке.

Чудо — это она, моя святая, чудо господа, чудо пресвятой девы, чудо языческого бога Ошалы — Роза в песне и танце в Лавке Чудес, в ночь тревог и загадок.

8

Тяжелый сон, кошмар: он увидел себя на песчаном побережье у порта; это горячая и в то же время холодная пустыня, как горячка при перемежающейся лихорадке. Он, Арканжо, с трепещущим сердцем, охваченный желанием, превратился в Худышку, а Лидио Корро — в Толстячка. Среди объятий и клятв в вечной дружбе играют флейта и гитара.

Появляется Лили Соска, без юбки, без нижних юбок, без кружевной кофты, в одних лишь ожерельях, бисере, браслетах, Роза де Ошала, обнаженная, совсем голая, отливающая синевой негритяночка, очаровательная роза, аромат и звук голоса, все под покровом и в тайне,

огромная и холодная ночь, далекое небо. Она танцевала перед ними двумя, показывая все свои прелести, и сразу же они стали противниками, врагами, преисполненными ненависти. Безжалостными убийцами со смертью в руке: флейта и гитара. И сабли солдат-кавалеристов. Дуэль состоялась на углу склада в порту, и тело Лидио — Толстячка, навеки мертвое, упало в волны. Родилось солнце в ночи, когда брат упал, и обожгло известь при последнем звуке флейты.

Наступил момент овладеть Розой, улечься с нею на водорослях. Покрывшись потом, в страстном желании и в отчаянии, с грудью, сжавшейся от жары и холода, как при лихорадке, Арканжо борется со сном, когда дружба уже умирает у ног соблазнительницы.

Не имеет для меня значения, знатного ли он рода, богач ли он,— как раз наоборот. Если бы это был дворянин из Кашупелеты, если бы он был португалец, торговец колониальными товарами, я с удовольствием бы украсил ему лоб рогами. Но пойми, Роза, и не смотри на меня так; даже если бы Лидио был сыном моей родной матери, я не был бы обязан сохранять в отношении него такую чистоту и верность.

Нет, не может быть — даже если я умру от любви, даже если мое сердце разорвется или отправится блуждать из порта в порт, отыскивая в каждой женщине твой ночной вкус и твой аромат, ни в одной не разгадав твою загадку.

Роза, мы не тени — фигурки из спектакля,— мы обладаем честью и чувством. Роза, мы не выродки — плод грязного кровосмешения, не животные или, хуже того, преступники. Да, Роза, именно «метисы, вырождающиеся в мерзости, в грязном смешении»,— написал один профессор медицины, доктор, ученый человек. Но это же ложь, Роза, клевета всезнайки, который ничего не знает.

Арканжо огромным усилием преодолевает сон, открывает глаза. В море зарождается утро, и парусники уходят. Шведка сделана из жасмина, от нее исходит нежный утренний запах. Смуглый мальчишка будет бегать по снегу. Растворяется вдали образ Розы, совершенно обнаженной.

В гринге я тебя забуду, и в Сабине, в Розенде, в Ризолете; я забуду тебя во многих других, свободный от страдания и скорби. Свободный? Забуду ли тебя или буду искать в отчаянии? На поле жасмина и пшеницы искать твою черноту. Во всех них искать Розу де Ошала, твою необъяснимую загадку, твою запретную вечную любовь.

9

Ниже, на углу Ладейры, в проеме двери старый Эмо Корро ставит парикмахерский стул — и клиентов хоть отбавляй; там же у него шкаф с лекарствами, а также зубоврачебные щипцы. Он обучил парикмахерскому ремеслу и врачеванию двух сыновей — Лукаса и Лидио. Этот последний, однако, рано бросил бритву и ножницы. Приняв предложение своего крестного, мастера-типографа Кандида Майи, он стал обучаться у него в лицее искусств и ремесел. Сообразительный ученик быстро освоил типографское дело и в короткое время вырос из подмастерья в мастера.

Тут он познакомился с Артуром Рибейро, странным типом, мрачным и одиноким. Поскольку тот отсидел порядочный срок в тюрьме, ему трудно было найти постоянную работу. Кандидо и другие старые товарищи устраивали ему случайные мелкие заработки в Лицее. Гравер по металлу и дереву, он не имел себе равных на всем Севере страны. Много лет назад с одним ливанцем, а также с каким-то типом, называвшим себя русским, он оборудовал тайную мастерскую:

фальшивые деньги, выгравированные Артуром, невозможно было отличить от настоящих государственных, печатавшихся в Англии.

Дело до поры до времени процветало: Рибейро работал в мастерской, ливанец и русский меняли фальшивые деньги, товар имел хороший сбыт. Они пошли бы далеко, не будь ливанец безумцем. Им овладело исступление роскоши, он начал делать глупости: женщины, шампанское, коляска. Счастливым временам скоро пришел конец — секрет их стал достоянием управления полиции. Рибейро и ливанец Маул очутились в тюрьме, о русском же больше не было ни слуху ни духу: он вовремя удрал с саквояжем, полным денег,— на этот раз правительственных ассигнаций, настоящих.

Артур Рибейро, замкнутый, угрюмый, неразговорчивый, все еще чувствовавший себя так, словно он за решеткой, хотя и вышел из тюрьмы, проявил интерес к смышленому малому, выказавшему способности к рисованию, и научил его писать «чудеса» — это было одним из его занятий, дававших ему заработок на склоне испорченной жизни. Научил гравировать на кусочках дерева, но не на металле, никогда больше не прикоснется он к медной пластинке — такой зарок дал себе в тюрьме. Однажды, подвыпив, он признался Лидио, что у него есть одна-единственная мечта: собственными руками убить презренного Файермана; оказалось, этому русскому стало заранее известно, что полиция следит за ними, вот он и дал тягу со всеми накопленными деньгами, даже не предупредив своих компаньонов-фальшивомонетчиков.

Смерть брата Лукаса вернула Лидио к ножницам, бритве, щипцам для вырывания зубов. Отец к тому времени уже ослаб из-за преклонных лет и пристрастия к выпивке: кому-то надо было обеспечить содержание старика и Зизиньи, его последней жены, третьей по счету, восемнадцатилетней молодки. Руки дрожат, зрение ослабло, мешает глухота, но главное — в порядке. «Этого у меня более чем хватает»,— сказал Эмо, представляя сыну молодую жену.

Обучение Лидио в лицее искусств и ремесел и на улицах Баии не ограничивалось типографским делом, рисованием «чудес», резьбой по дереву: он постиг танцевальные па, основы музыки, искусство шашек, триктрака, домино и, главное, игру на флейте — к последней он чувствовал наибольшую склонность. В любом деле он проявлял ловкость и уверенность, прочно стоял на ногах, был очень практичен и принципиален.

В течение некоторого времени он работал парикмахером, рвал зубы и продавал лекарства — змеиный яд, домашние настойки из трав, чудодейственную древесную кору, кожу ящериц и тому подобное. До тех пор, пока не встретил Педро Арканжо, своего сверстника по лицею, столь же любознательного и решительного, как и он сам, но на восемь лет моложе, Арканжо тоже промышлял разными занятиями: в типографии он задержался дольше всего, хотя сильнее был в каллиграфии, ко всему прочему весьма начитан, изучил грамматику, арифметику, историю, географию. Хвалили его умение писать: почерк и творческое воображение.

Однажды Педро Арканжо исчез, и несколько лет о нем ничего не было слышно. У него умерла мать, единственная родственница, связывавшая его с Баией. Ему не довелось узнать отца, рекрута, отправленного силой на войну с Парагваем и оставившего Ноку беременной первым ребенком, так как они лишь незадолго до этого начали сожительствовать. Отец погиб при переходе через болота Чако, даже не узнав, что у него родился сын.

Арканжо поехал знакомиться со светом. Куда бы он ни попадал, всюду старался учиться. Но так и не выбрал себе профессию: служил

юнгой, официантом в баре, помощником каменотеса, сочинял письма, сообщая в Португалию новости и передавая поклоны от тупых иммигрантов. Блуждал по свету, и всегда у него были книги и женщины. Почему он чувствовал такое влечение к женщинам? Возможно, из-за своей врожденной деликатности и красноречия. Он пользовался престижем не только у женщин: еще такой молодой, а уже все слушали его молча, внимательно.

Вернулся он из Рио, когда ему исполнился двадцать один год; он был элегантно одет, неплохо играл на гитаре и кавакиньо. Поступил на работу в монастырскую типографию и несколько месяцев спустя на каком-то празднестве встретился с Лидио Корро, репетировавшим с девушками танец, что само по себе представляло изысканное занятие. Они стали неразлучными друзьями, и парикмахерская Корро мало-помалу преобразилась.

Три года спустя после встречи Лидио узнал, что пустует первый этаж дома № 60, он его снял и написал причудливую вывеску, где каждая буква была разного цвета: ЛАВКА ЧУДЕС. К тому времени он специализировался на рисовании «чудес», и это составляло его основной заработок.

Название для мастерской придумал Арканжо. Он покинул типографию, чтобы учить грамоте и арифметике отстающих ребят, и сделался своего рода компаньоном Корро. Компаньоном по работе и гулянкам. Свои скудные накопления Лидио отдавал взаймы под проценты. Целью Корро было перекупить «Демократическую типографию», в которой сеньор Эстеван дас Дорес набирал и печатал историйки из жизни уличных певцов, модные песенки, куплеты, различную бульварную литературу; обложки брошюр были творчеством Лидио, он их гравировал на дереве. Поседевший, страдающий ревматизмом, еле передвигавший ноги, сеньор Эстеван пообещал: когда он наконец решится уйти на отдых, то продаст ему оборудование в рассрочку.

В ожидании шрифтов и клиентуры «Демократической типографии» Лавка Чудес превратилась в сердце, в жизненный центр всей этой части города, где протекала бурливая и напряженная жизнь.

Резьбой по дереву, рисованием «чудес», удалением зубов, продажей лекарств, волшебным фонарем мастер Лидио Корро зарабатывает свои денежки. Но в этом же помещении обсуждается и решается множество дел. Здесь зарождаются идеи, разрабатываются проекты, которые затем претворяют в жизнь на улицах, на празднествах, во всей округе. Обсуждаются важные дела: наследование жрецов и жриц, различные проблемы ритуальных обрядов. Здесь утверждаются костюмы для карнавальных афошэ, для школ капоэйры, разрабатывается порядок проведения празднеств, годовщин и принимаются необходимые меры, чтобы обеспечить успех мытья полов в католической церкви Бонфим и приготовление дара для языческой Матери Вод. Лавка Чудес — это нечто вроде сената, где собираются выдающиеся люди из низов, многолюдное высокое собрание. Здесь встречаются и беседуют жрецы, образованные люди, певцы, танцоры, мастера капоэйры, мастера искусств и ремесел — у каждого из них свои достоинства.

С этого-то времени — молодым человеком в возрасте двадцати одного года — Педро Арканжо овладела мания записывать истории, события, случаи, имена, даты, даже незначительные подробности, все, что касается народной жизни. Зачем? Кто его знает? Педро Арканжо был начинен всевозможными знаниями, и, несомненно, не случайным было его избрание, еще такого молодого, на важнейший пост в храме Шанго — возвышенного, священного Ожуобы, причем ему отдали

предпочтение перед многими другими кандидатами, уважаемыми и мудрыми старцами. Между тем именно Арканжо достался этот титул со всеми правами и обязанностями; ему еще не исполнилось и тридцати, когда верховный жрец избрал его и объявил: не могло быть более удачного выбора — Шанго знает, что к чему.

Среди народа террейро, по улицам города ходит молва: не само ли божество повелело Арканжо все наблюдать, все записывать? Видимо, с этой целью он и сделал его Ожуобой, глазами Шанго.

В тридцать два года Педро Арканжо был зачислен педелем медицинского факультета и занял пост на террейро. Став популярным среди студентов, он начал обучать их азам предметов. Место в лицее было получено благодаря вмешательству Мажэ Бассан, всемогущей в своих знакомствах и дружеских связях — ее побаивались даже влиятельные лица из правительства. Нередко, услышав упоминание имени одного из крупных деятелей в области политики, коммерции, какой-либо важной персоны, вплоть до священников, мать Бассан бормотала: «Это один из моих». Среди них, старых или молодых, бедных или богатых, она отдавала предпочтение ему, Педро Арканжо, он был корифеем.

10

Кирси участвовала в репетициях девушек, исполнявших карнавальный танец,— она стала новой утренней звездой, доподлинной, истинной. Предыдущая, Ирене, отказалась быть звездой, отправившись жить с одним часовщиком в Реконкаво. Если бы она этого не сделала, город Санто-Амаро-да-Пурификасон остался бы без календаря, без часов и минут для сахарных плантаций и перегонных кубов: когда часовщик, находившийся проездом в Баии, увидел Ирене в танце, он буквально обалдел.

Девушки танцуют, старательно выполняя указания церемониймейстера Лидио Корро. Впереди всех движется Кирси и ловит взгляд, одобрительную улыбку Арканжо. Немного позади Дедэ также принимает его взгляд, который он бросает на ее трепещущую грудь: маленькая Дедэ, такая молоденькая и напористая, уже желающая открыть счет:

Под навесом ослицу покрой,
Не замочит тогда росой.
Из тафты попона ее,
А из бархата чудо-седло...

Кто присутствовал на репетициях, тот мог полюбоваться красивой, блестящей Кирси, утренней звездой; однако людям в городе не удалось ее увидеть в карнавальном шествии, не хватило времени. Пришел другой пароход и увез ее; здесь она прожила почти полгода: называли ее шведкой, и лишь немногие знали, что она финка, но так или иначе все относились к ней с уважением. Принятая без расспросов, она скоро стала своей, одной из местных девушек.

Когда грузовое судно бросило якорь в порту, она сказала Арканжо на своем ломаном португальском языке с морским акцентом: «Пора мне уезжать, я уношу в чреве нашего ребенка. Все хорошее имеет свое время, надо кончать в точный срок, если мы хотим, чтобы продолжалось вечно. Я уношу с собою солнце, твою музыку и твою кровь, ты будешь всегда находиться там, где буду я. Спасибо, Ожу!»

Мануэл де Прашедес отвез ее на баркасе, и пароход поднял якорь посреди ночи. Педро Арканжо — в тени звезд, у него каменное лицо. Судно загудело, выходя из гавани, у ворот океана,— я не скажу тебе

«прощай». Мальчик цвета бронзы, метис из Баии, будет бегать по снегу.

На морском побережье игривая Дедэ распевает свои песенки:

Девушка из отряда балаяды [1],
Дай-ка выпить мне глоточек...

А за островами, в сторону густых туманов и бледных звезд, к холоду Севера плывет серое торговое судно, увозит утреннюю звезду. Дедэ хотела развеселить его, чтобы раскрылись в улыбке уста, его каменное лицо. Дедэ будет новой звездой, без золотистой шевелюры-кометы, без светящегося ореола, но с жаром тропиков, до умопомрачения, с этим ароматом лаванды. Дедэ, девушка, участница балаяды, большой балаяды.

«Нет на свете лучших людей, чем вы; более цивилизованного народа, чем народ-мулат Баии»,— сказала шведка, в Лавке Чудес прощаясь с Лидио, Будианом и Ауссой. Она приехала издалека, жила с ними и сказала потому, что знала это, знала без тени сомнения, на основе подлинного знакомства. Почему тогда доктор Нило Арголо — преподаватель судебной медицины на факультете и научный ментор конгрегации, с репутацией ученого и владельца огромной библиотеки,— почему он написал о метисах Баии эти ужасные страницы, эти раскаленные добела слова?

Заголовок тощего доклада, представленного конгрессу и опубликованного в одном медицинском журнале, гласил: «Психическое и умственное вырождение смешанных народов — на примере Баии». Боже мой, откуда профессор взял такие категорические утверждения: «Крупнейшим фактором нашей отсталости, нашего более низкого положения являются метисы, ни на что не способная, неполноценная раса»? Что же касается негров, то, по мнению профессора Арголо, они еще не достигли человеческого состояния. «В какой части света негры могли бы создать государство с минимальной цивилизацией?» — спрашивал он своих коллег на конгрессе.

В один из этих дней с ясным солнцем и мягким бризом Арканжо шел к вечеру через Террейро де Жезус своим легким шагом, немного вразвалку. Он нес записку от секретаря факультета настоятелю францисканского монастыря, приветливому голландскому священнику с бородой и лысиной: застал его, когда тот с явным наслаждением смаковал чашечку кофе; священник угостил и улыбающегося педеля.

— Я вас знаю...— заговорил он со своеобразным акцентом.

— Я провожу почти целый день здесь, на площади, в школе.

— Это не тут я вас видел,— священник рассмеялся счастливым и веселым смехом.— Знаете, где это было? На кандомблэ. Только я был в гражданской одежде, стоял в сторонке, а вы восседали на особом кресле рядом со жрицей.

— Вы, священник, на кандомблэ?

— Иногда бываю, не говорите только никому. Дона Мажэ — моя приятельница. Она мне сказала, что вы очень сведущи в вопросах макумбы. Как-нибудь на днях, если вы сделаете мне одолжение, я бы хотел поговорить с вами...— Арканжо ощутил ничем не нарушаемый мир в монастырском дворе с густолиственными деревьями, цветами и синими изразцами; ничем не нарушаемую умиротворенность в обольстительном францисканце.

— Когда угодно, я к вашим услугам, падре.

Он шел через террейро, возвращаясь на факультет, и размышлял: священник, монах в монастыре, присутствовал на кандомблэ — это

[1] Балаяда — движение восставших негров и метисов в Мараньяне в 30-х годах XIX века.

сюрприз, новость, достойная быть отмеченной. Внезапно он оказался окруженным группой студентов.

Отношения Педро Арканжо с учащимися медицинского факультета были очень хорошими. Предупредительный, внимательный, жизнерадостный, педель секретариата никогда не уклонялся от того, чтобы помочь ребятам, покрывал их прогулы, скандальные истории и другие проступки; он берег их книги, записные книжки, блокноты. Мир мелких услуг, товарищество долгих бесед. Новички и докторанты приходили повидать его в Лавку Чудес или в школу капоэйры мастера Будиана, двое или трое участвовали в праздниках кандомблэ.

В общении с ними и со старшими сотрудниками и профессорами Арканжо был любезным и вежливым. Он никогда не держался униженно, подобострастно или льстиво — таков уж народ Баии. Самый бедный в городе человек равен в своем человеческом достоинстве самому могущественному магнату и наверняка даже более цивилизован, чем магнат.

Симпатии ребят к скромному сотруднику возросли, стала более крепкой и признательность, когда Педро Арканжо решительным свидетельским показанием спас студента, которому угрожало исключение с шестого курса из-за запутанного и сложного дела, затрагивавшего семейную честь одного преподавателя, приват-доцента. В ходе расследования свидетельство Арканжо, который как раз дежурил в секретариате, обелило молодого человека, вызвавшего гнев оскорбленного профессора. Студенты хотя и поднялись на защиту коллеги, но были настроены пессимистично насчет результата. Еще недавно принятый на должность педеля, Арканжо не дал себя запутать и запугать. Он заслужил уважение ребят и вместе с тем враждебность доцента, который, впрочем, вынужден был покинуть курс посреди учебного года.

Когда он подошел к фонтану в центре площади, его тотчас же окружила группа, и один из студентов, четверокурсник-бездельник, отличавшийся пристрастием к праздникам и шуткам, ценитель талантов Арканжо на гитаре и кавакиньо — он и сам с удовольствием перебирал струны гитары,— показал ему брошюру.

— Как вам это нравится, мастер Педро?

Остальные засмеялись, явно намереваясь подшутить над элегантным мулатом.

Арканжо просмотрел несколько страниц, глаза его сузились и налились кровью. По мнению доктора Нило Арголо, несчастье Бразилии заключается в неграх, в позорном смешении рас.

— Профессор ругает вас, говорит о вашей моральной деградации,— комментировал, забавляясь, четверокурсник.— Он считает вас всех по меньшей мере ворами и убийцами. Вы на рубеже между разумными и неразумными существами. И мулаты, видите ли, хуже негров. Это чудовище покончит раз и навсегда с вами и с вашей расой, мастер Педро.

Педро Арканжо постепенно овладел собой.

— Только со мной, мой дорогой?— Он окинул взглядом волосы молодого человека, его рот, губы, нос.— Он покончит со всеми нами, со всеми метисами, мой дорогой. Со мной, с вами...— и, оглядев остальных, добавил:— В этой группе никто не спасется, ни один не ускользнет.

Короткие, натянутые смешки, двое или трое расхохотались. Четверокурсник признал добродушно:

— Вас никто не превзойдет, вы уже свели на нет генеалогические древеса всех людей.

Из группы выступил какой-то юнец, высокомерный и нахальный.

— Мое — нет.— Глупец гордился своими четырьмя именами и двумя приставками, свидетельствующими о знатности его рода.— В моей семье кровь чистая, она, слава богу, не загрязнена неграми.

Арканжо уже подавил в себе ненависть и теперь даже развлекался, почувствовав себя сильным от абсолютной уверенности: тезис доктора Нило — чепуха, просто ложь и клевета, самомнение и невежество. Он взглянул на мальчишку:

— Вы уверены, мой дорогой? Когда вы родились, ваша прабабушка уже умерла. Знаете, как ее звали? Мария Иабаси — таково было ее негритянское имя. Ваш прадед, порядочный человек, женился на ней.

— Наглый негр, я набью тебе морду.

— Ну что ж, мой милый, не стесняйся, давай попробуй.

— Осторожно, Армандо, он мастер капоэйры,— предупредил мальчишку приятель.

Но другие стали издеваться над фатоватым коллегой:

— Давай, Армандо, посмотрим, какова твоя храбрость, твоя голубая кровь!

— Я не буду связываться с каким-то педелем.— Рыцарь удалился с арены, и спор на том и кончился.

Четверокурсник продолжал смеяться:

— Этот вылинявший кот ведет себя так нахально потому, что его дед был министром империи[1]! Дурак — и больше ничего.

Юноша в очках и соломенной шляпе вмешался в разговор:

— Моя бабка была мулаткой, и она лучший человек из всех, кого я знал.

Арканжо решил продолжать путь:

— Можете вы одолжить мне эту брошюру?

— Оставьте ее себе.

С тех пор ни один студент не досаждал Арканжо подобными выходками. Даже тогда, когда арийские теории вошли в моду и сделались официальной доктриной факультета. Когда двадцать лет спустя на этой почве разразился скандал, группы были, конечно, другими, но студенты и тогда поддержали педеля против профессоров.

В карнавальной группе «Утренняя звезда» белые, негры и мулаты танцевали, выказывая полное безразличие к теориям преподавателей. Кирси или Дедэ, любая из двух может быть звездой праздника, народ будет аплодировать с одинаковым воодушевлением, нет среди них ни первой, ни второй, тем более высшей или низшей.

Пароход уже исчез в ночи и в океане. Дедэ перестает петь, она растягивается на песке, всем своим видом показывая склонность и готовность отдаться. Педро Арканжо слышит морской ветер, шум волн издалека. «Нет на свете лучших людей». В холоде Финляндии будет играть мальчик бронзового цвета, сотворенный из солнца и снега, король Скандинавии.

Фаусто Пена, неисправимый карьерист, получает чек (небольшой), урок и предложение

Констатирую и утверждаю с грустью: зависть и подозрительность господствуют в кругах лучшей части нашей интеллигенции; я не могу скрыть печальную истину, поскольку на собственной шкуре испытал ее последствия. Я — излюбленная жертва хитрой и гнусной зависти,

[1] Империя в Бразилии существовала с 1822 по 1889 г.

глупых и нелепых подозрений. По той причине, что я был удостоен выбором и контрактом (устным) великого Левенсона, чтобы провести исследование о жизни Педро Арканжо, коллеги выталкивают меня на улицу, злословят обо мне и Ане Мерседес, забрасывают меня грязью — я задыхаюсь в нечистотах и клевете.

Я рассказал о политических интригах, бесчестных попытках выдать меня за агента американского империализма, действующего в области культуры, поссорить меня с левыми (что, впрочем, в настоящий момент имеет и свои преимущества), воспрепятствовав моему доступу в жизненное пространство для тех, кто желает — а я желаю — сделать себе имя и карьеру и для этого нуждается в рекламе и покровителях. В свое время я разоблачил презренную интригу, и если не возвращаюсь к тому, чтобы провозгласить здесь, публично, свои непоколебимые убеждения, то только потому, что я все-таки исследователь, а не сумасшедший или авантюрист, ищущий провокаций и тюрьмы. Я предпочитаю сражаться непобедимым оружием поэзии, моей герметической, а поэтому радикальнейшей поэзии.

Канальи не ограничились пропагандой среди левых, они пошли дальше и закрыли передо мной двери газет. В «Жорнал да сидаде» я давний бескорыстный сотрудник (кто посмел бы потребовать у сеньора Зезиньо гонорар за поэмы, опубликованные в его газете? Мы еще счастливы — я и другие поэты,— что он пока не надумал взыскивать с нас за место на газетной полосе и за взаимные похвалы), я регулярно печатаюсь в воскресном номере любимой нашей газеты, на страницах которой культура находит приют и покровительство. Кстати, газете мы обязаны проведением замечательной кампании по празднованию столетия со дня рождения Педро Арканжо. В литературном приложении этого славного органа мы, я и Зино Бател, ведем «Колонку молодой поэзии» — в действительности работа лежит на мне, а делим мы похвалы и поэтесс.

Учитывая, что к моей повседневной деятельности поэта и критика, сотрудника «Жорнал да сидаде», добавилось нынешнее высокое положение социолога — по выражению Силвиньо, занятого «изучением международных нравов и их отражения»,— я отправился в редакцию боевой утренней газеты и там узнал о начинающейся памятной кампании.

Скажите мне, пожалуйста, беспристрастно: кто лучше меня подходит для того, чтобы в ней сотрудничать, если не руководить этой кампанией? Я непосредственный помощник, своего рода уполномоченный гения Колумбийского университета, который избрал меня, меня и никого больше, для проведения исследования о бессмертном баиянце! Я не только уполномочен и законтрактован, но и оплачиваем. ОПЛАЧИВАЕМ — позвольте мне написать это священное, святое слово крупными буквами, утереть нос шайке завистников и клеветников: кому из них когда-либо щедро платил — и в тот же день — за выполненную серьезную работу трансконтинентальный гений, и платил к тому же в долларах? Они живут за счет крохотных подачек от правительства и университета, много шумят, но стоит на них цыкнуть, как они становятся кроткими ягнятами. Кто, скажите, лучше подходит по всем статьям для того, чтобы за небольшую плату и разумную гласность помочь проведению этой достойной кампании, предпринятой уважаемой газетой «Жорнал да сидаде»? В конце концов Педро Арканжо — это нива, на которой я тружусь, это моя пашня, где еще созреет урожай.

Так вот, вы не поверите: я был встречен в штыки, и между мной и сеньором Зезиньо были возведены всяческие препятствия. Я уже подумал было, что не смогу его даже повидать, столько всевозможных

тщетных попыток я предпринял, наталкиваясь на циничные отказы. Хозяева кампании — всемогущее трио негодяев — выслушивали меня мимоходом или, вернее сказать, слушал один из них и тут же отпускал меня, наделив туманными обещаниями: «В настоящий момент мы ни в чем не нуждаемся, дражайший, но в ходе кампании, быть может, возникнет какая-нибудь возможность, скажем, взять интервью или написать репортаж». А ведь я, как известно, не говорил о том, чтобы возглавить кампанию: я предложил себя лишь в качестве их сотрудника.

Однако я вернулся еще раз, от меня не так-то легко отделаться. Принес кое-какой материал показать им и добился того, что банда собралась в полном составе. Мне предложили смехотворную сумму за все документы — и не дали ни малейшего шанса на то, чтобы связать мое имя с шумной кампанией.

Я решил выступить против них и составить им конкуренцию, обратившись в другие газеты, причем Ана Мерседес попробовала поговорить обо мне в своей «Диарио да манья». Бесполезные старания: хозяева прессы объединены в монополию общественного мнения, между собой они не борются.

Поскольку у меня не было иного выхода, я вернулся в «Жорнал да сидаде», намереваясь принять недостойное, однако единственное сделанное мне предложение и продать за гроши лучший из моих материалов. С решимостью отчаяния постучал в дверь самого сеньора Зезиньо, и всемогущий хозяин благосклонно выслушал меня. Когда, однако, я показал ему свои записки, с ним едва не случился истерический припадок. «Это именно то, чего я не хочу: это же проявление неуважения к великому человеку высочайшего ума. Это же издевательство, принижение облика Арканжо. Не допущу! Если мы у вас купим эти страницы болтовни и сплетен, то только для того, чтобы выкинуть их в корзину, дабы они не были использованы и не запятнали образа Педро Арканжо. Мой дорогой Фаусто, подумайте о детях в школах!»

Я подумал о детях в школах и продал свое молчание за гроши. Сеньор Зезиньо, еще не успокоившись, добавил: «Многоженец — какой позор! Он даже не был женат! Мой дорогой поэт, усвойте этот урок: великий человек должен обладать моральной честностью, и, если он случайно оступился и поступил дурно, надлежит возвратить ему его совершенство. Великие люди — достояние родины, примеры для новых поколений: мы должны сохранить их на алтаре гениальности и добродетели».

Получив чек и урок, я поблагодарил и ушел, отправившись на поиски Аны Мерседес и виски, этих дорогостоящих утешений.

Таким образом, я не смог приобщиться к журналистской славе Педро Арканжо. У меня остались лишь немногие материалы, продвигаемые в газеты великодушными составителями колонок Силвиньо и Ренотом, Жули и Матильде. Обратились ко мне также симпатичные ребята из театрального мира, участники весьма передовой труппы под названием «Долой текст и рампу!» — название, говорящее само за себя. Они мне предложили проект пьесы о Педро Арканжо или, вернее сказать, спектакль, так как они не любят слова «пьеса». Я обдумаю это предложение, и, если они мне предоставят по крайней мере участие в режиссуре, я, возможно, пущусь на эту авантюру.

Как общество потребления отметило столетний юбилей Педро Арканжо, упрочив его славу, придав ему важное значение

1

Пост генерального секретаря Исполнительной комиссии по проведению торжеств, посвященных столетней годовщине со дня рождения Педро Арканжо, был доверен профессору Калазансу, что явилось несомненно удачным выбором.

Имя историка Калазанса получило широкую известность далеко за пределами штата Баия и приобрело популярность во всей стране; его работы о Канудосе и Антонио Консельейро [1], действительно серьезные и оригинальные, принесли ему одобрение старичков из Национального исторического института и, если не ошибаюсь, премию Бразильской академии (если информация не соответствует действительности и ему не присудили лавры, бессмертные еще имеют возможность исправить столь вопиющую несправедливость). Профессор двух факультетов, преподающий на различных курсах, добродушный ученый, он целыми днями носится из аудитории в аудиторию, зарабатывая свой тяжкий хлеб, всегда в хорошем настроении и с богатым ассортиментом исторических анекдотов. При такой занятости он еще находит время и с удовольствием принимает различные должности и титулы; некоторые пышные, но все требующие много труда и все безвозмездные — даже без намека на вознаграждение: секретарь Баиянской академии, казначей Историко-географического института, президент Центра фольклорных исследований и Дома Сержипе, не считая управления зданием, где он живет и где состоит пожизненным синдиком.

Столько успешно осуществляемых видов деятельности, столько задач, выполняемых точно в срок, плюс еще научная работа, статьи и исследования — причем профессор всегда энергичный, спокойный, терпеливый,— эта беготня, эта спешка покажутся необычайными и абсурдными только тому, кому неизвестно, что профессор Калазанс — родом из легендарного штата Сержипе. Для уроженца этого штата, родившегося в феодальной латифундии, в безмерной бедности, при отсутствии каких бы то ни было средств, при безработице и нищенских заработках, для сержипанца, который пережил детскую смертность, местные эпидемии — от перемежающейся лихорадки до оспы,— все лишения и трудности, для такого героя нет ничего невозможного и время как бы растягивается. С профессором Калазансом, согласующим все работы, успех празднования столетия был обеспечен.

К тому же большая комиссия почета (БКП) уже заранее разработала масштабы празднеств. В БКП под председательством губернатора штата вошли кардинал-примас, представители военных властей, ректор университета, префект города, президенты культурных учреждений и правлений баиянских банков, управляющий «Банко до Бразил», генеральный директор промышленного центра Арату, президент Торговой ассоциации, директора ежедневных газет, секретарь Управления просвещения и культуры и майор Дамиан де Соуза.

За исключением этих лиц, присутствие которых было обязательным — ибо без их согласия или одобрения какое бы то ни было мероприятие было обречено на провал или запрет,— все остальные члены

[1] Речь идет о массовом выступлении крестьян во главе с выдающимся народным вождем Антонио Консельейро, героически боровшимся против помещиков в районе Канудос, в штате Баия, в 80—90-х гг. XIX века.

БКП фигурировали в ней с определенными целями. Так объяснил сеньор Зезиньо Пинто, когда собрал у себя в кабинете малую исполнительную комиссию, «малую именно для того, чтобы она была оперативной и действенной».

Она, впрочем, была не такой уж маленькой. В нее, помимо сеньора Зезиньо, прирожденного президента, и генерального секретаря Калазанса, вошли президенты Историко-географического института и Академии литературы, директора медицинского и философского факультетов, секретарь Центра фольклорных исследований, директор Управления по туризму и главный управляющий баиянским филиалом акционерного общества рекламы «Допинг».

На первое заседание явились все, атмосфера была праздничной, и официант — ночной портье — принес бокалы с уже налитыми дозами виски, лед, содовую воду и лимонад гуарана.

— Отечественное...— пробормотал, попробовав виски, секретарь редакции мрачный Феррейринья.

Приветствовав «выдающиеся личности, которые почтили своим присутствием редакцию «Жорнал да сидаде», доктор Зезиньо изложил в короткой, но блестящей речи основные направления кампании и перечислил с горячими похвалами других членов БКП во главе с губернатором штата. Одновременно он дал понять, что ожидается от каждого из них. Так, динамичному префекту города следовало бы присвоить имя Педро Арканжо одной из новых улиц, тогда как секретарь Управления просвещения и культуры мог бы назвать его именем школу, где будет жить память об Арканжо, «почитаемом детишками, которые станут завтра взрослыми, блестящим будущим Бразилии». Ректор оказал бы необходимую духовную и материальную помощь университета в организации всей компании и, в частности симпозиума, предусмотренного планом; от директора Управления по туризму предполагалось получить проездные билеты, а также размещение приглашенных, которые прибудут с Юга и Севера страны. От директоров газет, «коллег, а не конкурентов», ожидалась широкая информация, безоговорочная поддержка ее не только через органы печати, но также через радиостанции и телевидение, которые также контролируются ими. Что касается остальных — банкиров, промышленников, коммерсантов, то содействие с их стороны должны обеспечить действенные и динамичные сотрудники акционерного общества «Допинг». Не забыл ли я упомянуть чье-либо имя? Ах, да, майор Дамиан де Соуза, паладин народных дел, аллегорическая фигура нашего города; поскольку он был личным другом Педро Арканжо, то стал подлинным представителем народа в БКП. «Мы не можем забыть, что Арканжо происходил из народа, из низших, трудовых классов, из них он поднялся до высот науки и литературы» (аплодисменты).

Между виски и чашечкой кофе («Это виски для бродяг, из самых дешевых, все-таки Арканжо заслуживал чего-нибудь лучшего, хотя бы приличной кашасы»,— подумал Магальяэнс Нето, знаменитый старец, президент Института, меняя виски на кофе) Исполнительная комиссия наметила программу торжеств из следующих трех основных мероприятий, что не исключает каких-либо других предложений, которые смогут быть внесены дополнительно:

а) серия из четырех специальных приложений «Жорнал да сидаде», которые будут публиковаться четыре воскресенья подряд, предшествующие юбилейной дате 18 декабря; они будут посвящены исключительно Арканжо и его творчеству; предусматривается сотрудничество самых представительных имен не только Баии, но и всей Бразилии. Даже объявления — напомнил главный управляющий общества «Допинг»,— послужат прославлению имени Арканжо. Был состав-

лен первый список тех, кто примет участие в приложениях, все — люди с положением. Ответственными за подготовку приложений назначили президентов Института и Академии, секретаря Центра фольклорных исследований и профессора Калазанса (без него не получится ни одно приложение, даже половинка);

б) научный симпозиум, посвященный Педро Арканжо, который будет проведен на философском факультете на тему «Бразильская расовая демократия и апартеид — утверждение и отрицание гуманизма». Предложение организовать такой симпозиум поступило от профессора Рамоса из Рио-де-Жанейро в письме, адресованном доктору Зезиньо: «Педро Арканжо был знатоком и примером величия бразильского решения расовой проблемы — слияние, смешение, спайка, скрещение рас,— и, чтобы почтить его память, которая в течение стольких лет пребывала в забвении, нет ничего более подходящего, чем конклав ученых, на котором еще раз утвердился бы бразильский тезис и были бы разоблачены преступления апартеида, расизма, ненависти между людьми». Организация симпозиума возложена на директоров медицинского и философского факультетов, Управления по туризму и, естественно, на могучего сержипано;

в) торжественное заключительное заседание состоится вечером 18 декабря в актовом зале Историко-географического института — место наиболее подходящее, строгое, величественное, небольшое — «ибо,— сказал пунктуальный и осторожный доктор Зезиньо,— лучше зал с небольшим количеством мест, который будет переполнен слушателями, чем огромный зал, заполненный лишь свободными стульями». Директор Управления по туризму, оптимист, предложил просторный актовый зал медицинского факультета, а то и вовсе почему бы не зал ректората, еще лучший и еще больший? Вряд ли найдется в городе столько самоотверженных людей, кроме профессора Рамоса из Рио, представителей медицинского факультета, Академии литературы, Центра фольклорных исследований и самого Исторического института, которые отважатся прослушать пять речей, проникнутых наверняка чистой красотой и большой ученостью, возвышенных шедевров, ах, возвышенных, длинных и скучных. Доктор Зезиньо, опытный в жизни и хорошо знающий людей, не испытывал такого оптимизма, и, по его мнению, директор Управления по туризму был просто легкомысленным человеком. Организация торжественного заседания была поручена одному Калазансу. Уж если он не заполнит актовый зал института с его двумястами удобных кресел, то никто другой этого не сделает.

Протокол заседания не составлялся за ненадобностью. Зато доктор Зезиньо попросил машинописную копию трех перечисленных выше параграфов со всеми подробностями — именами, темами, ораторами, тезисами и т. п., так как он еще хотел изучить их, «прежде чем обнародовать». Улыбаясь своей обворожительной улыбкой — будто он поздравлял собеседника, предлагая ему деньги,— доктор Зезиньо добавил:

— Мы будем публиковать все это постепенно — каждый день по одной новости. Так мы растянем публикацию и подогреем интерес.

— Будет просить nihil obstat [1],— пробормотал мрачный Феррейринья шутливому Голдману, заведующему редакцией и королю «нет!» — «нет денег в кассе».

— У цензуры или у начальника полиции?

— И там, и там, скорее всего.

Фотографы запечатлели сердечную и полезную встречу для пер-

[1] Никаких возражений *(лат.)* — формула разрешения, которую обычно печатают на книгах, подвергаемых церковной цензуре.

вой полосы выпуска следующего дня, а также и на будущее. Телевизионные камеры сняли ее для вечернего выпуска теленовостей: «чашка чая» у сеньора Брито — «отнюдь не конкурента, а сердечного коллеги»,— доктор Зезиньо Пинто еще раз оказался прав.

После того как была назначена дата следующего заседания, все на прощание обменялись рукопожатиями с победоносным импресарио. «Неужели он и у себя дома угощает гостей таким же позорным виски? — размышлял все еще не успокоившийся сеньор Магальяэнс.— Наверно, нет. У него должен быть запас шотландского. В конце концов у этих миллионеров все возможно, никогда нельзя угадать».

2

Полное лицо с притворным выражением энергии и решительности, приветливо расплывающееся в улыбке, длинные усы и проглядывающая лысина, признаки преждевременного ожирения и рубашка в пятнах от пота — таков облик Гастона Симаса, управляющего баиянским филиалом общества рекламы «Допинг». Обращаясь к своим помощникам, компактной группе, состоящей из пяти светил, пяти тузов, он сообщает им результаты заседания Исполнительной комиссии, отвечающей за подготовку торжеств, посвященных столетию Педро Арканжо. Теперь им, пяти головам, оплачиваемым по-королевски, надо поставить на ноги другую сторону кампании, единственную, которая в самом деле имеет значение,— проблему договоренности с фирмами, добывания рекламных объявлений, то есть то, что обеспечивает получение денег — «офактуривание». Гастон Симас как бы перекатывает во рту под усами ключевое слово — «офактуривание»,— и создается впечатление, что он дегустирует амброзию [1], икру или глоток вина из редкого сорта винограда:

— Пять полос из восьми в каждом приложении резервируются для объявлений. Четвертое, значит последнее, приложение будет иметь двенадцать полос, и нам будет отведено семь — семь с половиной полос, можем дойти до восьми, если понадобится. Кроме того, мои дорогие, мы не должны ограничиваться приложениями. Поле свободно, надо призвать на помощь воображение, творить, быть художниками! За работу, дети мои, и не будем терять время. Я хочу получить конкретные результаты в кратчайший срок. Наш девиз — «эффективность и качество», не забывайте этого.

Сказав, он возвращается в свой кабинет, откидывается в кресле. Гастон Симас — человек качества и эффективности; трудолюбивый, умный, с воображением. Когда он предается самокритике, то чувствует себя обязанным признать, что рожден не для этого дела, что его не может увлечь добывание материальных благ. Он выполнял свои обязанности по необходимости и из тщеславия: они обеспечивают ему высокое вознаграждение и общественный престиж. Будь его воля, он продолжал бы работать в газетном киоске, где начинал, зарабатывая унизительно малые деньги, но зато он не был вынужден носить маску важной персоны, так мало подходившую для его жизнерадостного, веселого лица, для человека, у которого высшим наслаждением в жизни была партия в домино у ворот Образцового рынка, бокал вина и веселье, ни к чему не обязывающая болтовня. «Я слишком баиянец для этой профессии»,— признался он как-то одному из своих сотрудников, молодому Арно, симпатичному кариоке [2], мастеру рекламы. Что делать? Что за вопрос, мой добрый Гастон: взять себя в руки, управ-

[1] В данном случае — бразильское сладкое блюдо из молока и яиц.

[2] Кариока — уроженец или житель Рио-де-Жанейро.

ление общества «Допинг» обещает большие деньги и завидное положение. Бессильный раб в своем кабинете Гастон Симас наблюдает пейзаж залива, морской форт, зеленый остров и мирно снующие лодки. Кабинет — выставлено напоказ богатство и могущество — мебель из жакаранды, роскошный ковер, рыжая секретарша. Профессия профессией, искусство искусством, а реклама — самое прибыльное дело. Главное искусство нашего времени.

Все мы знаем, и даже самый заурядный из мошенников не осмелится возражать против того, что искусство рекламы — наиболее влиятельное и высокое: ничто с ним не сравнится, ни поэзия, ни живопись, ни проза, ни музыка, ни театр, ни даже кино. Что же касается радио и телевидения, то можно сказать, что они — неотъемлемая часть рекламы и не могут существовать без нее.

Некоторые художники владеют творческой техникой рекламы: в агентствах кишат разные местные пикассо. Нет писателя, способного сравняться с теми, что сочиняют объявления; да и что может конкурировать со средствами изображения, реализмом, сюрреализмом, доходчивостью этих текстов агентств, где дюжины местных хемингуэев создают новую литературу. Какой смысл скрывать правду, если она все равно проявляется при свете солнца, блистательная и жизненная?

От рекламы зависят даже доморощенные пикассо и хемингуэи, многие из них сфабрикованы в рекламных бюро, которые выпускают их в свет и делают их популярными в мгновение ока. По меньшей мере в течение нескольких месяцев имя свежеиспеченного художника или писателя будет вызывать овации и восхищение масс и дураков. Потом оно исчезает, ибо никто не бог, чтобы вытащить из небытия бесталанных литераторов и художников и держать их бесконечно долго на гребне волны и на газетных колонках!

Арно, этот неугомонный малый, импортированный из Рио, с пером, обмакнутым в настоящее шотландское виски, был первым из сотрудников, потрясших Гастона Симаса плодами двух-трех дней интенсивной работы, глубоких размышлений, безудержной фантазии. Он положил на стол шефа лист бумаги, где крупными буквами было отражено гениальное открытие:

Переведенный на английский, немецкий и русский,
Педро Арканжо — источник валюты
для возвеличения Бразилии.
Такой же источник валюты —
кооператив экспортеров какао.

— Феноменально!— зааплодировал Гастон.— Ты молодец.

Последовали другие результаты, в равной мере грандиозные, но следует признать приоритет Арно, молодого принца рекламы, талантливейшего сотрудника, получающего жалованье, равное заработку половины конгрегации факультета.

Стоит напомнить во имя повышения культурного уровня читателей некоторые тексты, имевшие наибольший успех:

«Выпейте в честь столетия Арканжо, подняв бокал пива «Полярное»!»

«Если бы Педро Арканжо был жив, он писал бы свои книги на электропишущих машинках «Золимпикус»!»

«В год столетия Арканжо Промышленный Центр строит новую Баию».

«В 1868 году в Баии родились два гиганта: Педро Арканжо и Страховая компания Аршоте».

Не удовлетворенный начальным триумфом, Арно создал теперь другое чудо — воспроизведенное здесь, оно скажет о себе лучше, чем какие-либо эпитеты:

Ангел звездочка Арканжо
Звезда звездочка и ангел
Фирма ЗВЕЗДОЧКА опять
Станет всех вас обувать
Уж четыре поколения
Даже ангелов архангелов
Обувает без сомнения
И с рассрочкой взносов пять

Донельзя довольный своим творением, он сам отнес его клиенту, владельцу обувного магазина, однако тот принял Арно в явно плохом настроении: в этот день он соблюдал режим, чтобы похудеть, а нет ничего хуже дня воздержания для некоторых людей. Тип лет пятидесяти, с густыми бровями и кольцом, свидетельствующим о наличии у него высшего образования, оценил элегантность франта и его флегматичный вид, затем безнадежно покачал головой и сказал:

— Я старик, изнуренный и голодный, вы же молоды, красивы, элегантны, вас окружает запах виски и сигар, прекрасное сочетание... но разрешите вам заметить: ваше объявление — дерьмо.

Он сказал это таким тоном, с такой притворной скромностью и грубой резкостью, что Арно, вместо того чтобы обидеться, расхохотался. Клиент пояснил:

— Почтенный, прежде всего, магазинов «Звездочка» три, а не один, как это можно понять из объявления. А ваше объявление даже не указывает адреса. Для публики остается неизвестным — обувной это магазин или еще что-нибудь...

Они не обменялись пощечинами, разочаровав еще раз приказчиков, не терявших надежды увидеть в один прекрасный день хозяина, вступившего в драку; наоборот, вместе с гостем хозяин переработал текст, а потом они отправились куда-то к вечеру, когда с моря дует бриз и поднимается по склонам. «Вы любите старину?» — спросил коммерсант. «Я предпочитаю больше модернизм»,— признался Арно, но все же пошел с ворчливым стариком по улочкам и переулкам к антикварам — впервые он попал в лавку, где торгуют всяким старьем. Увидел архаические фонари, серебряные кадила, кольца, крикливые драгоценности, скамейки и кушетки, множество хрусталя, гравюры Лондона и Амстердама, молельню, расписанную от руки, и статую древнего святого, вырезанную из дерева. Арно внезапно проникся волшебной силой красоты.

На следующий день в бюро, предлагая переработанный текст на окончательное утверждение Гастона Симаса, Арно Мело сказал ему:

— Старина, ты прав: в Баии нет подходящей атмосферы для такого, как я, никчемного человека. Если бы я имел возможность, то бросил бы это дерьмо, пошел бродить по улицам. Скажи мне, Гастон, ты когда-нибудь видел фасад церкви Третьего ордена?

— Да ты что, малый?! Я же родился здесь.

— Ну а я вот уже год в Баии, проходил мимо нее тысячу раз и ни разу не остановился, чтобы обратить внимание на нее и всмотреться. Я лошадь, Гастон, животное, неудачник, сукин сын из рекламного агентства.

Гастон Симас вздохнул: это уже выходило из всех рамок.

3

На второе заседание Исполнительной комиссии явилось значительно меньше народу — так бывает всегда: второе заседание не дает фотографу права снимать, а репортеру — возможности опубликовать информацию на первой полосе; в лучшем случае на одной из внутренних полос поместят пару строк.

Президенты Академии и Института уполномочили представлять их профессора Калазанса, входящего в состав руководства обоих учебных заведений. Извинились также ректоры медицинского и философского факультетов и директор Управления по туризму, все они сослались на более ранние обязательства, заявив вместе с тем о своем согласии и поддержке любой меры или решения комиссии.

С философского факультета пришел в частном порядке профессор Азеведо и принес проект симпозиума, воодушевившись этой идеей. Профессор Рамос написал ему из Рио, попросив содействия в организации данного мероприятия: «Симпозиум может стать великим событием для бразильской культуры — это будет первое систематизированное обсуждение на подлинно научной основе расовой проблемы, более чем когда-либо привлекающей к себе внимание и накаленной до предела, ибо повсюду вспыхивают конфликты, особенно в Соединенных Штатах, где Негритянская власть является новым серьезным фактором; эта проблема обострилась и в Южной Африке, где, похоже, закрепилось наследие нацизма». Профессор Азеведо подготавливает документированный тезис о вкладе Арканжо в бразильское решение проблемы, тезис, который целесообразно обсудить на симпозиуме, где, как предложил профессор Рамос, может быть использована в качестве эпиграфа фраза мастера Педро из «Заметок о смешении рас в баиянских семьях»: «Если Бразилия и внесла что-либо ценное в обогащение мировой культуры, то это — скрещивание рас; оно отмечает наше участие в достижениях гуманизма и наш высший вклад для человечества».

Секретарь Центра фольклорных исследований тоже пришла на заседание; мужественно борясь за место под солнцем среди стольких этнологов, антропологов, социологов, являющихся знатоками проблемы, причем большинство получало стипендии в иностранных университетах и поддерживалось отрядами, батальонами учеников и ассистентов; она же — самоучка, кустарно, в одиночку занимающаяся своими исследованиями, не могла упустить эту возможность. Крепкая, жизнерадостная девушка Эделвейс Виейра фигурировала среди немногих, кто в Баии был знаком с творчеством Арканжо. Помимо нее и профессора Азеведо из научного мира появился лишь генеральный секретарь комиссии Калазанс: «Когда я беру на себя обязательство, то отношусь к нему серьезно».

Пришел также управляющий общества «Допинг», вооруженный кожаной папкой с бумагами, схемами, фонограммами, текстами реклам; едва появившись, он заперся с директором газеты в его кабинете. При этом доктор Зезиньо попросил Калазанса и его коллег «подождать минутку». Те принялись болтать в редакции.

Мрачный Феррейриньа, отведя генерального секретаря комиссии к окну, сообщил ему о своих зловещих сомнениях: дела идут плохо, «у царя похоронное лицо». Зная установившуюся за секретарем редакции славу паникера, сержипанец не придал его словам слишком большого значения. Ведь то были времена бесконечных сплетен, пессимистических предсказаний, скучной и беспокойной рутины. Но когда дверь кабинета наконец открылась и на пороге появился Гастон Симас и директор газеты, Калазанс заметил следы настороженности и озабоченности в притворном выражении лица доктора Зезиньо, похоже открытого и сердечного.

— Пожалуйста, заходите,— сказал он,— и извините меня за задержку.

Еще не присев, Калазанс сообщил:

— Профессор Азеведо представляет философский факультет. Сеньор Нето не смог прийти — сенатор находится в городе Бразилиа

(президент Академии был избран сенатором республики). Я уполномочен представлять его. Директор медицинского факультета и директор Управления по туризму...

— Они звонили, объяснив причины своего отсутствия,— прервал его магнат.— Не имеет значения, пожалуй, даже лучше. В узком кругу можно разговаривать спокойнее, лучше обсудить отдельные идеи и разрешить проблемы нашей большой кампании. Сядем, друзья мои.

Профессор Азеведо взял слово, начав почти ораторским тоном:

— Разрешите мне поздравить вас, доктор Пинто, с инициативой организации памятных торжеств, заслуживающей всяческих похвал. Выделяю особенно симпозиум о скрещивании рас, имеющий величайшее значение, исключительную актуальность; это будет самое серьезное научное мероприятие в Бразилии за последние годы. Мы все можем поздравить себя, и вас в первую очередь.

Доктор Зезиньо принял похвалы со скромным видом человека, который лишь выполняет свой долг перед родиной и культурой, не скупясь на жертвы:

— Большое спасибо, дорогой профессор. Ваши слова меня ободряют. Но поскольку вы упомянули о симпозиуме, я хотел бы высказать вкратце свое мнение по данному вопросу: я еще раз продумал эту идею с учетом таящихся в ней противоречий и пришел к некоторым выводам, которые и хочу довести до вашего сведения, призвав вас проявить благоразумие и патриотизм. Я хочу прежде всего выразить профессору Рамосу мое восхищение проделанной им отличной работой. Лучшим доказательством этого является то, что именно к нему я обратился, попросив его сотрудничества в организации торжеств в память Педро Арканжо. Симпозиум, который он нам предложил организовать, хотя и представляет несомненно научный интерес, однако, мне кажется, его тема не является самой подходящей при современной конъюнктуре.

Профессор Азеведо почувствовал, как у него по спине пробежали мурашки: всякий раз, как он слышал эти роковые слова *современная конъюнктура,* случалось что-нибудь дурное. Последние годы не были ни приятными, ни легкими для профессора Азеведо и его коллег по университету. Именно поэтому он прервал доктора Зезиньо, не дослушав остального, наверняка еще худшего.

— Наоборот, доктор Пинто, момент сейчас самый подходящий: когда расовые схватки в Соединенных Штатах перерастают чуть ли не в гражданскую войну, когда новые страны Африки начинают играть важную роль в мировой политике, когда...

— Вот именно, мой дорогой профессор и друг, именно эти доводы, которые подсказывают вам целесообразность проведения симпозиума, на мой взгляд, становятся опасными, они могут стать серьезной опасностью.

— Опасностью?— вскинулся теперь Калазанс.— Не вижу, откуда она может грозить.

— Опасность велика. Этот симпозиум с подрывной тематикой — скрещивание рас и апартеид — представляет собой опаснейший очаг агитации, из него может возникнуть пожар, размеры которого невозможно предвидеть, мои дорогие. Подумайте о молодежи университета, о мальчиках в гимназиях. Я не отрицаю, что некоторые требования обоснованны, и наша газета об этом смело говорит. Но согласитесь, что любой предлог оказывает услугу агитаторам, проникшим в студенческую среду, профессиональным смутьянам и всякому сброду.

«Все пропало»,— подумал профессор Азеведо, однако он все же не сдавался; идея Рамоса заслуживала еще одного усилия:

— Да что вы, доктор Пинто: студенты, включая и левых, поддер-

жат в своей массе симпозиум, обеспечат ему полный успех, я сам уже говорил со многими из них, и все они относятся положительно к этому мероприятию и заинтересованы им. Речь идет о чисто научном собрании.

— Вот видите, профессор, вы сами даете мне довод и подсказываете новые аргументы. Опасность заключается именно в студенческой поддержке. Дело это — чистый динамит, бомба. Нет ничего легче, как преобразовать симпозиум научного характера в шествие, уличные манифестации в поддержку американских негров и в демонстрации против Соединенных Штатов; если мы его проведем, дело может закончиться поджогом американского консульства. Вы же сами говорите, профессор, что речь идет о симпозиуме левого направления.

— Я этого не сказал. Наука не может быть ни левого, ни правого направления, наука есть наука. Я сказал, что студенты...

— Это одно и то же: вы сказали, что студенты с левыми убеждениями, студенческая масса поддерживают данную идею. Вот в этом-то и заключается опасность, профессор.

— Но в таком случае вообще нельзя...— Калазанс продолжал отстаивать предложение коллеги.

Явно раздосадованный доктор Зезиньо решил покончить с этим вопросом:

— Простите, профессор Калазанс, если я вас перебью: мы все здесь просто теряем время. Даже если вы, господа, меня убедите и, возможно, не так уж трудно было бы меня убедить...— он замолчал, чувствуя себя действительно в затруднении.— Даже так симпозиум не сможет быть проведен.— С нарастающим неудовольствием он продолжал:— Ко мне... ну, в общем, ко мне обратились... и мне довелось обсудить дело во всех его аспектах.

— Обратились? Кто?— поинтересовалась секретарь Центра фольклорных исследований, весьма далекая от тонкостей политики.

— Кое-кто из юстиции, мой добрый друг. Профессор Азеведо, я думаю, вы меня понимаете и оправдываете мою позицию. Кроме того, я хочу просить вас объяснить все это профессору Рамосу, я не хочу, чтобы он плохо думал обо мне.

Он посмотрел в окно: напротив, в баре, редакторы газеты поглощали большие чашки кофе с молоком и хлеб с маслом.

— Некоторые вещи от нас ускользают, мы не в курсе деталей, которые делают нежелательным в данный момент то, что с виду представляет хорошую идею. Я вам открою нечто весьма конфиденциальное: бразильская дипломатия именно в данный момент разрабатывает соглашение с Южной Африкой. Мы крайне заинтересованы в расширении наших отношений с этой мощной страной, имеющей исключительно высокий индекс развития. Не исключена даже возможность заключения союза против коммунизма, наконец в ООН мы уже являемся союзниками, защищаем одни и те же точки зрения. В ближайшие дни откроется прямая воздушная линия, которая свяжет Рио с Иоганнесбургом. Вы отдаете себе отчет? Как можно тогда собрать в этот час бразильских ученых для того, чтобы они нанесли удар по апартеиду, а следовательно, по Южной Африке? Я уж не буду касаться Соединенных Штатов, наших обязательств по отношению к великой американской нации. Неужели в этот момент, когда возрастают их трудности с неграми, мы тоже подбросим дров в костер? От расизма до Вьетнама один шаг. Ничтожный шажок. Это серьезные аргументы, друзья мои, и, как бы я ни желал защищать нашу идею, спорить я не смог.

— Так вы хотите сказать, что симпозиум запрещен?— упорствовала секретарь Центра фольклорных исследований, не взвешивая свои слова, привыкнув к народному разговору, прямому и без обиняков.

Доктор Зезиньо, более выдержанный, воздел руки к небу:

— Никто ничего не запрещал, дона Эдельвейс, помилуй бог. Мы живем в условиях демократии, никто ничего не запрещает в Бразилии, сделайте одолжение, поймите! Это мы сами сейчас, рассматривая вопрос на основе новых данных, решаем, мы, Исполнительная комиссия, и никто больше, воздержаться от проведения симпозиума. Но не будем же мы из-за этого отказываться от чествования столетия Педро Арканжо. Приложения подготавливаются, Гастон принес мне обнадеживающие вести, перспективы хорошие. Торжественное собрание будет иметь соответствующее научное и ораторское звучание. Помимо этого ничто нам не мешает подумать и о других вещах, лишь бы они не имели такого подрывного характера, как симпозиум.

В молчании, столь подходящем для *современной конъюнктуры,* доктор Зезиньо возродился еще раз из пепла неприятного дела:

— Я прошу вас, господа, подумать, не стоит ли, например, редакции объявить большой конкурс среди учащихся средней школы на современную патриотическую тему. Это будет премия имени Педро Арканжо — ценная премия, которую станут усиленно оспаривать: билеты на самолет и недельное пребывание в Португалии для победителя и одного сопровождающего. Как вам кажется? Подумайте об этом, друзья мои, и пока большое спасибо.

Не было на этот раз даже и отечественного виски.

4

Общество медиков-писателей (с центром в Баии и филиалами в различных городах других штатов) выпустило манифест о поддержке празднеств — несмотря на то, что Педро Арканжо не имел звания доктора, он был тесно связан с медицинскими кругами через пуповину медицинского факультета Баии, «которому служил с исключительной энергией и трогательной преданностью».

Президент активной организации, снискавший всеобщее уважение рентгенолог прекрасной клиники, биограф знаменитых врачей, записался оратором — шестым! — на торжественный акт закрытия торжеств. В связи с этим он стал разыскивать наиболее точные и подробные данные о Педро Арканжо, которые могли бы внести человеческую нотку в сухость научной речи. От информации к информации он добрался до майора Дамиана де Соуза, устроившего свою вечернюю контору много лет назад в баре «Бизарриа» в мрачном переулке Пелоуриньо.

Бар «Бизарриа», один из тех, что открыты до наиболее позднего часа, предоставляя посетителям возможность приятно побеседовать, находился ранее на лучшем месте — на Ларго да Сэ, в ту пору он был собственностью приветливого испанца, прибывшего из Понтеведры более полувека назад. Теперь же на шумном углу его сыновья открыли кафетерий с самообслуживанием, это была новинка, имевшая огромный успех: по умеренной цене посетители получают единственное блюдо, прохладительный напиток по выбору, ставят блюдо и бутылочку на подобие стойки, окружающей помещение, и через десять минут уже заканчивают завтрак, означающий пропащее время, когда денег не зарабатываешь. Торговавший здесь вначале испанец, друживший с посетителями и любивший выпить хорошего вина (он не гнушался и кашасы, но хорошего качества), передал ценное место прогрессивным и алчным сыновьям, однако не отказался от идеи владеть баром со столами и стульями, где можно вести оживленную беседу, не ограниченную временем, и обосновался в переулке, где жили про-

ститутки, продолжая пребывать в обществе закоренелых пьяниц — посетителей и друзей. Стародавний клиент с забронированным для него к вечеру местом был Майор, неизменно заходивший сюда выпить аперитив перед ужином.

Элегантный рентгенолог, державшийся несколько официально, почувствовал себя растерянным и ошарашенным в этой архаичной обстановке; будто он перенесся в прошлое и очутился в несуществующем уже городе: черные камни пола, тусклое освещение, вековые стены помещения, тени, запах Востока. Майор был не единственным, явившимся сюда в этот вечер за воспоминаниями о Педро Арканжо: он уже столкнулся в «Бизарриа» со знакомым ему Гастоном Симасом и еще одним щеголем из рекламного агентства. Они сидели за стаканами крепкого, некогда популярного вина «Ослиный прыжок». У порога на улице уже более двадцати лет восседала со своим лотком и очагом пышная баиянка; она появилась еще на Ларго да Сэ одновременно с открытием бара. Для президента Общества медиков-писателей это был новый и волнующий эксперимент: его мир ограничивался клиникой со студентами факультета, медицинским кабинетом на улице Чили, литературно-научными собраниями, обедами и приемами. По воскресеньям он позволял себе искупаться в море и полакомиться фейжоадой.

— Рентгенолог?— прочел Майор на визитной карточке медика.— Прекрасно. Из-за отпуска доктора Натала и поездки доктора Умберто я как раз нуждаюсь в этом. Садитесь, чувствуйте себя как дома. Что будете пить? То же, что и мы? Рекомендую. Для возбуждения аппетита нет ничего лучшего.— Он обратился к испанцу:— Пако, подай еще несколько рюмок вина и подойди познакомиться с доктором Бенито, который почтил нас сегодня своим присутствием.

Просто из вежливости доктор Бенито согласился взять рюмку и с опаской попробовал невозможную, сногсшибательную смесь. Симас и Арно пошли дальше, они пили уже по четвертой, по пятой, следуя по путям Арканжо. Майор невозмутимо дымил своей вонючей сигарой.

— Рассказывают, что как-то одна иаба, зная о донжуанской славе Педро Арканжо, решила проучить его и приручить и для этого обернулась самой привлекательной метиской Баии...

— Иаба? Что это такое?— осведомился Арно.

— Дьяволица со спрятанным хвостом.

Они вместе поужинали тут же в баре рыбой, поджаренной в желтом масле, с обильным количеством холодного пива — пальчики оближешь! Дважды во время еды Майор предложил выпить по стопке кашасы, чтобы «разбавить пиво».

Позднее они отправились совсем близехонько, на второй этаж, где функционировал дом терпимости Эстер, ныне принадлежащий Руте, носившей прозвище Сосуд с Медом, где выпили еще прославленного коньяка времен Арканжо. Около полуночи Гастон Симас распевал для присутствующей романтической публики «Небо в звездах», а Арно Мело произнес речь с несколько запутанной идеологией, однако весьма резкую, направленную против общества потребления и капитализма вообще.

В два часа ночи доктор Бенито, проявив максимум воли, сумел вырваться оттуда. Нанял такси, бросив свою машину, которую поставил на террейро: никогда в жизни он столько не пил, даже в студенческие годы, никогда не проводил время столь бессмысленно и неразумно.

— Прости, дорогая, я попал в абсурдный мир и об Арканжо узнал только то, что он жил с дьяволом.

— С дьяволом? — жена размешивала для него фруктовую соль.

На другой день, придя в свой рентгеновский кабинет, он нашел там трех первых клиентов Майора, у каждого была записочка: «Майор Дамиан де Соуза представляет неимущего подателя этой карточки доброму врачу с просьбой сделать этому человеку снимок, за что бог отплатит ему с процентами».

Два снимка с легких, один с почек, это были лишь три первые; однако поток страждущих оказался бесконечным.

5

Среди учреждений, проявивших наибольший энтузиазм к торжествам столетия Педро Арканжо, следует выделить медицинский факультет Баии. Один глашатай традиционной школы в интервью, данном газете «Жорнал да сидаде» сразу же после объявления кампании, еще в начальной фазе деклараций о поддержке ее, удостоверил: «Педро Арканжо — сын медицинского факультета, его творчество составляет часть нашего священного достояния, которое зародилось на вековой площади Террейро де Жезус в первоначальном Колледже иезуитов и было укреплено замечательными преподавателями факультета, возникшего на фундаменте первого учебного заведения Баии. Произведения Педро Арканжо, ныне признанные даже за границей, могли быть созданы только потому, что их автор, член администрации факультета, пропитался духом выдающегося учебного заведения, которое, посвящая свою деятельность в первую очередь медицинским наукам, никогда не пренебрегало и смежными науками, особенно литературой. На нашем уважаемом факультете звучали голоса крупнейших ораторов Бразилии; укрепились литераторы, замечательные по элегантности стиля и чистоте языка — наука и литература, медицина и риторика дружно уживались здесь во дворах и аудиториях. Педро Арканжо выковал свой дух в этой атмосфере высокой духовной жизни; в доктрине почтенной школы закалил он свое перо. И мы с полным основанием утверждаем в связи со славным юбилеем: «Творчество Педро Арканжо является продуктом медицинского факультета Баии».

Что, как бы то ни было, имело определенный резон.

Здесь рассказывается о книгах, тезисах и теориях, о преподавателях и уличных певцах, о царице Савской, графине и иабе; среди стольких неизвестных величин предлагается загадка и высказывается дерзкое мнение

1

Рассказывают, любовь моя, что однажды, будучи проездом в Баии, одна иаба возмутилась и оскорбилась из-за несдержанности, колоссального беспутства, безудержной болтовни мастера Педро Арканжо, завоевателя женских сердец, пастыря послушного и верного стада, который был похож скорее на африканского царька, окруженного наложницами. Его фаворитки были знакомы между собой, посещали друг друга и вместе ухаживали за детишками, родившимися у тех и других, причем все ребятишки были от него, и женщины называли друг друга кумой или сестрой; все это в обстановке непринужденной болтовни и праздности, сдобренной взрывами хохота, если только они не собирались у очага готовить сладости для своего властелина.

Им всем уделял внимание Педро Арканжо, каждой в ее очередь, и всех он ублажал, будто не было у него иного занятия, кроме постели и любовных утех, приятного досуга. Лорд, паша, самонадеянный, высокомерный, он вел привольную жизнь. Держался самоуверенно, спокойно, не страдал ни из-за какой женщины, не переживал душевных мук, не испытывал страха потерять возлюбленную, ибо бесстыдницы жили, угождая ему и заискивая; они и не помышляли бросить его, заставить ревновать, наставить ему рога — даже и в шутку не думали об этом. Педро Арканжо устраивал их во всех отношениях.

Поскольку такое положение казалось иабе нетерпимым, унизительным для всего женского рода, она решила строго наказать мастера Арканжо, дав ему горький и суровый урок, который бы научил его любовным страданиям в мольбах и ожидании, просьбах и отказе, пренебрежении и одиночестве, измене и позоре, в муках неразделенной страсти. От такой любви никогда не страдал этот донжуан, соблазнитель, раскинувшийся на бескрайней постели, на тюфяке из обезьяньей шерсти или деревянном топчане, на песчаном побережье или в лесу, на рассвете или вечером. И вот теперь он будет страдать, все испытает на собственной шкуре, поклялась иаба из-за нанесенного ей оскорбления и проявленного со стороны Арканжо равнодушия: ты будешь выставлен напоказ перед всем миром и перед Баией, лишенный своей мужской силы, с сердцем в язвах, с рогами на лбу, будешь выставлен на позор и посмешище в рассказах, песнях и книжках.

С этой целью иаба обернулась самой прекрасной негритянкой, какая когда-либо встречалась на землях Африки, Кубы и Бразилии: ослепительной и жгучей черной красавицей. Аромат распустившихся роз — чтобы заглушить запах серы; закрытые сандалии — чтобы скрыть козлиные копыта. Что же касается хвоста, то он у нее преобразился в соблазнительные ягодицы, непокорные, раскачивающиеся независимо от всего тела. Чтобы получить хоть отдаленное представление о красоте негритянки, достаточно сказать, что на пути от Нижнего города до Лавки Чудес от одного вида ее сошли с ума шесть мулатов, два негра, двенадцать белых, и целая процессия рассеялась, когда она проходила мимо. Увидели, как священник сорвал с себя сутану и отрекся от веры; а святой Онофре на своем паланкине повернулся к ней и улыбнулся.

Красуясь в своих накрахмаленных юбках, иаба сама довольно посмеивалась: фанфарон дорого заплатит за свою спесь... Для начала она сделает так, что от его хваленой мощи ничего не останется, он сделается слабым и бессильным, ни на что не годным; его можно будет показывать в музее — вот, мол, во что превратился Педро Арканжо, который славился своей мужской силой, а одна иаба разом покончила с его славой и энергией.

В своей победе в решающей схватке ведьма была абсолютно уверена: общеизвестно, что иабы могут превращаться в женщин необыкновенной красоты, неотразимого очарования, в страстных любовниц, знающих все виды ласк; широко известно также, что им недоступно наслаждение — они его никогда не достигают, всегда остаются неудовлетворенными, проявляя ненасытность с нарастающей яростью. Прежде чем они достигнут и пройдут врата наслаждения и рая, побежденный партнер превращается в жалкого сморчка. Никогда еще не был известен любовник, способный разрушить эти стены фантастической страсти и бешенства и привести дикую, злобную иабу к вершинам блаженства.

Но наказание не ограничивалось бессилием, тем, что любовник

терпел фиаско в постели, гораздо хуже, возможно, было то, что сердце его оказывалось разбитым и израненным. Потому что иаба замышляла насмеяться над ним, превратить его в жалкое ничтожество, в несчастного раба, обманутого и презираемого. Что может быть более постыдного, более страшного, более жалкого?

Притворщица шествовала по улице, радуясь намеченному плану: после того как она тысячу раз доведет его до исступления, когда увидит, что он по уши влюблен и пленен, она равнодушно уйдет, даже не попрощавшись. Чтобы все его увидели ползающим у ее ног, умоляющим; вылизывающим пыль с дороги, целующим ее следы, превращенным в жалкую тряпку; внешне он будет выглядеть отвратительно, внутренне будет смиренным рогоносцем, вымаливающим у нее взгляд, улыбку, жест, мизинец, пятку и, ах, в качестве милости сосок груди — пухлую черную виноградину.

Обрекая его на презрение и осмеяние, иаба утопит его еще глубже: обесчестит его, предлагая себя другим, связывая себя словом и обещаниями, на глазах у него флиртуя с соседями. Она хочет, чтобы все увидели его потерпевшим неудачу, обезумевшим, с поднятым кинжалом, с занесенным ножом: «Вернись или я тебя убью, несчастная; если ты отдашь другому дикий цветок, то умрешь от моей руки, и я умру тоже».

Так он будет показан городу ползающим перед нею посреди бела дня, на виду у всех, с рыданиями и мольбами, рогоносцем без чести, лишенным последних остатков достоинства, гордости, червем в грязи, позоре, смерти, в любовном страдании. «Приди и приведи всех своих обожателей, всех своих любовников, наставь мне, если хочешь, рога; покрытый навозом и желчью, я желаю тебя и умоляю — приди, и я с благодарностью приму тебя».

Иабы не получают наслаждения, это мы уже знаем; но они также и не любят и не страдают, потому что, как это доказано, иабы лишены сердца — грудь у них полая, безнадежно пустая. Свободная и злая, иаба идет, посмеиваясь, по дороге, соблазнительно покачивая бедрами, и мужчины гибнут при одном взгляде на нее. Бедный Арканжо!

Случилось, однако, любовь моя, что Педро Арканжо, усевшись у входа в Лавку Чудес, стал поджидать ее, как только ночь зажглась в первой вечерней звезде и луна вышла из дома в Итапарике и склонилась над маслянистым темно-зеленым морем. Он заказал для нее луну, звезды, это безмолвное море и песню:

Спасибо, сеньора,
За вежливость вашу;
Я вижу, вы изящны
И всех на свете краше.

Он ожидал ее с нетерпением, предвкушая, как расправится с ней... Ты спросишь, любовь моя, как узнал Арканжо о злобных намерениях иабы,— я сразу разгадал эту загадку. Она очень проста: разве Педро Арканжо — не любимый сын Эшу, хозяина дорог и перекрестков? Он также глаза Шанго — его взгляд достигает далеко и проникает внутрь.

Именно Эшу предупредил его о могуществе и злобных намерениях жестокой дочери дьявола с пустой грудью. Он предупредил его и сказал, что делать: «Прими сначала ванну с листьями, но не с первыми попавшимися; пойди к Оссаину и спроси его — с какими: только он проникает в сердцевину растений. Потом приготовь воду с запахом питанги, намешай в нее соли, меда и перца и обмойся ею — станет больно, но выдержи, будь мужчиной, стерпи; скоро почувст-

вуешь результат: ты станешь сильнее всех на свете. Не найдется женщины или иабы, которая сумела бы устоять и выдержать твой натиск».

Чтобы завершить колдовство, он вручил ему ожерелье покорности и браслет, чтобы сковать ей лодыжку. «Когда она заснет, надень на нее ожерелье и ножной браслет, и она будет скована за шею и за лодыжку, пленена навсегда. Остальное подскажет тебе Шанго».

Шанго велел ему приготовить жертвоприношение из дюжины белых и дюжины черных петухов, а также дюжины пятнистых кур и белой голубки незапятнанной белизны со вздутой грудкой и нежным воркованием. В заключение Шанго с помощью колдовских чар создал из сердца голубки, заполненного кровью и любовью, бусину, которая была одновременно белой и красной, и вручил ее Арканжо, сказав ему своим громоподобным голосом: «Ожуоба, выслушай и запомни: когда иаба уже будет скована по рукам и по ногам, заснувшая и покорившаяся, подсунь под нее эту бусину и подожди безбоязненно, что с ней станется: но что бы ни случилось, не убегай, не трогайся с места, жди». Арканжо коснулся лбом земли и сказал: «Повинуюсь».

Потом он пошел принять ванну с листьями, которые Оссаин выбрал ему один за другим. А затем вымылся в смеси меда и воды, питанги, соли и перца и почувствовал себя необычайно сильным и крепким. Спрятал в кармане ожерелье и ножной браслет, а также сердце голубки, красно-белую бусину Шанго. И стал поджидать ее у дверей Лавки.

Как только она появилась на углу, он без всяких разговоров, без предварительного флирта и заигрывания набросился на нее: огонь встретился с огнем, мед с медом, перец с перцем и колдовство с колдовством. Описать это сражение, эту войну двух соперников, схватку кобылы и жеребца, мяуканье обезумевшей кошки, рычание дикого кабана, рыдание девственницы в момент, когда она превращается в женщину, воркование голубя, рокот волн,— кто способен описать это, моя любовь?

Они покатились по склону, слившись друг с другом, остановились на песчаном берегу порта и скрестились с ночью. Поднялся прилив и унес их; в глубине моря продолжали они свою сумасшедшую скачку, безумное погружение.

Иаба не рассчитывала на такое испытание; каждый раз, когда Арканжо охватывал экстаз, проклятая думала с надеждой и злобой: «Теперь храбрец обмякнет, обессилеет!» Однако получалось как раз наоборот: вместо того чтобы ослабеть, он все больше распалялся и накалялся, ласки его становились все горячей.

Она и не помышляла о таком удовольствии, о хлысте с медом и солью, наслаждении из наслаждений, таком цирковом феномене, чуде. «Ай,— простонала иаба в отчаянии,— если бы хоть я могла...» Она не могла.

Три дня и три ночи без перерыва длилась великая схватка, величайший разгул. И иаба так напряглась в своем безграничном бешенстве, что неожиданно поддалась колдовству и ее вдруг охватило наслаждение, подобно тому как небо разражается ливнем. Оросилась пустыня, кончилась засуха, побеждено проклятье, аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

И тут она уснула, став самкой, но еще не женщиной, ах, нет!

В комнате Арканжо, где смешались тени и запахи, заснула ничком иаба: безумная, невоздержанная негритянка, ведьма. Когда она тихонько захрапела, Арканжо надел ей ожерелье на шею и браслет на лодыжку и так овладел ею, покорной. Потом с деликатностью

баиянца подложил под ее божественные ягодицы сердце птицы, колдовскую бусину Шанго.

В то же мгновение она испустила вопль и рев, они были ужасны, страшны, зловещи, воздух наполнился запахом серы, смертельным дымом. Молнии над морем, глухое эхо грома, ураганные ветры и буря с одного края света до другого. К небесам поднялся огромный гриб и затмил солнце.

Но тут же все успокоилось и наступили радость и счастье; это Ошумарэ открыл праздник и воцарился мир. Вонь серы исчезла, сменившись ароматом распустившихся роз — и иаба уже не была иабой, она стала негритянкой Доротеей. В ее груди выросло, благодаря искусству Шанго, самое нежное сердце, самое покорное и любящее. Теперь она навсегда стала Доротеей с ее пылкой страстью, соблазнительной фигурой и голубиным сердцем!

Закончилось столкновение, изменилась незнакомка, найдено решение неизвестных, окончилась история, любовь моя, что еще рассказать? Доротея стала святой, дикой дочерью Янсан; она теперь начинала танец в честь Эшу при исполнении ритуальных обрядов. Некоторые сплетницы, осведомленные насчет того, что случилось, клялись, что они ощущают отдаленный запах серы, когда Доротея начинает танец на террейро. Эта вонь осталась еще с тех пор, когда она, будучи иабой, хотела сбить спесь с мастера Педро Арканжо.

Трудно, однако, оказалось сбить спесь с метиса. И другие пытались это сделать в районе Табуана, где находится Лавка Чудес, и на Террейро де Жезус, где возвышается факультет, но никому это не удалось. За исключением Розы — если кто и научил Арканжо страдать от любви, если кто его и победил, то это Роза де Ошала и больше никто. Ни иаба, черная как смоль и пышущая злобой, ни профессор с его фраком и ученостью.

2

Типографский ученик пытается скрыть от двух людей, склонившихся над машиной, непреодолимо охватывающий его сон. Он хочет быть свидетелем печатания первых страниц; несколько месяцев подряд жили в воодушевлении как Арканжо, так и Лидио. Из них двоих большую настойчивость проявлял Лидио Корро. Постороннему наблюдателю могло показаться, что это он — автор «Народной жизни Баии», первой книги Педро Арканжо.

Последние пьяницы уже разошлись по домам, последняя гитара перестала наигрывать позднюю серенаду. По склонам уже разносится пение петухов, скоро город начнет жить. Ученик слышал, когда читались главы, он помогал набирать и делать корректуру этого первого блока строчек. Он пытается скрыть зевки, покрасневшие глаза, отяжелевшие веки, но Лидио замечает и велит ему:

— Иди спать.

— Еще нет, мастер Лидио, мне не хочется спать.

— Ты же падаешь, еле держишься на ногах. Иди ложись.

— Крестный, пожалуйста,— в голосе подростка, помимо мольбы, чувствуется пыл, решимость.— Попросите мастера Лидио, чтобы он разрешил мне остаться до конца.

В их распоряжении была лишь ночь для работы над книгой, утром шрифты — которых было мало и к тому же они были крайне изношены — понадобятся для печатания нормальных заказов: книжек для уличных певцов, проспектов для магазинов и лавок. Это была битва со временем и с маленькой ручной машиной, ревматичной, ворчливой, капризной. Лидио Корро называл ее «тетушкой»,

прося у нее благословения и доброжелательного сотрудничества. В эту ночь она заупрямилась, им пришлось большую часть времени ремонтировать ее.

Ученика звали Тадеу, и ему нравилось ремесло. Когда наконец Эстеван дас Дорес решил уйти на отдых и продать типографию, Лидио поначалу взял себе в помощники мальчика Дамиана. Но ненадолго, так как краски и шрифты не увлекли и не заинтересовали озорника. Для него интерес представляло движение, уличная свобода. Он стал работать мальчиком на посылках, разнося судебные постановления, протоколы, ходатайства, прошения, бегая от судей к адвокатам, от судебных исполнителей к писарям; в начале своей карьеры Дамиан был сама хитрость, само безделье. Сменялись ученики, все они недолго задерживались в малопродуктивной типографии, где было много ручного труда. Никто не оказывался на высоте работы, Тадеу был первым, удовлетворившим мастера Лидио.

Радостным возгласом откликается он на согласие мастера — умывается, чтобы прогнать сон. Он следил за работой Арканжо день за днем, читал страницу за страницей и сам не знает, как много пользы получил от того, кого называл крестным: сколько воодушевления тот ему дал в новой и трудной работе, в этом искусстве точных определений и оттенков, утверждений и хитростей, правды, выраженной на бумаге, в применении слов и их значения.

С их помощью и для них писал Педро Арканжо: для друга всей его жизни, кума, компаньона, близнеца, и для мальчишки с покрасневшими глазами, слабенького, смышленого, прилежного, для сына Доротеи. В конце концов он завершил работу, а Лидио получил бумагу и кредит.

Идея родилась у этого малого из Тороро — Валделоира, но различные соображения и противоречия возникли почти одновременно, приведя Педро Арканжо к решению взяться за перо. Ему всегда нравилось читать, когда книга попадала ему в руки, записывать факты, события и истории: все, что касалось обычаев и нравов народа Баии, но у него при этом не возникало желания написать что-либо самому. Не раз, однако, ему приходила в голову мысль, что в этих его записках содержится ответ на тезисы некоторых профессоров факультета, тезисы, которые были сейчас в такой моде,— он слышал их не раз в аудиториях, во дворах и коридорах университета.

Это произошло в вечер большой выпивки: многолюдная компания внимательно слушала, как Арканжо рассказывает различные случаи, один другого интереснее и ярче, а в это время Лидио Корро и Тадеу упаковывали брошюру, в которой Жоан Калдас, «поэт народа и ваш слуга», в семисложных стихах с убогими рифмами рассказывал историю о жене ризничего, которая, согрешив со священником, превратилась в безголового мула и по ночам носилась по дороге и лесу, изрыгая из шеи огонь, терроризируя окрестных жителей. На обложке, вырезанной Лидио, гравюра изображала мула без головы, тогда как голова, отсеченная, но не мертвая, целовала греховные уста священника. «Потеха», по выражению Мануэла де Прашедеса.

— Кто бы мог написать кучу историй и дать мастеру Лидио напечатать, так это мастер Педро, который столько всего знает, столько всяких случаев и который так здорово рассказывает,— поделился своим мнением Валделоир, танцор в афошэ и на различных празднествах, капоэйрист и большой любитель чтения лирических куплетов и рассказов.

Они беседовали в сооруженной Лидио во дворе пристройке с деревянными стенами и покрытой жестью. Поскольку основное по-

мещение было теперь занято типографией, беседы и спектакли пришлось перенести туда.

Лидио развернул широкую деятельность: он набирал и печатал, рисовал «чудеса», вырезал гравюры для брошюр, изредка вырывал кому-нибудь зуб. Он остался должен Эстевану — тяжелое ежемесячное обязательство в течение двух лет. Понадобилось соорудить пристройку, так как спектакли помогли бюджету да и Арканжо не согласился бы с тем, чтобы перестать декламировать Кастро Алвеса, Казимира де Абреу, Гонсалвеса Диаса, любовные сонеты и поэмы, призывающие отменить рабство; не участвовать в хороводе самбы, не восхищаться па Лидио и Валделоира, ясным голосом Ризолеты, танцем Розы де Ошала. Даже если бы все это показывалось задаром, без сбора денег, Арканжо не отказался бы от спектакля. СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! — по-прежнему объявлял по четвергам плакат у двери Лавки Чудес.

Почти всю неделю шел дождь — это был месяц непогоды и холодного ветра с юга. Ветер, колющий острыми иголками, пронзительный и влажный, с мрачным завыванием: затонули два парусника и из семи погибших тела троих так и не нашли, они вечно плавают в поисках берегов Айока на краю света. Остальные тела выбросило на берег несколько дней спустя, уже без глаз, покрытые крабами, ужас. Насквозь промокшие, дрожа от холода, друзья заходили попросить чего-нибудь выпить. И в этих случаях, исполненных несчастья и горя, подтверждается ценность кашасы. В тот вечер после предложения Валделоира Мануэл де Прашедес взял слово и предложил свой вариант:

— Мастер Арканжо знает много, у него прямо склад всякой всячины в голове и на бумаге. Но то, что он знает,— не для того, чтобы все это пропало в грошовой песенке, это материал большой важности, сложные вопросы, о которых мало кто слышал. Ему бы стоило рассказать на факультете какому-нибудь профессору, мастаку по писанине, чтобы тот изложил это вкратце на бумаге и использовал при преподавании. Уверен, что это будет встречено с восторгом.

Мастер Педро Арканжо взглянул на Мануэла де Прашедеса, доброго гиганта, посмотрел спокойными, задумчивыми глазами, вспоминая множество событий, произошедших за последнее время здесь, на Табуане, в его окрестностях и на Террейро де Жезус. Веселая улыбка мало-помалу возвратилась на его лицо, нарушив необычную для него суровость, и полностью открылась, когда его взгляд, переходя с одного на другого из присутствующих, встретился с глазами Теренсии, его кумы, матери Дамиана, писаной красавицы:

— Зачем заказывать профессору, мой дорогой? Я напишу сам. Или ты думаешь, Мануэл, что только потому, что мы бедны, я не способен сделать ничего стоящего? Что мы не можем сочинить ничего, кроме дешевых куплетов? Так я тебе покажу, мой дорогой, приятель мой. Я напишу сам.

— Да нет, не то что я сомневаюсь в тебе, дружище Педро; давай пиши. Но дело в том, что с профессором было бы больше уверенности в основных положениях, эти ученые ведь знают все от начала до конца.

Кто больше портит и извращает все, как не эти ученые? Кому надо прежде всего учиться, как не этим посредственностям? В этом Мануэл де Прашедес не отдает себе отчета, надо работать на факультете, чтобы услышать и понять. По мнению некоторых профессоров, Мануэл, слова «мулат» и «преступник» — синонимы. Расшифруй это, друг Педро, я не знаю, что такое синоним, но что бы то ни было, это безусловно вранье.

Ученик Тадеу не сдержался, разразился смехом и зааплодировал:

— Мой крестный учит их, а если кто-нибудь сомневается, то тот большой дурак.

Станет ли он действительно писать или забудет в веселье на праздниках и с женщинами, на репетициях карнавальных танцев, в школе Будиана, выполняя обязанности на террейро, это свое обещание, данное в вечер большой выпивки и бури? Возможно, так и получилось бы, если бы Арканжо не передали несколько дней спустя, что матушка Мажэ Бассан хочет его видеть.

В алтаре, сидя в своем кресле, на убогом троне, но от этого не менее грозная, Мажэ Бассан, пропев кантигу святому и перебрав четки, никого не спрашивая, как будто в этом не было необходимости, сказала:

— Мне передали, что ты пообещал написать книгу, но мне известно, что ты этого не делаешь, только рассуждаешь, с тебя хватает того, что ты думаешь. Ты проводишь жизнь, болтаясь из стороны в сторону, разговариваешь здесь, разговариваешь там, а ради чего? Ты что же, всю жизнь будешь на посылках у доктора? Только это и ничего больше? Должность нужна, чтобы тебе было на что жить, чтобы не испытывать нужды. Но не для того, чтобы тебе этим удовольствоваться, и не для того, чтобы ты молчал. Не для того ты Ожуоба.

Тогда Педро Арканжо взялся за перо и написал.

Лидио оказал ему главную помощь: в выборе материала, делая замечания, почти всегда правильные, он был скромным и тонким слушателем. Если бы не он, ускоривший темп работы, добывавший деньги на краску для типографской машины, достававший бумагу в долг, подталкивавший его в трудном начинании, Арканжо бросил бы работу на середине или бы сильно задержал ее завершение, все еще находясь в плену различных намерений и обстоятельств и сильно озабоченный тем, чтобы не наделать грамматических ошибок. Иногда ему трудно было не пойти на танцы в предместье, на воскресную пирушку, отказаться от новой женщины. Дисциплину поддерживал Лидио, воодушевление — ученик, а знание — мастер Педро Арканжо, который в итоге выполнил в срок задание Мажэ Бассан.

Когда он начал книгу, перед его глазами стояли самоуверенные лица некоторых профессоров и на ум приходили их расистские теории, оказывая влияние на фразы и слова, надо было подыскивать слова, ограничивать их силу и свободу. Однако, по мере того как рождались страницы и главы, Педро Арканжо забыл про профессоров с их теориями, не проявляя больше интереса к тому, чтобы опровергать чужие суждения в полемике, для которой он не имел даже необходимой подготовки, а просто рассказывал о баиянской жизни, о нуждах и чудесах этого повседневного существования в условиях нищеты и взаимной поддержки; он старался показать решимость преследуемого и гонимого народа Баии все перенести и выжить, сохраняя и приумножая богатство танца, песни, искусства обработки металлов и дерева, культурное и религиозное достояние, полученное им в наследство от зензал [1] и киломбо [2].

Уже тогда он писал с неописуемым, почти чувственным наслаждением, выбирая для этого время, отдавая работе каждое свободное мгновение. Он больше не вспоминал ни о черством и грубом профес-

---

[1] Зензала — жилище негров-рабов на плантациях (в период рабства в Бразилии).

[2] Киломбо — поселение беглых негров-рабов (также в период рабства в Бразилии).

соре Нило Арголо с его враждебными взглядами, ни об извращенном докторе Фонтесе, учтивом и даже шутливом, но, возможно, еще более агрессивном в выражении дискриминационных теорий; его больше не приводили в замешательство профессора и ученики, ученые и шарлатаны. Рукою Арканжо водила любовь к своему народу, гнев лишь придал его сочинению оттенок страстности и поэтичности. Именно поэтому вышедшее из-под его пера стало документом, против которого невозможно было возражать.

В бессонную ночь в типографии медлительная печатная машина стонет в потных руках над бумагой и набором. Ученик Тадеу сбрасывает с себя сон и усталость при виде бумаги, покрытой отпечатанными буквами, первых страниц, пахнущих свежей краской. Два кума подняли лист, и Педро Арканжо прочел — прочел или продекламировал наизусть — начальную фразу, его воинственный клич, его лозунг, резюме его знания, его правду: «Лицо бразильского народа создалось в результате смешения рас, и столь же смешанной является его культура».

Сентиментальный Лидио Корро чувствует стеснение в груди, ему придется умереть в один из таких часов от волнения. Педро Арканжо какое-то мгновение держится серьезно, далекий, важный, почти торжественный. Внезапно он преображается — и раскатывается хохот, громкий, чистый и добродушный, бесконечный и свободный; он думает о физиономиях профессора Арголо и доктора Фонтеса, двух светил, двух знатоков, которые ничего не знают о жизни. «И наше лицо, и ваше лицо — смешанной крови; смешаны и наши культуры, но ваша импортирована — дерьмо в порошке». Они помрут от кровоизлияния. Его смех зажег зарю и осветил землю Баии.

3

Несколько месяцев назад, в один из вечеров, когда празднество на террейро было в разгаре и божества под звуки атабаке и хлопание в ладоши присутствующих танцевали со своими детьми, Доротея пришла, приведя за руку сына, мальчика лет четырнадцати. Янсан хотела завладеть ею еще на пороге барака, но она извинилась и подошла преклонить колени перед Мажэ Бассан, попросив у нее благословения для себя и для мальчика. Потом она подвела его к Ожуобе и велела сыну:

— Прими благословение.

Он стоял перед Арканжо, худощавый и крепкий, со смуглой кожей, тонким лицом, открытым и чистым взглядом, с гладкими черными волосами, живыми глазами, руками с длинными пальцами, чувственным ртом, красивый и привлекательный. Находившийся рядом с Арканжо Жозе Аусса, жрец Ошосси, сравнил их с мимолетным взглядом и улыбнулся.

— Который из них мой? — спросил мальчик.

Доротея тоже улыбнулась, как и Аусса, полузагадочной улыбкой:

— Это твой крестный.

— Благословите, крестный.

— Садись сюда, рядом со мной, мой маленький приятель.

Прежде чем посвятить себя Янсан, которая нетерпеливо ее требовала, Доротея сказала своим приятным и властным голосом:

— Он говорит, что хочет учиться, только и толкует об этом. Пока же не научился ничему, ни ремеслу плотника, ни каменщика, все только считает, знает таблицу умножения лучше, чем многие кни-

ги, и лучше самого учителя. Но на что он мне такой? Только расходы на него — и я ничего не могу поделать. Согласиться с уделом, на который толкает его не моя кровь? Пожелать, чтобы он пошел по пути, который не для него? Этого я не сделаю, потому что я мать, а не мачеха. Я ему и мать, и отец, это много для меня, живущей тем, что торгую на улице, у очага с углем и кастрюлей с едой. Я его привела и хочу вручить тебе, Ожуоба. Наставь его на путь.

Она взяла руку сына и поцеловала. Поцеловала также руку Арканжо и долго смотрела на них обоих. Потом доверилась Янсан, тут же испустив свой крик, от которого мертвым становится страшно. И затем начала танцевать. Оба, Арканжо и сын, приветствовали ее одновременно возгласами.

В типографии и в книгах, в знаниях Арканжо Тадеу нашел то, что искал. Мастер Педро снова увидел себя в крестнике: та же неуемная жажда знания, та же любознательность и та же страстность. Только у подростка было определенное стремление, строго намеченный путь: он учился не случайно, как попало, просто из желания научиться. Он делал это с определенной целью, потому что хотел добиться хорошего места в жизни. Откуда возникло у него это честолюбие? От кого он его унаследовал, от какого далекого предка? Настойчивость была от матери, от стихийной силы этой дьявольской женщины.

— Крестный, я буду сдавать экзамены на подготовительном отделении,— сообщил он Арканжо в одно из воскресений, отказываясь от приглашения на прогулку.— Мне надо много учиться. Но если вы, крестный отец, пожелаете мне помочь в португальском и географии, я смогу сдать эти предметы. Арифметику не нужно, и у меня есть один знакомый, он меня научит истории Бразилии.

— Ты что же, хочешь сдать экзамены по четырем предметам сразу? Еще в этом году?

— Если вы, крестный, поможете мне, я это выполню.

— Ну что ж, давай начнем сейчас же, мой дорогой.

Прогулка была на Рибейру, Будиан шел впереди, неся мешок с провизией и ведя девушек. У одной из них, по имени Дурвалина, какая осанка! Педро Арканжо обещал ей спеть песни под гитару, затем похитить ее в разгар праздника, переправившись на лодке. Прости, Дурвалина, не сердись, отложим это до другого раза.

4

Народные поэты, в особенности заказчики типографии Лидио Корро, не теряли случая и отражали в своих стихах конфликт между профессорами и мастером Арканжо, дело первостепенной важности:

Какой большой переполох
На Террейро де Жезус...

В течение нескольких лет было опубликовано по меньшей мере шесть-семь брошюр, комментировавших события. Все в пользу Арканжо. Его первая книга заслужила стихи и аплодисменты Флорисвалдо Матоса, импровизатора, горячо принимаемого публикой на празднествах по случаю дня рождения, крещения и свадьбы:

О жизни города Баии
трактат написан
мастером Арканжо
— читателям его
я представляю.
Перо его — талант,
чернила же — сама отвага.

Когда полиция вторглась на кандомблэ Прокопио, Педро Арканжо был уже героем трех брошюр с песнями и похвалами по его адресу; брошюры жадно расхватывались читателями, беднотой с базаров и из переулков, из мастерских и лавок. Кардозиньо Бемтеви, «романтический певец» отказался от темы любви — на чем он поднаторел — и решил описать «ВСТРЕЧУ ПОЛИЦЕЙСКОГО ИНСПЕКТОРА ПЕДРИТО С ПЕДРО АРКАНЖО НА ТЕРРЕЙРО ПРОКОПИО» — заглавие длинное и заманчивое. На обложке другой брошюры, написанной Лусиндо Формиго,— «ПОРАЖЕНИЕ ПЕДРИТО ТОЛСТЯКА МАСТЕРОМ АРКАНЖО» — виднелся инспектор Педрито, отступающий со страхом: он пятится, плетка на земле, а перед ним, выпрямившись во весь рост, безоружный Педро Арканжо. Наибольший успех выпал, однако, на долю Дурвала Пименты, написавшего сенсационную эпопею «ПЕДРО АРКАНЖО СМЕЛО ВСТРЕЧАЕТ ЗВЕРЯ ИЗ ПОЛИЦИИ».

Что же касается спора в прямом смысле слова, то крупный успех имели Жоан Калдас и Каэтано Жил. Первый, заслуженный уличный певец, отец восьми детей — к которым со временем добавилось еще шесть, и в дальнейшем они приумножились внуками, и целыми пригоршнями,— порадовал свою публику шедевром, озаглавленным «ПЕДЕЛЬ, ПРОУЧИВШИЙ ПРОФЕССОРОВ»:

Исчерпав все аргументы,
Они объявили, что Педро Арканжо —
Воплощение дьявола, но не архангел...

После опубликования «Заметок» Арканжо появился на арене молодой Каэтано Жил, пренебрегающий установленными правилами, отважный и мятежный трубадур, декламирующий под аккомпанемент гитары стихи, самбы и модиньи, воспевающие любовь, жизнь и надежды:

Педро Арканжо посмел сказать,
Что мулат умеет читать...
О, какое дерзкое мнение! —
Тут завопил профессор.—
Ученого-негра где вы видели?!
Поймите, инспектор, сами услышите.
О, какое дерзкое мнение!
Поскорее, сеньор инспектор,
Наглеца идите послушать.
О, какое дерзкое мнение! —
Тут завопил профессор.—
Посадите негра за решетку!
Педро Арканжо посмел сказать,
Что мулат умеет читать.
О, какое дерзкое мнение!

5

Еще в 1904 году профессор Нило Арголо, читавший курс судебной медицины на медицинском факультете Баии, представил научному конгрессу, собравшемуся в Рио-де-Жанейро, а также опубликовал в одном медицинском журнале и издал отдельной брошюрой доклад «Психическое и духовное вырождение смешанных народов — пример Баии». В 1928 году Педро Арканжо написал «Заметки о смешении рас в баиянских семьях», небольшую книгу, которую удалось отпечатать тиражом всего в сто сорок два экземпляра, причем пятьдесят из них Лидио Корро разослал по отечественным и иностранным библиотекам, университетам и школам, а также ученым, профессорам, литераторам. В течение этих двух десятилетий развернулась полемика в кулуарах факультета вокруг расовой проблемы в мире и в Бразилии, выдвига-

лись тезисы, теории, в дискуссии участвовали авторы, преподаватели, научные и полицейские авторитеты. Было написано и опубликовано множество книг, докладов, статей, брошюр — и тема получила отражение в прессе, преимущественно в форме резких кампаний по поводу различных аспектов жизни города и его религиозного и культурного состояния.

Книги Арканжо, особенно три первые, непосредственно связаны с этим спором, и таким образом можно категорически утверждать: в первой четверти века в городе Баии кипела борьба идей и принципов между некоторыми профессорами факультета, занимавшими видное положение на кафедрах судебной медицины и психиатрии, и представителями этого университета жизни на Пелоуриньо, многие из которых только тогда отдали себе отчет в фактах — и то еще в ограниченных пределах,— когда полиция была вызвана для того, чтобы во все это вмешаться, и вмешалась.

В начале века медицинский факультет находил возможным принимать и отвергать теории расистов, ибо он постепенно перестал быть только крупнейшим центром медицинских исследований, основанным доном Жоаном VI [1], подлинным центром распространения научных знаний в Бразилии, первым домом докторов науки и жизни, чтобы превратиться также в гнездо литературы, самой совершенной и законченной, самой риторической, пустой и академической, самой реакционной. В большой школе начали развеваться тогда знамена предрассудков и ненависти.

Печальные времена медиков-литераторов, больше заинтересованных в грамматических правилах, чем в законах науки, более сведущих в правильном размещении имен и фамилий, чем в обращении с ланцетом и в борьбе с микробами. Вместо того чтобы бороться с болезнями, они воевали против галлицизмов и, вместо того чтобы исследовать причины эндемий и бороться с ними, создавали неологизмы. Проза — гладкая, правильная, классическая; наука — ложная, грубая, реакционная.

Есть все основания полагать, что именно Педро Арканжо со своими почти неизвестными книгами, со своей борьбой против официальной псевдонауки, именно он положил конец столь мрачной фазе славной школы. Дебаты вокруг расовой проблемы оторвали факультет от дешевой риторики и сомнительных теорий и вернули его снова к научным интересам, к достойной, подлинно научной деятельности, к занятию своим прямым делом.

Полемика приобрела любопытные черты.

Во-первых, в отношении нее отсутствуют записи и архивы, нет сообщений, известий любого характера, хотя имели место насильственные действия полиции и студенческие манифестации. Только в полицейской картотеке сохранилась запись о Педро Арканжо, сделанная в 1928 году: «Известный смутьян, взбунтовался против благородных профессоров». Участвовавшие в дебатах видные лица никогда не допускали перебранки и тем более полемики с пределом школы. Ни в какой момент, ни в какой статье, заметке, исследовании, докладе, тезисе почтенные профессора не упоминали о работах Педро Арканжо, не цитировали их, не обсуждали и не опровергали. Точно так же — только в «Заметках» — Арканжо коснулся прямо и определенно книг и брошюр профессоров Нило Арголо и Освалдо Фонтеса (и некоторых статей профессора Фраги, молодого ученого, прибывшего из Герма-

[1] Португальский принц-регент, впоследствии король, в 1807 году после вторжения французских и испанских войск в Португалию бежал в Бразилию, где находился вместе со своим двором до 1821 года. Во время его пребывания в Бразилии были основаны медицинский и хирургический колледжи.

нии, единственного во всей конгрегации осмелившегося оспаривать утверждения великих ученых). В предшествовавших книгах Арканжо не упомянул о двух первых баиянских теоретиках в области расизма, равно как и об их статьях и брошюрах, не выступил с прямым ответом, предпочитая опровергать расистские утверждения и теории подавляющей массой фактов, горячей защитой и страстным восхвалением сочетания рас.

Во-вторых, эта полемика, в конце концов распространившаяся на весь факультет, среди его преподавательского состава, студентов и даже в полиции, все же не смогла взволновать общественное мнение. Интеллигенция не знала о ней, и полемика ограничилась стенами университета: имеется упоминание лишь об одной эпиграмме Лулу Паролы, журналиста, пользовавшегося большим престижем в ту эпоху. Он имел ежедневную колонку стихов в одной вечерней газете, где комментировал события остроумно и едко. Ему попал в руки экземпляр «Заметок», и он с веселым лукавством одобрил разоблачение в них представителей голубой крови. Таким образом, поэты оказались на стороне Арканжо: народная поэзия, стихи бульварной литературы и поэзия модного барда в газете и салонах.

Что касается народа, то ему обо всем этом мало что было известно. Он взволновался лишь в связи с арестом Ожуобы, хотя и привык к дикому произволу полиции. Среди скандалов, препятствий, неразберихи и беспорядков, в которые оказался втянутым Педро Арканжо, эта полемика получила в народе минимальное отражение, меньше всего способствуя созданию легенды о нем.

Одновременно с дебатами о смешении рас Арканжо оказался вовлеченным в борьбу между полицейским инспектором Педрито Толстяком и кандомблэ. До сего дня на террейро, на базарах и рынках, в портовой гавани, на углах улиц и переулках города рассказывают различные версии, все героические, о встрече Педрито с Арканжо, когда желчный представитель власти ворвался на Террейро Прокопио. Повторяют ответ Арканжо полицейскому инспектору-фанфарону, всем внушавшему страх. Однако преследование кандомблэ было естественным следствием расистской проповеди, начатой на факультете и подхваченной некоторыми газетами. Педрито Толстяк обратил теорию в практику, он был прямым продуктом Нило Арголо и Освалдо Фонтеса, их логическим следствием.

Давно преданная забвению эта полемика, можно сказать, была основной и решающей: она похоронила расизм в позоре антинауки, низком синониме шарлатанства, реакционности, оружия агонизирующих классов и каст против непобедимого прогресса. Если Арканжо и не покончил с расистами (в любое время и в любом обществе всегда найдутся глупцы и подлецы), он все же отметил их каленым железом, показав на них пальцем — «вот они, мои дорогие, эти антибразильцы»,— и провозгласил величие метиса. О, какое дерзкое мнение!

6

— Нет, благородный коллега, я не сказал, что эта книжка абсолютно неинтересна,— заявил профессор Нило Арголо.— Ожидать произведения большего значения от пера педеля, тем более черномазого, было бы бессмыслицей. Оставьте в стороне содержащиеся в ней нелепости, наглую защиту смешения рас. В защиту этого следует выступать метису, а не нам с вами, белым, имеющим доступ к источникам науки. Не придавайте значения смешным аспектам, выводам, и обратите внимание лишь на обилие любопытных сведений об обычаях. Я чувствую

себя обязанным признать, что у меня раньше не было данных о некоторых обрядах, описанных этим негодяем.

— Если это так, я, быть может, отважусь прочитать, но, признаюсь, у меня мало к этому склонности, слишком занято время. Вот он идет, и я отправляюсь в свою аудиторию,— сказал профессор Освалдо Фонтес, исчезая в дверях зала. Будучи коллегой, другом и последователем, интеллектуальным воспитанником профессора Арголо, он его немного побаивался. Нило Арголо де Араужо был не только теоретиком, он являлся пророком и лидером.

Они беседовали о книге Педро Арканжо, и профессор Арголо удивил единомышленника, попросив его:

— Покажите мне этого кафуза [1], если его увидите. Я не обращаю внимания на физиономии слуг, задерживаюсь лишь на тех, что работают на моей кафедре; остальные же представляются мне похожими один на другого, от них, от всех них дурно пахнет. Дона Аугуста, моя жена, заставляет меня принимать ежедневно душ.

Услышав имя превосходительнейшей доны Аугусты Кавалканти дос Мендес Арголо де Араужо — «дона Аугуста, моя жена»,— профессор Фонтес приветствовал наклоном головы аристократическую и жестокую супругу знаменитого профессора. Дама старинного склада, дочь графов эпохи империи, расточающая благородство, с высоко поднятой головой, всегда с линейкой для битья слуг в руке, дона Аугуста внушала страх не только прислуге: ее побаивались даже надменные политические деятели. Убежденный расист, считающий мулатов презренной низшей расой, а негров обезьянами, только обладающими даром речи (подумать только!), профессор все же чувствовал жалость к прислуге семьи Арголо: каждого из супругов в отдельности было трудно выдержать любому смертному — представьте же себе обоих вместе!

Педро Арканжо шел по коридору к входной двери, радуясь веселому солнечному дню, он шел, покачиваясь в ритме мелодии самбы, которую насвистывал потихоньку из уважения к помещению факультета. Властный голос остановил его около двери, когда он уже стал насвистывать громче, ибо на площади можно было шуметь и петь:

— Послушайте, педель.

Прервав с неохотой мелодию, Арканжо повернулся и узнал профессора. Высокий, прямой, весь в черном, сухощавый, со строгим голосом и безукоризненной выправкой, профессор Нило Арголо, преподаватель судебной медицины, слава факультета, походил на фанатичного средневекового инквизитора. Жестокий золотистый свет в близоруких глазах изобличал в нем мистика и сектанта:

— Подойдите.

Арканжо медленно подошел своей раскачивающейся походкой капоэйриста. Почему профессор его остановил? Прочел ли он книгу?

Щедрый Лидио Корро послал экземпляры книги нескольким профессорам. Бумага и краска стоили денег, и, чтобы покрыть расходы, каждый экземпляр продавался в книжных магазинах и из рук в руки с начислением небольшой прибыли. Но мастера Корро едва не хватил удар, когда Арканжо напомнил ему о расходах и осудил его мотовство. «Этим попугаям в крахмальных воротничках, кум, этим хвастунам надо показать, на что способен баиянский мулат». Написанная кумом Педро Арканжо, молодцом из молодцов, набранная и отпечатанная в его типографии «Народная жизнь Баии» представлялась ему самой замечательной книгой в мире. Издав ее с такими жертвами, он не стремился к получению прибыли. Он хотел утереть нос «этому

[1] Кафуз — метис от брака мулата и негра или негра и индейца.

дерьму, этой своре педерастов», которые считают мулатов и негров низшими существами, чем-то средним между людьми и животными. В отсутствие Педро Аркапжо он послал экземпляры в Национальную библиотеку в Рио, в Публичную библиотеку штата, писателям и журналистам Юга, за границу — нужно было лишь добыть адреса.

— Кум, знаешь, куда я послал нашу книжку? В Соединенные Штаты, в Колумбийский университет в Нью-Йорке. Я нашел адрес в одном журнале — еще до этого я отправил книги в Сорбонну и в Португалию в Университет Коимбры.

Для профессоров Нило Арголо и Освалдо Фонтеса Арканжо сам оставил экземпляры в секретариате факультета. Сейчас в коридоре он спрашивал себя, была ли прочтена «чудовищем» невзрачная по полиграфическому выполнению книга. Он бы хотел, чтобы это было так, ибо именно работы профессора предопределили его решимость написать свой труд; читая книги расиста, он проникся к нему ненавистью.

«Чудовище!» — говорили студенты, когда упоминалось имя профессора Арголо, намекая одновременно и на его столь распространенную славу светила («он — чудовище, читает и говорит на семи языках»,) и на его озлобление, на его ужасающую черствость: враг смеха, веселья, свободы, на экзаменах безжалостный придирщик, он находил удовольствие в том, чтобы проваливать студентов («чудовище торжествует, когда ставит ноль»). Тишина, царившая в его аудитории, возбуждала зависть у большинства преподавателей, не способных добиться такого спокойствия студентов. Он не разрешал прерывать себя, еще того менее допускал несогласие со своими бредовыми утверждениями.

Молодые профессора, нахватавшиеся европейских анархических идей, обсуждая те или иные проблемы со студентами, выслушивали возражения, допускали сомнения. «Нетерпимая распущенность» — по мнению профессора Арголо де Араужо. Его аудитория не превратится в «пивную еретиков и всякого сброда». Когда «вскормленный дурным примером других кафедр» некто Жу, студент — отличник по всем предметам, обвинил его в реакционных идеях, он потребовал расследования и временного недопущения к занятиям дерзкого студента, который прервал его лекцию страшным криком:

— Профессор Нило Арголо, вы настоящий Савонарола, перешедший из инквизиции на медицинский факультет Баии!

Не сумев провалить его в конце года — из-за противодействия двух коллег, членов экзаменационной комиссии,— он нарушил единогласие в оценках, поставив «удовлетворительно». Но возглас молодого человека, возмущенного дискриминационными идеями профессора вошел в состав множества историй о преподавателях, повторявшихся студентами и распространявшихся по городу. Не заслужив такого обилия анекдотов, как профессор Монтенегро, ставший объектом бесконечных острот из-за придирок по поводу точного употребления местоимений, управления глаголами, устарелой терминологии и нелепых неологизмов, мрачный преподаватель судебной медицины дал все же повод для обильного количества насмешек, добродушно-веселой или едко-злой критики, иногда низкого пошиба по поводу монархической строгости его методов, а также его предрассудков.

В одном анекдоте — кстати сказать, правдивом — рассказывается, что, будучи давним другом судьи Маркоса де Андраде, с которым он поддерживал сердечные отношения уже более десяти лет, профессор пришел к нему однажды вечером в гости — согласно установившейся между ними традиции ежемесячных встреч. Но случилось так, что после обеда в кругу семьи судья из-за удушливой вечерней жары снял

сюртук, оставшись в полосатых брюках, жилете и рубашке с манишкой и крахмальным воротничком.

Когда служанка сообщила ему, что его знаменитый друг пришел и находится в гостиной, судья бросился ему навстречу и, поспешив поздороваться с ним и насладиться беседой, забыл надеть сюртук. Увидя его в таком виде, в столь неприличной одежде, допустимой разве в интимной обстановке спальни, профессор Арголо, возмущенный, поднялся:

— До сих пор я думал, что вы относитесь ко мне с уважением. Теперь вижу, что ошибался.— И ничего больше не добавив, он вышел из дома. Не приняв объяснений и извинений почтеннейшего судьи, он навсегда лишил его своей дружбы и даже перестал с ним здороваться.

...Подходя к профессору, Педро Арканжо заметил, что Нило Арголо заложил руки за спину, чтобы предупредить какую-либо попытку рукопожатия. Он вспыхнул от возмущения.

С пренебрежительным видом, с каким рассматривают животное или вещь, профессор все же внимательно оглядел физиономию и осанку служащего; на его лице, отражавшем враждебное отношение, появилось нескрываемое удивление после того, как он констатировал элегантность и опрятность одежды мулата, его безупречное достоинство. О некоторых метисах преподаватель думал, а иной раз даже говорил: «Этот заслуживал бы быть белым, его губит африканская кровь».

— Это вы написали брошюру, озаглавленную «Народная...

— ...жизнь Баии»...— Арканжо, справившись с первоначальным унижением, приготовился к разговору.— Я оставил вам, сеньор, экземпляр в секретариате.

— Говорите «сеньор профессор»,— резко поправил его знаменитый ученый.— «Сеньор профессор», а не просто «сеньор», не забывайте. Я завоевал это звание на конкурсе, имею право на него и требую, чтобы ко мне обращались именно так. Понятно?

— Да, сеньор профессор.— Голос его звучал как бы издалека и был холодным; Педро Арканжо хотелось поскорее уйти.

— Скажите мне: различные заметки об обычаях, традиционных праздниках, фетишистских церемониях, которые вы классифицируете как обряды, они действительно точны?

— Да, сеньор профессор.

— Они правдивы?

— Да, сеньор профессор.

— Не выдуманы вами?

— Нет, сеньор профессор.

— Я прочел вашу брошюру и, учитывая, кто ее написал,— он снова взглянул на него желтыми, враждебными глазами,— я не отрицаю известной вашей заслуги, ограниченной, разумеется, лишь кое-какими наблюдениями. Она лишена всякой научной серьезности, и выводы относительно смешения рас являются чрезмерными и опасными глупостями. Но все же в ней содержатся факты, достойные внимания. Она заслуживает прочтения.

Педро Арканжо в новом усилии преодолел стену, отделяющую его от профессора, и продолжил диалог:

— Не думаете ли вы, сеньор профессор, что в пользу моих выводов говорят также и эти факты?

На тонких губах профессора Арголо проступила скупая улыбка; смеялся он крайне редко и, как правило, по поводу глупости, тупоумия людей:

— Вы меня смешите. Ваша книжонка не содержит ни одного упоминания о каком-либо тезисе, докладе или книге; она не опирается на мнение какого-либо отечественного или зарубежного авторитета, как

же вы осмеливаетесь возводить ее в категорию научного труда? На чем вы основываетесь, чтобы защищать смешение рас и представлять его как идеальное решение расовой проблемы в Бразилии? Чтобы осмелиться охарактеризовать нашу латинскую культуру как культуру мулатов? Чудовищное, развращающее утверждение!

— Я основываюсь на фактах, сеньор профессор.

— Чепуха! Что значат факты, чего они стоят, если мы не рассматриваем их в свете философии, в свете науки? Вам уже довелось читать что-либо по этому вопросу?— он продолжал насмешливо улыбаться.— Рекомендую вам Гобино. Французский дипломат и ученый жил в Бразилии, он крупнейший авторитет в области расовой проблемы. Его труды имеются в библиотеке нашего учебного заведения.

— Я прочитал лишь некоторые ваши работы, сеньор профессор, а также труды профессора Фонтеса.

— И они вас не убедили? Вы путаете батуке и самбу, эти ужасные звуки с музыкой; отвратительные божки, вылепленные без малейшего соблюдения законов эстетики, выдаются вами за образцы искусства, обряды кафров имеют, на ваш взгляд, культурную ценность. Несчастная наша страна, если мы примиряемся с таким варварством, если мы не восстаем против этого наводнения ужасов. Послушайте: все это, вся эта чернь, происходящая из Африки, загрязняет нас, мы ее выметем из жизни и культуры родины, хотя бы для этого понадобилось применить насилие.

— Оно уже применялось, сеньор профессор.

— Возможно, но не в той форме и не в тех масштабах, какие необходимы,— его голос, обычно бесстрастный, приобрел более жесткий тембр; во враждебном взоре безжалостного осуждения вспыхнул желтый огонек фанатизма.— Речь идет о раковой опухоли, которую надо удалить. Хирургия кажется жестокой формой лечения, но на самом деле она благотворна и необходима.

— Как знать, удастся ли убить нас всех... одного за другим, сеньор профессор.

Осмеливается иронизировать, негодяй? Светило факультета, профессор Арголо воззрился на педеля взглядом, полным подозрительности и угрозы, но увидел лишь невозмутимо спокойное лицо, корректную позу, никакого признака неуважения. Успокоенный, его взгляд стал мечтательным, и он почти жизнерадостным смехом встретил предложение Арканжо:

— Уничтожить всех, мир только для арийцев?

Совершенный мир! Грандиозная, неосуществимая мечта! Где бесстрашный гений, что способен воспринять эту смелую идею и претворить ее на практике? Как знать, быть может, в один прекрасный день непобедимый бог войны выполнит свою высшую миссию? С мечтательным видом профессор Арголо заглянул в будущее и представил себе героя впереди арийских когорт. Блистательный образ, славное мгновение — всего одна секунда: вернулась горькая действительность.

— Я думаю, нет необходимости к этому прибегать. Достаточно издать законы, запрещающие расовое скрещивание, регулирующие браки: белый с белой, негр с негритянкой или мулаткой, и в тюрьму того, кто нарушит закон!

— Трудно будет поделить всех и классифицировать, сеньор профессор.

Снова профессор постарался отыскать насмешливый оттенок в мягком голосе педеля и в правильно произносимых словах. Ах, если бы он его нашел!

— Трудно, почему? Я не вижу трудности.— Решив считать разговор оконченным, он распорядился:— Идите выполняйте свои обя-

занности, я не могу больше терять время. Так или иначе, среди глупостей кое-что может быть использовано из вашей книги, молодой человек.— Если он и не снизошел до того, чтобы стать любезным, все же сделался чуть снисходительнее: протянул метису кончики пальцев.

Но на сей раз Педро Арканжо не заметил протянутой костлявой руки, ограничившись кивком головы, таким же, каким его встретил профессор Нило Арголо де Араужо в начале разговора, лишь немного, совсем немного небрежнее.

— Каналья!— прорычал, побледнев, профессор.

7

Погруженный в раздумья, Педро Арканжо, направляясь в Табуан, прошел через переулок, где бегали мальчишки. Причин для опасений и озабоченности было более чем достаточно. На факультете произошел неприятный разговор. Тут, близехонько, Доротея, потеряв голову, терзается страстью. Дьявол потребовал, чтобы она покинула земли Баии, отказавшись от свободы и сына, и следовала бы за ним. Уже давно не существовало никаких обязательств, связывавших Арканжо с Доротеей, и если иной раз при неожиданной встрече происходило кое-что хорошее, то это — чистая случайность, воспоминание о буре при затишье. Был, однако, Тадеу. Для Арканжо он — соль жизни. В Лавке денежные затруднения возросли с публикацией книги, и Лидио Корро никогда еще не оказывался в таком затруднительном положении.

С дешевой сигарой, с тростью со вкладным кинжалом, ревматичный Эстеван дас Дорес в начале каждого месяца неукоснительно являлся в типографию, начиная со дня, назначенного для платежа: сидя на стуле возле двери, он проводил дни и вечера в спокойной беседе. Иногда прислонял палку к двери, видя, что Лидио и Тадеу перегружены работой, с трудом вставал и направлялся к наборным кассам. Ослабевший, сгорбленный, но мастер своего дела; в его руках, черных от табака, работа спорилась, и даже ветхая машина казалась менее капризной и не столь медлительной. Хотя он не говорил ни слова относительно долга и выкупа («я сижу дома без всякого дела, нет ничего утомительнее праздности... поэтому я и пришел поболтать с друзьями...»), Лидио Корро чувствовал себя неудобно, видя перед собой постоянно ожидающего кредитора:

— Мне порядочно задолжали. Первый, кто войдет и заплатит,— это будет для вас, сеньор Эстеван.

— Не говорите об этом, я пришел не за деньгами... Но разрешите заметить вам, мастер Корро, вы слишком много работаете в долг, будьте осторожны.

Это было верно: уличные певцы печатали книжки в кредит, расплачиваясь постепенно, по мере их продажи. Лидио превратился фактически в издателя дешевой массовой литературы. Но, бога ради, кто мог бы отказать в кредите другу Жоану Калдасу, отцу восьмерых детей, существовавшему на свое вдохновение?

— Секрет типографии — быстрая, хорошая работа с оплатой наличными. Я подаю вам дружеский совет...

Едва получив свои денежки, которые он считал и пересчитывал, Эстеван переставал появляться со своими советами, вонючими сигарами, ревматизмом, тростью, ошеломлявшей ученика: он еще обзаведется такой же тростью с кинжалом, спрятанным в стволе, страшным оружием.

— Я все жду, когда он откроет трость и пырнет меня кинжалом.— Лидио, несмотря на трудности, сохранял веселое настроение.

Трудовая жизнь заставила участить представления театра теней: в некоторые недели они стали давать по три сеанса с помощью Будиана и его учеников, Валделоира, Ауссы и одного матроса — Манэ Лимы, которого списали на берег с парохода компании «Ллойд» из-за драки и поножовщины. Мастак в танцах машише и лундум, он научился также в портах, куда они заходили, испанскому пасо-добле и аргентинскому танго, танцам гаучо, и его рекламировали как «международного артиста». Он сошелся с толстой Фернандой, полной, но легкой — она порхала, как перышко, в объятиях моряка; пара приобрела известность. Из Лавки Чудес они перебрались в кабаре, выступали с успехом в пансионе «Монте-Карло», в пансионе «Элеганте», наконец в «Табарисе» много лет спустя. За исключением коротких турне в Аракажу, Масейо и Ресифе, Манэ Лима — Вальсирующий Моряк — никогда больше не покидал Баии.

Кто не выказывал прежнего энтузиазма в отношении участившихся ныне представлений, так это Педро Арканжо: у него не стало хватать времени на чтение и учение. На свое собственное учение и обучение Тадеу.

— Зачем ты так много читаешь, мастер Педро, ты, который уже столько знаешь?

— Ах, мой дорогой, я читаю, чтобы понять то, что вижу и что мне говорят.

Женщины обратили внимание на легкую перемену в нем, внешне незаметную: постоянный, верный и нежный любовник, переходящий от одной к другой, исполнительный и жизнерадостный, он уже не был, однако, тем беззаботным юношей, как прежде, без другого основного занятия. Его жизнь сводилась до сих пор к каждодневным оргиям, к самбе, афошэ и капоэйре, к обязательствам кандомблэ, к приятной беседе, где можно услышать и рассказать всякие истории, и в особенности к забавам в постели, к женщинам... Теперь уже не было пустым и мимолетным любопытство, приводившее его на кандомблэ, к карнавальным афошэ и терно, в школы капоэйры, дома старых дядей, на беседы с пожилыми женщинами. Перемена почти незаметная, но качественная, как если бы вдруг по достижении сорокалетнего возраста Педро Арканжо приобрел полное понимание мира и жизни.

Когда он проходил мимо дома Сабины дос Анжос, к нему подбежал мальчишка с просьбой:

— Благословите, крестный.

Арканжо взял его на руки. Мальчик унаследовал красоту от матери Сабины, царицы Сабы [1]. Саба, я — царь Соломон и пришел посетить тебя в царстве твоего алькова. Он читал ей псалмы из Библии, она вдыхала благовоние, бальзам для страждущих сердец.

— Ты мне дашь денежку, крестный? — Такой же попрошайка, как и Сабина. Арканжо вытаскивал монету из кармана, лицо мальчика расплывалось в улыбке: от кого у него этот плутовской, безудержный смех?

Сабина появляется в дверях, зовет сына. Арканжо приводит его за руку, мулатка смеется при виде нежданного гостя.

— Ко мне? Я думала, ты не придешь сегодня.

Ее голос как ветерок: мягкий, нежный.

— Я проходил мимо. У меня много дел.

— С каких это пор, Педро, у тебя появились дела?

---

[1] Царица Савская.

— Да я и сам не знаю, Саба. На мне лежит бремя слишком большого обязательства.

— Обязательства перед святыми? Или работа на факультете?

— Ни то, ни другое. Обязательство перед самим собой.

— Ты говоришь так, что я не понимаю.

Она прислонилась к косяку двери — манящее тело, грудь на свободе, томные уста, вводящие в искушение. Арканжо ощущает этот зов каждой фиброй тела и созерцает красавицу, подходит ближе, ловит ее дыхание. Вытаскивает из кармана конверт с красивыми марками, пришедший с другого конца света, оттуда, около Северного полюса, где все кругом лед и где ночь продолжается вечно.

— Кирси живет во льдах?

— В городе, который называется Хельсинки, в Финляндии.

— Я знаю, Кирси — шведка, такая хорошенькая. Прислала письмо?

Он вынимает из конверта портрет мальчика: письма нет, лишь несколько фраз на французском языке, отдельные слова по-португальски. Сабина берет фотографию, какой очаровательный мальчишка! Такой хрупкий и нежный, курчавые волосенки, глаза Кирси, изящной, блестящей и волнующей красавицы. Сабина переводит взор с портрета на сына, который бегает по улице.

— Тоже красив...— О ком из двух она говорит? — Они такие разные и такие похожие, забавно. Почему у тебя получаются только мальчишки, Педро?

Арканжо улыбается, а рядом томные губки Сабины, стоящей в дверях.

— Давай заходи.— Голос у нее сочный, спокойный.

— Я очень занят.

— С каких это пор у тебя не хватает времени, чтобы сделать мальчика? — Она обнимает его за шею.— Я только что приняла душ, еще мокрая.

В запахе затылка, в пышном теле потерялась судьба Педро Арканжо — в котором часу попадет он в Лавку Чудес, где его ожидают Лидио и Тадеу? Сабина дос Анжос, самая красивая из ангелов, царица Саба в империи своей постели. Каждой приходит ее черед, а выдается и непредвиденное. Где то время, когда он был совершенно свободен и когда его единственным занятием была свободная любовь? Теперь не то!

8

— Скажите мне, друг мой, сколько это будет стоить? Я хуже, беднее нищей, разорена, знаете, что это значит? В течение долгого времени я была расточительна, промотала деньги, теперь я скряга. Назначьте цену, приятель, не обижайте старую каргу.

Лидио не бродячий торговец: никто с ним не сравнится в рисовании «чудес», доволен бывает и заказчик, и святой, никогда он не слышал жалоб на свою работу, он любимец самого господа. Заказы сыплются дождем, и в некоторые месяцы рисование обетов приносит ему больше, чем типография. У него уже бывали заказчики из Ресифе и Рио, а один англичанин заказал ему даже сразу четыре картины.

— Какой святой совершил чудо и что именно он сделал?

— Нарисуйте каких угодно святых и любые бедствия, какие вам заблагорассудится.

Гринго был таким же сумасшедшим, как и забавная сеньора, сидящая сейчас перед ним, угрожающая ему зонтиком, волосы — белые, как хлопок, морщинистая, дряблая, высохшая кожа, возраст — за

шестьдесят наверняка. Шестьдесят или тридцать? Живая, болтушка, неунывающая: железная энергия и история о распутном коте с его отвратительным урожаем чесотки:

— Я разорилась, уже старуха, но не жалуюсь.

Некогда она была богатейшей принцессой Реконкаво, жившей в пышности и роскоши. Владелица плантаций сахарного тростника, сахарных заводов, рабов, особняков в городах Санто-Амаро, Кашоэйре и Салвадоре. По ней вздыхали поклонники, один офицер смертельно ранил на дуэли ее жениха, бакалавра права. Впоследствии в погоне за ее благосклонностью разорялись банкиры и бароны. У нее была богатая приключениями жизнь, много романов, она объездила весь мир; к ее ногам складывались титулы, посты и состояния. Никогда она не отдавалась ради денег, и те, кто ради обладания ею тратили огромные средства на драгоценности, особняки, коляски, только тогда получали ее, когда им удавалось зажечь в ее груди пламя желания или получить ее благосклонность хотя бы на короткое время; ненасытная любовница, она была капризна и непостоянна.

С появлением морщин, седых волос и фальшивых зубов состояние ее растратилось на королевские подарки, которые она раздавала альфонсам с такой же легкостью, с какой в молодости получала сама. Праздник жизни обошелся ей нелепо дорого — и она не колеблясь заплатила требуемую цену: стоило того! Отощавшая под конец и физически, и в финансовых делах, она вернулась в Баию с любимым котом и с воспоминаниями о безрассудном и недолгом разврате. Почему он не продлился дольше?

Она пришла договориться о написании «чуда»: о цене, сроке, условиях. Кот, по кличке Арголо де Араужо, набрал на крышах, флиртуя с кошками, отвратительный груз чесотки. За несколько дней у него вылезла вся шерсть, этот черно-синий бархат, в который старушка запускала пальцы, вспоминая любовные приключения. Она даже обращалась к врачам, «в этих краях нет ветеринара»; истратила много денег на аптеки, мази и микстуры, все оказалось тщетным. Излечением кота она была обязана святому Франциску Ассизскому, поклонницей которого являлась,— под градом поцелуев в Венеции один поэт научил ее любить божьего нищего; он повторял ей в постели молитву птицам, а сбежав, утащил у нее сумочку, poverello [1].

Смущенный ее болтовней и хихиканьем, мастер Лидио назначил цену за работу — старушка больше походила на комическую театральную актрису. И вот она стала торговаться, спорить без стеснения, женщина с необъяснимым очарованием. В некоторые моменты исчезает старость, блистает молодость и соблазнительность; надменная принцесса Реконкаво становится светской кокоткой на пенсии, фамильярной, обольстительной. Переговоры о сделке затянулись, так как старуха уселась, чтобы лучше торговаться, и, сделав это, заметила афишу кабаре «Мулен руж» на стене. Она была беспредельно потрясена.

— O, mon Dieu, c'est le Moulin ! [2]

Развязным, распущенным языком она принимается рассказывать, как жила, описывать страны, где побывала, чудеса, свидетельницей которых была; вспоминать музыку, театральные представления, выставки, прогулки, праздники, сыры, вина и любовников. Она предавалась удовольствию воспоминаний, двойной радости, потому что иной ей не осталось, и, будучи бедной и старой, вспоминала, как некогда была богатой и безумной. С воодушевлением рассказывая детали, она

---

[1] Бедняга *(итал.)*.

[2] О, боже мой, это Мулен! *(Франц.)*

мешала французский с португальским и уснащала повествование возгласами на испанском, английском и итальянском языках.

Педро Арканжо пришел из королевства Сабы, как раз когда дряхлая морская путешественница отправлялась в кругосветное плавание, и вместе с нею он хохотал до упаду. Они подняли якорь на Монмартре и поплыли с остановками в кабаре, театрах, ресторанах, галереях Парижа и его окрестностей, то есть остального мира. Потому что знайте, друзья, существует Париж, а остальное, остальное, о, la, la, c'est le banlieu [1].

Она была счастлива от возможности поделиться воспоминаниями: внучатым племянникам не хватало терпения выслушивать во время редких и коротких посещений ее нынешнего убежища, домика по соседству с монастырем Лапа, где она влачила существование с котом и выжившей из ума служанкой. Ветреная старуха, ее полное имя — сеньора дона Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо э Пиньо, законная графиня Агуа Бруска. Для близких — Забела.

Педро Арканжо спросил, знает ли она Хельсинки. Нет, в Хельсинки она не бывала. В Петрограде — да, в Стокгольме, Осло и Копенгагене. Почему приятель говорит о Финляндии с такой теплотой? Он, что, побывал там, когда плавал за границей? Но дружище не похож на человека моря, по своим манерам он походит скорее на профессора или бакалавра.

Арканжо рассмеялся своим непосредственным смехом. Он не бакалавр и не профессор — куда мне, мадам! — и я также не плавал по свету; я простой служащий факультета и охотник до чтения, любознательный человек. С Финляндией же связь у меня иная, ах, это была любовь! Он показал ей портрет, и графиня задержалась на нем, восхищаясь лицом мальчика.

Обладавшая красивым почерком, Кирси набросала несколько слов по-португальски, немногие решительные слова, преодолевшие расстояние моря и времени: любовь, тоскую, Баия. Одна фраза целиком по-французски: Изабел Тереза перевела, но это было ни к чему, так как Арканжо знал ее на память: наш сын растет, красивый и сильный, его зовут Ожу, как отца, Ожу Кекконен, он командует мальчишками и влюбляет в себя девчонок, маленький колдун.

— Вас, мой друг, зовут Ожу?

— Мое христианское имя — Педро Арканжо, но на языке негритянской народности наго я — Ожуоба.

— Мне бы хотелось увидеть макумбу. Я никогда на ней не бывала.

— Когда угодно, я охотно вас провожу.

— Какая там охота, не лгите. Кому нужна компания старой карги? — Она лукаво расхихикалась, смерила взглядом сильного и красивого мулата, любовника финки.— Мальчик похож на вас.

— Но он похож также на Кирси. Он будет королем Скандинавии.— Арканжо рассмеялся, и принцесса Реконкаво, дона Изабел Тереза, Забела — для близких, расхохоталась вместе с ним, чрезвычайно довольная.

— Просите своего друга Лидио сделать мне скидку, я не могу заплатить дорого, хотя и признаю, что работа стоит больше,— она была так же любезна, как Корро и Арканжо, как любой человек из народа Баии.

Лидио ответил сразу же:

— Назначьте цену сами.

— Этого я тоже не хочу.

---

[1] О ля-ля, это предместье *(франц.)*.

— Тогда не беспокойтесь. Я нарисую «чудо», и, когда оно будет готово, вы заплатите столько, сколько пожелаете.

— Сколько захочу — нет: сколько смогу...

Вошел Тадеу с книгами и тетрадями. Забела сравнила его с Арканжо, скромно улыбнулась. Ученик вырос в сильного и изящного подростка; когда он смеялся, то выглядел соблазнительно.

— Мой крестник, Тадеу Каньото [1].

— Каньото? Это что же, имя или прозвище?

— Это имя, которое мать ему дала при рождении.

Тадеу прошел в глубь дома.

— Учится?

— Работает тут, помогает Лидио в типографии и учится. В прошлом году сдал четыре экзамена на подготовительном отделении, получил восьмерку, две девятки и десятку,— в голосе Арканжо звучала гордость,— он сдаст еще четыре экзамена в этом году. В будущем закончит. Хочет поступить в университет.

— Что будет изучать?

— Хочет стать инженером. Посмотрим, удастся ли. Для бедняка нелегко получить высшее образование, мадам. Расходы большие.

Тадеу возвращается в комнату, раскрывает книги на столе, но замечает портрет:

— Можно посмотреть? Кто это, крестный?

— Один мой родственник... далекий — очень далекий, с другого конца света.

— Это самый красивый мальчик, какого я когда-либо видел.— Он берется за тетради, ему надо учить уроки.

Графиня Агуа Бруска, сеньора дона Изабел Тереза Гонсалвес Мартинс де Араужо э Пиньо, становится все более близкой, Забелой. Она объясняет Тадеу французские глаголы, учит его арго. Пробует домашний ликер, какаовый ликер приготовления Розы де Ошала, великолепный нектар — как будто смахуешь лучшее шампанское. После своего ухода она оставила приятное впечатление.

— Самое лучшее, сеньор Лидио,— сказала она, прощаясь,— это если вы, друг мой, зайдете ко мне домой, чтобы познакомиться с Арголо де Араужо, тогда вы сможете нарисовать его в точности, это самый красивый кот в Баии. И с самым плохим характером.

— С удовольствием, мадам. Завтра же приду.

— Арголо де Араужо — это и кличка кота? Как забавно... фамилия профессора,— заметил Арканжо.

— Вы говорите, мой друг, о Нило д'Авила Арголо де Араужо? Я с этой бациллой хорошо знакома. Мы кузены по линии Араужо, я была невестой его дяди Эрнесто; тем не менее когда он проходит мимо меня, то делает вид, что не замечает. Он изображает из себя черт те что, хвастается своим дворянским происхождением, но не при мне. Я знаю пороки семьи во всех подробностях, позорные поступки, жульничества, о, mon cher, quelle famille! [2] Когда-нибудь я вам расскажу, если вы пожелаете выслушать.

— Чего мне больше хотеть, мадам, сегодня благословенный день: среда, день Шанго, а я Ожуоба, его широко открытые глаза, чтобы все видеть и все знать, главным образом о бедных, но также и о богатых, если потребуется.

— Сводите меня на макумбу, а я вам расскажу историю дворянства Баии.

Тадеу подошел помочь ей спуститься по двум ступенькам у порога дома.

---

[1] Каньото — дьявол *(португ.)*.

[2] О, мой милый, какая семья! *(Франц.)*

— Я, старуха, никуда не гожусь, и все же не хочется умирать.— Холеной рукой она дотронулась до подбородка парня: — Из-за такого вот смуглого моя бабушка Виржиния Мартинс потеряла благоразумие и закалила кровь семьи.

Она раскрыла ослепительный зонтик, твердой походкой зашагала по крутому склону Табуана, своей походкой belle époque[1] она идет по улицам Парижа, фланирует по бульвару Капуцинов.

9

Среди столького вранья — одно верно: присутствие Забелы на празднике Огуна, на котором произошло колдовство. Различные рассказчики повествуют об этом по-разному. Происшедшее все видели собственными глазами, но каждый на свой манер. Наиболее уверенно рассказывают, конечно, те, кто там не был вовсе; они-то знают все и лучше, чем кто-либо, они — главные свидетели.

Отсутствовавшие и присутствовавшие, все сходились на одной подробности:

— Кто не даст мне соврать — это богачка с Лапа, аристократка, увешанная драгоценностями, сеньора из сеньор. Она была там и видела.

Аристократка высокого ранга, это точно. Богачка — вне сомнения, но только в прошлом. Драгоценности же были фальшивыми. Подделки и копии, много разноцветных лент, бисера, отделки — так богато бывает украшена ожерельями и браслетами только жрица. Щедрым жестом прощаясь (чтобы вернуться еще не раз), графиня Агуа Бруска сняла с себя ожерелье и подарила его Мажэ Бассан:

— Оно ничего не стоит, но возьмите его себе, пожалуйста.

Блистая в кресле для почетных гостей, Забела следила за церемонией с исключительным интересом. Она встала, чтобы лучше видеть, нервно жестикулировала, прижимала руки к груди, с восклицаниями по-французски — Nom de Dieu! Zut, alors! [2]: в момент выхода божеств под музыку, в скрещивании их шпаг в схватке, в танце Ошумарэ, змеи, прижатой животом к земле, полумужчины, полуженщины...

— Что случилось с этой такой красивой девушкой, что пришла поговорить с вами и потом танцевала так вдохновенно? Она остановилась в дверях и исчезла. Почему она больше не танцует, что с нею стало?

Если Арканжо и знал разгадку аллегории, он не открыл ее старухе.

— Я не заметил, мадам.

— Не стройте из меня дуру. Я видела человека рядом с ней, позади огня, человека белого и высокого, порывистого, нетерпеливого. Давайте выкладывайте.

— Она исчезла,— и ничего больше не прибавил.

Выявляя мнения и отбирая наиболее достоверные, можно было установить, что Доротею видели в хороводе девушек кружащейся по бараку, соревнуясь с Розой де Ошала в изяществе па и в красоте. Были здесь также Стелла де Ошосси, Паула де Эуа и другие девушки, державшиеся довольно высокомерно.

Ошосси, украшенный конским хвостом, спустился и оседлал Стеллу. Эуа прижался к телу Паулы. Ветер с лагуны, вода из источника. В трепете Роза превратилась в Ошолуфана, старого Ошалу. Три Омолу, два Ошумарэ, две Йеманжи, один Оссаин и один Шанго. При-

[1] Прекрасных времен *(франц.)*.

[2] О боже! Черт возьми! *(Франц.)*

шли одновременно шесть Огунов — было тринадцатое июня, день его праздника, ведь в Баие Огун это святой Антонио,— и народ стоя радостно их приветствовал.

Когда Янсан протяжным свистком, похожим на пароходный гудок, подозвала Доротею, та поспешила подойти, чтобы поцеловать руку Арканжо:

— Почему ты не привел моего парня?

— Он остался учиться, ему надо много заниматься.

— Я уезжаю, Педро. Уезжаю сегодня же. Этим вечером.

— Он приехал за тобой? Уезжаешь тотчас же?

— Да, тотчас же, вместе с ним. Не говори ничего Тадеу, набери воды в рот, а потом скажешь, что я умерла, так лучше: будет больно только раз, и делу конец.

Она опустилась на колени, наклонила голову к земле. Арканжо дотронулся до ее курчавых волос и поднял негритянку Доротею во весь рост. Она еще не совсем укрепилась на ногах, как уже Янсан завладела ею с криком, от которого проснулись бы и мертвые.

В бараке очень немногие обратили внимание на сцену, предшествовавшую появлению Янсан. Однако Забела следила за нею от начала до конца, для нее все это было ново, все волновало. Больше всех танцевала Янсан посреди шести Огунов. Это было прощание, но никто этого не знал.

В перерыве, во время переодевания, в соседнем помещении подали угощение Огуна, это был королевский пир. Забела попробовала от каждого блюда, она обожала еду, приправленную маслом дендэ, но, к несчастью, от этого масла у нее болела печень. Когда начали пускать фейерверк, что оповещало о возвращении божеств, старуха бросилась посмотреть чуть не бегом, ей не хотелось упустить ни малейшей подробности макумбы.

Приблизилась величественная процессия, впереди один из шести Огунов, Огун Эпитафии. Гремели атабаке, народ стоял, хлопая в ладоши, яркий луч осветил темноту, ракеты, бомбы и бенгальские огни: июнь — это месяц кукурузы и фейерверка. Во взрывах и вспышках ракет один за другим входили в барак божества с эмблемами, оружием. Мажэ Бассан затянула песню, Ошосси открыл танцы.

Где же Янсан, почему она не вернулась в барак? Послышалось лишь эхо шума на расстоянии. Паровозный гудок? Нет, гудок парохода. В проеме двери все видели Доротею в последний раз. Она не выставляла напоказ одежды Янсан, хотя многие утверждали, что это было так, и клялись светом своих очей; точно так же не было на ней и накрахмаленной юбки и кружевной кофты — одежды баиянки. Хорошо одетая, как сеньора, она демонстрировала одеяния великосветской дамы, платье со шлейфом и из лучшего материала, жабо из плиссе. Вздымающаяся грудь, горящие глаза.

Все упоминают о человеке, стоявшем позади Доротеи, и сходятся на том, что у него были небольшие дьявольские рожки. В остальном между свидетелями несогласие и споры. Некоторые видели хвост в виде трости с загнутым концом, висевший у него на руке; другие толковали о козлиных копытах; большинство описывает его черным, как уголь. Согласно показанию Эвандро Кафе, старого и почтенного дядюшки, дьявол был красным, живого, яркого цвета. Любопытные и внимательные глаза Забелы разглядели, что он был белым и блондином, на лбу две пряди волос, красавец мужчина! Одинакового мнения с графиней был и бывший раб, человек преклонных лет и с большим опытом, оба они заслуживают доверия.

Все произошло при блеске фейерверка, при свете костра, свет и огонь слепили. В этом пожаре, в сиянии зарева, в пламени, громе и

молнии Доротея растворилась в воздухе. Она была в дверях и в то же время ее там не было: пустая дверь, лишь запах серы, яркий свет и грохот. Бомба, ракета? Кто слышал, тот знает, что нет.

Доротею больше никогда никто не видел. Даже и призрака ее. Слышали шум: по мнению Забелы, это был галоп лошадиных копыт, бегство любовников в далекие края; по мнению Эвандро Кафе — топот козлиных копыт, это был дьявол, уносивший свою иабу. Так или иначе — Доротее конец.

В течение нескольких дней пустовала палатка на Мизерокордии, где много лет подряд посетители, приходившие полакомиться абарой, акараже, кокадой и пе-де-молеке, находили негритянку Доротею с ожерельем Янсан и красным и белым бисером Шанго. Потом там уселась Микелина, спокойная и ясная, с зеленоватыми глазами; лоток у нее был нарядно украшен.

В Лавке Чудес, облокотившись на книги, подросток оплакивает мать, которая для него умерла. Для других она — зачарованная, вернувшаяся к своему началу. У каждого своя судьба. Если Арканжо и хранил ключ от загадки, он ничего не говорил.

Фаусто Пена рассказывает о своем театральном опыте и других горестях

Мой театральный опыт был печальным. Не подумайте, что я преувеличиваю. Печальным, трагическим, роковым. С какой стороны я его ни рассматриваю, подвожу только отрицательный итог: разочарование, обманутые надежды и муки. Подлинные муки от рогов.

Я не выбрался между тем из-за кулис драматургии, не добрался до сцены, не испытал волнения от огней рампы и партера, от аплодисментов и газетных рецензий. В дни горячечного воодушевления я мечтал обо всем этом и о многом другом. О своем имени на афишах, на фасаде Театра имени Кастру Алвеса, в неоновой рекламе на зданиях театров Рио и Сан-Пауло рядом с именем Аны Мерседес, триумфально выступающей первой актрисой, знаменитой и прославленной, быстро затмившей заслуженных звезд. Переполненные залы, публика в исступлении, восторженная критика, высокое жалованье и авторский гонорар, выплачиваемый на месте: начало триумфальной карьеры нового автора.

В действительности все оказалось совсем иначе: ни денег, ни похвал, ни имени, напечатанного либо светящегося на стене. Имя в полиции, как мне сообщили, на подозрении. Истрачены последние гроши. Потеряно единственное достояние, каким я обладал.

Конечно, я кое-чему научился, и я не в обиде на своих товарищей по авантюре; даже Илдазио Тавейра не сделал меня своим врагом. Между нами говоря, признаюсь, я его не выношу и поджидаю случая отплатить ему: всему свое время, я не тороплюсь. Мне нельзя порвать с иудой сразу: Национальный институт книги поручил ему составление «Антологии молодой баиянской поэзии», в которую он обещал включить мои поэмы, не одну, он не сказал сколько. Если я перестану с ним здороваться, то рискую быть исключенным из сборника, очутиться за бортом литературы. Я одариваю его лучшими из моих улыбок, упорно и восторженно расхваливаю его стихи. На что только не приходится идти ради места под литературным солнцем!

Нас было четверо, соавторов спектакля. Все три мои партнера кичатся тем, что принадлежат к высшей интеллектуальной категории: они гениальные и передовые. Будучи наиболее известным из четырех,

обладая поэмами, опубликованными в Рио, Сан-Пауло и даже в Лиссабоне, Илдазио Тавейра с длинными баками и в крикливых рубашках дебютировал в театре. Двое других были студентами юридического факультета. Композитор Тониньо Линс учился на третьем курсе, у него была одна самба, записанная на патефонную пластинку, и ряд неизданных, дожидающихся премий на фестивале. Эстасио Майя, упорный первокурсник, обладал различными достоинствами: способностью выпивать огромное количество кашасы, божественной мудростью и дядей-генералом. В пьяных откровениях в тесной компании он отрекался от родни, поносил дядюшку.

Весьма передовой литератор, необычайно предприимчивый, у которого было много провалов, непостоянный и отличавшийся непредвиденными поступками, он жил, все время кого-то изображая: то беспощадного террориста, то мистика, замаливающего свои грехи, плохого актера, ничтожного первого любовника. Ана Мерседес при его приближении сразу определяла, какую маску он надел в этот день — «сегодня он явился партизаном». Накануне же был героем Достоевского, Раскольниковым в дешевой версии.

Мы первым делом договорились с Театром имени Кастро Алвеса; это задание было поручено Эстасио Майе, в тот момент племяннику своего дяди. Потом начались нескончаемые споры о пьесе, сопровождаемые криками, ругательствами, угрозами физической расправы и истреблением большого количества кашасы.

Расхождения касались содержания спектакля и образа Педро Арканжо. Эстасио Майя, объявив себя безоговорочным бразильским сторонником американской Негритянской власти, превратил Педро Арканжо в члена организации «Черные пантеры», декламирующего со сцены речи и лозунги Кармайкла [1], призывающего к сегрегации, к неискоренимой ненависти. Своего рода профессор Нило Арголо шиворот-навыворот. Негры — по одну сторону, белые — по другую, запрещается любое смешение и сосуществование, борьба не на жизнь, а на смерть. Я так никогда и не смог узнать, куда неистовый лидер отечественного негритянского меньшинства определял мулатов.

Не помню, говорил ли я уже или нет, что этот Майя был белым, синеглазым блондином, мало имевшим дела с женщинами, в том числе с негритянками и мулатками. В этом смысле я должен быть ему признательным: не считая восьми женщин, определенных гадюк, к спектаклю имели отношение девятнадцать мужчин, в том числе директор, актеры, осветители, рабочие сцены, статисты и т. д. и т. п., и из девятнадцати он был единственным, кто не воспевал Ану Мерседес.

Илдазио не соглашался с его мнением, так же как и Тониньо Линс. Этот последний, с серьезным лицом, пользовавшийся авторитетом в студенческих кругах, хотел показать Педро Арканжо главным образом как забастовщика, борющегося против предпринимателей, трестов и полиции; в центре спектакля — классовая борьба. «Расовая проблема, товарищи, это следствие проблемы классовой»,— объяснял он, цитируя авторов, спокойно, без экзальтации. «В Бразилии, товарищи, негры и мулаты дискриминированы в своем положении пролетариев: белый бедняк это грязный негр, а богатый мулат сходит за чистого белого». «Классовая борьба и фольклор» — вот его рецепт для спектакля, одновременно воинствующего и народного. Он писал музыку на фольклорные темы, и из всего, что было подготовлено для задуманного представления, уцелела только красивая мелодия Тониньо Линса о похоронах Педро Арканжо. Он представил ее впоследствии

[1] Один из лидеров организации «Черные пантеры» в США.

на конкурс студенческого фестиваля в Рио и получил там вторую премию. По мнению же публики, заслуживал первую.

Что касается Илдазио, то должен признаться, его позиция показалась мне наиболее близкой к позиции истинного Арканжо. Если существует одна-единственная «арканжовская» истина (используя модный термин), то Арканжо на этих торжествах появилось великое множество. Мы могли видеть его даже на стенах города, рекламирующего прохладительное кока-коко: «В обычаях Баии моего времени не хватало только кока-коко».

Илдазио Тавейра, соглашаясь с Тониньо в отношении приоритета классового вопроса над расовой проблемой, признавая тезис Эстасио Майи о наличии в Бразилии расовых предрассудков и большого числа расистов, предложил показать Арканжо без сектантских убеждений, сознающим свою силу и силу народа, отстаивающим решение бразильской проблемы путем смешения, метисации рас, защищающим метисов, мулаток, и прежде всего и главным образом — Ану Мерседес, к которой он, мерзавец, приставал в закоулках театра с гнусными предложениями.

Мы спорили в пивных барах, в предрассветные часы в «Пис-пис ангелов». Илдазио подобрал с моей помощью фразы из книг Педро Арканжо, которые могли послужить основой диалогов. Эстасио Майя не согласился их использовать: «Этот тип — реакционер». Он вложил в уста Арканжо ужасные высказывания, зловещие угрозы уничтожения белой расы и вообще Запада: «Мы, негры, ликвидируем американцев, белых убийц, всех, всех». Мы с Тониньо Линсом вмешались, опасаясь того, что спор закончится рукопашной схваткой, настолько велико было возбуждение спорящих. С грубым юмором Илдазио назвал белокурого Майю «вошью Кармайкла», в результате поднялся неимоверный шум.

Они наносили друг другу оскорбления, мирились, обнимаясь и клянясь в вечной дружбе, снова принимались за споры, ругань и выпивку. Так длилось месяц, были осушены целые бары.

Что касается меня, то я боролся за то, чтобы примирить различные точки зрения, суждения, диалоги, догмы, расколы, фракции, идеологии и влияния. Мне нужна была лишь пьеса, имена на афише, рядом мое и Аны Мерседес, автора и звезды, о, славный вечер премьеры! Ана Мерседес играла бы Розу де Ошала, относительно этого не было спора, все были согласны. На данном этапе дебатов для меня не имела большого значения последующая театральная судьба Педро Арканжо: рабочий лидер в забастовке, расист из «Черных пантер», отвергающий смешение рас, призывающий к священной борьбе против белых, баиянский мулат, творец цивилизации, что мне до этого! Я хотел видеть пьесу на афише.

Мы решили начать репетиции, не ожидая решения цензуры, и приступили к ним как раз на неделе, когда произошли крупные студенческие волнения. Обнаружив наличие провокаторов на факультете права, студенты объявили забастовку и были сразу же поддержаны другими факультетами. Первая манифестация прошла благополучно, но вторую полиция разогнала с помощью слезоточивого газа и оружия. Массовые аресты, раненые студенты, вторжение в монастырь бенедиктинцев, закрытие магазинов, грубые насилия, конец света.

Тониньо Линс был арестован на улице Чили, он нес плакат и использовал его в борьбе с полицейскими агентами. Просидел неделю в тюрьме и на допросах держался хорошо — молодец! Эстасио Майя вышел из игры в дни опасности; шествия, драки, тюрьма его не привлекали: он был теоретиком. Его имя, однако, оказалось в списке

агитаторов, опубликованном в газетах. Тогда он пропал, исчез с горизонта. Впоследствии мы узнали, что он добился перевода в Аракажу для продолжения учебы. Обосновавшись в штате Сержипе, он как-то завял, впал в мистицизм.

Цензура запретила пьесу и, как мне сказали, сообщила полиции имена авторов для занесения в соответствующую картотеку. Куда я попал! Чтобы не пропала договоренность с театром, Илдазио сочинил в рекордно короткий срок детскую пьесу и пригласил Ану Мерседес на роль Сверкающей Бабочки. Я воспротивился этому твердо и в резких выражениях. Чтобы вознаградить Ану за утраченную возможность, я повез ее на прогулку в Рио и Сан-Пауло, истратив на запоздалый медовый месяц последние доллары великого Левенсона.

Эти доллары растворились один за другим в барах Копакабаны и улицы Аугусты, в ресторанах и ночных клубах, на общение с литераторами, на драгоценные, дорогостоящие дружеские связи. Выдвижение молодых писателей обходится нынче дорого: простое упоминание имени провинциального поэта в литературной колонке стоит обеда в ресторане при Музее новейшего искусства или нескольких угощений шотландским виски в барах Ипанемы.

Я вернулся к разбитому корыту, и моя жертва оказалась напрасной. Ана Мерседес, одетая в модные платья от Лаиса, сделалась суровой и необщительной. Как-то в воскресенье развертываю литературное приложение газеты «Диарио да манья» и наталкиваюсь на два стихотворения за ее подписью: она их не отдавала мне на редактуру. Прочел стихи: я кое-что понимаю в поэзии, с первой же строфы узнал стиль Илдазио Тавейры. Провел рукой по лбу, он горел от жара и от выросших рогов.

Я страдал и все еще страдаю, мечтаю о ней по ночам, кусаю подушку — постель сохраняет нетронутым аромат розмарина. Я не показал, однако, страданий рогоносца, раздирающих меня мук, когда внезапно столкнулся на улице с ними двумя, идущими в обнимку. Илдазио заговорил со мной об антологии, попросил срочно дать мои стихи, он должен, мол, отправить рукописи в Институт. Любовница же держалась по отношению ко мне отчужденно и безразлично.

В этот день даже кашаса меня не подкрепила: к концу вечера, в здравом уме и твердой памяти, я сочинил прощальный сонет, посвященный Ане Мерседес. При некоторых муках сердца выходом может быть только самоубийство — или сонет. В стиле Камоэнса.

Педро Арканжо — премия и тема для поэтов, рекламодателей, учительниц и веселого Крокодила

1

— Нет! Подождите, это уж слишком! — Профессор Калазанс был на грани того, чтобы забыть свое обычное добродушие и вспылить.— Фернандо Пессоа, нет, ни за что!

Они собрались в кабинете Гастона Симаса в акционерном обществе рекламы «Допинг», чтобы выбрать тему для премии имени Педро Арканжо. Когда по окончании юбилейных торжеств по случаю столетия разочарования и огорчения вылились в веселый поток анекдотов, профессор увидел знамение времени в том факте, что крупнейшее культурное мероприятие года обсуждалось и решалось в помещении рекламного агентства. Стоило послушать его, как он описывал заседания — потеха!

— Поэт Фернандо Пессоа, конечно, волнующая тема, и Педро Арканжо тоже был до известной степени поэтом,— аргументировал Алмир Иполито, уставившись на плотного сержипанца романтическими глазами, обрамленными темными кругами.— Вы не читали статью Апиа Коррейи «Педро Арканжо, поэт науки»? Она была напечатана в «Диарио да манья». Гениально!

— Ну и что с того? Что этот гениальный писака нашел общего между Арканжо и Пессоа? — Профессор Калазанс возмущался чрезмерным употреблением прилагательного «гениальный». Он слышал его то и дело, дочь и ее подруги повторяли его по любому поводу, в особенности, говоря о своих возлюбленных.— Педро Арканжо питал пристрастие к кашасе, но из этого не следует, что мы учредим премию «Рака» или премию «Крокодила», предложив участникам конкурса тему о преимуществах этих марок спиртного.

— Это хорошая идея! — рассмеялся Гастон Симас.— Профессор, если бы вы захотели сотрудничать с нами, то стали бы мастером рекламы. У вас грандиозные замыслы. Испанец, хозяин фирмы «Крокодил», весьма возможно, приобретет это предложение.

— Неужели вам мало мерзкой рекламы «Кока-Коко»? Педро Арканжо пропагандирует прохладительные напитки! Это же конец света!

По словам доны Лусии, жены генерального секретаря, ее супруг выходил из себя обычно не более двух раз в год. Однако в 1968 году, в связи с празднованием столетия Педро Арканжо, он стал выходить из себя по меньшей мере два раза в день: подымая крик, возбуждаясь при обсуждении всяких глупостей. Только ли глупостей? Нет, также подлостей, и весьма крупных. Использовать имя Педро Арканжо в рекламных объявлениях представлялось ему ужасной профанацией, хуже ничего нельзя себе представить. Воспользоваться его творчеством, исказив его, чтобы воспевать различные аспекты колониализма, как поступил один высокооплачиваемый автор, это и впрямь было верхом подлости.

Сержипанцу очень хотелось послать все к черту. Он не сделал этого лишь потому, что обладал фанатичной верностью в соблюдении взятых на себя обязательств; а, кроме того, если бы он это сделал, то кто же тогда стал бы защищать образ Педро Арканжо, помешав тому, чтобы его творчество было сведено к фольклорному бунту и была бы изъята самая глубокая и живая его сила? Важно описание нравов и обычаев, исследование фольклора, однако еще важнее полемика, направленная против расизма, провозглашение им расовой демократии.

Калазанс проникся симпатией к образу бедного человека, не имевшего гроша за душой, получившего ограниченное образование, самоучки, который, преодолев все препятствия, сделался ученым, предпринял и завершил оригинальный, глубокий и благородный труд. Его пример научил бы молодых людей честности и мужеству в самых неблагоприятных условиях. Из любви к Педро Арканжо профессор продолжал свою общественную деятельность, оставаясь на боевом посту.

— Чудно́...— сказал он доверительно своему коллеге и другу профессору Азеведо.— Столько шумихи, столько суматохи, столько треска вокруг юбилея Арканжо, и вместе с тем искажают его образ и творчество. Воздвигают ему, правда, монумент, но тот Арканжо, которого чествуют, это не наш, а другой, совсем другой, искаженный и приниженный.

— Это бесспорно так,— согласился профессор Азеведо.— В течение ряда лет игнорировали и его, и его книги. Потом появился Левен-

сон, и им пришлось извлечь Арканжо из столь удобного забвения. Его почистили, вставили в рамки своих интересов, облачили в новые одежды, стараются приподнять его в социальном отношении, чтобы выгоднее использовать. Однако, Калазанс, все это имеет второстепенное значение: творчество Арканжо устоит против всяких искажений. Вся эта шумиха, впрочем, полезна в некотором отношении: она придает популярность имени мастера с Табуана.

— Временами я прихожу в отчаяние, теряю голову.

— Для этого нет оснований. Ведь не все же подлость. Есть и честные люди, которые включились в это. Несколько превосходных ребят изучают творчество Арканжо, работая над его наследием, устанавливая новые вехи нашей эволюции. Книга профессора Рамоса — монумент, это подлинный монумент Арканжо. Она родилась из нашего запрещенного семинара.

— Точно так же и книга профессора Азеведо, выходящая в ближайшее время в свет, «Баиянец Педро Арканжо», обязана своим появлением несостоявшемуся конклаву. Даже оказавшись запрещенным, этот семинар принес хорошие плоды в виде книг и исследований.

— Вы правы. Одна премия студентам является вознаграждением за все неприятности.

Как раз выбор темы для конкурса, посвященного памяти Педро Арканжо, привел к тому, что профессор еще раз вышел из себя в кабинете Гастона Симаса.

— Фернандо Пессоа, ну знаете, это уж слишком! Если бы нам пришлось выбирать поэта для темы конкурса, в таком случае почему бы не Кастру Алвеса, который был аболиционистом и бразильцем?

Алмир Иполито подскочил от возмущения, такой галантный и изящный в своем пылком протесте.

— О, пожалуйста, не делайте подобного сравнения. Говоря о поэзии, не называйте Кастру Алвеса, этого убогого стихоплета, никогда не сравнивайте его с моим Фернандо, величайшим поэтом португальского языка всех времен.— Кастру Алвес, женолюб с женственным обликом, вызывал у него отвращение.

Профессор Калазанс произнес несколько ругательств, но не вслух, а про себя: «Величайший поэт? Бедный Камоэнс! Но даже если бы Фернандо Пессоа был действительно величайшим поэтом, он все равно не годился бы для нашего конкурса».

— Он был бы в некотором отношении полезен,— высказал свое мнение Голдман, заведующий редакцией газеты «Жорнал да сидаде».— Мы могли бы выкачать побольше денег из португальской колонии.

— В конце концов для чего мы здесь собрались — чтобы отметить юбилей Педро Арканжо или чтобы вытянуть деньги у португальцев? Вы только и думаете о барышах.

— Педро Арканжо — ключ...— сказал Арно, до сих пор хранивший молчание,— ключ от сейфа.

Вмешался Гастон Симас:

— Профессор Калазанс прав. Идея Иполито — блестящая, но мы должны сохранить ее для кампании, связанной с португальской колонией. Для юбилейных торжеств памяти Кабрала [1] или в ознаменование столетия Гаго Коутиньо [2]: «От Камоэнса до Фернандо Пессоа, от Кабрала до Гаго Коутиньо». Ну как? — Он на мгновение замолчал, рисуясь.— Об этом, однако, поговорим потом. Сейчас давайте решим

[1] Педро Алварес Кабрал (1460—1526) — португальский мореплаватель, открывший в 1500 году Бразилию.

[2] Карлос Виегас Гаго Коутиньо — португальский адмирал; перелетел на самолете Атлантический океан в 1922 году, из Лиссабона в Бразилию.

окончательно насчет этого злополучного конкурса. Мы уже давно должны были его объявить, нельзя терять больше ни минуты. Дорогой профессор, внесите конкретное предложение.

Вытащив из кармана пачку бумаг, профессор Калазанс разложил их на столе, отыскал условия конкурса имени Педро Арканжо, разработанные им совместно с Эделвейс Виейрой из Фольклорного центра. Арно взволновался, увидев груду бумаг. У бедняги нет даже кожаной папки, нет портфеля, как он может работать? Записки на смятых клочках бумаги, засунутых в карманы пиджака... Купите портфель, профессор, и с ним вы станете другим человеком, будете чувствовать себя сильным и смелым, предприимчивым, способным творить и развивать идеи, навязывать свое мнение.

Отрешенный от жизни, профессор не нуждался в кожаной папке, в портфеле, чтобы навязывать свое мнение: либо соглашайтесь с условиями конкурса, содержащимися в этих бумагах, темой, регламентом, жюри, либо действуйте, господа, одни; используйте Арканжо как ключ или как отмычку.

2

Гастон Симас добился поста руководителя баиянским филиалом акционерного общества «Допинг» прежде всего благодаря своим способностям примирять, улаживать конфликты, завоевывать улыбки и согласие там, где другие наталкивались лишь на хмурые лица и неприязнь. «Он — гениальный вазелин»,— резюмировал Арно, восхищавшийся им. Когда какой-либо клиент, которому надоедала путаница, допускаемая парнями из агентства рекламы, обозлясь из-за неоднократных ляпсусов в рекламных объявлениях, собирался закрыть счет, тогда Гастон Симас проявлял огромную энергию, выказывая исключительную услужливость.

Профессор успокоился: «Пусть будет так, как вы предлагаете»,— и в результате они разработали полный план конкурса имени Педро Арканжо. Первоначальное предложение достопочтенного доктора Зезиньо Пинто было изменено в двух-трех пунктах. Расширили круг участников конкурса: помимо гимназистов — студенты. Вместо короткого сочинения должна быть представлена работа минимум в десять машинописных страниц, касающаяся любого аспекта баиянского фольклора по выбору соревнующегося: капоэйра, кандомблэ, ловля рыбы шареу, хоровод самбы, афошэ, пасторили, процессия мореплавателей, дары для Йеманжи, песни Лукаса да Фейра, капоэйрист Безоуро, художник Карибэ, господь Бонфим и уборка его церкви, праздники Консейсан да Прайя и Санта-Барбары. Была сохранена премия за первое место — заграничное путешествие. Однако уже не в Португалию, а в Соединенные Штаты, поскольку билеты предоставила американская авиакомпания. Путешествие в Португалию Гастон Симас резервировал для другого конкурса, где были бы объединены Педро Алваро Кабрал и Гаго Коутиньо. Этот конкурс он уже задумал организовать под покровительством телевидения, а также португальской авиакомпании и туристского агентства.

Было решено учредить новые премии: путешествие в Рио-де-Жанейро, телевизоры, магнитофоны, радиоприемники, семь томов «Молодежной энциклопедии» и несколько словарей. Профессор Калазанс почувствовал себя вознагражденным, по крайней мере частично, за такую большую работу и за то, что он вынужден был выслушивать столько глупостей. В интервью, данном им «Жорнал да сидаде», он заявил, что «премия имени Педро Арканжо пробудит в молодых лю-

дях исследовательский дух, вкус к фольклору, интерес к источникам бразильской культуры».

Профессор закончил чтение интервью, напечатанного на первой странице газеты, и удовлетворенно улыбнулся, услышав голос в телефонной трубке: Гастон Симас просил его зайти на несколько минут в контору акционерного общества «Допинг» для беседы. Пусть придет как можно скорей — есть хорошие новости.

Отказавшись от кратковременного отдыха, сержипанец пришел по приглашению. Гастон Симас и его штаб сияли от удовольствия: то было ликование людей, доказавших свою компетентность.

— Дражайший профессор! Разрешите мне назвать вас: дражайший сотрудник «Допинга»? Первоначально это была ваша идея.

— Какая идея? — спросил Калазанс с недоверием: эти специалисты, такие нахальные и беспринципные в части организаций кампаний, рекламы и выколачивания денег, вызывали в нем тревогу.

— Помните наше совещание в прошлую среду, когда мы решали последние детали конкурса имени Педро Арканжо?

— Ну конечно.

— Помните замечание, которое вы сделали о марках кашасы?

— Гастон, уж не скажете ли вы мне, что собираетесь заставить Педро Арканжо рекомендовать кашасу? Достаточно этого безобразия с «Кока-Коко»!

— Мы не будем обсуждать снова эту деталь, мой дорогой профессор. Что же касается рекламы кашасы, то не беспокойтесь, хозяева «Крокодила» не согласились с идеей именно потому, что она уже была использована фирмой «Кока-Коко». Зато они намерены шефствовать над конкурсом, в котором примут участие ученики начальных школ, только государственных; мы до сих пор в этой кампании столетия нашего Педро Арканжо им ничего не предлагали. Как вы находите?

— Что за конкурс?

— Очень простой: каждый ребенок напишет несколько строк о Педро Арканжо, учительницы отберут лучшие сочинения, из которых жюри, состоящее из педагогов и писателей, выберет пять победителей конкурса кашасы «Крокодил».

— Конкурс кашасы «Крокодил», этого еще не хватало!

— Знаете, в чем он будет заключаться, профессор? Стипендии в хорошем колледже на весь срок обучения для пяти победителей конкурса. Учреждает стипендии фирма «Крокодил».

Калазанс смягчился: пятеро бедных детей получат возможность посещать среднюю школу.

— В конце концов, кашаса ведет себя лучше, чем прохладительный напиток. Она использует имя Арканжо, но по крайней мере что-то дает. Те, из «Коки», не дают и этого. Не понимаю, однако, при чем тут я...

— От вас требуется сочинить небольшой текст, который мы предложим учительницам, чтобы они смогли кое-что рассказать детям об Арканжо. Полстранички, максимум страницу, краткую биографию нашего героя, которую учительницы выучат, с тем чтобы дать детям представление о том, кем был Арканжо. Дети перескажут данную историю, каждый на свой лад. Разве это не прекрасно? И этот текст мы хотим просить написать вас, или, точнее говоря, мы хотим заказать его вам.

— Это нелегко.

— Мы знаем, профессор, и именно поэтому обращаемся к вам. К тому же первоначальная идея исходила от вас, когда вы перечислили марки кашасы. Кстати, раз разговор зашел о кашасе, то не выпьете

ли вы глоток виски? Оно настоящее шотландское, не то что у нашего уважаемого Зезиньо Пинто.

— Это нелегко,— повторил сержипанец.— У нас сейчас экзаменационная сессия, как я выберу время?

— Полстранички, профессор, краткую биографию, лишь самое существенное. Я хочу пояснить, что речь идет о заказе: агентство оплатит вам текст.

Профессор Калазанс, суровый, почти оскорбленный, повысил голос:

— Ни в коем случае! Я участвую в этом деле не ради того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы почтить память Педро Арканжо. Не говорите мне о деньгах.

Арно Мело покачал головой: до чего же непрактичный человек, безнадежное дело. Но почему, черт возьми, он все же находит его таким симпатичным? Гастон Симас попросил извинения.

— Больше у нас не будет разговора о плате, профессор. Простите меня. Могу ли я прислать к вам за текстом завтра утром?

— Не выйдет, Гастон. Завтра с половины девятого я буду проверять на факультете экзаменационные работы. Где я найду время на то, чтобы составить текст?

— Ну хотя бы, профессор, кое-какие заметки, некоторые данные. Мы здесь отредактируем.

— Данные, заметки? Ладно, это куда ни шло. Пришлите завтра курьера ко мне домой. Я оставлю Лусии.

Рыжая секретарша принесла стаканы с виски и лед. Такая молчаливая и неторопливая — но к чему тратить на слова уста, предопределенные для улыбок и обещаний, зачем утомлять презренной работой тело, которое предназначено для того, чтобы им любовались и получали от него наслаждение?

3

Данные, представленные акционерному обществу «Допинг» профессором Калазансом

Имя. Педро Арканжо.

Дата и место рождения. 18 декабря 1868 года в городе Салвадор, штат Баия.

Происхождение. Сын Антонио Арканжо и некоей Ноэмии, более известной как Нока Логунедэ. Об отце известно лишь, что он участвовал в войне с Парагваем, в которой погиб при переходе через Чако, оставив подругу беременной первым и единственным сыном — Педро.

Образование. Научившись самоучкой грамоте, он стал посещать Лицей искусств и ремесел, где приобрел познания в различных областях и, в частности, в типографском деле. Отличился в изучении португальского языка и с молодых лет пристрастился к чтению. Уже в зрелом возрасте посвятил себя антропологии, этнологии и социологии. С этой целью он изучил французский, английский и испанский языки. Его глубокие познания жизни и обычаев народа были поистине безграничны.

Книги. Опубликовал четыре — «Народная жизнь Баии» (1907); «Африканские влияния на обычаи Баии» (1918); «Заметки о смешении рас в баиянских семьях» (1928); «Баиянская кулинария: происхожде-

ние и рецепты» (1930) — книги, считающиеся ныне основными трудами для изучения фольклора, знакомства с бразильской жизнью в конце прошлого — начале нынешнего столетия и в особенности для понимания расовой проблемы в Бразилии. Горячий защитник расовой метисации, слияния рас, Педро Арканжо был, по мнению американского ученого, лауреата Нобелевской премии Джеймса Д. Левенсона, «одним из создателей современной этнологии». Полное собрание его сочинений только что переиздано в двух томах издательством Мартинса в Сан-Паудо в «Коллекции мастеров Бразилии», аннотированное и прокомментированное профессором Артуром Рамосом с литературного факультета Университета Бразилии. Три его первых произведения были соединены в один том под общим заглавием «Бразилия, метисная страна» (заглавие, данное профессором Рамосом), тогда как книга по кулинарии выпущена отдельным томом. Преданное забвению в течение многих лет, творчество Педро Арканжо приобрело международную известность и престиж в разных странах. Его произведения были опубликованы на английском языке в Соединенных Штатах, в известной «Энциклопедии о жизни слаборазвитых народов», изданной под эгидой Колумбийского университета (Нью-Йорк). В текущем, 1968 году в связи с торжествами, посвященными столетию со дня рождения, написано много трудов о Педро Арканжо. Выделяются работы профессора Рамоса и предисловие к американскому переводу его книг, написанное Джеймсом Д. Левенсоном: «Педро Арканжо, творец науки».

Другие данные. Мулат, бедняк, самоучка. Еще мальчиком нанялся юнгой на торговое судно. Прожил несколько лет в Рио-де-Жанейро. Возвратившись в Баию, выполнял обязанности типографа и обучал грамоте, прежде чем поступить на медицинский факультет на работу, которую он успешно выполнял в течение тридцати лет, пока не был уволен из-за одной из написанных им книг. Музыкант-любитель, он играл на гитаре и кавакиньо. Активно участвовал в народной жизни. Хотя он и оставался холостяком, ему приписывали многие любовные приключения, включая роман с прекрасной скандинавкой, шведкой или финкой, точно неизвестно.

Дата смерти. Скончался в 1943 году в возрасте семидесяти пяти лет. На его похоронах присутствовало много народа, в частности профессор Азеведо и поэт Элио Симоэнс.

Примером своей жизни Педро Арканжо показывает, как человек, родившийся в крайней бедности, лишившийся отца, выросший в обстановке, мало подходящей для культуры, и занимавший скромные посты в жизни, как такой человек может преодолеть все трудности и подняться до вершин знания, сравнявшись с самыми крупными знаменитостями своего времени, и даже превзойти их.

4

Текст, отредактированный тузами общества рекламы «Допинг» и врученный учительницам начальных школ города Салвадора

Бессмертный писатель и этнолог Педро Арканжо, слава Баии и Бразилии, человек, заслуживший международную известность, столетие которого мы отмечаем в этом году под покровительством газеты «Жорнал да сидаде» и кашасы «Крокодил», родился в Салвадоре 18 де-

кабря 1868 года, сирота, сын героя войны с Парагваем. Откликнувшись на призыв родины, его отец, Антонио Арканжо, простился с женой, ожидавшей ребенка, и отправился на фронт, чтобы погибнуть в далеком Чако в неравной борьбе с коварным врагом.

Наследник славных отцовских традиций, Педро Арканжо с молодых лет вел борьбу, чтобы возвыситься над ограниченной и посредственной средой, в которой родился. Он начал изучать литературу и музыку и вскоре выделился среди своих коллег, благодаря ярко выраженному призванию к литературе. Он быстро изучил несколько языков, в том числе английский, французский и испанский.

В молодые годы, охваченный страстью к приключениям, он служил моряком, плавая по всему свету. Прибыв в Стокгольм, он познакомился с прекрасной скандинавкой, которая стала великой любовью его жизни.

По возвращении в Баию он поступил на медицинский факультет и в течение трех десятков лет находился в условиях, благоприятствовавших исследованиям и трудам, которые сделали известными его имя как ученого и писателя.

Автор ряда книг, в которых он превозносит баиянские обычаи и фольклор и анализирует расовые проблемы, трудов, переведенных на многие языки, он приобрел известность во всем мире и особенно в Соединенных Штатах; его произведения получили признание в Колумбийском университете в Нью-Йорке по инициативе знаменитого профессора Джеймса Д. Левенсона, лауреата Нобелевской премии, признающего себя учеником Педро Арканжо.

Он скончался в городе Салвадор в 1943 году в возрасте семидесяти пяти лет, окруженный всеобщим уважением, завоевав престиж в ученых кругах. В его похоронах участвовали представители властей, профессора, писатели и поэты.

Слава Баии и Бразилии, Педро Арканжо, имя которого прогремело за границей, учит нас на своем примере, как человек, родившийся в бедности, в среде, враждебной культуре, может возвыситься до вершин знания и занять выдающееся положение в обществе.

Когда мы отмечаем столетие этого замечательного паладина науки и литературы, все мы, баиянцы, объединяемся, чтобы поклониться его славной памяти, откликаясь на призыв «Жорнал да сидаде», которая завершает еще одну памятную патриотическую кампанию.

Кашаса «Крокодил» не могла оставаться в стороне от этого великого торжества, так как сама по себе она составляет часть баиянского фольклора, изучению которого гениальный соотечественник посвятил свою жизнь. Разве не эта славная кашаса породила образ Сорванца Крокодила, который доставляет столько удовольствия ребятам в рекламных объявлениях, передаваемых по радио и телевидению,— этом подлинном творении современного фольклора с его стишками и легкой музыкой?

Сорванец Крокодил организовал большой конкурс в начальных школах Салвадора: любимые учительницы расскажут в классах историю Педро Арканжо, и каждый ребенок от первого до пятого класса напишет свои впечатления о нем, оспаривая одну из пяти стипендий на весь курс обучения в средней школе, причем эти стипендии, предоставляемые в качестве премий кашасой «Крокодил», победители смогут получать в одной из частных школ нашей столицы.

Вместе со всеми ребятами государственных школ Салвадора Сорванец Крокодил восклицает: «Да здравствует бессмертный Педро Арканжо!»

5

Лекция учительницы Диды Кейрос ученикам третьего класса утренней смены государственной школы имени журналиста Джованни Гимараэнса в Рио Вермельо [1]

Педро Арканжо — слава Баии, Бразилии и всего мира. Он родился сто лет тому назад, и поэтому «Жорнал да сидаде» и кашаса «Крокодил» отмечают его столетие, проводя конкурс среди учащихся и распределяя ценные премии, как-то: путешествия в Соединенные Штаты и Рио-де-Жанейро, телевизоры и радиоприемники, книги и т. п. Для учеников начальных школ выделены пять стипендий на полный курс средней школы в любом учебном заведении нашей столицы. При огромной плате за обучение, которую взимают частные колледжи, это крупная премия.

Отец Педро Арканжо был генералом во время войны с Парагваем, и он погиб, борясь против тирана Солано Лопеса [2], который напал на нашу родину. Маленький Педро остался сиротой, но не пришел в отчаяние. Не имея возможности посещать школу, он уплыл на торговом судне и сумел изучить за границей разные языки, став полиглотом, то есть человеком, умеющим говорить на других языках помимо португальского. Он сдал экзамены на медицинский факультет, где, после того как закончил его, был назначен профессором и читал лекции более тридцати лет.

Он написал много книг, основанных на фольклоре, то есть книг, в которых рассказываются истории о зверях и людях, но они не подходят для чтения ребятам. Это серьезные, очень важные книги, изучаемые учеными и профессорами.

Он много путешествовал, познакомился с Европой и Соединенными Штатами; я думаю, что путешествовать — наверное, самая приятная вещь в мире. В Европе он познакомился с красивой скандинавкой, на которой женился и прожил с ней счастливо, безоблачно всю жизнь.

В Соединенных Штатах он читал лекции в Колумбийском университете в Нью-Йорке, крупнейшем в мире городе, и проводил там занятия на английском языке. Среди его учеников был американский ученый Левенсон, который, многому у него научившись, получил потом премию Нобеля, премию высочайшей ценности — человек, который награждается этой премией, сразу же попадает во всемирную историю.

Он умер стареньким в 1943 году, и его похороны вылились в торжественную церемонию; во главе процессии шли губернатор, префект и профессора.

Пример Педро Арканжо учит нас, как бедный мальчик, если он намерен учиться по-настоящему, может войти в высшее общество, учиться в университете, заработать кучу денег, много путешествовать и прославить Бразилию. Надо только иметь силу воли и не грубить учительнице. Вам надо сейчас написать, что вы думаете о Педро Арканжо, но сначала воскликнуть вместе с Сорванцом Крокодилом, который предоставляет стипендии: «Да здравствует бессмертный Педро Арканжо!»

---

[1] Район города Салвадора.

[2] Франсиско Солано Лопес (1827—1870) — президент Парагвая, руководил операциями против Тройственного Союза — Бразилии, Аргентины и Уругвая в войне 1864—1870 гг.

6

Сочинение Рая, девяти лет, ученика третьего класса упомянутой государственной школы имени журналиста Джованни Гимараэнса

Педро Арканжо был очень бедным сироткой который чтобы стать моряком бежал с грингой так же как мой дядя Зука и поехал в Соединенные Штаты потому что там денег куры не клюют но он сказал я бразилец и приехал в Баию рассказывать истории о зверях и людях и был таким ученым что давал уроки не ребятам а только докторам и профессорам и когда умер стал славой Бразилии и выиграл премию газеты мешок полный бутылок кашасы. Да здравствует Педро Арканжо и Сорванец Крокодил!

О гражданской битве Педро Арканжо Ожуобы и о том, как народ захватил площадь

1

— Нестор Соуза отлично, безукоризненно говорит по-французски,— заверил профессор Аристидес де Кайрес, говоря о директоре юридического факультета, видном юристе, члене различных международных организаций. Он повторил имя с восторженным преклонением: — Нестор Соуза — умница!

В разговор вступил профессор Фонсека, преподаватель анатомии:

— Нет сомнения, произношение Нестора очень хорошее. Не знаю, однако, сможет ли он соперничать с Зиньо Карвальо в знании языка. Для Зиньо во французском языке нет тайн. Он знает наизусть страницы «Гения христианства» Шатобриана, поэмы Виктора Гюго, целые сцены из «Сирано де Бержерака» Ростана.— Он произносил Гюго́ и Сирано́, демонстрируя свои собственные познания.— Вы слышали, как он декламирует?

— Я согласен с вашими похвалами. Спрошу, однако: способен ли Зиньо импровизировать речь по-французски, как Нестор Соуза? Коллеги, вероятно, помнят банкет в честь мэтра Дэ, адвоката из Парижа, который посетил нас в прошлом году? Нестор приветствовал его экспромтом по-французски! Замечательно! Слушая его, я почувствовал гордость от того, что я баиянец.

— Экспромт? Да ничего подобного! — заявил с насмешкой тощий приват-доцент Исайас Луна, известный сплетник, популярный среди студентов благодаря злословию в суждениях и великодушию при приеме экзаменов.— Насколько мне известно, он выучивает лекции накануне наизусть и даже репетирует жесты перед зеркалом.

— Не говорите этого, не повторяйте гадостей, выдуманных от зависти.

— Так говорят, это голос народа. Vox populi, vox Dei![1]

— Зиньо...— Профессор Фонсека снова стал расхваливать своего кандидата в споре.

Беседа в секретариате, в перерыве между занятиями, собирала преподавателей медицинского факультета, которые были один другого известнее и высокомернее, ревнивее в отстаивании своих привилегий. Наслаждаясь чашечкой горячего кофе, принесенного педелями, они отдыхали от своих лекций и от учеников, ведя неторопливые

[1] Глас народа — глас божий *(лат.)*.

беседы на различные темы: от научного комментария до сплетен. Время от времени приступы смеха, анекдот, рассказанный вполголоса. «Лучшая вещь на факультете — это болтовня в секретариате»,— утверждал профессор Аристидес де Кайрес, софист, ответственный за тему спора в это утро — о владении французским языком.

Языком, который обязательно должен знать тот, кто хочет заслужить репутацию интеллигентного человека, и который является важным подспорьем при получении высшего образования. В то время не было португальских переводов основных трактатов и книг, необходимых для изучения дисциплины факультета. Библиография большинства профессоров была исключительно французская; некоторые владели также английским, мало кто — немецким. Говорить по-французски без ошибок и с хорошим произношением стало мотивом тщеславия, фактором престижа.

В сбор вступили и другие авторитеты: профессор Бернар из Политехнической школы, у которого отец был француз, получивший высшее образование в Гренобле; журналист Энрике Дамазио, неоднократно ездивший в Европу и прошедший полный курс обучения в парижских кабаре, «у этого, извините, французский язык из будуара»; художник Флоренсио Валенса, у которого за плечами было двенадцать лет богемной жизни в Латинском квартале; падре Кабрал из колледжа иезуитов, «этот тоже в счет не идет, ведь мы говорим о бразильцах, а он португалец». У кого среди всех наилучшее произношение? Кто больше парижанин, кто наиболее шикарен, изысканнее всех в произношении «р» и «с»?

— Коллеги называют столько имен и при этом забывают, что здесь, на нашем факультете, у нас есть четыре-пять подлинных светил в этой области,— заявил профессор Айрес.

Все почувствовали облегчение: эта странная забывчивость о выдающихся личностях университета начинала вызывать стеснение. В тогдашней Баии не существовало более авторитетного титула, чем звание профессора медицинского факультета. Он означал не только пожизненную профессуру, хороший оклад, вес в обществе и уважение. Он гарантировал доходную клинику, консультацию, полную богатых пациентов. Многие приезжали из провинции, привлеченные объявлениями в газетах: «Профессор д-р Такой-то, преподаватель медицинского факультета Баии, практиковавший в больницах Парижа». Магическая ссылка на Париж, заслуженный титул открывали самые различные двери: литературные, политические, сельскохозяйственные. Профессора становились членами академии, избирались депутатами парламента или федеральными депутатами, приобретали плантации, скот, латифундии.

Конкурс на свободную кафедру представлял собой событие общенационального значения: медики Рио и Сан-Паулу приходили в волнение, вместе с баиянцами оспаривая вакантный пост и связанные с ним привилегии. Сливки общества появлялись в полном составе на дебатах и защитах диссертаций на лекциях, читаемых кандидатами, внимательно следили за вопросами и ответами, комментировали остроумные фразы и грубые выходки. Создавались соперничавшие между собой партии, мнения разделялись, результаты конкурса вызывали споры и протесты, были случаи угроз убийства и физической расправы. Раз так, как можно забыть при перечислении преподавателей с хорошим французским языком великие умы медицинского факультета? Абсурд, почти скандал.

Тем более, что здесь присутствовал слушавший молча и явно выжидающе профессор Нило Арголо, полиглот, владеющий множеством языков, прозванный Семиязычным Чудовищем. Он не только свобод-

но говорил и произносил речи, но и сочинял сообщения и диссертации по-французски. Только что он отправил конгрессу в Брюсселе важную работу «La paranoïa chez les nègres et métis»[1].

— Написано полностью по-французски, строчка за строчкой, слово за словом! — подчеркнул профессор Освалдо Фонтес, отстаивая первенство за своим учителем и другом.

Отхлебывая кофе маленькими глотками, выдающийся профессор Силва Виража, подлинное светило в мире медицинской науки, исследователь эскистозомы, следил, забавляясь, за лицом своего коллеги Нило д'Авила Арголо де Араужо до и после утверждений Айреса и Фонтеса: серьезное, замкнутое, взволнованное, внезапно довольное, сразу же вслед за этим выражающее ложную скромность, но все время заносчивое. Профессор Виража был снисходителен к человеческой глупости, но самонадеянность его раздражала.

После одобрительного хора всеобщего признания профессор Арголо великодушно согласился:

— Профессор Нестор Гомес тоже превосходно владеет языком Корнеля. Что касается других упомянутых имен, то я их не считаю соперниками.

Тогда профессор Силва Виража поставил чашку на стол и в ответ на это спесивое заявление сказал:

— Я знаю всех упоминавшихся здесь людей и слышал, как все они говорят по-французски. И тем не менее осмелюсь сказать, что нет во всем этом городе человека, который бы лучше владел французским языком, абсолютно правильно и без всякого акцента, как один из педелей моей кафедры — Педро Арканжо.

Профессор Нило Арголо поднялся, покраснев, как будто коллега дал ему пощечину. Был бы кто-нибудь другой автором этого утверждения, и наверняка профессор судебной медицины резко реагировал бы на сравнение его с каким-то педелем, к тому же мулатом. На медицинском факультете и во всей Баии, однако, не было никого, кто бы осмелился повысить голос на профессора Силву Виража.

— Уж не имеете ли вы в виду, коллега, этого черномазого, что опубликовал несколько лет назад тощую брошюрку об обычаях?

— Именно о нем я и говорю. Он — мой помощник уже почти десять лет. Я затребовал его к себе, когда прочел его «тощую брошюрку», как вам было угодно ее назвать. Бедную по количеству страниц, но богатую по наблюдениям и концепциям. Сейчас он собирается опубликовать новую книгу, менее тощую и еще более богатую: работу, имеющую подлинный этнологический интерес. Он дал мне прочесть отдельные главы, и я их прочитал с восхищением.

— Этот... этот... педель знает французский?

— И еще как! Одно удовольствие его слушать. Да и его английский в равной мере превосходен. Он хорошо владеет испанским и итальянским и если бы у меня было время обучать его, то он заговорил бы в конéчном счете по-немецки лучше, чем я. Мое мнение о нем разделяет, между прочим, и ваша кузина и мой друг — графиня Изабел Тереза, чей французский, кстати говоря, чудесен.

Упоминание о стесняющей его родственнице вынудило оскорбленного ученого покраснеть еще больше:

— Ваша всем известная доброта, профессор Виража, приводит вас к тому, что вы переоцениваете своих подчиненных. Мулат, вероятно, произнес несколько фраз по-французски, а вы, коллега, со своим великодушным сердцем уже дипломировали его как знатока языков.

Смех ученого был живым, ребяческим:

---

[1] «Паранойя среди негров и метисов» *(франц.)*.

— Спасибо за похвалы, я их не заслуживаю, ибо не обладаю такой безмерной добротой. Правда, что при оценке людей я предпочитаю переоценить человека, ибо тот, кто вообще недооценивает, меряет, значит, других по собственной мерке. В данном же случае я вовсе не преувеличиваю, профессор.

— Ничтожный педель? Нет, я отказываюсь верить.

Высокомерие раздражало профессора Силву Виража, но произвол в обращении с бедняками буквально выводил его из себя. «Относитесь с недоверием и отстраняйтесь от тех, кто угодничает перед сильными мира сего и попирает беззащитных людей,— советовал он молодежи,— у них дурной характер, они лживы и мелочны, лишены благородства».

— Этот педель — человек науки, он может дать урок многим профессорам.

Порывисто вскочив, профессор судебной медицины покинул залу, за ним последовал профессор Освалдо Фонтес. Профессор Силва Виража рассмеялся — веселый ребенок, только что напроказивший, лукавый блеск в глазах, нотка удивления в голосе:

— Талант не зависит от цвета кожи, от титулов, от социального положения, все это вздор. Боже мой, как это возможно, чтобы еще существовали люди, которым неведома эта истина?

Поднявшись, он встряхнул плечами, как бы освободившись от Нило д'Авила Арголо де Араужо, столь самодовольного и столь пустого. Он направился на второй этаж, где негр Эваристо ожидал его с материалом, принесенным из морга. Ах, бедняга Нило! Когда ты поймешь, что только наука имеет ценность и она остается неизменной, причем не важно, на каком языке объясняются, как не имеют значения и титулы того, кто экспериментирует и творит? В лаборатории студенты, работающие с микроскопами, окружают профессора Силву Виража.

2

За десятилетие с лишним — с 1907 по 1918 год, за одиннадцать лет, истекших между публикацией «Народной жизни Баии» и изданием его второй книги — «Африканские влияния на обычаи Баии», Педро Арканжо учился. Его отличали порядок, методичность, сила воли и настойчивость. Ему нужны были знания, и он их приобрел: читал то, что имелось по расовой проблеме. Проглотил трактаты, книги, диссертации, научные сообщения, статьи, просмотрел подшивки газет и журналов, стал своего рода библиотечной и архивной крысой.

Он не переставал вести интенсивную и активную жизнь, исследовать повседневную жизнь города и народа. Только теперь он изучал ее также по книгам и, работая над центральной темой, шел по многочисленным дорогам знаний, проявляя при этом недюжинные способности. Все, что он изучил за эти годы, имело цель, причину и следствие.

Мастер Лидио Корро подгонял его. Он возмущался, читая в газетах провокационные статьи и угрозы, крупные заголовки: «До каких пор мы будем допускать, чтобы Бразилия оставалась огромной позорной сензалой[1]?»

— Похоже, что ты, кум, сломал свою ручку, заткнул чернильницу. Где же твоя вторая книга? Ты о ней много рассуждаешь, но я что-то не вижу, чтобы ты писал.

— Дорогой мой, не подгоняй меня, я еще не готов.

---

[1] Сензала — хижина негров-рабов в период рабовладения в Бразилии.

Чтобы поддразнить его, Лидио повышал голос при чтении статей и сообщений в газетах: разгромленные кандомблэ, арестованные жрецы, запрещенные празднества, захваченные подношения Йеманже, капоэйристы, избитые ножнами сабель в управлении полиции.

— Нас преследуют и мучают. Незачем читать всю эту писанину, чтобы дать себе в этом отчет,— он указал на наваленные на столе брошюры, медицинские журналы, книги.— Достаточно развернуть газеты: только и видишь протесты против самбы, капоэйры, кандомблэ, всевозможные дурные известия. Если мы не утихомиримся, они прикончат все.

— Ты прав, мой дорогой. Они хотят покончить с нами.

— А ты, знающий так много, что ты делаешь?

— Все это, приятель, из-за этих профессоров и их теорий. Нужно бороться с первопричиной, мой дорогой. Отсылать в газеты письма с протестами, конечно, приносит какую-то пользу, но это не решение вопроса.

— Отлично. Но почему же тогда ты не пишешь свою книгу?

— Я готовлюсь к этому. Пойми, кум: я был невежественнее чурбана. Пойми это, мой дорогой. Я воображал, что знаю многое, а оказалось, что не знал ничего.

— Не знаешь ничего? Так я думаю, что дороже те знания, которые ты получил здесь, на Табуане, в Лавке Чудес, чем знания, полученные на твоем факультете, кум Педро.

— Факультет не мой, и я не отрицаю ценности народной мудрости, мой дорогой. Но я узнал, что этой мудрости недостаточно. Я тебе объясню, приятель.

Занятый книгами, тетрадями и выполнением своих обязанностей, Тадеу не пропускал ни единого слова крестного. «Мой дорогой кум,— заявлял Арканжо Лидио,— у меня большой долг по отношению к этому профессору Арголо, который хочет оскопить негров и мулатов, к этому типу, что натравливает полицию на кандомблэ, к Чудовищу Арголо де Араужо. Чтобы унизить меня — и это ему удалось,— он показал мне однажды мое полное невежество. Поначалу я взбесился, был возмущен до крайности. Потом подумал: а ведь верно, он прав, я действительно неуч. Видел вещи, мой дорогой, но не знал их, мне было известно все, но я не умел знать».

— Ты, кум, рассуждаешь чище всякого профессора медицины. «Я не умел знать» — это похоже на шараду или на загадку.

— Ребенок ест фрукт и сразу узнает его вкус, но он не знает причину этого вкуса. Я знаю разные вещи, но мне надо изучить их причины, и я их изучаю. Я научусь, приятель, ручаюсь тебе.

Пока он готовился, он писал письма в редакции, протесты против враждебной кампании и возрастающих насилий со стороны полиции. Кто дал бы себе труд прочитать эти письма, некоторые за его подписью, другие подписанные — «Возмущенный читатель», «Потомок Зумби», «Малэ»[1], «Бразильский мулат», смог бы легко проследить эволюцию Арканжо на протяжении ряда лет. Его аргументы, опирающиеся на цитаты отечественных и иностранных авторов, приобрели силу, стали убедительными, неопровержимыми. В своих «Письмах в редакцию» мастер Арканжо закалил перо, научился орудовать им, употребляя ясный и точный язык, не теряя при этом тот оттенок поэтичности, который присущ всему, что он писал.

Он вел неравный спор почти со всей баиянской прессой того времени. Прежде чем отправить письмо в редакцию, он читал его друзьям в Лавке Чудес. Воодушевляясь, Мануэл де Прашедес порывался «на-

[1] Малэ — бразильский мусульманин африканского происхождения.

бить морду этим писакам». Будиан при чтении каждой заметки кивал одобрительно головой. Валделоир хлопал в ладоши, Лидио Корро улыбался, Тадеу выполнял обязанности курьера. Десятки и десятки «Писем в редакцию»: некоторые были напечатаны в газетах полностью или частично, большинство выкинуто в корзину, два заслужили особый отклик.

Первое — длинное письмо, почти исследование — было отправлено в редакцию одной из газет, наиболее постоянной в злобных нападках на кандомблэ. В ясном и чрезвычайно веско документированном материале он анализировал работу анимистских религий[1] в Бразилии и требовал, чтобы им были обеспечены «свобода, уважение и привилегии, предоставляемые католической и протестантской религиям, так как афро-бразильские культы — это вера, религия, духовная пища тысяч граждан, столь же достойных, как и те граждане, которые пользуются такими привилегиями».

Несколько дней спустя газета поместила на первой полосе статью на трех колонках, написанную резким и злобным языком и снабженную крупным заголовком — «Чудовищная претензия». Не приводя и не опровергая доводов Арканжо, она лишь упомянула о них, призывая обратить внимание «властей, духовенства и общества на чудовищную претензию приверженцев фетишизма, которые требуют — *требуют!* — в письме, присланном в редакцию этой газеты, чтобы их недостойные колдовские обряды пользовались тем же уважением, такими же привилегиями, рассматривались бы в том же духовном плане, что и возвышенная католическая религия, священная церковь Христа и протестантских сект, с ересью которых мы, правда, не соглашаемся, не отрицая вместе с тем христианского происхождения кальвинистов и лютеран». В конце этой крайне грубой по тону статьи редакция еще раз подтверждала баиянскому обществу намерение вести еще более интенсивно «непрерывную борьбу с отвратительным язычеством, с варварской какофонией макумб, оскорбляющей чувства и слух баиянцев».

Вторая статья была использована новой газетой либеральной тенденции, ищущей читателей и популярности. Арканжо написал ее в ответ на резкую катилинарию профессора Освалдо Фонтеса на страницах консервативного органа под заголовком «Крик тревоги». Профессор психиатрии обращал внимание избранного общества и властей на факт, который, по его мнению, представляет серьезнейшую угрозу для будущего страны: факультеты начали подвергаться гибельному нашествию мулатов, засоряющих студенческие кадры. «Все большее число цветных занимает вакансии, которые должны были бы резервироваться исключительно для молодых людей, принадлежащих к традиционным семействам чистой крови. Требуется принять решительные меры: просто и безоговорочно запретить прием в университет этих опасных элементов». Он привел пример военно-морского флота и похвалил министерство иностранных дел за то, что оно в завуалированной форме, но твердо «запрещает распространение позорного пятна на свои изысканные дипломатические кадры».

Педро Арканжо ответил письмом за подписью «Бразильский мулат, пользующийся большим уважением». Солидная аргументация, цитирование известных антропологов, которые признают интеллектуальные способности негров и мулатов, перечень известных метисов, «включая послов Бразилии при дворах иностранных государств», и грубый образ профессора Фонтеса.

«Профессор Фонтес требует доктора чистой крови. Чистокровной

---

[1] Религии, приписывающие всем существам природы одну или несколько душ.

бывает скаковая лошадь. Видя упомянутого профессора проходящим по Террейро де Жезус по направлению к университету, студенты шутят, что, получив, благодаря престижу и маневрам профессора судебной медицины, титул профессора психиатрии, доктор Фонтес сделал возможным повторение знаменитого исторического события: некогда Калигула предоставил коню Инситатусу место в римском сенате; профессор Арголо де Араужо предоставит Освалдо Фонтесу кафедру на медицинском факультете. Возможно, в этом кроется объяснение того факта, что профессор требует чистой крови на факультете. Чистая кровь — у скаковой лошади, чистая и благородная. Является ли чистой и благородной кровь самого профессора?»

Каково же было удивление Арканжо, когда он увидел, что вся первая часть его письма преобразована в редакционную статью нового органа: аргументы, цитаты, фразы, периоды, параграфы оказались переписаны полностью. Из части, касающейся профессора Освалдо Фонтеса, редактор использовал немногое, он свел игру слов по поводу чистоты крови и историю о лошадях к небольшому комментарию: «Выдающийся профессор, высокую культуру которого мы не ставим под сомнение, представляет собою мишень для насмешек студентов из-за анахронических точек зрения, которые он защищает». Никакого упоминания о «Бразильском мулате, пользующемся большим уважением». Вся честь досталась газете, статья получила сильный резонанс.

В тот день Арканжо имел удовольствие увидеть страницы газеты, развешанные студентами на стенах здания факультета. Профессор Освалдо Фонтес послал педеля своего класса сорвать их и уничтожить. Он буквально озверел, потерял свое обычное спокойствие, благовоспитанность, веселый вид, с которым всегда встречал молодых людей,— ему было не до шуток.

3

На примере профессора Силвы Виража Педро Арканжо научился тщательно анализировать мнения, формулы и личности, как если бы он рассматривал их под микроскопом,— в малейших деталях, подробно, с лица и с изнанки. Что касается Гобино, то он выучил все данные об его жизни и творчестве, изучил его чудовищную расовую теорию, каждую минуту его пребывания в Бразилии: только полная осведомленность, бесспорное знание способно превратить слепую ненависть в презрение и отвращение.

Так, прослеживая день за днем следы посла Франции при бразильском императорском дворе, он обнаружил господина Жозефа Артура, графа Гобино в садах дворца Сан-Кристован, комментирующим литературу и науку его величеству Педро II в тот самый момент, когда Нока де Логунедэ почувствовала родовые схватки и послала мальчишку за Ритой Апара-Жегэ, заинтересованной в славе и пациентах.

В 1868 году, когда родился Педро Арканжо, Гобино исполнилось пятьдесят два года, и за пятнадцать лет до этого он опубликовал «Essai sur l'inégalité des races humaines»[1]. Он прогуливался с монархом в тени деревьев парка в то самое время, когда Нока, мучимая родовыми схватками, со стонами мысленно пересекала леса, реки и горы в направлении скорбных пейзажей Парагвая, куда угнали ее мужа, вынудив его сменить профессию каменщика на профессию убийцы в бесконечной войне без надежды на возвращение. Он так хотел иметь ребенка; и вот его здесь нет, чтобы увидеть родившегося сына.

[1] «Исследование о неравенстве человеческих рас» *(франц.)*.

Нока тогда еще не знала о смерти капрала Антонио Арканжо при переходе через болота Чако. Опытный мастер-каменщик возводил стены школы, когда патруль забрал его в рекруты. Доброволец по принуждению, он даже не получил разрешения зайти домой попрощаться. В то утро когда его отправляли, Нока лишь помахала ему рукой на прощание. Расстроенный каменщик, без лопатки и отвеса, с грустным видом шагал в батальоне «Баиянских зуавов», однако ей он показался статным и красивым в солдатской форме, несущим инструменты своего нового ремесла — оружие и смерть.

За пятнадцать—двадцать дней до этого она сообщила ему о беременности, и любовник едва не обезумел от радости. Он тут же заговорил о женитьбе, он не знал, что еще сделать, чтобы угодить ей: «Пока ты беременна, не работай, я не позволю». Однако Ноке пришлось работать до самых родов, стирая и гладя белье. «Ребенок скоро родится, Антонио, он меня прямо разрывает внутри, где Рита, почему она не приходит? Где мой Антонио, почему он не возвращается? Ах, Антонио, мой дорогой, брось все, оружие и погоны, вернись поскорей, теперь мы двое тебя ждем, в нищете и одиночестве».

Отправленный силой на войну, убедившись в том, что нет возможности вернуться, солдат Антонио — ум и отвага — выполнял приказы убивать и завоевал чин капрала. «Его всегда выбирали для участия в разведывательных вылазках во время наступательных операций отряда, в котором он служил»,-- прочел Педро Арканжо об отце в истории войны.

Превратившись в разложившийся труп, в пищу для стервятников, капрал Антонио Арканжо никогда уже не увидит сына, который, чтобы хорошо вступить в жизнь, родился один, без помощи акушерки, не облегчившей ему появление на свет. В этот самый час, под прохладой деревьев, граф де Гобино и его императорское величество, теоретик расизма и беспощадный сочинитель сонетов, беседовали в остроумной и изысканной форме.

Когда Рита Апара-Жегэ появилась, наконец, в доме Ноки де Логунедэ, новорожденный уже демонстрировал силу своих легких. Пятидесятилетняя повитуха, маленькая и крепкая, расхохоталась, схватившись за бедра: это же Эшу, боже меня спаси и сохрани, только люди дьявола родятся, не ожидая акушерки. Он заставит о себе много говорить и многое свершит.

4

От каменщика, превращенного в капрала, Педро Арканжо унаследовал ум и отвагу, о которых упоминалось в военных бюллетенях. От Ноки — нежные черты и упорство. Упорная, она воспитала сына, обеспечив ему жилье, пищу и школу, без чьей-либо помощи, без поддержки мужчины, так как уже больше никого она не хотела иметь, никому не отдала снова своей любви и не искала любовных приключений, хотя многие вертелись у ее порога с домогательствами и предложениями. В обществе матери, в условиях убогой и суровой жизни, мальчик научился не сдаваться, не отчаиваться, все время идти вперед.

В это плодотворное и трудное десятилетие Арканжо много раз вспоминал мать: она скончалась еще молодой, когда всходы черной оспы, посеянные на улицах и склонах города на удобренной нищетою земле, расцвели в смерти. Богатый урожай собрала проклятая; она проникала за покойником даже в богатые дома. В первой же партии она унесла в могилу Ноку де Логунедэ, не помог тут никакой Омолу. Сила Ноки растворилась в язвах, ее грация сгнила в переулке, где

гной разливался лужами. Чувствуя, что им овладевает отчаяние, Арканжо думал о матери: с утра до ночи на изнурительной работе, замкнувшись в тоскливом круге, несгибаемая в решимости остаться вдовой и заработать на пропитание сына своими слабыми руками.

Остальному он научился один, хотя никогда и не чувствовал себя одиноким. У него не было недостатка в дружеской поддержке. Воспоминание о Ноке, присутствие Тадеу, торопливость Лидио, заботливость Мажэ Бассан, помощь профессора Силвы Виража, подстегивание брата Тимотео, монаха монастыря святого Франсиско, поддержка несравненного друга — добрейшей Забелы.

В течение этих лет Тадеу был учеником, его товарищем по учебе и преподавателем. Еще и поныне в Политехнической школе сохраняется воспоминание о студенте Тадеу Каньото: знаменитая экзаменационная работа, написанная им в десятисложных стихах; призвание к математике, сделавшее его любимым учеником профессора Бернарда; врожденные данные лидера, благодаря которым он в течение пяти лет пребывания на факультете шел впереди коллег в манифестациях солидарности с союзниками в первой мировой войне, присутствовал на вечерах в театрах Сан-Жоан и Политеама, где гремели аплодисменты либо возгласы протеста.

Арканжо был обязан Забеле в овладении столькими языками. В общении с этой аристократкой он усовершенствовал французский, английский, испанский, итальянский, изученные им своими силами, сделал их для себя живыми, близкими языками. Одаренный музыкальным слухом, он изъяснялся по-французски, как граф, по-английски — как лорд.

— Мастер Педро, вы родились, чтобы научиться говорить на разных языках. Никогда я не встречала такой легкости в их усвоении,— хвалила, удовлетворенная, экс-принцесса Реконкаво.

Ей никогда не приходилось исправлять вторично ошибку в грамматике или произношении, допущенную Арканжо: стоило раз поправить, и он уже больше не совершал этой ошибки. Сидя в австрийской качалке, старуха слушала с полузакрытыми глазами стихи Бодлера, Верлена, Рембо, своих любимых поэтов; книги в дорогих переплетах напоминали ей времена, когда она занимала высокое положение, рифмы возрождали в ее памяти любовные приключения и возлюбленных. Забела вздыхала, очарованная мягким голосом Арканжо, и забывала поправлять произношение:

— Давайте я вам расскажу, мастер Арканжо, это — красивая история...

Обедневшая аристократка, родственники которой стыдились ее, теперь обрела новую семью в двух кумовьях и мальчике; в результате она не чувствовала себя совершенно осиротевшей, когда кот Арголо де Араужо околел от старости и был похоронен в саду.

Профессор Силва Виража посоветовал Педро Арканжо изучать немецкий язык, а брат Тимотео, настоятель монастыря святого Франсиско, друг Мажэ Бассан, вызвался давать ему уроки. Много раз по его просьбе монах переводил с немецкого на португальский отрывки из книг, целые статьи, и в конце концов сам заинтересовался расовой проблемой в Бразилии, хотя он специализировался на изучении религиозного синкретизма [1]. Но хотя прошло много времени, срок оказался недостаточным, все время возникали какие-то неотложные дела, и изучение немецкого языка подвигалось плохо.

Арканжо был многим обязан профессору Силве Виража, который,

[1] Синкретизм — разновидность эклектизма, сочетание разнородных противоречивых воззрений, несовместимых друг с другом.

прочитав «Народную жизнь Баии», затребовал педеля на свою кафедру, освободив его тем самым от секретариата, где работа не оставляла ему ни минуты свободного времени. Ученого и без Арканжо хорошо обслуживал негр Эваристо, поэтому он предоставил мулату время для посещения библиотек — в Политехнической школе и Публичной, а также муниципальных архивов для изучения книг и документов. Но он предоставил Арканжо не только время: он направлял его и в чтении, рекомендуя ему авторов, указывая на новинки в области антропологии и этнологии. Брат Тимотео также дал ему прочитать многие книги, причем некоторые были незнакомы даже профессорам, посвятившим себя этим наукам. От монаха он узнал о Франце Боасе [1] и стал, возможно, первым бразильцем, изучившим его труды.

Что сказать о Лидио Корро? Кум — ближе, чем родной брат, близнец, сколько раз он затягивал ремень, чтобы предоставить Арканжо кредит — к чему ненужный эвфемизм? — попросту дать ему деньги, необходимые для выписки книг из Рио и даже из Европы. Новые наборные кассы, типографская машина, подлежащая дорогостоящему капитальному ремонту, для чего все это? Все это в ожидании новых книг Педро Арканжо.

— Кум, ты хочешь узнать все, неужели тебе недостаточно того, что ты уже знаешь? Неужели тебе этого мало для написания книги?

Педро Арканжо посмеивался над нетерпением кума:

— Того, что я знаю, еще мало, мне даже кажется, что чем больше я читаю, тем больше мне надо читать и изучать.

В течение этого долгого десятилетия Педро Арканжо прочел об антропологии, этнологии и социологии все, что нашел в Баии и что выписал извне, собрав свои и чужие гроши. Однажды Мажэ Бассан открыла сундук Шанго и дополнила сумму, необходимую для приобретения «Reise in Brasilien»[2] Спикса и Мартиуса, экземпляра, найденного книготорговцем Бонфанти, итальянцем, недавно обосновавшимся на Праса да Сэ.

Длинным и скучным был бы перечень, даже неполный, всех авторов и книг, изученных мастером Арканжо, однако стоит отметить некоторые детали его одиссеи, проследить за тем, как он переходил от негодования к смеху.

Вначале ему приходилось стискивать зубы, чтобы продолжить чтение произведений откровенных и — хуже того — бесстыдных расистов. Он сжимал кулаки: их тезисы и утверждения звучали как оскорбления, это были пощечины, удары кнута. Не раз он чувствовал, что у него горят глаза, на них навертываются слезы унижения при чтении страниц Гобино, Мэдисона Гранта, Отто Амнона, Хьюстона Чемберлена. Читая, однако, труды ученых, возглавлявших итальянскую антропологическую школу криминалистики — Ломброзо, Ферри, Гарофало, он хохотал, так как время и накопленные знания дали ему ясность и уверенность — он мог обнаружить глупость там, где раньше страдал от оскорблений и обид.

Он читал произведения друзей и недругов, французов и англичан, немцев, итальянцев, американца Боаса, наслаждался Вольтером. Читал бразильцев, в частности баиянских авторов: Алберто Торреса и Эваристо де Мораиса, Мануэла Бернардо Калмона ду Пин э Алмейда, Жоана Батисту де Са Оливейра и Аурелино Леала. Не только этих вышеперечисленных, но и многих других, без счета.

Наслаждаясь книгами, он не отказался от наслаждения жизнью; изучая авторов, не отказался от изучения людей. Находил достаточно

---

[1] Франц Боас (1858—1942) — американский антрополог и этнограф.

[2] «Путешествие в Бразилию» *(нем.)*.

времени как для чтения и исследований, так и для веселья, празднеств и любви — для всех источников своего знания. Он был одновременно и Педро Арканжо и Ожуобой. Не раздваивался, выделяя определенные часы для того и другого — ученого и человека. Отказался взойти на маленькую лесенку успеха, подняться на ступеньку выше земли, на которой родился, земли этих переулков, лавок, мастерских, террейро, земли народа. Он не захотел подняться, хотел идти только вперед и шел. Был мастером Арканжо Ожуобой, единым и неделимым.

До последнего дня своей жизни он учился у народа и все время делал заметки в записных книжках. Незадолго до смерти договорился со студентом Оливой, компаньоном владельца типографского предприятия, относительно издания его новой книги, и когда он свалился на Пелоуриньо, то повторял фразу, слышанную незадолго до этого из уст одного кузнеца: «Даже бог, который сотворил всех нас, не может умертвить всех зараз». Он потерял, между тем, почти все свои книги, драгоценную коллекцию, собранную им постепенно ценою огромных усилий и при содействии стольких грубых и бедных людей, трудящихся и пьянчуг. Большинство книг было уничтожено при разгроме типографии, другие же пропали тут и там, при переездах и перемещениях, были проданы Бонфанти в моменты отчаянного безденежья. Он сохранил лишь немногие книги, те, что явились основой его обучения. Даже если он их не читал, ему нравилось держать их в руках, перелистывать, останавливая взор своих утомленных глаз на какой-нибудь странице. Среди книг, которые он сохранил в ящике из-под керосина в своей комнатушке в глубине дома терпимости Эстер, находилось старое издание исследования Гобино и первая брошюра профессора Нило Арголо де Араужо. Педро Арканжо пришел к знанию через ненависть.

В 1918 году он приобрел по совету врача очки и в том же году опубликовал свою вторую книгу. Если не считать ослабевшего зрения, он никогда не чувствовал себя так хорошо в отношении здоровья, не был столь полон воодушевления и уверенности и, если бы не отсутствие Тадеу, не ощущал такой большой радости. Первые экземпляры «Африканских влияний на обычаи Баии» были выпущены накануне празднования его пятидесятилетия, кипучей и шумной недели, когда кашаса лилась рекой, всюду слышались мелодии самбы, пастушки отплясывали на репетициях, соревновались афошэ, школа капоэйры мастера Будиана была украшена флагами, на террейро присутствовали божества со своими барабанами и танцами, в мансарде смеялась обнаженная Розалия.

(Окончание следует)

ФРАНСУАЗА САГАН

Немного солнца в холодной воде

РОМАН

Перевод с французского Н. НЕМЧИНОВОЙ

МОЕЙ СЕСТРЕ

И я вижу ее, и теряю ее, и скорблю,
И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде.

Поль Элюар

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Париж

Глава I

Теперь это случалось с ним чуть не каждое утро. Если только накануне он не напивался до того, что вставал с постели, словно в зыбком тумане, шел под душ, бессознательно, машинально одевался, и сама усталость освобождала его тогда от бремени своего «я». Но чаще бывало другое, мучительное: он просыпался на рассвете, и сердце у него колотилось от страха, от того, что он уже не мог называть иначе, чем страх перед жизнью,— и он ждал: вот-вот речитативом заговорят в его мозгу тревоги, неудачи, голгофа начавшегося дня. Сердце колотилось; он пытался заснуть, пробовал забыться. Тщетно. Тогда он садился на постели, хватал, не глядя, стоявшую под рукой бутылку минеральной воды, отпивал глоток безвкусной, тепловатой, мерзкой жидкости — такой же мерзкой, какою представлялась ему вся его жизнь в последние три месяца. «Да что же это со мной? Что?» — спрашивал он себя с отчаянием и яростью, так как был самолюбив. И хотя ему нередко приходилось наблюдать у других, искренне уважаемых им людей нервную депрессию, подобная опасность оскорбляла его, как удар по лицу. С юных лет он не слишком задумывался над самим собой, для него вполне достаточно было внешней стороны жизни, а когда он вдруг заглянул в себя и увидел, каким он стал болезненным, хилым, раздражительным существом, то почувствовал суеверный ужас. Неужели этот тридцатипятилетний мужчина, кото-

рый чуть свет садится на кровати и без всякой видимой причины нервически вздрагивает, неужели это он и есть? Неужели к этому привели его три десятилетия беззаботной жизни, наполненной смехом и лишь изредка омрачаемой любовными горестями? Он уткнулся головой в подушку, прижался к ней щекой, словно подушка обязана была дарить блаженный сон. Но глаз он так и не сомкнул. То ему становилось холодно, и он кутался в одеяло, то он задыхался от жары и сбрасывал его с себя, но не мог укротить внутренней дрожи, чего-то схожего с тоской и безысходным отчаянием.

Конечно, никто не мешал ему повернуться к Элоизе и заняться любовью. Но он не мог. Три месяца он не прикасался к ней, три месяца об этом и речи не было. Красавица Элоиза!.. Любопытно, как она с этим мирится... Будто чует в нем что-то болезненное, странное, будто жалеет его. И мысль об этой жалости добивала больше, чем ее гнев или возможная измена. Чего бы он не дал, чтобы захотеть ее, чтобы броситься на нее, уйти в это всегда новое тепло женского тела, неистовствовать, забыться — только уже не сном. Но как раз этого он и не мог. А несколько робких попыток, на которые отважилась Элоиза, окончательно отвратили его от нее. Он, который так любил любовь и мог отдаваться ей при любых обстоятельствах, даже самых странных или нелепых, оказывался бессильным в постели рядом с женщиной, нравившейся ему, женщиной красивой и к тому же действительно им любимой.

Впрочем, он преувеличивал. Как-то раз, три недели назад, после званого вечера у Жана, он взял ее. Но теперь совсем об этом забыл. Он слишком много выпил в тот вечер — на что были свои причины,— и ему смутно запомнилась лишь грубая схватка на широкой постели и приятная мысль при пробуждении, что выиграно очко. Словно краткий миг наслаждения мог быть реваншем за тягостные ночи без сна, за неловкие оправдания и напускную развязность. Это было не бог весть что. Жизнь, которая прежде давала ему все — по крайней мере он так считал, и это было одной из причин его успехов,— вдруг отступила от него, как отступает море в часы отлива, оставив одинокой скалу, к которой оно так долго ластилось. Представив себя в образе одинокого старика утеса, он даже рассмеялся коротким, горьким смешком. Но ведь действительно, думалось ему, жизнь покидала его, словно кровь, вытекающая из тайной раны. Время уже не шло, а пропадало куда-то. Сколько бы он ни напоминал себе, сколько ни убеждал себя, что еще и сейчас в его жизни есть выигрышные стороны — внешность, интересная профессия, успехи в разных областях,— все это казалось ему столь же пошлым, столь же нудным, как слова церковных акафистов... Мертвые, мертвые слова.

Вдобавок, вечеринка у Жана обнаружила, до какой степени мерзки и физиологичны его переживания. Он на минуту вышел из гостиной и отправился в ванную комнату вымыть руки и причесаться. Тут у него выскользнуло из рук мыло и упало на пол, под умывальник; он нагнулся, хотел поднять. Мыло лежало под водопроводной трубой, розовый кусочек как будто прятался там; и вдруг эта розовость показалась ему непристойной, он протянул было руку, чтобы взять его, и не смог. Словно то было маленькое ночное животное, притаившееся во мраке и готовое поползти по его руке. Жиль застыл на месте от ужаса. А когда распрямился, весь в поту, и увидел себя в зеркале, в глубине его сознания вдруг проснулось какое-то отрещенное любопытство, тут же уступившее место страху. Он вновь присел на корточки и, глубоко вздохнув, как пловец перед прыжком с трамплина, схватил розовый обмылок. Но тотчас же швырнул его в раковину, как отшвыривают уснувшую змею, которую приняли за сухой

сучок дерева; и целую минуту после этого он плескал себе в лицо холодной водой. Вот тогда-то и пришла мысль, что виной всему надо считать не печень, не переутомление, не «нынешние времена», а нечто другое. Вот тогда-то он и признал, что «это» в самом деле пришло: он болен.

Но что же теперь делать? Найдется ли на свете более одинокое существо, чем человек, принявший решение жить весело, счастливо, в благодушном цинизме, человек, пришедший к такому решению самым естественным путем — инстинктивно и вдруг оставшийся с пустыми руками, да еще в Париже, в одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году нашей эры? Обратиться к психиатру представлялось ему унизительным, и он решительно отверг эту мысль — из гордости, которую склонен был считать лучшим свойством своей натуры. Значит, оставалось только одно — молчать. И продолжать это существование. Вернее, попытаться продолжать. Кроме того, сохраняя прежнюю слепую веру в жизнь с ее счастливыми случайностями, он надеялся, что все это ненадолго. Время, единственный властитель, которого он признавал, унесло его любовные связи, его радости, горести, даже некоторые взгляды, и не было оснований сомневаться, что оно справится и с «этой штукой». Но «эта штука» была чем-то безликим, безымянным, он не знал, что это, в сущности, такое. А ведь, может быть, время имеет власть только над тем, что ты сам осознал.

Глава II

Он работал в международном отделе газеты и в этот день все утро провел в редакции. В мире происходили кровавые, невероятные события, пробуждавшие у его собратьев щекочущее чувство ужаса, и это раздражало его. Не так давно, всего три месяца назад, он охотно ахал бы с ними, выражал бы свое негодование, а теперь не мог. Ему было даже слегка досадно оттого, что этими событиями, происходившими на Среднем Востоке, или в США, или еще где-то, как бы пытались отвлечь его внимание от подлинной драмы — его собственной. Планета Земля вращалась в хаосе — у кого теперь могло возникнуть желание или нашлось бы время поинтересоваться его жалкими проблемами? Но разве он потратил мало часов, выслушивая разные мрачные исповеди и признания неудачников? Разве мало он совершил пресловутых подвигов спасения? И что же? Вокруг ходят люди с блестящими от возбуждения глазами, и только он один вдруг стал растерянным, точно заблудившийся пес, таким же эгоистом, как иные старики,— стал, как они, никем. Внезапно у него возникло желание подняться этажом выше, к Жану, и поговорить с ним. Ему казалось, что из всех его знакомых только Жан способен отвлечься от своих забот и посочувствовать ему.

В тридцать пять лет Жиль Лантье все еще был красив. «Все еще» — хотя бы потому что в двадцать он отличался редкостной красотой, которую, впрочем, никогда не сознавал, хотя и весело пользовался ею, пленяя и женщин и мужчин (последних — бескорыстно). Пятнадцать лет спустя он похудел, приобрел более мужественный облик, но в его походке, в движениях сохранялось что-то от победоносной юности. У Жана, который в прежние времена просто обожал его, но никогда ему этого не говорил, да и себе самому в этом не признавался, дрогнуло сердце, когда вошел Жиль. Эта худоба, эти синие глаза, эти черные, слишком длинные волосы, эта нер-

возность... Кстати, он становился все более и более нервным, и Жану следовало бы заняться этим. Но он все не мог решиться: Жиль так долго был для него символом счастья и беззаботности, что ему неприятно было заговаривать об этом, как бывает неприятно посягнуть на давно и прочно сложившийся образ... Что, если он рассыплется прахом... и Жану, который с незапамятных времен был круглым, лысым, задерганным жизнью, придется убедиться, что на свете не существует прирожденных счастливцев? Жан уже утратил немало иллюзий, но вот с этой иллюзией, быть может ввиду ее наивности, ему особенно жалко было расстаться. Он пододвинул стул, и Жиль осторожно опустился на сиденье, так как в комнате негде было повернуться из-за папок с материалами, лежавших на письменных столах, на полу, на камине. Жан протянул ему сигарету. Из окна открывался вид на серые и голубые крыши, на царство водосточных желобов, труб и телевизионных антенн, еще недавно восхищавшее Жиля. Но теперь он даже не посмотрел в ту сторону.

— Ну как? — сказал Жан.— Как тебе нравится, а?

— Ты это об убийстве? Да, можно сказать, ловко состряпали!

И Жиль замолчал, опустив глаза. Прошла минута — Жан, желая оттянуть объяснение, приводил в порядок папки на столе и при этом насвистывал, как будто целая минута молчания была естественной при их встречах. Наконец он решился, уступив доброте, которая возобладала надо всем остальным: он вспомнил, как был внимателен и ласков с ним Жиль в те дни, когда от него ушла жена, и вдруг почувствовал себя последним эгоистом. Вот уже два месяца с Жилем творится что-то неладное — Жан это чувствовал, но все два месяца избегал разговоров по душам. Нечего сказать, хорош друг! Но теперь, когда Жиль предоставлял ему право, вернее, откровенно вынуждал его начать атаку, он не мог удержаться от маленькой инсценировки. Все мы таковы после тридцати: любое событие, затрагивающее весь мир или только мир наших чувств, требует некоторой театрализации — для того чтобы оно пошло нам на пользу или дошло до нас. И вот Жан раздавил в пепельнице недокуренную сигарету, сел и скрестил на груди руки. Пристально посмотрев Жилю в лицо, он откашлялся и сказал без обиняков:

— Ну как?

— Что как? — отозвался Жиль.

Ему хотелось уйти, но он уже знал, что не уйдет, что он сам вынудил Жана начать расспросы и хуже того: у него даже стало легче на душе.

— Ну как? Не клеятся дела?

— Не клеятся.

— Уже месяца два? Верно?

— Три месяца.

Жан определил срок наугад, просто хотел показать, что душевное состояние Жиля ему далеко не безразлично, а если он до сих пор об этом не заговаривал, то лишь из деликатности. Но Жиль тотчас подумал: «Вот, строит из себя проницательного человека, хитрюга, а сам на целый месяц ошибся...» А вслух сказал:

— Да, уже три месяца мне плохо.

— Конкретные причины? — спросил Жан и резким движением поднес зажигалку к сигарете.

На минуту Жиль возненавидел его: «Хоть бы бросил этот тон полицейского чиновника, этакого многоопытного субъекта, которого не разжалобишь. Хоть бы не ломал комедии». Но вместе с тем ему хотелось выговориться — непреодолимая, теплая волна подхватила его и повлекла к откровенности.

— Причин — никаких.

— Вот это уже серьезнее,— бросил Жан.

— Ну, все зависит...— возразил Жиль.

Неприязненный тон сразу вывел Жана из роли бесстрастного психиатра; он встал, обогнул стол и, положив руку на плечо Жиля, ласково забормотал: «Ну ладно, ладно, старик»,— и от этого у Жиля, к великому его ужасу, на глазах выступили слезы. Решительно он никуда не годится. Он протянул руку, взял со стола шариковую ручку и, нажимая на головку, принялся сосредоточенно выдвигать и убирать стержень.

— Что же у тебя не ладится, старик? — спросил Жан.— Может, ты болен?

— Нет. Не болен. Просто мне ничего на свете не хочется, вот и все. Кажется, модная болезнь, да?

Он даже попытался ухмыльнуться. Но, в сущности, ему отнюдь не было легче оттого, что его душевное состояние оказалось явлением распространенным и официально признанным во врачебном мире. Это скорее было обидно. Раз уж на то пошло, он предпочел бы считаться «редким случаем».

— Так вот,— с усилием заговорил он.— Мне больше ничего не хочется. Не хочется работать, не хочется заниматься любовью, не хочется двигаться — только бы лежать в постели целыми днями одному, укрывшись с головой одеялом. Я...

— А ты пробовал?

— Конечно. Хватало ненадолго. К девяти часам вечера меня уже тянуло покончить с собой. Простыни и подушки казались мне грязными, мой собственный запах — омерзительным, обычные мои сигареты — просто гадостью. Это, по-твоему, в порядке вещей?

Жан буркнул что-то невнятное: эти подробности, указывавшие на психический надлом, коробили его больше, чем любые непристойные подробности, и он в последний раз попытался найти логическое объяснение всему:

— А как с Элоизой?

— Что с Элоизой? Терпит меня. Как тебе известно, нам с ней, в общем-то, не о чем разговаривать. Но она меня действительно любит. А я, знаешь ли, выдохся. И не только с ней, а вообще. Ну, почти что. Если даже что-то и получается, мне скучно. Так что...

— Ну, это не страшно. Наладится.

И Жан попробовал было засмеяться, свести дело к уязвленному самолюбию ослабевшего петушка.

— Тебе надо посоветоваться с хорошим врачом, попринимать витамины, подышать чистым воздухом — и через две недели опять начнешь за курочками гоняться.

Жиль вскинул на него глаза. Он был вне себя.

— Да не своди ты все к этому. На это мне наплевать, понимаешь? Наплевать! Мне ничего не хочется, понимаешь? Не только женщин. Мне жить не хочется. Есть для такого случая витамины?

Наступило молчание.

— Хочешь виски? — спросил Жан.

Открыв ящик стола, он извлек бутылку шотландского виски и протянул ее Жилю; тот машинально отпил глоток и, вздрогнув, замотал головой.

— Мне теперь и спиртное не помогает. Разве что надраться до полусмерти и заснуть. Алкоголь меня больше не веселит. И уж во всяком случае, не в нем же надо искать выход, верно?

Жан взял у него бутылку и отпил большой глоток.

— Пойдем,— сказал он,— пошатаемся немного.

Они вышли. Париж был восхитителен ранней весенней голубизной — до спазмов в горле. И улицы были все те же, прежние, и те же были на них бистро, тот же ресторан «Шлюп», куда они обычно ходили всей братией отмечать какое-нибудь событие, и тот же бар, куда Жиль бегал звонить тайком по телефону Марии в те времена, когда любил ее. Боже мой, вспомнить только, как его тогда трясло в жаркой телефонной будке и как он читал и перечитывал, не понимая, надписи на стенке, а телефон все звонил и звонил, и никто не брал трубки. Как он мучился, как напускал на себя развязность, отзвонив, заказывал хозяйке стаканчик у стойки и выпивал его залпом, как щемило у него сердце, щемило от тоски, от бешенства, но он жил тогда! И хотя он был порабощен тогда, в ту страшную пору, хотя его топтали ногами, это была почти завидная участь по сравнению с теперешним его прозябанием. Пусть его ранили, но по крайней мере известно было, кто ранил.

— А что, если поехать куда-нибудь? — сказал Жан.— Можно получить недели на две командировку для репортажа.

— Неохота,— ответил Жиль.— Как подумаю о самолетах, о расписаниях, о незнакомых гостиницах, о людях, у которых надо брать интервью... Нет, я не в силах... Да еще с чемоданом возиться... Ох, нет!

Жан искоса поглядел на него и на мгновение подумал, уж не ломает ли его друг комедию. Жиль, случалось, любил поиграть, тем более что любой поддавался на удочку. Но сейчас на его лице был написан такой искренний страх и отвращение, что Жан поверил.

— А то давай проведем вечер с двумя девочками, как в доброе старое время. Как будто мы с тобой деревенские парни, решившие погулять в столице... Нет, это чепуха... А как твоя книга? Твой репортаж об Америке?

— Уже штук пятьдесят таких книг написано и куда лучше моей. Неужели ты думаешь, что я способен написать хотя бы две интересные строчки, когда меня ничто не интересует?

Мысль об этой книге доконала его. Действительно, он намеревался написать книгу очерков о США, так как хорошо знал эту страну; действительно мечтал написать — даже составил план. Но теперь — и это была истинная правда — он не мог бы написать ни единой строчки или развить какую-либо мысль. Да что же, в конце концов, с ним стряслось? За что он наказан? И кем? Он всегда относился по-братски к своим друзьям, а с женщинами был даже нежен. Он никогда и никому сознательно не причинял зла. Почему же в тридцать пять лет жизнь, как отравленный бумеранг, ударила его?

— Я сейчас скажу, что с тобой,— загудел возле него голос Жана, успокаивающий, невыносимый голос.— Ты переутомился, у тебя...

— Не смей говорить, что со мной,— заорал вдруг Жиль на всю улицу,— не смей говорить, потому что ты не знаешь! Потому что я *сам,* слышишь, я *сам* этого не́ знаю! А вдобавок,— окончательно теряя совесть, заявил он,— отвяжись от меня!

Прохожие смотрели на них; Жиль вдруг покраснел, схватил Жана за лацканы пиджака, словно хотел что-то добавить, но круто повернулся и, не попрощавшись, быстро зашагал к набережной.

Глава III

Элоиза ждала его. Элоиза всегда его ждала. Она служила манекенщицей в крупном доме моделей, не очень преуспевала в жизни и с восторгом поселилась у Жиля два года назад, в тот вечер, когда

его особенно мучили воспоминания о Марии и он уже больше не мог выносить одиночества. Элоиза была то брюнеткой, то блондинкой, то рыжеволосой, меняя цвет волос каждые три месяца по соображениям фотогеничности, в чем Жиль никак не мог разобраться. Глаза у нее были очень красивые, устойчиво голубого цвета, прекрасная фигура и неизменно хорошее настроение. Долгое время они в известном плане превосходно ладили друг с другом, но теперь он с тоской думал, как провести с ней вечер, что ей сказать. Конечно, он мог бы уйти из дома один — под предлогом, что его пригласили на ужин, она бы не обиделась, но его совсем не соблазняла еще одна встреча с Парижем, с улицей, с ночным мраком, ему хотелось забиться в угол и быть одному.

Он жил на улице Наследного принца в трехкомнатной квартире, которую так и не обставил как следует. Вначале он с энтузиазмом прибивал полки, делал проводку для стереофонической радиолы, выбирал место для книжного шкафа, для телевизора — словом, увлекался всякими модными новшествами, которые, как принято считать, делают человеческую жизнь приятной и обогащают ее. А теперь он с досадой смотрел на все эти вещи и не в силах был даже взять с полки книгу — это он-то, целыми днями пичкавший себя литературой! Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, не выпуская из рук газеты, чтобы не пропустить какой-нибудь сногсшибательной передачи, а увидев Жиля, вскочила и с веселой улыбкой тотчас подбежала поцеловать его — эта поспешность показалась ему неестественной и смешной, слишком в духе «твоей маленькой женушки». Он направился к бару — вернее, к столику на колесиках, служившему баром,— и налил себе виски, хотя ему совсем не хотелось пить. Потом уселся в такое же кресло, как Элоиза, и тоже уставился с заинтересованным видом на экран телевизора. Оторвавшись на миг от захватывающего зрелища, Элоиза повернулась к нему.

— Удачный был день?

— Очень. А у тебя?

— Тоже.

И она, казалось с облегчением, снова воззрилась на экран. Там какие-то молодые люди пытались составить слово из деревянных букв, которые дикторша с милой улыбкой разбросала перед ними. Жиль закурил сигарету, закрыл глаза.

— По-моему, это «аптека»,— сказала Элоиза.

— Прости?

— Мне кажется, что слово, которое им надо составить,— «аптека».

— Вполне возможно,— согласился Жиль.

И он снова закрыл глаза. Потом попробовал сделать еще глоток из стакана. Но виски было уже теплое. Жиль поставил стакан на пол, затянутый бобриком.

— Звонил Никола, спрашивал, не хотим ли мы поужинать сегодня с ним в клубе. Как ты думаешь?

— Там видно будет,— ответил Жиль.— Ведь я только что вернулся.

— А если тебе не хочется выходить, у нас в холодильнике есть телятина. Можно закусывать и смотреть детектив по телевизору.

«Отлично, подумал он. Богатый выбор: либо ужинать с Никола, который в сотый раз будет объяснять ему, что если бы наше кино не было так продажно, он, Никола, давно бы создал шедевр. Либо сидеть дома и смотреть по телевизору глупейшую передачу, закусывая холодной телятиной. Ужас! Но ведь прежде он выходил по вечерам, у него были друзья, он развлекался, встречался с новы-

ми людьми, каждая ночь была праздником!.. Где же его приятели? Он хорошо знал, где его приятели,— достаточно протянуть руку к телефону. Им просто надоело безрезультатно звонить ему в течение трех месяцев — вот и все. Но сколько он ни перебирал в памяти имен, гадая, кого бы ему приятно было сейчас увидеть,— таких людей не нашлось. Только этот подонок Никола все еще цепляется за него. Причина ясна: нечем заплатить за вино.

Зазвонил телефон, но Жиль не пошевелился. Было время, когда он сразу хватал телефонную трубку, уверенный, что его призывает любовь, приключение или удача. Теперь же к телефону подходила Элоиза. Она крикнула из спальни:

— Это тебя, Жан звонит.

Жиль замялся. Что сказать?

Потом вспомнил, что днем грубо обошелся с Жаном, а быть грубым — постыдно и глупо. В конце концов, ведь он сам полез к Жану со своими неприятностями, а потом бросил его посреди улицы. Он взял телефонную трубку.

— Это ты, Жиль? Ну что у тебя?

— Все в порядке,— ответил Жиль.

Голос Жана был теплый, встревоженный, голос настоящего друга. Жиль растрогался.

— Прости, что так вышло сегодня,— сказал он,— я, видишь ли...

— Завтра поговорим о серьезных вещах. Ты что делаешь вечером?

— Да наверно, я буду... наверно, мы сегодня останемся дома и будем есть холодную телятину.

Это был настоящий, едва прикрытый призыв о помощи, за которым последовало короткое молчание. Затем Жан ласково произнес:

— Знаешь, нечего тебе дома сидеть. Сегодня в «Бобино» премьера. Если хочешь, у меня есть билеты, я могу...

— Нет, спасибо,— ответил Жиль.— Не хочется вылезать из дому. Давай лучше завтра устроим грандиозный кутеж.

Он и не думал ни о каком кутеже, и Жан это знал. Но в театр уже было поздно: Жану пришлось бы ехать переодеваться, снова выходить из дому, и этот явно надуманный проект кутежа его устраивал. Он согласился, на всякий случай сказал с непринятой между ними нежностью: «До завтра, старик!» — и повесил трубку. Жиль почувствовал себя еще более одиноким. Он вернулся в большую комнату, сел в кресло. Элоиза по-прежнему, как завороженная, не сводила глаз с экрана. Жиль вдруг взорвался:

— Как ты можешь смотреть это!

Элоиза не выразила ни малейшего удивления, только повернула к нему кроткое, смиренное, вдруг потухшее лицо.

— Я думала, так лучше, тебе тогда можно не говорить со мной.

От изумления он опешил, не зная, что отвечать. И в то же время слова ее прозвучали так униженно, что он ощутил хорошо знакомый ему глухой ужас: кто-то страдает из-за него. И он понял, что его разгадали.

— Почему ты так говоришь?

Она пожала плечами.

— Да так. Мне кажется... у меня такое впечатление, что тебе хочется побыть одному, хочется, чтобы к тебе не приставали. Вот я и смотрю телевизор...

Она глядела на него с мольбой, она хотела, чтобы он сказал: «Да нет же, нет, ты уж лучше приставай, говори со мной, ты мне нужна»,— и на миг у него возникло желание сказать это, чтобы до-

ставить ей удовольствие. Но это была бы ложь, еще одна ложь — какое он имел право так говорить?

— Я не очень хорошо себя чувствую в последние дни,— произнес он слабым голосом.— Не сердись на меня. Сам не знаю, что со мной.

— Я не сержусь,— ответила она.— Я ведь знаю, что это такое. В двадцать два года со мной было то же самое — нервная депрессия. Я все время плакала. Мама безумно за меня боялась.

Ну вот, так и следовало ожидать! Сравнения! С Элоизой всегда все уже было.

— И как же это кончилось?

Вопрос был задан злобным, насмешливым тоном. В самом деле, разве можно сравнивать *его болезнь* с недугами Элоизы? Это просто оскорбительно для него.

— Само прошло — ни с того ни с сего. Месяц я принимала какие-то таблетки — просто глупо, что я позабыла, как они называются. И в один прекрасный день мне вдруг стало лучше...

Она даже не улыбнулась. Жиль посмотрел на нее чуть ли не с ненавистью.

— Жаль, что ты забыла, как называются эти таблетки. Может, спросишь у мамы по телефону?

Элоиза встала и, подойдя к нему, обхватила ладонями его голову. Он пристально смотрел на ее красивое спокойное лицо, на ее губы, столько раз целованные им, на голубые сочувствующие глаза.

— Жиль!.. Жиль!.. Я знаю, что я не слишком умная, и где уж мне помочь тебе. Но я тебя люблю, Жиль, дорогой мой!..

И она заплакала, уткнувшись в его пиджак. Ему стало жаль ее и в то же время было чудовищно скучно.

— Не плачь,— говорил он,— не плачь, пожалуйста. Все уладится... Я совсем развинтился, завтра пойду к доктору.

И так как она продолжала тихонько всхлипывать, как напуганный ребенок, он дал ей слово, что завтра же обязательно пойдет к доктору, весело съел свою порцию холодной телятины и попытался немного поговорить с Элоизой. Потом, когда они легли в общую постель, он ласково поцеловал Элоизу в щеку и повернулся на бок, молясь в душе, чтобы заря больше никогда не всходила.

Глава IV

Доктор оказался человеком умным, что отнюдь не облегчало положения. Он простукал легкие Жиля, послушал сердце, задал со скучающим видом обычные вопросы, явно не придавая им ни малейшего значения. Теперь Жиль сидел напротив врача в глубоком кресле стиля Людовика XIII и пристально смотрел на него в смутной надежде, что эта уверенность, этот безапелляционный тон не прикрывают полного бессилия врача исцелить пациента. «Наверное, врачи вырабатывают у себя такое вот решительное выражение лица, так же как адвокаты изображают на лице убежденность, так же как у меня, вероятно, бывает иной раз выражение глубокого интереса и понимания, подобающее журналисту». И все же надежда теплилась в его душе. А вдруг и в самом деле существует этакая маленькая пилюлька, излечивающая от отвращения к жизни? Почему бы такой и не быть? Может, у него, Жиля Лантье, просто чуточку недостает в организме кальция, или железа, или еще какой-нибудь штуковины и только поэтому он так несчастен? Ведь бывает же, в конце концов, и так! Человек мудрит насчет своей воли, своей свободы, своего мозга, и вдруг оказы-

вается, что он связан по рукам и по ногам из-за того, что ему недостает витамина В. Вот так-то. Именно это и надо себе внушать. Убедить себя в этом. Человеческий организм — весьма сложная фабрика и...

— Словом, вы чувствуете себя плохо,— сказал доктор.— Не скрою от вас, что я мало чем могу вам помочь.

— Как так?

Жиль почувствовал себя униженным и обозлился. Ведь он уже целый час психологически отдался во власть этого врача, доверился ему, и вдруг этот шарлатан преспокойно заявляет, что на него рассчитывать не приходится. Да ведь он же врач, это, в конце концов, его ремесло. Он *должен* что-нибудь сделать. Что, если бы в гараже механики вдруг перестали смыслить в машинах и если бы...

— Физически вы вполне здоровы. Во всяком случае, по внешним показателям. Если хотите, можно сделать анализы. Можно прописать вам лекарства для поднятия тонуса. Одну капсулу перед каждой едой по пять раз в день...

Он говорил почти насмешливо, и Жиль возненавидел его. Он шел к чадолюбивому отцу, а ему подсунули какого-то ученого скептика.

— Раз, по-вашему, это поможет, я готов принимать любое лекарство по десять раз в день,— сухо сказал он.

Доктор засмеялся.

— Только какое? Вы страдаете общей вялостью, которую называют депрессией. Она затрагивает и умственную деятельность, и половую сферу, и все прочее, как вы говорили. Если желаете, могу направить вас к психиатру. Иногда бывает толк. Иногда нет. Есть у нас доктор Жиро, он очень хорошо разбирается...

Жиль взмахом руки отказался от предложения.

— Могу посоветовать вам отправиться в путешествие, отдохнуть хорошенько или, наоборот, изнурять себя. Признаться, я плохой специалист в этой области и не решусь утверждать то, чего не знаю. Могу посоветовать только одно: выждать.

Тут он позвал ассистентку и, словно делая подарок Жилю, продиктовал ей рецепт на безобидное и вместе с тем сложное по составу лекарство. Жан смотрел на него: ведь у этого человека хорошее, умное и усталое лицо. Подписав рецепт, доктор протянул его Жилю.

— Давайте все-таки попробуем. По крайней мере жену свою успокойте, если вы женаты.

Жиль встал, но не решался уйти. Ему хотелось спросить: «Ну и что же мне теперь делать?» Он так редко обращался к врачам, что был ошеломлен равнодушием того, у которого сейчас сидел.

— Благодарю вас,— сказал он наконец,— я знаю, что вы очень заняты и только по просьбе Жана...

— Мы с Жаном большие приятели,— сказал доктор.— Во всяком случае, друг мой, таких больных, как вы, я вижу человек пятнадцать в неделю. Обычно все у них налаживается. Знамение времени, как говорится.

Он похлопал Жиля по спине и выставил его за дверь. Итак, в пять часов вечера Жиль оказался на тротуаре, взбешенный и, главное, ошеломленный, словно ему объявили, что он скоро умрет. Жан, конечно, ему сказал: «Сходи к этому доктору, он, по крайней мере, не будет морочить тебе голову». Но разве имеет право врач, занимающийся исцелением недугов, не морочить людям головы? Жиль отдавал себе отчет, что он предпочел бы иметь дело с каким-нибудь лжепророком или с дураком, пичкающим пациентов лекарствами. Он пал так низко, что предпочел бы, чтобы его обманывали, врали в лицо, лишь бы это его подбодрило. Вот до чего он дошел. И при этой мысли он стал себе еще противнее.

Что делать? Можно, разумеется, вернуться в редакцию, хотя у него, в кои-то веки, имелась основательная причина «прогулять»: «Я был у врача». Что за ребяческие повадки, что за мания вечно оправдываться, врать, видеть в других взрослых людях классных надзирателей, которых ничего не стоит надуть,— да, это настроение, ставшее привычным, угнетало его все больше и больше. А его работа, работа, которой он прежде так увлекался! Теперь он не в силах выполнять ее, пусть даже плохо. Все делает сейчас за него Жан. И это в конце концов станет известно в редакции. Его выкинут, выгонят из газеты, которую он полюбил и где с таким трудом сумел создать себе положение, и он вновь станет жалким борзописцем в какой-нибудь бульварной газетенке. И поделом ему. Он кончит жизнь среди ненасытных подонков, которыми кишат редакции, будет беспробудно пьянствовать, а вечерами оплакивать свою судьбу в ночных кабаках. Вот и все.

Ну, что ж, раз опускаться на дно, так уж опускаться сразу. Жильда, наверно, сейчас дома, Жильда что-нибудь придумает. Жильда всегда дома и готова доставить удовольствие другим, или себе самой, или то и другое вместе. Жильда уже много лет была содержанкой весьма покладистого бразильца, которого пленил ее цинизм; она почти не выходила из своей квартиры в Пасси, в бельэтаже; жила в чаду чувственных удовольствий, как другие — в чаду опиума. В сорок восемь лет у нее было все еще великолепное тело, что-то львиное в чертах увядающего лица и дикие вспышки гнева. Жан говорил, что это одна из последних героинь Барбе д'Орвильи, и Жиль мог бы с этим согласиться, не будь он таким знатоком женщин: иной раз за торжествующе-грубой личиной Жильды угадывалась нехитрая, вычитанная из книжек комедийность. Но во всяком случае, она была славная баба и очень его любила. Он подозвал такси, потому что вот уже два месяца водить машину по Парижу стало для него невыносимым испытанием, и дал шоферу адрес Жильды.

На этот раз она в виде исключения была одна и приняла его в домашнем пестром платье, что ей очень шло. Жиля она встретила потоком нежных укоров. Он присел на край кровати и приготовился слушать ее болтовню. Ей, оказывается, ужасно его недоставало. Она недавно вернулась с Багамских островов. Она терпеть не может жаркие страны — почти так же, как северные. Теперь у нее новый любовник, девятнадцатилетний юнец, она с ним разводит сантименты. Но его сестра тоже ей нравится. Виски, Жиль, или сухого мартини? Прежде он всегда пил сухое мартини. Во времена их романа. Сколько же дней он продолжался? Жильда едва не полюбила его. Да, да, по-настоящему. Минут через десять она остановилась и кинула на Жиля строгий взгляд.

— Чего это ты мнешься?

И оба прыснули со смеху. Они уже давно ввели в обиход это выражение: «Чего это ты мнешься?» Раздражение Жиля прошло, он успокоился, вытянул ноги поудобнее и окинул благосклонным, отчужденным взглядом бывшего жильца причудливо обставленную комнату.

— Я сейчас у доктора был,— сказал он.

— Ты? Что же с тобой стряслось? А ведь и правда, ты похудел. Уж не подцепил ли?..

Она не договорила, и Жиль не без иронии подумал, что слово, не произнесенное Жильдой, было, пожалуй, единственным, которое она стыдилась выговорить вслух.

— Успокойся, рака у меня нет. Ничего у меня нет. Только хандра.

— Ну и хорошо,— обрадовалась она.— А то я уж испугалась. И давно это у тебя?

— Да месяца три. Не знаю в точности.

— Вот что,— сказала она назидательным тоном,— вовсе у тебя не хандра. У тебя депрессия. Вспомни, в каком я была состоянии в шестьдесят втором году...

Досадно было, что, по-видимому, этой болезнью, во-первых, страдали все подряд, а во-вторых, с жаром стремились о ней поведать. Жилю пришлось выслушать рассказ Жильды о том, как у нее была нервная депрессия, которая в одно прекрасное утро внезапно прошла сама собой — кажется, на острове Капри, и Жиль все пытался понять, было ли тут что общее с тем, что чувствует он, Жиль Лантье. Ничего общего.

— Я знаю, что ты думаешь,— вдруг сказала она.— Ты думаешь, что у тебя все по-другому. Но ты ошибаешься. Все так же, как у меня. В один прекрасный день ты проснешься утром веселый, как зяблик, такой же, как прежде... или пустишь себе пулю в лоб. Ты, конечно, умнее меня, а какая сейчас тебе польза от твоего ума?

Она говорила ласково, положив руку ему на колено, наклонясь к нему, и он удивлялся, что его нисколько не влечет к этому прекрасному телу. Прежде у него всегда вспыхивало желание при встречах с ней. Он было потянулся к глубокому вырезу ее платья, но она перехватила его руку.

— Нет,— сказала она.— Я же вижу, тебе ничуть не хочется.

Тогда он положил голову ей на плечо и вытянулся рядом — он лежал одетый, не двигаясь. Она молча поглаживала его по голове. Он ничего не видел, уткнувшись носом в складки ее шелкового платья, ему трудно было дышать, подташнивало, но он не мог пошевелиться. Жильда вдруг встряхнула его — он проворчал что-то невнятное.

— Слушай, Жиль, сейчас приедет Арно. Мне надо одеться, он хотел поехать со мной в какой-то омерзительный ночной кабак. Но ты можешь остаться здесь. Если хочешь, я пришлю тебе Веронику. Это индианка, великолепная женщина, прямо созданная для этих дел. Хоть развлечешься немного. Ты что, все еще с Элоизой?

Она вдруг произнесла это презрительным тоном, каким говорят женщины, желая показать, что не одобряют затянувшихся связей своих бывших любовников. Жиль кивнул.

— Значит, да?

Ему хотелось только одного — не двигаться. Так страшно было вновь ринуться в парижскую сутолоку, искать такси в семь часов вечера, выдерживать натиск куда-то спешащей толпы.

— Хорошо, останусь.

Он с неподдельным удовольствием смотрел, как она подправляет грим, переодевается, звонит по телефону. Он даже пожал руку юному Арно, типичному котенку. Не без снисходительности.

Ожидая в тихой квартире обещанного появления незнакомки, он даже чувствовал себя героем детективного романа, и это забавляло его. После ухода Жильды он устроился на диване в гостиной, накинув на себя мужской халат, который кто-то очень кстати здесь оставил, закурил сигарету, взял иллюстрированный журнал, поставил возле себя на ковре стакан с виски; потом ему пришлось встать, чтобы найти пепельницу; потом встать, чтобы приглушить проигрыватель, запущенный Жильдой слишком громко для тихой музыки; потом пришлось встать, чтобы отворить окно, потому что он задыхался от жары; потом пришлось встать, чтобы закрыть окно, потому что он продрог; потом пришлось встать, чтобы взять сигареты, забытые им в спальне Жильды; потом пришлось встать, чтобы положить кусочек льда в

согревшееся виски; потом пришлось встать, чтобы переменить пластинку, прокрученную уже три раза подряд; потом пришлось встать, так как звонил телефон; потом пришлось встать за новым журналом. И когда по истечении часа у входной двери раздался звонок, раздражение Жиля против самого себя уже достигло апогея, и он не встал, чтобы отворить.

Глава V

Он шел по улицам, направляясь домой, но не прямо, а делая один крюк за другим, потому что не мог ни остановиться, ни повернуть обратно. В голове стояла какая-то гудящая пустота, ему казалось, что все на него оглядываются, все видят, каким он стал безобразным, жалким, и он сам себя таким ощущал; то ему чудилось, будто он топчется на месте, то он вдруг обнаруживал, что пересек широкую площадь и даже не заметил этого. Почему-то он оказался в Тюильри, и тут ему вспомнилось, как Дриё-ла-Рошель в свое время тоже пришел сюда якобы для прогулки, для своей последней прогулки,— Жилю стало даже смешно: у него никогда не хватит мужества, да и нет желания покончить с собой. Даже этого у него нет. К его отчаянию подходит любой эпитет, но только не «мужественное» или «романтическое». По правде говоря, его бы вполне устроило, если бы у него возникло желание покончить с собой. Вообще его устроила бы любая крайность.

«А может, у меня все-таки этим дело и кончится? — думал он, словно этим стремился успокоить себя.— Если и дальше так пойдет, мне, конечно, не вытерпеть. Должен же я буду что-то сделать, ведь я...» Он думал об этом «я» со смешанным чувством надежды и страха, словно о каком-то постороннем человеке, который мог действовать вместо него. Но только позднее, так как сейчас в нем не было того, кто был бы способен застрелиться, сунув пистолет себе в рот, или броситься вон туда, вниз, в темно-зеленые воды Сены,— он не мог представить себе, ни как он умрет, ни как будет жить. Сейчас ему ничего не довести до конца. Он мог только дышать, существовать, мучиться.

Вдруг его пробрала дрожь, и он решил пойти в клуб и напиться. Конечно, это не блестящий выход, но он просто не мог больше шагать вот так, сунув закоченевшие руки в карманы плаща, и быть все время под током, чувствуя каждый нерв, ведущий от ладоней к плечу, к сердцу, к легким. Да, надо напиться вдрызг, а домой его кто-нибудь привезет. По крайней мере, тогда он уснет. И Элоиза укроет его одеялом.

Он вошел в клуб, поздоровался с барменом, дал дружеского тумака Жоэлю, обменялся шуточками с Пьером, помахал рукой Андре, Билю, Зоэ — словом, проделал все, что положено, и, несмотря на многочисленные приглашения, сел один у стойки бара. Он выпил шотландского виски, затем повторил, но будто пил воду. И тут появился Тома́, явно пьяный, блаженно улыбавшийся, и сел рядом с Жилем. В редакции они были тайными врагами вот уже четыре года — с тех пор как произошла эта темная история из-за некоей девицы и из-за некоего репортажа, Жиль уже не помнил подробностей. Знал только, что они поссорились. Тома, маленький, щуплый, с остреньким личиком, говорил пронзительным фальцетом, раздражавшим Жиля.

— А-а, вот он, наш красавец Жиль! — воскликнул он, дохнув ему в лицо таким густым винным перегаром, что Жиль невольно отшатнулся. Не хватало только этой встречи для достойного завершения

вечера.— Ты что шарахаешься? Не нравлюсь я тебе? Скажи, не нравлюсь?..

Пьер издали делал знаки. В тот вечер он дежурил по клубу и потому предупреждал Жиля жестами, что Тома вдребезги пьян, хотя это и так было видно. Тома все приставал:

— Ну, красавец? Почему не отвечаешь?

И вдруг резким движением — не то нарочно, не то нечаянно — опрокинул свой стакан прямо на рубашку Жиля. Стакан упал на пол и разбился. Все разговоры смолкли.

В эту минуту что-то оборвалось в груди Жиля. Все исчезло — жажда счастья, уважение к людям, самообладание, все вдруг затрещало, рухнуло в порыве злобы, и Жиль вдруг увидел как бы со стороны, что бьет Тома; бедняга свалился от первого же удара, а Жиль стоял возле него на коленях и бил его кулаком по остренькому личику, бил по своей жизни, по своему разочарованию в жизни, бил самого себя. Чьи-то сильные руки уже схватили его за плечи, оттащили, а он все продолжал драться, почти рыдая, и буйствовал до тех пор, пока до него не донеслись слова: «Пес бешеный» — и кто-то не дал ему в зубы. Тогда он перестал вырываться, и все умолкли. Жиль увидел вокруг себя с десяток недоуменных, возмущенных лиц, увидел, как маленький Тома, поднимаясь, встает на четвереньки, и почувствовал на губах соленый вкус крови и слез. Он вышел, пятясь к двери, и никто не сказал ему ни слова. Даже Пьер, с которым он пьянствовал всю свою молодость. Как раз Пьер-то и ударил его, сообразил он, и правильно сделал. Это ведь его обязанность, в конце концов. Каждый должен зарабатывать себе на жизнь.

В квартире у Жиля слышались голоса, и он в удивлении остановился у дверей. Было около полуночи. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер кровь, запекшуюся в уголках губ: ему вовсе не хотелось появиться в образе Франкенштейна [1]. В былые времена он не преминул бы разыграть эту роль, но теперь маленькие комедии, прежде забавлявшие его, потеряли для него свой смысл. В гостиной сидел Жан вместе со своей приятельницей Мартой, ласковой и глупой толстухой, а Элоиза стояла у окна. Она вздрогнула, когда он вошел. Жан повернулся к нему с притворно-спокойным видом, а Марта вскрикнула:

— Боже мой!.. Жиль, что с вами случилось?..

«Настоящий семейный совет,— подумал он.— Добрые души, искренние друзья тревожатся вместе с верной подругой... И вдобавок, какая удача: герой возвращается раненым». Элоиза уже помчалась в ванную за ватой.

Жиль рухнул в кресло и улыбнулся.

— Я подрался — глупо, как всегда, когда люди дерутся. И знаешь с кем, Жан? С Тома.

— С Тома? Только уж не говори, пожалуйста, что это он так тебя отделал.

И Жан засмеялся с благодушным и недоверчивым видом знатока — недаром он каждый понедельник ходил на бокс.

— Нет,— ответил Жиль.— Это Пьер ударил, когда разнимал нас.

Он вдруг ужаснулся при воспоминании об этой жалкой ссоре, о своем ожесточении, о том, что он с упоением бил человека. «Мало того, что я самому себе противен. Если я стану противен еще и другим...» Он поднял руку.

— Не надо больше об этом. Завтра в редакции меня будут называть скотом, а послезавтра все позабудется. Чему я обязан удовольствием вас видеть?

[1] Герой многочисленных фильмов ужаса, получеловек, полувампир.

Вопрос этот он задал Марте, но она не ответила, только приветливо улыбнулась. Должно быть, Жан сказал ей: «С Жилем что-то неладно»,— и она с любопытством смотрела на человека, у которого что-то неладно — состояние, явно непостижимое для нее.

Элоиза уже прибежала — собранная, сосредоточенная: женщинам обычно бывает приятно изображать сестру милосердия — и первым делом запрокинула Жилю голову.

— Сиди смирно. Немножко пощиплет и все.

«А теперь воображает себя заботливой мамашей: «Мой мальчуган напроказил». Что их так тянет устраивать нелепейшие комедии? Только что разыграли чисто мужской скетч на тему: «Карликов не бьют», а теперь: «Возвращение Жиля Лантье к домашнему очагу и заговор его близких для его же блага». Жан в роли резонера журит подравшегося приятеля: «Ай-ай-ай, нехорошо!» Элоиза разыгрывает домовитую хозяйку, Марта ничего не изображает, потому что глупа как пробка. А иначе она тоже подлетела бы с флакончиком спирта и протянула бы его Элоизе».

Рассеченную губу действительно сильно щипало, Жиль заворчал.

— Ну? — спросил Жан.— Что тебе сказал Даниель?

— Даниель?

— Ну да — доктор.

— А разве ты не разговаривал с ним по телефону?

Жиль сказал это наугад, сердитым тоном, намекая на всегдашнее отношение к нему своего друга — отношение отеческое, покровительственное, даже чересчур, и увидев, как Жан покраснел, догадался, что попал в точку. Итак, Жан действительно тревожился, и это вдруг испугало его, наполнило чувством поистине животного страха: а что, если все это кончится психиатрической больницей?

— Верно,— подтвердил Жан с благочестивой кротостью человека, не желающего лгать, так как лгать уже не к чему,— верно, я звонил ему.

— Ты, значит, тревожился?

— Немного. Но он меня, кстати сказать, успокоил.

— Так хорошо успокоил, что ты в полночь пришел навестить меня?

Жан внезапно вспылил:

— Я пришел, потому что Элоиза знала, что ты в четыре часа отправился к доктору и вдруг куда-то пропал, и она безумно беспокоилась. Я пришел составить ей компанию и подбодрить ее. Поговорил по телефону с Даниелем: по его мнению, у тебя нервное переутомление, угнетенное состояние, как у девяти десятых населения Парижа. Но это еще не основание для того, чтобы люди из-за тебя беспокоились, мучались, а ты бы дрался в барах с Тома или с кем-нибудь другим.

Наступило молчание. Потом Жиль улыбнулся.

— Извини, папочка. А что еще говорил тебе твой приятель?

— Тебе надо переменить обстановку.

— Вот как? Газета преподнесет мне бесплатный билет, и я отправлюсь в туристическую поездку на Багамские острова, верно? Ты потолкуешь на этот счет с шефом?

Он чувствовал, что говорит глупо, зло, совсем не забавно, но не мог остановиться.

— На Багамских островах как будто бы очень красиво,— светским тоном вставила Марта, и Жан бросил на нее такой свирепый взгляд, что Жиль с огромным трудом подавил желание расхохотаться.

Он кусал губы и, несмотря на боль, все же чувствовал, что из гор-

ла рвется смех, неудержимый, как его недавняя злоба. Он изо всех сил боролся с собой, попытался сделать глубокий вздох, но фраза, брошенная Мартой, не выходила у него из головы и казалась ему потрясающе комичной. Он кашлянул, закрыл глаза и вдруг расхохотался.

Он хохотал и хохотал, еле переводя дыхание. «Багамские острова, Багамские острова»,— бормотал он между приступами смеха, как бы извиняясь. «Багамские острова... Багамские острова». А когда он открывал глаза, то видел перед собой три озабоченных лица и принимался хохотать еще громче. Ранка на губе раскрылась, он чувствовал, как по подбородку тоненькой струйкой течет кровь, и смутно сознавал, что в таком виде — окровавленный, хохочущий до слез, до рыданий, дергающийся от смеха в этом кресле, обитом рубчатым вельветом,— он похож на сумасшедшего. Все вдруг стало несуразным, нелепым, диким, смехотворным. А сегодняшний день... О боже, так провести вечер... В чужом халате возлежал на диване, как паша в ожидании одалиски, которой так и не отворил дверь... Ах, если бы он только мог рассказать об этом Жану... Но приступ смеха не проходил — он не мог остановиться, не мог произнести ни слова... Он стонал от смеха. Он псих, вся жизнь психованная. А почему эти трое не хохочут?

— Перестань! — твердил Жан.— Перестань!

«Сейчас он даст мне пощечину, наверняка даст, он считает, что в подобных случаях так нужно. Все считают, что на каждый случай в жизни есть свое правило. Если человек слишком громко смеется, его бьют по щекам, если он слишком горько плачет, ему дают снотворное или посылают на Багамские острова».

Но Жан не дал ему пощечины. Он отворил окно, женщины укрылись в спальне, и дикий хохот постепенно затих. Жиль даже не знал, почему он так смеялся. И не знал также, почему теперь по его лицу текут теплые, тихие, неиссякаемые слезы и почему Жан протягивает ему платок из верхнего кармашка пиджака, светло-синий платок в гранатовую клетку, а рука у него так дрожит.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Лимож

Глава I

Он лежал на траве и смотрел, как вдали над холмом восходит солнце. Со дня своего приезда сюда он просыпался слишком рано, да и спал плохо, потому что деревенская тишина и покой изматывали его не менее, чем шумная сутолока Парижа. Его сестра, у которой он теперь жил, знала это и втайне обижалась. У нее не было детей, и младшего брата, Жиля, она всегда считала своим сыном. И то, что ей не удалось за две недели, по ее выражению, «поставить его на ноги», казалось ей прямым оскорблением Лимузену, чистому воздуху родного края и вообще их семейству. Ей, разумеется, случалось встречать в газетах рассуждения о «нервной депрессии», но она считала, что это скорее капризы, чем болезнь. Вот уже сорок лет, как Одилия с завидным беспристрастием делила время между своими родными, своим мужем и своим хозяйством и, будучи лишенной воображения в такой же мере, как и доброй, просто не в состоянии была поверить, что отдых, сочные бифштексы и прогулки пешком не могут излечить от любого недуга. А между тем Жиль все худел, молчал и даже иногда убегал из комнаты, когда она, например, заводила разговор с Флораном.

своим мужем, о последних событиях. Если же она включала телевизор, превосходный, недавно купленный телевизор, принимающий две программы, Жиль запирался у себя в комнате и выходил только на следующее утро. Он и всегда-то был взбалмошным путаником, но теперь, видно, и вовсе свихнулся в своем Париже. Бедняжка Жиль!.. Когда она гладила его по голове, он — удивительное дело! — не вырывался, позволял ей ласкать себя, даже садился на скамеечку у ее ног и молча сидел, пока она занималась вязаньем, словно у него становилось легче на душе от ее присутствия. Она болтала о всякой всячине, смутно догадываясь, что это его не интересует, зато успокаивает, как успокаивают все вековечные темы разговоров: смена времен года, урожай, соседи.

Он решил уехать сразу же после мучительного дня, пережитого в Париже, а так как денег у него не было, одни долги, и, кроме того, любой незнакомый человек вызывал в нем страх, он укрылся у Одилии в обветшалом доме, который оставили им родители и куда она после их смерти переехала со своим мужем, кротким Флораном, нотариусом,— человеком, по-детски беспомощным в делах, существовавшим только на арендную плату и кое-какую ренту и жившим в отрыве от событий дня. Жиль знал, что у сестры ему будет смертельно скучно, но по крайней мере он сможет убежать от самого себя, от тех нелепых припадков, которые, как он чувствовал, будут повторяться все чаще, если он останется в Париже. Во всяком случае, если он начнет тут кататься по земле, то свидетелями окажутся только овцы на лугах Лимузена, а это все же менее неловко, чем рыдать на глазах у друзей и собственной любовницы. Кроме того, побыть в обществе родной сестры, то есть единственного человека, связанного с тобою естественными, кровными узами, казалось ему просто благословением небес. Всякая нарочитость, все показное вызывало в нем ужас. Теперь ему не в чем было себя упрекнуть — он ни перед кем не ломает комедию. Парижскую квартиру он оставил Элоизе, в газете его замещал Жан — он дал им обоим твердое обещание вернуться через месяц вполне здоровым. Но вот он здесь уже две недели и близок к отчаянию. Природа тут великолепна — он это знал, но не чувствовал; родительский дом, безусловно, ему мил — но обжиться он тут не мог; каждое дерево, каждая стена, каждый закоулок как будто говорили ему: «Прежде ты был здесь счастлив, тебе здесь было хорошо», а теперь он бочком пробирался по аллеям сада или по коридорам дома — словно вор. Обворованный вор, у которого украли все, даже детство.

Солнце поднялось и залило светом зеленый луг. Жиль зарылся лицом в росистую траву, повернул голову вправо, влево, не спеша вдыхая запах земли, пытаясь воскресить то блаженное ощущение счастья, которое раньше приходило само собой. Но даже такие простые радости не приходят по заказу, и он сам себе был противен, будто ломал комедию, притворялся, что любит природу,— вот так же мужчине, пылавшему страстью к женщине, неприятно оказаться с ней в постели, когда эта страсть угаснет, повторять те же слова, жесты, хотя сердце у него замкнулось и молчит. Он встал, с досадой обнаружил, что пуловер у него вымок, и направился к дому.

Это был старый серый дом с голубой крышей, с двумя маленькими смешными коньками, типичный лимузенский дом, с террасой на переднем плане и с холмом позади,— дом, где в любое время года и в любой час пахло липовым цветом и летними сумерками. По крайней мере, так казалось Жилю, даже теперь, в этот ранний час, когда он, поеживаясь от утреннего холодка, вошел в кухню. Одилия уже встала и, накинув халат, варила кофе. Жиль поцеловал ее. Она что-то пробормотала о воспалении легких, которое очень легко схватить, валяясь

ранним утром в росистой траве. И все же ему было хорошо возле нее, приятно было вдыхать запах кофе и ее одеколона, запах дров, горевших в камине; ему хотелось бы быть на месте большого рыжего кота, который лежал на сундуке и сейчас, потянувшись, соблаговолил наконец проснуться. «Боже мой, боже мой, вот она настоящая жизнь, простая и спокойная!» Как жаль, что он способен лишь на несколько минут включиться в эту милую рутину — тотчас же жизнь с ее неотвязными тревогами набрасывается на него, будто свора гончих, которые дали затравленному оленю трехминутную передышку и, продлевая наслаждение охотой, погнали его дальше.

В эту минуту в кухню вошел и Флоран, тоже в халате. Он был низенький и такой же толстый, как его жена, но с голубыми, огромными, как два озерца, глазами, словно по ошибке попавшими на его румяное лицо. У него была, кроме того, забавная привычка комментировать жестами все, что говорилось вокруг: если разговор заходил о войне, он загораживал лицо согнутой в локте рукой, а если говорили о любви, прикладывал палец к губам. Поэтому, увидев Жиля, он высоко поднял руку и поздоровался с ним так, словно их разделяло расстояние в сотню шагов.

— Ну как? Хорошо спал, дорогой? Приятные видел сны?

И он бросил на него заговорщицкий взгляд. Он упорно отказывался верить в болезнь своего шурина и объяснял его состояние лишь неудачным романом. Отпирательство Жиля нисколько не помогало. В глазах кроткого нотариуса Жиль был и оставался соблазнителем, которого на сей раз заарканила какая-то дрянь. И видя Жиля простертым в шезлонге, он бросал ему в утешение какую-нибудь игривую фразу: «Одну потерял, десять новых найдешь» — и при этом судорожно растопыривал пальцы обеих рук. Такие шутки вызывали у Жиля безумное желание расхохотаться и одновременно злость, и он не отвечал. Но поразмыслив, он испытывал некоторое удовольствие и даже радовался, что Флоран так плохо понимал его состояние. В конце концов это могло быть и правдой. Вся эта путаница как-то смягчала дело. Так к человеку, заболевшему инфекционной желтухой, приходит приятель и, видя на подушке желтое, как лимон, лицо, выражает беспокойство по поводу того, что тот начинает лысеть.

— Который час? — весело осведомился Флоран.— Восемь часов? День-то, день-то какой прекрасный!..

Жиль, вздрогнув, повернулся к окну. В самом деле, какой прекрасный день его ждет! Надо будет свозить сестру в соседнюю деревню за покупками, а себе купить газеты, журналы, сигареты; вернувшись, он устроится на террасе и будет читать до обеда, а потом — разумеется тщетно — попытается заснуть. Затем — без всякой охоты — пойдет прогуляться по лесу, возвратившись, выпьет перед ужином с Флораном виски и рано, очень рано отправится на боковую, чтобы сестра, уже с восьми часов вечера не находившая себе места, могла наконец включить телевизор. Сам не зная почему, Жиль проявлял к нему слишком уж подчеркнутое отвращение. На минуту ему стало совестно: по какому праву он лишает сестру удовольствия? Неужели посидеть перед телевизором такой уж смертный грех? Ей не очень-то весело живется. Он наклонился к Одилии.

— Сегодня вечером я буду вместе с вами смотреть телевизор.

— Ой нет! — возразила она.— Только не сегодня. Мы все вместе едем к Руаргам. Я же говорила тебе на днях.

— Ну, значит, я в одиночестве буду наслаждаться телевизором,— шутливо сказал он.

— Да ты с ума сошел! — воскликнула Одилия.— Ты тоже поедешь! Мадам Руарг очень приглашала. Она тебя знает с пяти лет...

— Я к тебе приехал не для того, чтобы ходить по гостям,— в ужасе закричал Жиль.— Я приехал сюда отдыхать. Не поеду к Руаргам — и все.

— Нет, поедешь, невежа, сердца у тебя нет, хулиган!..

Оба орали во весь голос, вдруг возвратившись к неистовым ссорам своих юных дней, а перепуганный Флоран, забавно жестикулируя, тщетно пытался их успокоить, он то отчаянно размахивал обеими руками, словно сбившийся с такта дирижер, то назидательно поднимал палец, как проповедник в разгаре поучения. Все было напрасно. Буря гремела целых пять минут, и чего при этом только не было помянуто: и покойная их мать, и распутная жизнь Жиля, и обязанность соблюдать приличия, и непроходимая глупость Одилии — последнее замечание исходило от Жиля. Тут Одилия разразилась рыданиями, Флоран заключил ее в объятия, предварительно погрозив Жилю кулаком и сделав по его адресу смешной боксерский выпад, и тогда Жиль, ошеломленный, побежденный, тоже обнял Одилию и поклялся, что поедет с ней куда угодно. За это его наградили признанием, что он «все-таки славный мальчик». И в восемь часов вечера все трое сели в старенький «ситроэн» Флорана, который он вел так своеобразно, что все тридцать километров, отделявших дом супругов от Лиможа, Жилю некогда было предаваться душевным тревогам — кроме опасений за свою жизнь.

Глава II

В Лиможе еще сохранилось несколько голубых гостиных, встречающихся все реже и реже, и гостиная господ Руарг принадлежала к числу последних экземпляров. Много лет назад обитателями Лиможа владело повальное увлечение голубым бархатом, и некоторые семьи (обычно по причинам финансового характера или во имя верности прошлому) не меняли обстановку. Лишь только Жиль вошел в гостиную Руаргов, на него нахлынули воспоминания детства — сотни вечерних чаев, сотни часов, когда, сидя на мягком пуфе, он поджидал родителей, сотни фантазий в блекло-голубых тонах. Но не успел он оглянуться, как его уже обнимала и прижимала к груди седовласая и розовощекая старушка, хозяйка дома.

— Жиль, миленький мой Жиль!.. Лет двадцать вас не видела... Но вы не думайте, мы с мужем читаем ваши статьи, следим за вашими выступлениями... Конечно, мы не во всем согласны с вами, потому что оба мы всегда были немножко консерваторами,— добавила она, словно признавалась в невинном чудачестве,— но читаем вас с интересом... Вы к нам надолго? Одилия говорила, что у вас как будто малокровие... Очень приятно увидеться с вами... Пойдемте, я вас всем представлю.

Ошарашенный, оглушенный, Жиль покорно предоставил старушке обнимать, ощупывать, восхвалять его. В гостиной было много народу, все разговаривали стоя, кроме трех стариков, восседавших на стульях, и Жилем овладевала паника. Он испепелял негодующими взглядами сестру, но она, в полном восторге, неслась по гостиной на всех парусах, лишь время от времени останавливаясь перед какими-то незнакомыми людьми и радостно бросаясь им на шею. «Сколько же времени я здесь не был? — думал Жиль.— Боже мой, со смерти отца — значит, уже пятнадцать лет. Но зачем я здесь?» Он двинулся вслед за хозяйкой дома, наклоняясь, поцеловал руку десятку дам, обменялся рукопожатием с дюжиной гостей и всякий раз пытался улыбаться, но на самом-то деле едва видел эти незнакомые лица, хотя многие женщины были миловидны и изящно одеты. В конце концов он пристроился возле какого-то сидевшего в кресле старичка, который прежде

всего сообщил, что он один из старых друзей его покойного отца, а затем осведомился, что Жиль думает о политическом положении страны, и тут же сам принялся объяснять ему это положение. Слегка наклонившись к старичку, Жиль делал вид, будто слушает, но тут мадам Руарг потянула его за рукав.

— Эдмон,— воскликнула она,— перестаньте мучить нашего молодого друга. Жиль, я хочу вас представить мадам Сильвенер. Натали, знакомьтесь: Жиль Лантье.

Жиль обернулся и оказался лицом к лицу с высокой красивой женщиной, улыбавшейся ему. Она была рыжеволосая, со смелым взглядом зеленых глаз, с дерзким и вместе с тем добрым выражением лица. Она улыбнулась, сказала низким голосом: «Здравствуйте» — и тотчас отошла. Заинтригованный Жиль проводил ее взглядом. Всем своим обликом она, словно язык яркого пламени, до странности не подходила к голубому выцветшему бархату этой старомодной гостиной.

— Это вопрос престижа...— опять забубнил неутомимый Эдмон.— Ах, вы любуетесь прекрасной мадам Сильвенер? Королева нашего города!.. Ах, будь я в ваших годах!.. Что же касается нашей внешней политики, то такая страна, как Франция...

Ужин тянулся бесконечно. Жиль, сидевший напротив прекрасной мадам Сильвенер, на другом конце стола, время от времени ловил обращенный к нему спокойный, задумчивый взгляд, так не вязавшийся с ее манерой держаться. Она много говорила, вокруг нее было много смеха, и Жиль посматривал на нее с легкой иронией. Должно быть, она действительно чувствовала себя королевой Лимузена и хотела понравиться приезжему парижанину, к тому же журналисту. В прежнее время для него была бы развлечением двухнедельная связь с женой провинциального судейского чиновника, и уж каким красочным рассказом в духе Бальзака он угостил бы своих приятелей, возвратясь в столицу. Но теперь у него не было ни малейшей охоты к любовным приключениям. Он смотрел на свои руки, лежавшие на скатерти, худые, бессильные руки, и ему хотелось поскорее уйти.

Как только встали из-за стола, он, точно ребенок, притулился возле Одилии, и она заметила, что у него осунулось лицо, дрожат руки, глаза смотрят на нее с мольбой. Впервые она по-настоящему испугалась за него. Она извинилась перед мадам Руарг, потащила за собой подвыпившего Флорана, и они сбежали не прощаясь, «по-английски»— насколько это возможно в провинциальной гостиной. Съежившись в машине, Жиль дрожал от озноба и грыз ногти. Нет, клялся он в душе всеми богами, нет, в другой раз он не поддастся, никуда больше он не поедет.

Что касается Натали Сильвенер, то она с первого взгляда полюбила его.

Глава III

Жиль Лантье удил рыбу. Вернее, снисходительно смотрел, как Флоран пускается на любые уловки, в надежде, что рыба польстится на его мерзких червяков, но рыбы оказывались хитрее. Было около полудня, солнце припекало, рыболовы сняли свитеры, и в первый раз за долгое время Жиль испытывал почти что блаженство. Вода была удивительно прозрачная, и, лежа на животе, Жиль рассматривал круглую разноцветную гальку на дне речки, следил за волшебным хороводом рыб, которые бросались к крючку Флорана и, ловко сорвав наживку, радостно уплывали, тогда как рыболов сухим ударом «подсекал» впустую и выкрикивал ругательства.

— Крючки у тебя слишком толстые,— заметил Жиль.

— Такие надо — для пескарей! — рассердился Флоран.— Нечего насмешничать, попробуй-ка сам полови.

— Нет уж, спасибо,— лениво отозвался Жиль,— мне и так хорошо. Постой, кто это?

Он испуганно поднялся: по тропинке шла какая-то женщина, направляясь прямо к ним. Жиль поискал взглядом, где бы укрыться. Но у берега раскинулась ровная, гладкая лужайка. Волосы подходившей женщины сверкали на солнце, и Жиль тотчас ее узнал.

— Это Натали Сильвенер! — воскликнул Флоран и густо покраснел.

— Ты что, влюблен в нее? — пошутил Жиль, но, встретив разъяренный взгляд зятя, сразу умолк.

Натали Сильвенер подошла уже совсем близко и была просто очаровательна — стройная, улыбающаяся, с прищуренными от яркого солнца глазами, еще более зелеными, чем тогда, вечером.

— Меня послала за вами Одилия. Я в прошлый раз обещала заехать к ней и сдержала слово. Как у вас — хорошо клюет?

Рыболовы встали, и Флоран с несчастным видом указал на свое ведерко, где покоилась единственная рыбка-самоубийца. Мадам Сильвенер расхохоталась и, повернувшись к Жилю, спросила:

— А вы? Вы только смотрите?

Он засмеялся вместо ответа. Она присела прямо на землю возле рыболовов. На ней были коричневая кожаная юбка, коричневый пуловер, полуботинки на низком каблуке — она казалась гораздо моложе, чем в прошлый раз. Менее «роковой женщиной». «Ей лет тридцать пять»,— определил на глазок Жиль. Теперь она куда меньше пугала его — вернее, уже не казалась ему чужой.

— Ну, покажите-ка свои таланты,— сказала она Флорану, и тут повторилась та же сцена.

Они с ужасом увидели, как поплавок вдруг нырнул, Флоран подсек, и — увы! — на конце лески болтался голый крючок. Жиль захохотал, а Флоран бросил удилище на землю и сделал вид, что в ярости топчет его ногами.

— Довольно с меня! Возвращаюсь домой! — воскликнул он.— Пойду приготовлю для вас коктейль «Порто-флип», если хотите.

— «Порто-флип»? — изумился Жиль.— Такое еще существует?

Жиль и мадам Сильвенер еще немного посмеялись, глядя вслед Флорану, который, ковыляя, лез в гору со своими двумя удочками, складной скамеечкой и ведерком, а когда он исчез из виду и они остались одни, оба смутились. Жиль сорвал былинку, надкусил ее. Он чувствовал на себе пристальный взгляд этой женщины, и у него мелькнула смутная мысль, что стоит ему протянуть руку... Чем она ответит — поцелуем или пощечиной,— он не знал. Но что-то произойдет, в этом он был уверен. Только он уже отвык от неопределенных положений — в Париже все было наверняка, в открытую, само шло ему навстречу. Он откашлялся, поднял глаза. Она смотрела на него раздумчиво, как позавчера, на том чертовом ужине.

— Вы с моей сестрой большие приятельницы?

— Нет. По правде сказать, она изумилась, когда я приехала.

И замолчала. «Прекрасно,— подумал Жиль,— значит, ответом был бы поцелуй. В провинции тоже времени не теряют». Но что-то в этой женщине сдерживало его цинизм.

— Почему же вы приехали?

— Хотела увидеть вас,— спокойно ответила она.— Вы мне сразу тогда понравились. Вот и захотелось еще раз на вас посмотреть.

— Это очень мило с вашей стороны.

Веселые и спокойные интонации ее голоса определенно смущали Жиля. Он был обескуражен.

— Когда вы так скоро уехали в тот вечер, все принялись сплетничать о вас: о вашем образе жизни, о вашем нервном заболевании... Это было весьма занятно. Фрейд, да еще в провинции,— это действительно занятно.

— И вы приехали проверить — есть ли симптомы?

Теперь он был просто взбешен. Подумайте: о нем болтают как о больном, и она без обиняков говорит ему об этом.

— Я ведь сказала вам, что приехала увидеть вас. Мне дела нет до ваших недугов. Пойдемте пить «Порто-флип».

Она легко вскочила на ноги, а он остался лежать и вдруг почувствовал досаду, что все оборвалось. Он смотрел на нее из-под опущенных ресниц, смотрел надувшись, с сердитым и обиженным выражением, которое, как он знал, очень ему шло, и вдруг она быстро опустилась возле него на колени, взяла его голову в руки и, наклонившись совсем близко к его лицу, улыбнулась загадочной улыбкой.

— До чего же худой! — сказала она.

Они пристально смотрели друг на друга. «Если она поцелует меня,— думал Жиль,— все кончено! Ни за что не встречусь с ней еще раз. А жаль, очень жаль». Эти дурацкие мысли разом пронеслись у него в голове, и сердце вдруг заколотилось. Но она уже вскочила и отряхивала юбку, не глядя на него. Жиль поднялся и пошел вслед за нею. На полдороге он остановился на мгновение, и она обернулась к нему.

— Послушайте, вы, быть может, немножко сумасшедшая?

Лицо ее вдруг приняло строгое выражение, и она сразу постарела на десять лет. Она покачала головой:

— Нет, нисколько.

И уже до самого дома они не перекинулись ни словом. «Порто-флип» был достаточно охлажден, Одилия суетилась, раскрасневшись от волнения — ведь Натали Сильвенер была местной знаменитостью,— а Флоран надел чистую куртку. Гостья посидела еще с полчаса, была утонченно любезна, разговорчива, а потом Жиль проводил ее до машины. Она сказала, что завтра днем заедет за ним, раз ему так хочется побывать на выставке Матисса в городском музее. До вечера Жиль пребывал в угрюмом и злобном настроении и лег спать еще раньше, чем обычно. «Да что это на меня нашло? Зачем я взвалил на себя эту обузу? Все кончится деревенским борделем в окрестностях Лиможа, и я наверняка окажусь не на высоте. А завтра еще два часа изнывать от скуки в музее. Уж не рехнулся ли я?» Проснулся он очень рано, сердце у него заколотилось от ужаса, когда он вспомнил, что ему предстоит, и он горько пожалел, что нарушилась устоявшаяся, уютная скука, обычно заполнявшая его дни. Но в доме не было телефона, и невозможно было предупредить Натали Сильвенер. Пришлось ее ждать.

Глава IV

— Ну что? — сказал он.— Довольны?

И он откинулся на спину, весь в поту, задыхающийся, униженный. Он тем более чувствовал свое унижение, что упрекнул ее несправедливо,— ведь он сам завлек ее в эту постель. Они пили чай в придорожной гостинице, и Жиль, сунув хозяину денег, получил эту жалкую комнатенку. Натали, однако, и глазом не моргнула, когда он объявил ей об этом, ни единым словом не возразила, но ничего и не сделала для того, чтобы помочь ему. А теперь она лежала рядом с ним, нагая, спокойная и как будто даже равнодушная.

— Чем же мне быть довольной? У вас такой злобный вид...

Она улыбалась. Он воскликнул раздраженно:

— Для мужчины, согласитесь, это не очень приятно.

— И для женщины тоже,— спокойно сказала она.— Но ведь ты заранее знал, что это будет именно так, да и я, впрочем, знала. Ты нарочно снял эту комнату. Тебе нравятся неудачи. Правда?

Да, это была правда. Он положил голову на ее обнаженное плечо и закрыл глаза. Он вдруг почувствовал себя опустошенным и умиротворенным, словно после безумия любовных ласк. Комната с ее пестрыми занавесками и ужасным сундуком была ни с чем несообразна — вне времени, вне смысла, как он сам и как создавшееся положение.

— Почему же ты согласилась? — растерянно спросил он.— Если знала...

— Думаю, мне еще на многое придется соглашаться — ради тебя,— сказала она.

Наступило молчание, а потом она тихонько сказала: «Расскажи»,— и он принялся рассказывать. Обо всем: Париж, Элоиза, приятели, работа, последние месяцы. Ему казалось, что понадобятся годы, чтобы все рассказать... чтобы очертить это «ничто». Натали слушала не прерывая, лишь время от времени закуривала две сигареты и одну передавала ему. Было уже около семи, но она как будто и не думала об этом. Она не касалась его, не гладила по голове, не перебирала волосы, лежала неподвижно, и плечо у нее, наверно, уже онемело.

Наконец он умолк, чувствуя себя чуть-чуть неловко, приподнялся на локте и посмотрел на нее. Она внимательно разглядывала его, не шевелясь, лицо у нее было серьезное, сосредоточенное, и вдруг она улыбнулась. «Добрая женщина,— подумал Жиль,— невероятно добрая женщина». И при мысли об этой светлой доброте, обращенной на него, при мысли о том, что кто-то безраздельно им интересуется, у него на глазах выступили слезы. Он наклонился и, чтобы скрыть их, коснулся тихим поцелуем ее улыбающихся губ, ее щек, ее опущенных век. В конце концов, не такой уж он оказался бессильный. Пальцы Натали вцепились ему в плечи.

Впоследствии, много позже, он вспоминал, что именно мысль о доброте Натали тогда, в первый раз, позволила ему овладеть ею. И он, для которого эротика никогда не связывалась с добротой, он, которого скорее способны были возбудить слова: «Это настоящая девка», позже, много позже, слишком, кстати сказать, поздно, настораживался, когда при нем кто-то небрежно произносил: «Это добрая девчонка». А сейчас он, улыбаясь, смотрел на Натали и — впрочем, не без некоторого самодовольства — извинялся за то, что ласки его были грубы. Она одевалась, стоя в изножии кровати, и вдруг, повернув голову, прервала его:

— Не могу сказать, чтобы это было восхитительно, но ты ведь чувствуешь себя лучше, правда? Освободился от заклятия?

Он даже подскочил: обидеться ему или нет?

— Ты что же, всегда считаешь себя обязанной говорить такого рода истины?

— Нет,— ответила она,— впервые говорю.

Он рассмеялся и тоже встал. Было уже половина восьмого, она, вероятно, запаздывала.

— Ты едешь сегодня на званый обед?

— Нет, я обедаю дома. Франсуа, должно быть, беспокоится.

— Кто это — Франсуа?

— Мой муж.

И только тут он с изумлением подумал: «А ведь мне и в голову не приходила мысль, что она замужем». Он ничего не знает о ее жизни, о ее прошлом и настоящем. Одилия на днях начала было вводить его в курс светских пересудов насчет Натали — он все пропустил мимо ушей. Ему стало неловко.

— Я ничего о тебе не знаю,— пробормотал он.

— А час тому назад я о тебе ничего не знала. Да и теперь не очень много знаю.

Она улыбнулась ему, и он застыл, завороженный этой улыбкой. Нет-нет, именно теперь, сию же минуту он должен дать обратный ход, если это надо. А это надо: он не способен любить кого бы то ни было, равно как не способен любить себя. Он может только причинить ей страдания. А сейчас достаточно какой-нибудь грубоватой шутки, и она почувствует презрение к нему. Но ему уже неприятно было об этом думать, в то же время его пугала ее смелая, искренняя, исполненная обещаний улыбка. Он пробормотал:

— Знаешь, я ведь...

— Знаю,— спокойно сказала она.— Но я уже люблю тебя.

На секунду в нем вспыхнуло чувство возмущения, даже негодования. Простите, так не ведут любовную игру: нельзя же сдаться со всеми своими кораблями в руки незнакомого человека! Нет, она сумасшедшая! Да какой интерес обольщать ее, раз она сама признала себя обольщенной? Как он может надеяться полюбить ее, если с первой же минуты не имеет основания сомневаться в ее чувстве? Она все испортила! Повела игру против всех правил. И в то же время его восхищала щедрость ее натуры, ее безрассудство.

— Откуда же ты можешь знать? — сказал он все тем же легкомысленным и ласковым тоном и, глядя на нее, вдруг подумал, что она очень красива и просто создана для любви и что она, возможно смеется над ним. Она же, не отрываясь, глядела на него и вдруг проговорила со смехом:

— Ты боишься, что я сказала правду, и вместе с тем боишься, что это неправда,— верно?

Он закивал головой, втайне радуясь, что она его разгадала.

— Ну так вот: я сказала правду. Ты читал когда-нибудь русские романы? Внезапно, после двух встреч, герой говорит героине: «Я люблю вас». И это правда, и это ведет повествование прямо к трагическому концу.

— А какой трагический конец ты предвидишь для нас с тобой в Лиможе?

— Не знаю. Но так же, как героям русских романов, мне это безразлично. Поторапливайся.

Он вышел вместе с нею, несколько успокоенный: с начитанной женщиной спокойнее — она смутно знает, что ее ждет или что ждет ее партнера. Закатное солнце вытягивало косые тени, розовый свет заливал стога сена, и Жиль не без удовольствия смотрел на тонкий профиль своей новой любовницы. В конце концов, она была красива, красивы были и луга и рощи, а он, Жиль, хоть и не блестяще, но все же показал себя мужчиной, и она сказала, что любит его. Для неврастеника не так уж плохо. Он засмеялся, и она обернулась к нему.

— Ты чему смеешься?

— Да так. Я доволен.

Она вдруг остановила машину, крепко взяла его за лацканы куртки и встряхнула, причем все произошло так быстро, что он был ошеломлен.

— Скажи еще раз. Повтори. Скажи, что ты доволен.

Она проговорила это совсем по-новому — с требовательными,

властными, чувственными интонациями, и у него внезапно вспыхнуло желание. Он сжал ее запястья и, целуя ей руки, повторял изменившимся голосом: «Я доволен, доволен, доволен». Она разжала пальцы и молча повела машину дальше. Почти до самого дома они не разговаривали и, когда Жиль вышел у ворот, они не назначили свидания. Но вечером, лежа на кровати в своей спальне, Жиль все вспоминал эту странную остановку на краю дороги и, улыбаясь, думал, что это было здорово похоже на страсть.

Глава V

Несколько дней Жиль не получал от нее вестей и ничуть не удивлялся. Он, вероятно, был для мадам Сильвенер случайным эпизодом, к тому же эпизодом не слишком приятным, о любви же она говорила просто из приличия, из нелепого буржуазного приличия, а может, у нее просто такая мания. Но все же он был несколько разочарован, и это усилило его обычную теперь хандру. Он почти не разговаривал со своими, брился через день и пытался читать книги, избегая, однако, русских писателей.

На пятый день, после двенадцати, когда лил ужасный дождь, Жиль, плохо выбритый, лежал, скрючившись, на диване в гостиной, и вдруг она вошла и села возле него. Она пристально смотрела на него, он видел ее широко раскрытые зеленые глаза, слышал запах дождя, исходивший от ее шерстяного платья. Наконец она заговорила напряженным, срывающимся голосом, и Жиль тотчас почувствовал огромное облегчение.

— Ты не мог позвонить мне по телефону? Или приехать?

— У меня нет ни телефона, ни машины,— весело ответил он и попробовал взять ее за руку.

Она сухо отдернула руку.

— Я ждала пять дней,— прошептала она.— Пять дней ждала растрепанного, небритого человека, который к тому же занимается разгадыванием кроссвордов.

Она явно была вне себя от гнева, и это обрадовало Жиля гораздо больше, чем он мог ожидать. Любопытно, что он, может быть, впервые не поздравлял себя с ловким маневром, а просто думал о том, как он ошибся в оценке характера Натали. Он попробовал объясниться:

— Я не был уверен, что тебе очень хочется меня видеть.

— Но ведь я сказала, что люблю тебя,— ответила она хмуро.— Сказала я или нет?

И вскочив, она двинулась к двери так быстро, что он чуть не упустил ее. Она уже была в прихожей, уже надевала плащ, когда он догнал ее. Каждую минуту могла войти Одилия или кухарка, но все-таки он обнял ее. Шум дождя, барабанившего по стеклам, эта разгневанная женщина, ее неожиданное появление, запах дров, сложенных под лестницей, тишина в доме — все это немного опьяняло его. Он тихо целовал ее, а она упорно не поднимала головы, но вдруг вскинула ее, и сама бросилась ему на шею. Он повел ее к себе в комнату, почти не скрываясь, с той дерзкой удачливой смелостью, которую порождает желание, и они по-настоящему стали любовниками, какими могут быть лишь люди, влюбленные в любовь и опытные в любви. Так Жиль вновь обрел вкус к наслаждению.

Уже смеркалось. Жиль слышал, как внизу сестра отдает какие-то распоряжения громче, чем обычно; и, вдруг поняв причину этого, повернулся к Натали и стал беззвучно хохотать. Она лениво открыла глаза и тотчас опустила веки. Он спросил:

— Ты где оставила машину?

— У крыльца. Почему ты спрашиваешь? Ах, боже мой, я совсем забыла о твоей сестре и Флоране. Я хотела только обругать тебя и тотчас уехать. Что они теперь подумают?

Она говорила усталым, спокойным голосом, каким говорят после любви, и Жиль удивлялся, как мог он почти четыре месяца жить, не слыша такого голоса. Он улыбнулся.

— А по-твоему, что они подумают?

Она не ответила, повернулась.

— Я знала,— сказала она.— Знала, что у нас с тобой так будет. Знала, лишь только увидела тебя. Странно.

— Лучше, чем странно,— сказал он.— Пойдем выпьем «Портофлип».

— Как же мы спустимся к ним? Без всяких объяснений?

— Это единственный способ,— сказал Жиль.— Никогда не нужно ничего объяснять. Одевайся.

Он говорил властным, решительным тоном, какого у него уже давно не было, и сразу осознал эту перемену, заметив веселый и несколько иронический взгляд, который бросила на него Натали, еще лежавшая под одеялом; он наклонился, поцеловал ее в плечо.

— Да,— сказал он,— мы существа слабые, и нас внезапно захватывает нечто, не поддающееся контролю. Спасибо тебе, Натали.

Они вошли в маленькую гостиную с той беспечностью, какая обычно появляется у любовников старше тридцати лет после счастливого и решающего свидания. Зато Флоран и Одилия смущенно вскочили и покраснели. Флоран, всплеснув руками, воскликнул: «Какой сюрприз!» Одилия же похвалила Натали за то, что у нее достало мужества приехать в такой ужасный дождь, тогда как у нее, Одилии, недостало мужества даже высунуть нос на улицу. Это, разумеется, должно было означать, что ни хозяин, ни хозяйка дома не заметили автомобиля, уже два часа стоявшего перед их крыльцом. После такого проявления светского такта и крайней слабости зрения Одилия, к большому удовольствию брата, заговорила о том, что в такую погоду совершенно необходимо чего-нибудь выпить, чтобы согреться,— тут она опять покраснела, а Флоран ринулся за бутылкой портвейна. Натали сидела на диване, уронив на колени, словно неодушевленный предмет, узкие кисти рук, улыбалась, отвечала на вопросы, иногда бросала быстрый взгляд на Жиля, который стоял, опершись на каминную полку, и с видом некоторого превосходства забавлялся этой провинциальной комедией.

— Такая погода, наверно, помешает Касиньякам устроить бал на открытом воздухе,— сокрушалась Одилия.

— Вы к ним собираетесь? — спросила Натали.

— Я боялась, что Жиль не захочет,— опрометчиво ответила Одилия,— но теперь...

На мгновение она умолкла, оцепенев от ужаса, а Флоран, протягивавший ей стакан, застыл, свирепо вращая глазами. Жиль чуть было не расхохотался, но успел отвернуться.

— ...но теперь он выглядит немного лучше,— вяло добавила Одилия,— и, может быть, согласится поехать с нами...

Она с мольбой взглянула на брата, и он кивнул, желая ее успокоить. У Натали глаза были полны слез — должно быть, она тоже с трудом сдерживала душивший ее смех. «Боже мой,— вдруг подумал Жиль,— как я должен быть благодарен этой женщине! Так давно я не испытывал этого состояния блаженной усталости, которая следует за любовью и вызывает то слезы, то безудержный смех».

— Ну, конечно, я поеду,— весело отозвался он.— Но танцевать я буду только с вами двумя.

И он так нежно улыбнулся Натали, что у нее затрепетали ресницы и она отвернулась.

— Ну, мне пора,— сказала она.— Завтра вечером мы, значит, увидимся у Касиньяков?

Жиль помог ей надеть пальто. Он захлопнул за ней дверцу машины и просунул голову в окно.

— А завтра днем?

— Не могу,— ответила она с отчаянием.— Завтра у меня собрание дам — членов Красного Креста.

Он засмеялся:

— Ах, верно: ты ведь супруга важного чиновника.

— Не смейся,— вдруг сказала она низким, дрогнувшим голосом,— не смейся. Ты не должен смеяться.

И она уехала, а Жиль продолжал стоять озадаченный и раздумывал над ее словами.

Весь вечер сестра хлопотала вокруг него, не зная, чем ему еще угодить, и это его смешило. Женщинам нравится видеть своих братьев, а то и сыновей в роли удачливых ловчих, в особенности если их женская жизнь, как у Одилии, прошла без тени романтики. Это как бы месть за свою неосознанную неудачливость.

Глава VI

Погода смилостивилась над Касиньяками, и пикник, устроенный ими в саду, был в полном разгаре, когда приехали Жиль и Одилия с Флораном. Стоял июнь, на широкой зеленой площадке перед домом было чудесно, не жарко, а тепло, и яркие туалеты женщин, смех мужчин, запах цветущих каштанов создавали у Жиля впечатление чего-то довоенного, нереального. В отношениях между этими провинциалами чувствовалась какая-то непосредственность и простота, что-то мягкое было в самой атмосфере праздника, и обожаемый Жилем Париж представлялся ему отсюда кошмаром. Одилия шла с братом под руку, раскланиваясь направо и налево, знакомила Жиля с гостями, надеясь в конце концов обнаружить в толпе хозяйку дома. Вдруг Жиль почувствовал, что рука ее напряглась, и Одилия остановилась перед высоким, довольно красивым человеком — среди типичных жителей юго-западного уголка Франции любопытно было видеть эту англизированную фигуру.

— Франсуа, вы знакомы с моим братом? Познакомься, Жиль,— мосье Сильвенер.

— Очень рад, но мы уже встречались: вместе были на ужине у Руаргов,— ответил удивленный Сильвенер.

— Ну, конечно,— сказал Жиль, хотя он совершенно этого не помнил. Он думал: «Так вот он, муж! Что же, недурен собой. И по слухам, весьма богат. Но, должно быть, не слишком покладистый господин. И не слишком веселый. Интересно, говорит она ему на ухо такие вещи, как мне? Конечно, нет». И обмениваясь рукопожатием с Сильвенером, он вдруг почувствовал желание держать Натали в объятиях, как позавчера.

— Вы живете в Париже? — спросил Сильвенер.

— Да, уже десять лет. Вы часто туда наведываетесь?

— Стараюсь как можно реже. Жена, разумеется, обожает ваш Париж, но у меня Париж вызывает раздражение.

Одилия, видимо успокоившись, что соперники тут же не вызовут друг друга на дуэль, с довольным видом перекочевала к другой группе гостей. Жиль с удовольствием присоединился бы к ней: какие-то уцелевшие пережитки не то морали, не то эстетики не позволяли ему

любезничать с мужьями или друзьями своих любовниц. Но Сильвенер стоял один, и Жилю было неловко бросить его. Он тщетно искал глазами Натали, продолжая беседовать с Сильвенером о трудностях уличного движения в Париже, о стоимости номеров в гостиницах, об адском шуме больших городов. Внезапно ему стало невмоготу, и он мысленно решил: «Уеду сейчас же домой. Хватит с меня этой танцульки. Натали могла бы все-таки разыскать меня...» Он уже подбирал вежливую фразу, чтобы удрать от Сильвенера, как вдруг подошла Натали. На ней было прекрасно сшитое зеленое платье, такого же оттенка, как глаза, она смотрела на Жиля, улыбающаяся, чуть побледневшая, и он тотчас решил остаться.

— Вы, полагаю, уже знакомы,— сказал Сильвенер.

— Мы встречались у Руаргов,— повторил Жиль его слова, склоняясь перед Натали; он был доволен своим ответом, так как сказал правду и притом без всякого намека: Жиль ненавидел этот прием настороженных любовников. Натали улыбнулась.

— Совершенно верно. Мосье Лантье, мать хозяина дома ходить не может — прикована к креслу, но она заметила вас и просила привести вас к ней. Пойдемте?

Жиль последовал за ней, смутно различая лица, мимо которых проходил, кланялся тем, кого как будто узнавал, и улыбался, представляя себе, какую физиономию скорчил бы, например, Жан, если бы увидел его тут. Итак, они с Натали прошли через террасу и направились в тенистый сад, где в беседке из ржавых металлических прутьев, обвитых зеленью, возвышалось, словно трон, кресло на колесах старой хозяйки дома. И вдруг Натали, как испуганный конь, бросилась в сторону, увлекая за собой Жиля, и стала за деревом. Тотчас волосы ее коснулись его щеки, она прижалась к нему всем телом, и эта сумасбродная неосторожность так взволновала Жиля, что у него вспыхнуло лицо, заколотилось сердце, и он, не сдержавшись, осыпал ее страстными поцелуями, словно был безумно в нее влюблен.

— Перестань,— шептала она,— перестань, Жиль...

По аллее шли люди, и он едва успел наклониться, якобы завязывая развязавшийся шнурок, в то время как Натали рассеянным движением поправляла волосы. Она обменялась веселым приветствием с проходившими мимо гостями, представила им Жиля. Затем он, с все еще бьющимся сердцем, подошел к ручке старшей мадам Касиньяк, и она похвалила его статьи, которых явно не читала. А потом они с Натали, как положено, неторопливым шагом вернулись к дому. Уже вечерело, внук мадам Касиньяк запустил старенькую радиолу, и под звуки «шейка» самые молодые из гостей принялись мерно покачиваться из стороны в сторону и вихлять бедрами, а ими насмешливо и умиленно любовались более или менее подагрические старички. Жиль злился на себя за свою несдержанность.

— А знаешь, муж у тебя совсем недурен,— сказал он одобрительно-насмешливым тоном.

Натали посмотрела на него.

— Не говори мне о нем. Не будем о нем говорить.

— Я просто пытаюсь быть объективным,— тем же шутовским тоном продолжал Жиль.

— А я не прошу тебя быть объективным,— сухо сказала Натали и отошла.

Он закурил сигарету, хихикнул, но вдруг стал противен самому себе. Что он из себя корчит? С чего ему вздумалось разыгрывать роль пресыщенного парижанина, циничного и развязного журналиста на отдыхе? Неужели нельзя обойтись без штампов донжуанства? Он прислонился к дереву. Нет, надо уехать, исчезнуть, предоставить этой

женщине жить своей жизнью. Слишком она хороша для него, слишком цельная натура для несчастного дегенерата, лгуна и комедианта, каким он стал. Надо ей все это объяснить — сейчас же, немедленно.

Но когда он отыскал Натали, она оказалась не одна. Его несчастная жертва находилась в окружении трех мужчин, из которых один был очень красив; все трое были явно очарованы ею, все громко смеялись. Жиль пригласил ее на танец, но красивый незнакомец деликатно остановил его:

— Неужели вы похитите Натали у ее мушкетеров? Ведь мы трое — ее мушкетеры. Разрешите представиться: меня зовут Пьер Лакур, а вот эти двое — Жан Нобль и Пьер Гранде. Выпейте с нами чего-нибудь и расскажите нам о Париже.

Глаза Пьера Лакура светились лукавством и спокойной уверенностью, так же как у обоих его приятелей, так же как у самой Натали, и Жиль почувствовал себя смешным. Молодой красавец Лакур — несомненно ее любовник или был ее любовником, и потому сейчас он так снисходительно рассматривает щуплого, фатоватого парижанина. А он-то боялся причинить ей страдания, испытывал угрызения совести. Он улыбнулся и взял стакан с виски с соседнего столика.

— Сейчас Натали жестоко раскритиковала книгу, о которой я дал в печати хороший отзыв,— сказал тот, что назвался Лакуром.— Должен вам признаться, что я преподаю литературу в Лиможе и время от времени имею смелость сотрудничать в местной газете.

— Значит, мы с вами коллеги,— вежливо сказал Жиль.

Он до смерти разозлился на себя: какой же он дурак! Как он мог подумать, что женщина, которая сама бросилась ему на шею и отдалась ему при первом же свидании, женщина, обладающая такими большими познаниями в науке страсти, вдруг влюбилась в него? Как мог он это вообразить? Она просто нимфоманка да еще с претензией на интеллигентность. Он был взбешен и сам этому удивлялся. Давно уже он не приходил в такую ярость.

— Разрешите все же пригласить вас на этот танец,— сказал он.— По-видимому, фокстроты здесь танцуют редко, а я уже не в том возрасте, когда занимаются акробатикой...

Натали улыбнулась, положила руку ему на плечо, и они вышли на круглую паркетную площадку, выложенную прямо на земле. Они сделали несколько па молча, потом Натали вскинула голову.

— Ты больше не будешь?

— Чего не буду?

— Говорить о Франсуа.

Жиль совсем забыл об их столкновении. Если бы дело было только в этом!.. Он любезно улыбнулся.

— Нет, больше не буду. А знаешь, твой мушкетер номер один — просто красавец. Ну, тот... преподаватель литературы... И, по-видимому, обожает тебя.

И услышав ответ, сбился с такта:

— Надеюсь, что обожает. Это ведь мой брат. А хорош, правда? — Через минуту она прошептала: — Не прижимай меня к себе, Жиль. На нас смотрят. Жиль, Жиль ты счастлив?

— Да,— ответил он.

И в эту минуту он говорил правду.

Глава VII

Утром Жиль получил телеграмму от Жана с просьбой срочно позвонить по телефону. И вот теперь, в полдень, он задыхался от жары в маленьком почтовом отделении Беллака, встревоженный и вместе с

тем обрадованный предстоящим разговором, который как бы свидетельствовал о том, что он в своей области еще имеет какой-то вес. Пришлось пройти через трех обрадовавшихся ему секретарш, пока не вызвали Жана, и наконец откуда-то издалека, словно с другой планеты, донесся голос Жана:

— Алло, Жиль? Как дела — лучше себя чувствуешь? Да? Ну, я так и знал... Рад, очень рад, дружище...

«Идиот несчастный,— незаслуженно обругал его про себя Жиль,— ничего ты не знал! Ты и представить себе не мог, что произойдет. Не говори мне, как моя сестрица, что ты надеялся на чистый воздух Лимузена. Мне стало лучше, потому что здесь нашлась женщина, которая полюбила меня, и я принимаю ее любовь. Не мог же ты это предвидеть!»

Но, думая о своем, он все же отвечал отрывистыми спокойными фразами, словно тяжело раненный человек, жизнь которого наконец спасена и который понимает, как он напугал своих друзей.

— ...слушай,— продолжал Жан.— Лену насмерть разругался с шефом. Предполагается передать иностранный отдел тебе. Клянусь, это правда!.. И я тут, представь, ни при чем... Ну, что ты скажешь?

Он явно ликовал, и Жиль напрасно старался разделить его радость. Наплевать ему было на все эти перемещения. Должность, которую ему раньше так хотелось занять, теперь стала для него несущественной мелочью.

— Это, конечно, будет не раньше октября. Я без церемоний сказал шефу, что ты смылся куда-то. О депрессии, разумеется, ни слова — сам понимаешь, сейчас это произвело бы невыгодное впечатление. Возвращайся как можно скорее, хотя бы на несколько дней... пусть шеф посмотрит на тебя... а то, знаешь, наши милые дружки...

«Так значит, моя депрессия произвела бы неприятное впечатление? — иронически думал Жиль.— Порядочный человек, выходит, не имеет права заболеть?.. Хороший журналист непременно должен быть счастливцем, весельчаком, даже распутником... Кем угодно, только не неврастеником. Честное слово, кончится тем, что в один прекрасный день меланхоликов начнут угощать цианистым калием... Вот-то будет отравителям работы...»

— Ну рад? — раздался голос Жана, говорившего ласковым тоном и, должно быть, чрезвычайно довольного своей сердечностью.— Когда приедешь?

— Завтрашним поездом,— не очень уверенно ответил Жиль.— Самолета нет, ты знаешь. Приеду завтра экспрессом, в одиннадцать вечера.

— Выезжай-ка лучше сегодня.

Жиль вдруг возмутился:

— Что за пожар? Если шеф действительно решил назначить меня, так неужели он не может подождать один день?

Наступило молчание, затем Жан коротко и разочарованно произнес:

— Я думал, для тебя это именно пожар, вот и все. Приеду на вокзал к поезду, встречать тебя. До свидания, старик.

Он повесил трубку, Жиль вытер мокрый лоб: в кабине была невыносимая духота. В три часа дня у него было назначено свидание с Натали. Неужели он из-за этого задерживается? А он ведь знал, что когда в редакции этой газеты освобождается важная должность, там действительно начинается пожар. Должно быть, основательная идет там сейчас суматоха. А он из-за женщины может упустить случай. Надо сейчас же позвонить Жану и сказать: «Выезжаю сегодня же». Он нерешительно топтался перед телефонисткой. И вдруг увидел в

окне, как на ветру колышется пшеница, зеленеет трава, представил себе тело Натали, ее жаркие ласки, меткие слова и быстро вышел. Флоран ждал его у дверей, сидя за рулем своей машины.

— Ну что? Хорошие новости или плохие?

У него был искренне встревоженный вид, и Жиль, который обычно его не замечал, на минуту почувствовал настоящую симпатию к этому простодушному существу с большими голубыми глазами. Он улыбнулся Флорану — можно сказать, улыбнулся мужественно, так как в эту минуту Флоран ехал чуть не «впритирку» к большому грузовику.

— Мне предлагают довольно важную должность в газете.

— Ну вот, все разом и уладится,— воскликнул Флоран,— все уладится. Я всегда говорил: жизнь — это как волны в море. Одна волна вверх, другая вниз...

И он изобразил руками движение волн, чуть не свернув при этом машину в кювет. Быть может, Флоран был прав, но Жиль не решился сказать в ответ, что лично он страшится и счастливых и несчастливых волн, страшится и ответственности, ожидающей его на новом месте, и любви Натали, и будничности, и одиночества.

Глава VIII

— Так ты, значит, завтра уезжаешь? — повторила Натали.

Она лежала одетая на кровати Жиля и о чем-то думала. Как только она приехала, он все рассказал ей, в общем довольный, что может предстать перед ней в роли честолюбца и триумфатора, куда более лестной, чем роль незадачливого неврастеника. Увлекшись, он даже с некоторым пафосом заговорил о важности новой работы, о моральной ответственности перед читателями, о страстном интересе, который всегда вызывает у них внешняя политика,— словом, он проявил такой энтузиазм, какой ему следовало бы выказать при разговоре с Жаном по телефону. Ему даже пришла в голову несколько ироническая мысль, что он старается ослепить свою любовницу, чтобы заглушить голос совести, укорявший его за то, что он не оправдал надежд своего друга. Однако Натали совсем не была ослеплена. Скорее — оглушена.

— Я уезжаю на неделю,— сообщил он.— На неделю или на две. И потом вернусь. Работать начну с октября.

— Как школьники,— рассеянно бросила она.

По мере того как Жиль рассказывал о предстоящей ему работе, он все больше начинал верить в то, что предложение это заманчивое, и в конце концов даже рассердился на себя и на Натали за то, что ради сегодняшнего свидания рискует потерять такую должность. Но вслух он все же не осмелился это сказать. Она сама заговорила об этом.

— Если это так важно, почему ты не выехал сегодня?

— У нас же было назначено свидание.

И хотя он сказал святую правду, ему почудилась в собственных словах какая-то фальшь. Она пристально посмотрела на него.

— А может быть, ты просто подумал, что неудобно бросить женщину, даже если ты знаком с нею только две недели, ограничившись короткой запиской.

Говорила она спокойно, а Жиль поймал себя на том, что отрицательно качает головой и, пожалуй, даже краснеет, как будто он солгал. А что, если она в конце концов права, а что, если он больше никогда не вернется? Его захватит Париж, лето, приятели, море, путешествия, и, возможно, Натали останется для него лишь двухнедель-

ным романом в начале лимузенского лета. Внезапно он увидел себя глазами этой женщины — свободным, смелым, вновь легкомысленным и сильным, каким он был всю жизнь. Глубокая нежность овладела им — и он сам не знал, чем она вызвана: благодарностью ли за то, что она возродила его прежний, веселый, почти уже забытый им образ, или это говорила в нем жалость к ней, предчувствие, что он не вернется. Он наклонился к ней.

— А если я не вернусь, что ты сделаешь?

— Приеду за тобой,— миролюбиво сказала она.— Обними меня.

Он обнял ее и сразу позабыл и Париж, и политику. Сначала он цинично подумал, что ему будет недоставать такой любовницы, но тут же забыл и об этом и долго лежал неподвижно, положив голову ей на плечо, испуганный мыслью, что должен расстаться с нею хотя бы ненадолго. Она молча гладила его по голове, перебирала ему волосы на затылке. Заходящее солнце заливало комнату светом, и Жиль понял, что никогда не забудет этого мгновения. Что бы ни произошло в дальнейшем.

— Я отвезу тебя на вокзал,— сказала она.— Только не в Лимож, а во Вьерзон. И приеду за тобой, когда ты вернешься.

В ее голосе прозвучало какое-то странное спокойствие, похожее на спокойствие отчаяния.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Париж

Глава I

Об Элоизе он вспомнил лишь на перроне вокзала, увидев, что она бежит ему навстречу. Сзади шел Жан, несколько загадочный и добродушный. Жилю, ошеломленному своей забывчивостью, пришлось обменяться долгим поцелуем с этой чужой для него женщиной. «А ведь она существует,— думал он,— живет у меня, это ужасно... Ну что бы Жану напомнить мне!..» Эта простая мысль рассмешила его. Как будто всякий раз, когда ты возвращаешься из отпуска, добрый друг обязан напоминать, что у тебя есть любовница и живет она у тебя... Сейчас духи Элоизы, прикосновение ее губ были ему просто неприятны. Он вспомнил последний поцелуй Натали во Вьерзоне, три часа назад, вспомнил их исступленное, самозабвенное прощание, и внезапно им овладел суеверный страх. А что, если она попала в аварию, когда возвращалась по этой беспрестанно петляющей дороге,— ведь глаза у нее были полны слез, он увидел это в последнюю минуту. Ему и самому трудно было справиться с волнением, и он целых пять минут сидел в купе, застыв в тупой неподвижности, пока, наконец, не встряхнулся и не пошел твердым шагом в вагон-бар. В таком состоянии он не мог бы вести машину, а ведь Натали всегда гонит. Мастерски, конечно, ведет машину, но так гонит... Он становится просто идиотом. Тихонько отстранившись от Элоизы, Жиль похлопал Жана по плечу и попытался улыбнуться. Вокзал был черным от копоти, шум стоял оглушительный. Только очутившись в машине Жана, он вновь обрел свой любимый Париж, ленивый и голубой, летний ночной Париж. И при мысли о том, сколько счастья он познал за десять лет в Париже, сердце его сжалось, словно все эти радости навсегда были потеряны для него. Ему стало страшно, он вновь почувствовал себя растерянным, подавленным. Чего бы он сейчас не дал, чтобы очутиться на зеленой лужайке в Лимузене и лежать в тени возле Натали.

— Значит, рад, что вернулся? — говорил Жан.

— Очень. А у тебя как дела?

Он пытался принять беззаботный вид.

— Хорошо, что Жан предупредил меня,— весело щебетала сзади Элоиза,— нельзя сказать, чтобы ты забрасывал меня письмами...

— Мне хотелось избавить Элоизу от необходимости брать такси, чтобы встречать тебя,— сказал Жан,— и я заехал за ней. Она была потрясена, что ты приезжаешь...

Жан тоже был весел, но его веселость казалась несколько натянутой.

Он искоса посмотрел на Жиля, как смотрят на приятеля, когда он нашкодил.

— Я пытался тебе звонить,— солгал Жиль, повернувшись к Элоизе,— но мне ни разу не ответили.

— Ничего удивительного, я ведь целыми днями снималась. И знаешь, для какого журнала? Для «Вога»! — Она ликовала.

«Ну что ж, тем лучше,— цинично подумал Жиль,— по крайней мере, хоть это устроится». А сам уже весь был во власти одной-единственной мысли: позвонить Натали или попросить Жана позвонить ей. Он условился с Натали, что вызовет ее только завтра,— ведь было уже одиннадцать вечера, значит, он рисковал нарваться на супруга, но Жиль никак не мог отделаться от этого дурацкого неотвязного призрака аварии. Конечно, он вовсе не влюблен в Натали — просто ему хочется для собственного спокойствия знать, что она жива и невредима. Но как он может звонить из дома при Элоизе — она ни на шаг от него не отойдет, и при Жане — тот будет рассказывать ему о делах в редакции...

— Ты много лучше выглядишь,— сказал Жан,— даже слегка загорел. И это очень кстати: я сказал шефу, что ты уехал на Лазурный берег с восходящей итальянской кинозвездой.

— И я должна все это терпеть! — засмеялась Элоиза, а Жиль от смущения втиснулся глубже в подушки сиденья.

Он тут же представил себе Натали в виде восходящей итальянской кинозвезды, и чувство неудержимой гордости наполнило его: Натали была прекраснее любой итальянской кинозвезды, и она обладала тем, чем не обладают итальянские кинозвезды.

Квартира не изменилась, разве что стала более дамской. Жиль едва не вспылил при виде огромного плюшевого медведя, подаренного Элоизе каким-то фотографом, но сдержался и поспешил отвернуться. Наплевать ему на все это! Он чувствовал себя посторонним в собственном доме. Он уселся в кресло, надеясь, что Жан и Элоиза последуют его примеру и ему удастся как бы между прочим пройти в спальню, где стоит телефон. Но Элоиза, женщина аккуратная, уже оттащила его чемодан в спальню и с шумом открыла стенной шкаф. В полном отчаянии он перестал слушать Жана; в конце концов тот заметил рассеянность друга и, замолчав, вопросительно взглянул на него. Жиль поднялся.

— Прости, старик, я на секунду. Обещал сразу позвонить сестре, ты ведь знаешь, какая она у нас беспокойная...

Он запнулся. Вежливо улыбнувшись, Жан коротко кивнул. В порыве внезапной нежности к старому приятелю, Жиль невольно улыбнулся ему в ответ, мимоходом потрепал его по волосам и прошел в спальню. Там он с непринужденным видом взял телефон, сел на кровать и стал листать справочник. Нужно было набрать десяток цифр, чтобы позвонить Натали.

— А не поздно сейчас звонить? — сказала Элоиза, вешая на плечики его синюю куртку.

— Это сестре,— лаконично ответил он.

Он набрал номер. Если подойдет муж, можно повесить трубку. Послышались долгие гудки, потом, совсем близко — слегка сонный голос Натали. Он только сейчас заметил, что его рука, державшая трубку, стала влажной.

— Алло! — сказал он.— Это я. Я хотел сообщить тебе, что доехал благополучно. Я только хотел узнать, благополучно ли ты добралась до дому.

Он говорил очень быстро, безразличным тоном. Наступила тишина, потом раздался взволнованный, немного хриплый голос Натали.

— Видимо, это ошибка,— сказала она. А секунду спустя добавила почти нежно: — Нет, вы меня ничуть не побеспокоили, мосье.— И повесила трубку.

Жиль на секунду застыл, потом, учитывая присутствие Элоизы, сказал в молчавший аппарат: «Целую вас обоих» — и тоже повесил трубку. Он был весь в испарине.

Значит, муж дома, рядом. И она не могла ничего сказать. Но как она быстро нашлась!.. И как забавно и трогательно прозвучало это: «Вы меня ничуть не побеспокоили, мосье». Значит, все в порядке: она жива и невредима, и она его любит. Странно все-таки, что у него иногда так расходятся нервы... Он вернулся в гостиную легким, свободным, почти деловым шагом, думая о Натали не больше, чем об Элоизе, совершенно успокоившийся на ее счет. И ни на секунду у него не возникло мысли, что, если он успокоился,— значит, нуждался в том, чтобы его успокоили.

— Вот все и снова, как раньше,— произнес в темноте голос Элоизы.— Я знала, что мы с тобой долго будем вместе, очень долго.

Жиль, не отвечая, повернулся на другой бок, в ярости на себя. Они с Жаном слишком много выпили сегодня, все трое слишком много выпили — и за его возвращение, и за его великие успехи. Когда около трех часов ночи Жан ушел, Жилю совсем не хотелось спать, ему было весело, он был полон победоносной уверенности в себе — одним словом, был пьян, и вот он переспал с Элоизой, почти машинально, вновь обретя свою мужскую силу, как он переспал бы с любой другой женщиной, оказавшейся в его постели. Короче говоря, он обманул Натали, что не слишком его беспокоило, так как она никогда об этом не узнает; хуже было то, что он обманул самого себя, потому что даже во хмелю удовольствие, полученное им, было какое-то нервное, вымученное, и, наконец, он обманул Элоизу, которая увидела в этом доказательство его любви. Нужно все ей объяснить, нужно сказать ей о Натали, сказать именно сейчас, когда по его вине она снова поверила в то, что его еще влечет к ней. Внезапно он зажег свет, нашел сигарету, холодно отметил про себя, что Элоиза очаровательна, когда волосы у нее вот так рассыпаны по подушке, и стал обдумывать, как начать свою речь. У него болела голова, он чувствовал себя разбитым, ему хотелось пить.

— А странно все-таки,— мечтательно произнесла Элоиза.— Все устраивается одновременно. Я буду постоянной моделью в «Воге», благодаря этому американскому фотографу, ты получаешь место, о котором мечтал, и ты совсем выздоровел. Ну кто бы мог сказать это месяц назад! Знаешь, ты меня напугал. Очень напугал. Очень, очень, очень.

Как всегда, после любви она начинала лопотать по-детски. Прежде это умиляло Жиля, а потом стало надоедать. Теперь же он лишь острее почувствовал угрызения совести.

— Не так все просто,— сказал он хрипло.— Я ведь еще не совсем

в порядке. Как только уладится вопрос с работой, я поеду опять к сестре.

— В любом случае все лето я буду участвовать в показе коллекций,— сказала она.— Но между двумя сеансами я могу к тебе приехать. Теперь есть самолет на Лимож.

«Только этого еще не хватало»,— подумал Жиль. В дело вмешивался технический прогресс. Нет, надо сейчас же ей все сказать. Но он всегда испытывал почти маниакальный ужас при одной мысли о разрыве с женщиной... Нет, только не сегодня, только не сегодня. Впервые после приезда он внимательно посмотрел на Элоизу, увидел, как доверчив ее взгляд, как прекрасно ее тело, такое знакомое, и все же почувствовал, как не нужна ему теперь эта нежность, эта красота, и внезапно ему стало так жаль ее, жаль себя, жаль Натали, так жаль любовь, всякую любовь, обреченную угаснуть рано или поздно в рыданиях и сожалениях; он поспешил уткнуться в подушку, чтобы Элоиза не увидела его слез. Она наклонилась к нему:

— Тебе грустно? Но ведь все устроилось.

Он не ответил и выключил свет. Вытянувшись и закинув руки за голову, он вновь увидел перед собой лужайку на берегу реки, приближающуюся Натали; он вдыхал запах травы, нагретой солнцем, видел ветви тополей, тихонько качавшиеся над ним, и загадочное обещание в светлых глазах Натали.

Глава II

Фермон, главный редактор газеты, был высокий, сухой, нескладный и весьма трудолюбивый. Выходец из крупной буржуазии, он, ко всеобщему удивлению, основал на свои средства левую газету, которая действительно была левой в той мере, в какой это было возможным в те смутные времена. И тем не менее у него осталась властная, диктаторская манера держать себя, и в газете все знали, что, осуждая любую форму привилегий, он вот уже несколько лет добивается, чтобы ради него был восстановлен титул графа де Фермона, исчезнувший при Карле X. Жиль сидел в кабинете Фермона вместе с Жаном и пытался внимательно следить за необычайно серьезными рассуждениями об ответственности, которая отныне ложится на него, Жиля Лантье.

— ...нечего и говорить, что вам придется отказаться от своих похождений,— говорил Фермон.— Я не желаю разыскивать вас в Сен-Тропезе, если Америка и Вьетнам заключат мир. Я понимаю, вы слишком молоды для этого поста, тем более вам нужно как следует взяться за дело. Кстати учтите, что, если бы не скандал, случившийся с Гарнье, мы бы, конечно, назначили его.

Жиль насторожился. Он взглянул на Жана, который смущенно покачал головой.

— Я не совсем в курсе событий,— сказал Жиль.— Действительно, Гарнье уже давно работает в этом отделе, он набил себе руку...

— У Гарнье серьезные неприятности. Он теперь на учете в полиции из-за какого-то мальчишки.

— Но при чем здесь это? — воскликнул Жиль.

Он был возмущен, взбешен. Жан бросил на него успокаивающий взгляд. Но Жиль уже не мог остановиться.

— Значит, если я правильно понимаю, это место я получил благодаря моей добродетели?

Фермон пристально, ледяным взглядом посмотрел на него.

— Дело не в вашей добродетели, а в моей. Я не желаю держать на столь ответственном посту человека, которого могут шантажировать. Приступите к работе в сентябре.

В кабинете Жана Жиль дал выход своей ярости. Он расхаживал взад и вперед под невозмутимым взглядом Жана и, размахивая руками, говорил:

— Не могу я принять это место, получается как бы воровство. Что означает вся эта история? Подумаешь, какие пуритане! Кто в наше время вздумает шантажировать кого бы то ни было из-за тех или иных его склонностей? Я не могу согласиться... А ты, ты-то что думаешь обо всем этом? Ты бы мог мне сказать! Ведь и правда, я совсем забыл о Гарнье.

— Забыл о Гарнье, и об Элоизе, и обо мне,— миролюбиво сказал Жан.— Впрочем, не волнуйся: если ты откажешься, они найдут другого. Твоего приятеля Тома, например.

— А мне наплевать, пускай берут Тома или кого угодно. Понимаешь, не могу я поступить так с Гарнье. Мне Гарнье очень нравится. И он знает дело ничуть не хуже меня.

Он курил сигарету за сигаретой, расхаживая по комнате. Наконец, Жан остановил его:

— Сядь-ка. А то у меня голова закружилась. Я уже говорил с Гарнье. Он считает, что ты — самая подходящая кандидатура. На свой счет он не строит никаких иллюзий. Повидайся с ним.

— Как все просто! — проворчал Жиль.— Предельно просто!

Он устало опустился в кресло. Жан улыбнулся:

— Ты обиделся, что тебя взяли не только за выдающийся ум?

— Ничего ты не понимаешь,— сказал Жиль.— Тут явная несправедливость, и я не желаю этим пользоваться.

Но в то же время он действительно чувствовал какую-то обиду. Обиду и отвращение. Ему хотелось послать к чертям Париж со всеми его интригами, его порядками, его лицемерием. Хотелось вернуться в деревню, в гостиные Лиможа, тихие, отжившие свой век и голубые, как глаза его зятя. Надо позвонить Натали и спросить у нее совета. Она скажет. В ней есть какая-то неподкупность и природная чистота. А ему именно это сейчас и нужно.

— Сейчас позвоню,— машинально пробормотал он.

— Кому?

Этот недвусмысленный вопрос удивил его. Обычно Жан был сама деликатность.

— Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Просто интересно. Уезжая из Парижа, ты был похож на каторжника, еле волочащего за собой чугунное ядро существования, а вернувшись, ты прямо в облаках паришь. Любопытно, благодаря кому.

— Но ты ошибаешься! — воскликнул Жиль в полном ужасе.— Я вовсе не влюблен в нее,— наивно продолжал он,— я едва с ней знаком, она очаровательна — вот и все!

Жан засмеялся:

— Вот и все! Однако, когда я предлагаю тебе должность, к которой ты всю жизнь стремился, ты выезжаешь только на следующий день. Однако встреча с Элоизой тебя раздражает. Однако ты ухитряешься позвонить этой женщине сразу же после приезда. Однако при малейшем затруднении тебе необходимо спросить у нее совета. Вот вроде бы и все. Не смотри на меня, будто на мне дурацкий колпак, у тебя самого такой глупый вид, что страшно становится.

— Ну, это уж слишком,— сказал Жиль. Он даже заикался от ярости, от желания уверить Жана и самого себя в своей правоте.— Я же тебе говорю, она мне очень нравится — и только. Ты что, теперь разбираешься в моих чувствах лучше меня?

— Не только теперь,— ответил Жан,— а вот уже пятнадцать лет.

Пойдем куда-нибудь посидим, и ты мне расскажешь о ней хоть немного.

Они зашли в «Шлюп», сели на террасе. Стояла чудесная мягкая погода, солнце ласково грело их лица, и Жиль начал, по настоянию Жана, скупой, немногословный рассказ о своем провинциальном романе. К собственному удивлению, ему не удалось внести в свою исповедь ту нотку цинизма или иронии, которая могла бы убедить Жана в его искренности — вернее в неискренности. Но он упорствовал. Жан с сонным видом посасывал трубку.

— Если все так просто,— сказал он,— почему же ты туда возвращаешься? Поезжай с Элоизой на юг, как обычно.

— Да дело же не в том, куда ехать! — воскликнул Жиль, окончательно выходя из себя.— Эта женщина как-никак меня интересует! Психологически...

— Вот уже сорок пять минут ты мне о ней рассказываешь,— заметил Жан.— Сорок пять минут по часам. И даже к пиву не притронулся, невзирая на жару и пыл твоих излияний. Бедная Элоиза. И бедный Франсуа. Да-да, муж. Видишь, я знаю теперь даже его имя.

Жиль оторопело взглянул на него. На секунду у него закружилась голова, ему почудилось, будто что-то в нем растет и наполняет жгучим ужасом и в то же время чувством облегчения, он протянул руку, взял кружку пива и торжественно поднес к губам. Полузакрыв глаза, он запрокинул голову, теплое пиво полилось в рот, в горло, ему показалось, что он мог бы выпить так несколько литров и что отныне он всегда будет с таким же наслаждением утолять жажду... Он поставил кружку.

— Ты прав,— сказал он,— наверное, я люблю ее.

— Все-таки я оказался тебе полезен,— заключил Жан без улыбки.

Глава III

День он провел как во сне. Он умирал от желания позвонить Натали и торжественно объявить ей о своей любви. В то же время ему хотелось преподнести ей это как сюрприз, как чудесный и неожиданный подарок, увидеть ее лицо, когда он ей об этом скажет. Только бы вытерпеть еще несколько дней, только бы дождаться того часа, когда она приедет на вокзал встречать его... Когда они выедут за город, он попросит ее остановить машину, обхватит ладонями ее лицо и скажет ей: «Знаешь, я безумно тебя люблю». И при мысли о том, как она будет счастлива, он испытывал и гордость, и нежность и видел со стороны свое благородство. В порыве великодушия он зашел в ювелирный магазин, купил на последние деньги забавный пустячок, отчего умилился еще больше, и в пять часов, как было условлено, с бешено бьющимся сердцем позвонил ей из маленького кафе рядом с домом.

Она сразу же подошла, но голос у нее был сухой, почти равнодушный, что сначала удивило, а потом обидело его. Но он тут же подумал: «Да брось, это вполне естественно». Он знал, что в любви всегда кто-то один в конце концов заставляет другого страдать и что лишь иногда, очень редко роли меняются. Но чтобы уже сейчас, так скоро, когда он едва признался самому себе, что любит ее, когда она еще не знает об этом,— страдать из-за нее?! Это было несправедливо и в то же время очень больно, но именно по этой боли он и убедился, что действительно ее любит.

— Что происходит? — весело спросил он.

— Происходит то, что у нас страшная жара, с утра все время гремит гром, а я... я безумно боюсь грозы. Не смейся,— тут же добавила она.— Я ничего не могу с собой поделать.

Но Жиль засмеялся: у него сразу отлегло от сердца, и в то же время он был удивлен. Впервые она вела себя по-ребячески. До сих пор все ее поступки — ее порывистость, безрассудство, полное пренебрежение к условностям — казались ему чертами, присущими скорее юности, а вовсе не пугливому ребенку, выросшему в мещанской среде.

— А я купил тебе подарок,— сказал он.

— Как это мило... слушай, Жиль, я вешаю трубку. Во время грозы очень опасно касаться электрических приборов. Позвони завтра.

— Но,— сказал он,— телефон не имеет никакого отношения к электричеству. Это...

— Умоляю тебя,— произнес резкий, искаженный страхом голос,— Целую... Пока.

Она кончила говорить, а он стоял растерянный, не выпуская из рук трубки и пытаясь улыбнуться. Пытаясь уверить себя, что во время следующей грозы в Лиможе он будет держать ее в объятиях, и тогда посмотрим, что окажется сильнее — страх или наслаждение. Но ему стало тоскливо, он чувствовал себя покинутым; на улице светило солнце, и его подарок казался ему сейчас скорее нелепым, чем трогательным. Ему хотелось немедленно ее увидеть. Конечно, существует «Эр-Интер», знаменитый «Эр-Интер», и в худшем случае, если ему станет слишком уж тяжело, он сможет тотчас улететь. Он позвонил в Орли — до завтрашнего дня самолетов не будет; поезд уже ушел, машину свою он продал, и денег у него не было. К тому же завтра ему нужно поехать в редакцию выяснить насчет нового оклада и еще поговорить с Элоизой, и вообще жизнь — сплошной ад. Впрочем, этого следовало ожидать; уж слишком он был счастлив весь сегодняшний день. Мысль «за все надо платить» наполнила его отвращением к себе. Нет, он вовсе не выздоровел! Теперь он болен вдвойне — раз так подавлен и находится в полной зависимости от женщины, которую едва знает. Женщины, которая клялась ему в любви, а при первом же ударе грома швырнула трубку. Он переживал свою обиду под добродушным взглядом хозяйки кафе и, почувствовав, наконец, что она на него смотрит, вымученно улыбнулся.

— Чудесная погода,— сказал он.

— Пожалуй, слишком жарко,— с готовностью отозвалась хозяйка.— Наверняка будет гроза.

Он ухватился за эти слова:

— Скажите, а вы грозы боитесь?

Она рассмеялась:

— Грозы? Да вы шутите! Налогов — вот чего мы боимся.

Она уже собиралась было распространиться на эту тему, но увидев, как Жиль изменился в лице, движимая природной добротой и тем непогрешимым чутьем, которым нередко наделены хозяйки маленьких кафе, привыкшие с первого взгляда узнавать и одиноких, и счастливых, и опустившихся людей, добавила:

— А вот, возьмите, моя племянница, она родом из Морвана, там ведь грозы бывают ужасные, так она не могла к ним привыкнуть. Скажем, сидит она, обедает, и вдруг ударит гром — она сразу лезет под кровать. Ничего не поделаешь: нервы.

— Да,— обрадованно повторил Жиль,— ничего не поделаешь: нервы.

И он подумал, что до сих пор Натали занималась гораздо больше его нервами, чем своими собственными, и то, что они поменялись ролями, пожалуй, и справедливо. Он завел долгий разговор с хозяйкой,

угостил ее портвейном и сам выпил с ней несколько рюмок этого сладкого вина, которое раньше терпеть не мог, но которое теперь напоминало ему коктейли его зятя,— и навеселе, настроенный уже гораздо оптимистичнее, вышел из кафе. А теперь надо идти объясняться с Элоизой. Завтрашний день он проведет в редакции, попробует раздобыть немного денег и завтра же вечером сможет выехать. Он уже представлял себе сто километров в машине вместе с Натали, эти ночные, волшебные сто километров, эти сто километров признаний в любви. Почему он сказал ей, что они увидятся только через неделю или через две? Видимо, это была попытка самозащиты, попытка внушить себе и внушить ей, что он вполне может прожить неделю без нее, а также попытка внушить себе, что еще существует Париж, и тщеславные притязания, и друзья,— и все эти попытки оказались тщетными, потому что вот уже два дня ничего этого для него не существует, и он ничего не видит и ничего не чувствует, и единственно, что живет в нем — это холмы Лимузена и лицо Натали. Но что она подумает, увидев, что он так быстро к ней вернулся, поняв, что он уже прикован к ней? Не возникнет ли у нее неизбежная и чересчур спокойная уверенность, которая появляется, как только отпадают сомнения? Или она обезумеет от радости? Он вспоминал ее глаза, полные слез, тогда, на вокзале, потом сухой голос, сегодня по телефону, и решил, что существуют две разные женщины, и, умножая, усложняя, затемняя различные образы Натали, он был уже на грани настоящей любви.

Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, но тут же вскочила и бросилась ему на шею. Он вспомнил, как давным-давно происходила точно такая же сцена, и удивился, что с тех пор еще и месяца не прошло. Казалось, с тех пор случилось столько всего... Но что же, в сущности, случилось? Две недели он смертельно скучал у сестры, потом десять дней предавался любви с какой-то женщиной. На этом, при желании, можно было бы поставить точку. Но ему уже не хотелось, совсем не хотелось ставить точку.

— Ну как, все прошло хорошо? Видел Фермона?

— Да,— ответил он,— видел, все в порядке.

Жилю не хотелось вдаваться в подробности, рассказывать об истории с Гарнье. Не хотелось говорить об этом ни с кем, кроме Натали. Возможно, любовь иной раз можно определить как желание рассказывать все только одному человеку.

— Портвейна у тебя нет? — пробормотал он. И сразу же осекся: он вел себя как гость.

— Портвейна? Но ты же терпеть его не можешь...

— Я выпил уже три рюмки, мешать не хочется, а мне...— сказал он, откашлявшись,— мне нужно выпить.

Ну, вот. Начало положено. Она спросит: «Почему?» — а он ответит: «Потому что я должен с тобой поговорить». Но она ни о чем не догадывалась.

— О, я понимаю! — воскликнула она.— Бедненький, ты так устал. Подожди, я сбегаю вниз, в магазин, и сейчас же вернусь.

— Да не нужно! — воскликнул он в отчаянии, но за ней уже захлопнулась входная дверь.

Он подошел к окну и увидел, как она пересекает улицу своей танцующей походкой манекенщицы, входит в магазин. Словно затравленный, он осмотрелся вокруг: на низком столике лежали его любимые сигареты и аккуратно сложенная вечерняя газета, в вазе стояли свежие цветы. Не заглядывая в спальню, Жиль точно знал, что его белая рубашка и легкий серый костюм разложены на кровати. И даже медведь, ужасный плюшевый медведь, о котором он ни слова ей не сказал, куда-то исчез. Должно быть, Элоиза принимала его молчание за дели-

катность, тогда как объяснялось оно лишь полным безразличием. А он вчера, не думая ни о чем, повел себя по-хамски и переспал с нею. Жиль был самому себе противен. И обо всем этом он тоже расскажет Натали, ничего от нее не скроет. Он заранее гордится своей будущей откровенностью и самоуничижением, не задумываясь над тем, какую роль в его исповеди будет играть желание смягчить свою вину и придать в глазах Натали больше ценности разрыву с Элоизой.

Так, в задумчивости, Жиль выпил рюмку портвейна и решил объясниться с Элоизой после окончания телевизионного журнала. Но потом ей ужасно захотелось посмотреть очередную серию телефильма, который она, так же, впрочем, как и его сестра Одилия, с увлечением смотрела уже целый месяц. Итак, он неожиданно получил еще пятьдесят минут отсрочки, но это лишь усилило его смятение. Ему хотелось увести Элоизу куда-нибудь, например в клуб, и там, среди людской толчеи, под грохот джаза, все ей объяснить: так было бы легче. Но уж слишком неизящно.

— Ты не голоден? — спросила она, выключая телевизор.

— Нет. Элоиза... мне надо тебе сказать... я... я встретил другую женщину там, в деревне, и я... я...

Он без конца путался в словах. Элоиза, побледнев, смотрела на него застывшим взглядом.

— Она очень помогла мне,— поспешно добавил он.— Право же, только благодаря ей я пришел в себя. Прости меня... И за вчерашнюю ночь прости. Мне не следовало...

Элоиза медленно, не произнеся ни слова, опустилась в кресло.

— Я опять туда поеду. А ты, конечно, живи здесь, сколько захочешь... ты же знаешь, мы с тобой всегда останемся друзьями...

«До чего глупо и нескладно все получается,— подумал Жиль.— Самый мещанский и жестокий разрыв. Но мне больше нечего ей сказать». Его охватило какое-то оцепенение.

— Ты ее любишь? — спросила Элоиза.

Она, казалось, не верила его словам.

— Да. По крайней мере, думаю, что люблю. И она меня любит,— поспешно добавил он.

— Тогда почему же... почему вчера ночью?..

Она даже не смотрела на него. Она не плакала, а пристально смотрела на экран телевизора, будто там демонстрировался некий фильм, видимый только ей.

— Я... наверное, я хотел тебя,— пробормотал Жиль.— Прости, мне следовало сразу все сказать.

— Да,— проговорила она.— Следовало.

Она замолчала. Молчание становилось невыносимым. Лучше уж она закричала бы, засыпала его вопросами, сделала бы что-нибудь ужасное — ему тогда стало бы легче, ему! Весь в испарине, он провел рукой по волосам. Но Элоиза по-прежнему молчала. Жиль встал, прошелся по комнате.

— Хочешь чего-нибудь выпить?

Она подняла голову. Она плакала, и Жиль инстинктивно потянулся к ней, но она отпрянула, закрыв лицо руками.

— Уйди,— произнесла она,— прошу тебя, Жиль, сейчас же уйди... завтра я уеду. Нет, уйди, прошу тебя.

С бешено бьющимся сердцем он сбежал по лестнице, выскочил на улицу. Задыхаясь, прислонился к дереву, обхватил его руками. Ему было смертельно тоскливо и стыдно.

— Я рад, что назначили именно вас,— сказал Гарнье.

Они сидели в баре отеля «Королевский мост»; бар этот помещался в подвале, и освещение там и днем и ночью было одинаковое. Жиль переночевал в отеле, он был плохо выбрит, в несвежей рубашке, еще неоправившийся от мучивших его кошмаров. Как ни странно, но Гарнье, высокий и сильный, седой, с серыми глазами и мягким выражением лица, казалось, чувствовал себя куда спокойнее, чем Жиль.

— Это... это место по праву принадлежит вам,— сказал Жиль.— И я не хочу его у вас отнимать.

— Вы тут ни при чем. Фермона не устраивает мой моральный облик — в этом все дело.

Гарнье рассмеялся, и Жиль покраснел.

— Видите ли,— мягко продолжал Гарнье,— все это не так уж серьезно. «Потеряно все, кроме чести»... Я ведь мог бы с успехом все отрицать. У них не было доказательств. Но, спасая свою репутацию, я потерял бы честь. Забавно, не правда ли?

— Что вы собираетесь делать? — спросил Жиль.

— Через полгода мальчика выпустят из колонии. Он уже будет совершеннолетний. И сам решит, увидеться со мной или нет.

Жиль с восхищением посмотрел на Гарнье.

— Но если он не захочет,— сказал он,— вы потеряете все, ничего не получив взамен...

— Я никогда не жалел о том, что добровольно отдавал,— спокойно ответил Гарнье.— Дорого обходится лишь то, что воруешь, запомните это, мой милый...— И он рассмеялся.— Наверное, вам странно слышать высокоморальные рассуждения от такого порочного создания, как я. Но поверьте, в тот день, когда вы устыдитесь того, что любите, вы погибли... Погибли для самого себя. А теперь поговорим о работе.

Гарнье дал Жилю немало полезных советов, но тот почти его не слушал. Жиль думал о том, что он обокрал Элоизу; думал о том, что никогда не будет стыдиться Натали; думал о том, что будет любить ее с такою же нежностью и так же искренне, как Гарнье любил этого мальчика. Он все это ей скажет, он расскажет ей о Гарнье — ему ужасно хотелось ее увидеть. Через полчаса он будет в редакции, постарается побыстрее уладить денежные дела, пообедает с Жаном, поручит его заботам Элоизу, уложит чемодан и поспеет еще на пятичасовой поезд. А сейчас прямо из отеля позвонит в Лимож.

Голос Натали звучал ласково, весело, и он вдруг почувствовал себя по-настоящему счастливым.

— Я просто в отчаянии после вчерашнего разговора,— сразу же сказала она.— Но мне правда было очень страшно, это нервы.

— Я понимаю,— сказал он.— Натали, а что ты скажешь, если я приеду сегодня вечером?

Наступила тишина.

— Сегодня вечером? — переспросила она.— Нет, Жиль, это слишком хорошо. А ты можешь?

— Да. Мне осатанел Париж. И мне не хватает тебя,— прибавил он, понизив голос.— Я поеду поездом. Встретишь меня во Вьерзоне?

— Боже мой! — растерянно произнесла она.— Мы ведь ужинаем у Кудерков! Что же теперь делать?

Неподдельное отчаяние, прозвучавшее в ее голосе, успокоило Жиля, и он очень бодро сказал:

— Доеду до Лиможа и возьму такси, а завтра мы увидимся. Можешь со мной пообедать? Завтра нет заседания Красного Креста?

— Ох, Жиль...— сказала она.— Жиль, подумать только: я увижу тебя завтра... какое счастье... Я ужасно соскучилась.

— Завтра в двенадцать ты заедешь за мной к сестре. Хорошо? Можешь ее предупредить?

Он вдруг почувствовал себя непривычно собранным, мужественным, решительным. Он выбирался из того неизбывного хаоса, который назывался Парижем. Он опять жил.

— Я сейчас же отправлюсь к ней,— ответила Натали.— А завтра в полдень заеду за тобой. У тебя все хорошо?

— Были некоторые осложнения, даже довольно большие, но я... я все уладил,— решительно заключил Жиль.

«Уладил... Нечего сказать,— внезапно подумал он.— Согласился занять чужое место и заставил плакать женщину». Но он не мог бороться с тем пьянящим, непобедимым, жестоким ликованием, которое сопутствует счастью.

— До завтра,— сказала она,— я люблю тебя.

Он не успел сказать «А я тебя». Она уже повесила трубку.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Лимож

Глава I

На этот раз поезд шел бесконечно долго. Сразу за вокзалом потянулись парижские предместья, которым заходящее летнее солнце придавало даже некоторую поэтичность. Потом, перед самой Луарой, показались первые луга, покрытые зеленой, лоснистой травой и обрамленные непомерно длинными тенями деревьев; потом стала уже видна серая лента Луары. Потом сделалось совсем темно, и Жиль, отвернувшись от окна, принялся разглядывать безмятежные лица своих попутчиков. Ему было хорошо в этом поезде, который неотвратимо приближал его к дому сестры и к Натали, приближал его к любви и покою, и ему казалось, что такого сочетания никогда еще не бывало в его жизни.

Он вышел в Лиможе в начале двенадцатого. Было темно, и он буквально застыл от изумления, когда Натали вдруг кинулась ему на шею. Он бросил чемодан и крепко обнял ее, не произнося ни слова, оглушенный счастьем. Они долго стояли так на перроне, прижавшись друг к другу, слегка покачиваясь, как на палубе корабля, и не обращая внимания на пристальные взгляды, которые они чувствовали на себе. Наконец Жиль откинул голову и посмотрел на нее: он никогда раньше не замечал, что у нее такие огромные, широко расставленные глаза.

— Как тебе удалось вырваться?

— Я сбежала,— ответила она.— Не могла больше. Этот ужин был каким-то кошмаром. За супом я думала, что сейчас ты проезжаешь Орлеан, а когда подали рыбу, что ты уже в Шатору́, и мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Поцелуй меня, Жиль, ты больше никуда не уедешь.

Он поцеловал Натали, вышел с нею на площадь, разыскал ее машину, бросил туда чемодан, бросился сам на сиденье и обнял ее.

— А ты еще больше похудел,— заметила она.— Меня-то ты хоть узнаешь?

— Я ведь только три дня здесь не был,— сказал он.

— После ужина там обычно играют в бридж. Я сказала, что неважно себя чувствую и хочу вернуться домой. Только-только успела к поезду — чуть не передавила весь Лимож.

Жиль поцеловал ее, чувствуя себя совершенно счастливым, без

единой мысли в голове. Ему нечего было больше сказать, однако он помнил, что должен сообщить ей великую новость — что он любит ее. Что, наконец, он сам понял это. Правда, сейчас это открытие уже не казалось ему столь важным, столь ошеломляющим, как в Париже. И тем не менее в знак верности тому Жилю, который умилялся самому себе и в состоянии умиления провел целый день в Париже, Жиль сделал над собой усилие и произнес проникновенным голосом, который тут же показался смешным ему:

— Знаешь... Знаешь, Натали, я люблю тебя.

Она засмеялась.

— Надеюсь,— сказала она, не выказывая ни малейшего удивления,— не хватало только, чтобы ты не любил меня.

Жиль тоже засмеялся. Натали права, он — круглый дурак. Есть слишком очевидные вещи, которые не нуждаются в словесном выражении. В первый же день она сказала, что любит его, и потом спокойно ждала, когда и он ее полюбит. Бесспорно, Натали — сильная женщина; вернее, женщина, знающая, что ее слабости — такая сила, которой невозможно противостоять. Да, он испортил весь эффект своего признания и был очень доволен, что испортил.

— Почему ты ничего не рассказываешь? — спросила Натали.

— А мне нечего рассказывать,— ответил он.— Я — в полном порядке. Всю дорогу любовался природой из окна вагона.

— Довольно скупое повествование...

— Поцелуй меня,— сказал он,— завтра я тебе все расскажу. Пойдем к реке. Ты будешь обедать со мной?

— Да. Но мне пора возвращаться. Франсуа, наверное, уже дома. Не надо было мне приезжать,— тихо добавила она,— это ужасно — сейчас расставаться с тобой.

Они ехали по улицам Лиможа; Натали медленно вела машину, и в окна вливалась вечерняя прохлада. Жиль держал Натали за руку; он ни о чем не думал и лишь смутно ощущал, что это полное отсутствие мыслей и есть подлинное счастье. Потом он пересел в такси и в том же состоянии гипноза проехал еще тридцать километров, пока, наконец, не добрался до знакомого старого дома; там, разбудив Одилию и Флорана, он вдруг стряхнул с себя оцепенение и принялся рассказывать им о своей поездке, хотя супруги ничего не понимали спросонья,— рассказывал долго, путано и забавно обо всем, что он собирался открыть Натали, думая о ней в вагоне.

Жиль лежал у самой воды, возле Натали; было жарко, оба щурились от закатных лучей солнца. Натали считала, что они с Жилем тут загорают, а он посмеивался над нею, утверждая, что по-настоящему загореть можно только на Средиземном море, а здесь они разве что чуть-чуть пожелтеют к самому концу лета. Но было так приятно лежать, расстегнув ворот рубашки и прижимаясь щекой к свежей траве. Все то, что он безумно любил раньше,— безжалостное солнце, раскаленные пляжи, обнаженные и зачастую слишком доступные тела,— все это сейчас внушало ему даже отвращение. Теперь Жилю нужен был вот этот мягкий пейзаж и эта сложная женщина. А она сердилась на него, он догадывался об этом. Рассказ об его пребывании в Париже вызвал у нее лишь два чувства: огромную жалость к Элоизе и неожиданный интерес к Гарнье. И полное равнодушие к переживаниям самого Жиля. Она не выказала ни грана, казалось бы, законной ревности по поводу ночи, проведенной им с Элоизой, никак не оценила его негодования в отношении Фермона. Она нашла все это «огорчительным». И хотя Жиль своими признаниями действительно

думал ее огорчить, он все же надеялся, что она утешит его, а не станет осуждать. Меж тем она осуждала его, осуждала за слабость.

— Ну послушай,— раздраженно и в то же время лениво говорил он (ведь они весь день провели у него в комнате),— послушай, Натали, что, по-твоему, я должен был сделать? Остаться с Элоизой? Уйти из газеты?

— Не знаю. Я не люблю подобных ситуаций. А у меня создается впечатление, что ты так живешь всегда. На грани обмана. Не зная, прав ты или нет. Чувствуя себя немножко виноватым — и упиваясь этим.

— Насквозь прогнил, да? — рассмеявшись, воскликнул Жиль.

— Очень возможно.

Она не смеялась. Он перевернулся на живот и обнял ее. От нее пахло нагретой солнцем травой, и она смотрела на него пристально, широко раскрытыми, почти испуганными глазами. Но Жиль не видел выражения ее глаз, он видел лишь темные круги под ними — следы его любви. Он улыбнулся, поцеловал эти круги и рассмеялся:

— А разве ты могла бы полюбить насквозь прогнившего человека?

— Любовь зла — тут не выбираешь.

— Странно, такая образованная женщина и не боится говорить избитые фразы,— сказал он.

— Нет, очень боюсь,— тихо ответила Натали,— в них почти всегда правда.

Жиль посмотрел на нее: она действительно боялась, и на мгновение ему тоже сделалось страшно. Каково им будет вместе? Что, если когда-нибудь она начнет презирать его? Что, если он действительно достоин презрения? Вдруг Натали не сможет больше его любить? Жиль зарылся головой в траву и вздохнул — нет ему ни отдыха, ни покоя. Вот он любит эту женщину, прямо сказал ей об этом, а она боится его.

— Если ты боишься, брось меня,— прошептал он. Жиль почувствовал, как ее щека, ее губы коснулись его затылка.

— Я бы не смогла,— сказала Натали,— а даже если бы смогла, не бросила бы.

— Почему?

— У меня была безмятежная жизнь, меня лелеяли, оберегали, но жилось мне тоскливо,— спокойно сказала она.— Наверное, я должна была встретить кого-то вроде тебя.

— И эта встреча кажется тебе удачей или катастрофой?

— Сейчас — удачей,— ответила она.

Они неподвижно лежали в траве. Натали привалилась к нему и положила голову ему на спину, тонкая травинка щекотала его лоб, и глубокий, похожий на оцепенение покой овладевал им. Звук собственного голоса почти удивил его:

— А что будем делать с Франсуа?

Она отодвинулась и легла навзничь. Жиль повернул голову, и теперь ему был виден профиль Натали; она спокойно смотрела в небо.

— Не знаю,— сказала она.— Мне надо от него уйти.

Жиль даже вздрогнул. Подсознательно он уже успел свыкнуться с этим призрачным, так мало стеснявшим их Франсуа. Жиль знал, что Натали не живет с мужем, она сказала ему об этом, и он верил ей, слишком хорошо зная ее бескомпромиссность. Но эта бескомпромиссность влекла за собой немало последствий.

— Что же ты собираешься делать?

Она посмотрела на него и улыбнулась.

— Может быть, уеду с тобой и буду возле тебя, пока ты меня любишь. А там — посмотрим...

Она права, она совершенно права: они любят друг друга, они должны быть вместе. Он зарабатывает вполне достаточно, чтобы обеспечить женщине безбедное существование. И зачем ему цепляться за какую-то свободу и одиночество? Да ну их ко всем чертям — и свободу, и одиночество: эти две безрадостные вакханки и привели его к нервной депрессии... А все-таки страшно. Протянув руку, Натали коснулась его волос.

— Не беспокойся, Жиль. До лета я не уйду от него. До конца лета. И я не уеду с тобой, пока ты сам меня об этом не попросишь.

Он вдруг разозлился и с вызовом посмотрел на нее. Разозлился оттого, что она прочла его мысли, и оттого, что они возникли у него.

— Да я и не думаю беспокоиться. Я хочу быть с тобой. Хочу, чтобы ты со мной уехала. Чтобы мы уехали немедленно. Сегодня же вечером ты с ним поговоришь, и завтра мы уедем.

«А куда? — тут же подумал он.— Куда? У меня в кармане всего три франка. Оставаться здесь после скандала, который неминуемо разразится, невозможно. Куда же нам деваться до сентября?»

Но Натали улыбалась, и эта улыбка вывела его из себя:

— Я хочу, чтобы ты уехала со мной.

Он почти кричал.

— Хорошо, уеду,— спокойно сказала она.— Но только если ты просишь меня, а не приказываешь. И не кричи так, ты даже покраснел. Разве нам здесь плохо? Куда ты хочешь уехать?

— Я не люблю ложных положений...— с гордым достоинством начал было Жиль.

Но она так на него посмотрела, что он осекся и умолк. Однако Натали тотчас расхохоталась, он тоже засмеялся, снова привалился к ней, смешав ее волосы со своими, осыпал ее поцелуями.

— Ох, Натали,— шептал он,— Натали, как ты меня хорошо знаешь... Ох, я люблю тебя, люблю.

И она смеялась до слез в его объятиях, смеялась с сияющими глазами, не в силах остановиться.

Глава II

Любопытно, как порой бывает удобно, когда гордиев узел разрубаешь не ты, а кто-то другой. С той минуты, как Натали решила уйти от мужа, его существование совершенно перестало беспокоить Жиля,— Натали уходит от Франсуа из-за него, но он, Жиль, тут как будто ни при чем. В ту минуту, когда Натали облекла в слова свое решение и произнесла эти слова, выбор был сделан, и оставалось покориться судьбе. Жилю и в голову не приходило, что Натали может передумать,— как все прирожденные лгуны, он был до смешного доверчив. Более того, он вовсе не считал, что обкрадывает Франсуа,— стонами восторга, наслаждением Натали слишком очевидно была обязана ему, ему одному, и никто, зная Натали, не мог бы надеяться добиться от нее того же. Он похищал у Франсуа Натали-человека, а не Натали-женщину и должен был признать, что Франсуа на протяжении многих лет уделял немало внимания этой не признающей канонов, бескомпромиссной Натали. И вот теперь Франсуа отдает ее Жилю — и любовницу, и вместе с тем мать, строгую, безрассудную, именно такую, какая и нужна Жилю. Разумеется, думать так было цинично, но счастье делает человека циничным. А Жиль был счастлив.

Самыми прекрасными были послеполуденные летние часы, которые они проводили в его спальне — вернее, в уединенной комнате на

чердаке, где раньше спала прислуга. Жиль открыл эту комнату и кое-как в ней обосновался. Туда можно было подняться черным ходом прямо со двора и таким образом щадить не столько целомудрие Натали, которая смеялась над условностями, сколько целомудрие Одилии, волнуемой некими принципами. Комната была просторная, почти пустая, пыльная, в ней стояла огромная кровать и кресло «под красное дерево», на которое Натали бросала свою одежду. Жиль поднимался туда около трех часов, закрывал ставни, ложился, брал книгу и ждал. Вскоре приходила Натали, мгновенно снимала с себя платье и бросалась к нему, точно дикарка, не произнося ни слова, а иногда она раздевалась медленно, как бы нехотя, остроумно рассказывая ему о смертельно скучных званых обедах. Жиль не знал, что нравилось ему больше, но кончалось и то и другое в постели, а жара под раскаленной крышей была такая, что, разжав объятия, они едва дышали, мокрые, потные, измученные, но так и не утолившие страсть. Жиль вытирал смятой простыней безжизненное тело Натали, она не противилась, лежала с закрытыми глазами, и он чувствовал, как под его рукой колотится ее сердце. Она медленно высвобождалась из плена наслаждения, как приходят в себя после долгого обморока, и он, гордый, довольный, посмеивался над ней. Наконец, жизнь возвращалась к ней, и она уже слышала не только биение собственной крови, она уже могла поднять веки, тогда как за минуту до того даже слабый свет, проникавший сквозь ставни, слепил ее; она поворачивала голову к Жилю, который уже курил, и смотрела на него с какой-то испуганной благодарностью.

Они разговаривали. Мало-помалу он узнал о ней все. Она рассказала ему о своем детстве, которое прошло в Туре, об учении в Париже, о своем первом любовнике, о встрече с Франсуа, о браке с ним. Это была простая и в то же время не простая жизнь: простая, потому что в ней не было никаких из ряда вон выходящих событий, и не простая, потому что по внезапному молчанию, прерывавшему иногда рассказ Натали, по отдельным словам, интонациям голоса и самому складу фраз чувствовалось, что эта спокойная и в общем-то благополучная жизнь стала для нее почти невыносимой. Если Жиль говорил: «А ты радовалась, когда поехала в Париж защищать диплом?» — она отвечала: «Ты сошел с ума... ведь до этого я никогда не расставалась с братом». И он должен был сочетать в своем воображении классический образ юной провинциалки, ослепленной Парижем и ухаживанием поклонников, с образом девочки, тоскующей о брате в далеком незнакомом городе. А если он спрашивал, какое впечатление произвел на нее Франсуа при первом знакомстве, она отвечала: «Я сразу же поняла, что он порядочный человек»,— и больше Жиль не мог добиться от нее ни слова. Что касается любовников,— кажется, их у нее было три до Франсуа и один после,— она спокойно признавалась, что испытывала с ними наслаждение. Однажды он задал дурацкий вопрос: «Такое же, как со мной?» — и получил в ответ: «Естественно», что окончательно вывело его из себя. И напрасно. Она никогда никого не любила так, как его, но наслаждение испытывала и с другими, так говорила она и не желала отпираться от своих слов. Искренность Натали временами подкупала, временами злила Жиля, но никакие его уловки, даже в минуты страсти, не могли заставить ее отступиться от своих утверждений. Она спокойно смотрела, как Жиль готовит ей очередную ловушку, как расставляет силки, а потом, смеясь, одним-единственным словом разрушала их. И он начинал смеяться вместе с нею. А ведь раньше он никогда не смеялся над собой с женщинами. Из ложного мужского самолюбия он предавался этому приятному занятию только в обществе Жана или других мужчин. И то, что он наконец отбросил

свое глупое тщеславие, еще больше привязывало его к Натали, хотя он и не отдавал себе в этом отчета.

Часам к шести они спускались на террасу, где Флоран и Одилия уже ждали их, расположившись в шезлонгах; Жиль и Натали пили с ними коктейль «Порто-флип», говорили о погоде. Одилия уже не краснела по любому поводу, а Флоран даже пытался ухаживать за Натали, что страшно забавляло Жиля. Вытаращив огромные голубые глаза, Флоран необычайно любезно предлагал Натали свои отвратительные сигареты с золоченым мундштуком, уверяя, что во всем Лимузене только у него найдешь такие. Натали под насмешливым взглядом Жиля стоически курила их, пила «Порто-флип», грустно говорила: «Мне уже пора»,— и все старались ее удержать. Дни стали очень длинными, жара спадала только к семи часам вечера, и тени деревьев на террасе вытягивались еще больше. Иногда Жиль чувствовал себя персонажем комедии девятисотых годов: круглый столик на одной ножке, легкие напитки, болтун-нотариус... Но вдруг Натали откидывала голову на спинку кресла, и он, прикрыв глаза, вспоминал, какой она была в его комнате наверху. И если тут действительно разыгрывалась комедия, больше всего на свете он хотел, чтобы она была такой.

Глава III

В то лето устраивалось много званых вечеров, но Жиль никуда не ездил. В обществе говорили, что он болен, страдает депрессией, ищет уединения, и это было удобно для всех, включая и Натали, как он полагал. Пусть она утверждала, что готова уехать вместе с ним, но он не забывал, что стал любовником замужней женщины. А кто мог бы заподозрить эту даму с безукоризненной репутацией в том, что она способна проделывать ежедневно по шестьдесят километров в машине, чтобы побывать в постели какого-то неврастеника? Когда же Одилия упрекала его в пренебрежении светскими обязанностями, он неизменно отвечал: «Оказаться лицом к лицу с Сильвенером?..» — и она краснела, готовая просить у него прощение. Нередко по вечерам, проводив взглядом исчезавший в конце аллеи маленький автомобиль, который уносил Флорана и Одилию на очередное празднество, Жиль оставался один в большом доме, брал книгу и, расположившись в гостиной, наслаждался покоем и тишиной. Иногда он поднимался на третий этаж, вытягивался на еще не убранной постели и, лежа с открытыми глазами, вдыхал запах Натали, запах любви. Летучие мыши прорезали в бесшумном полете темнеющую синеву неба; снизу, из сада, доносились монотонные жалобы лягушек, легкий благоуханный ветерок освежал комнату — мир и прохлада спускались туда, где еще недавно было накаленное поле любовной схватки. Жиль думал о Натали, даже не очень жалея, что ее нет рядом. Иногда он засыпал, так и не сняв своего старого свитера, и просыпался лишь от шуршания гравия под шинами автомобиля. Он спускался, помогал обычно чуть пьяненькому Флорану выйти из машины, шел вместе с ним на кухню. «Как! — удивлялась Одилия.— Ты еще не спишь?» И в восторге, что нашелся слушатель, способный лучше, чем муж, оценить ее повествование, она принималась с энтузиазмом описывать, какой чудесный вечер устроили Кудерки, такой великолепный, что его не постыдилась бы и герцогиня де Германт. Царицей бала была неизменно Натали, которую в своих отчетах Одилия называла «мадам Сильвенер», хотя при ежедневных встречах звала ее просто по имени. Итак, на вечере мадам Сильвенер была в очаровательном голубом платье, она довольно дерзко ответила заместителю прокурора. Ах, и сам префект

ни на шаг не отходил от мадам Сильвенер и так далее. Если бы Жиль не лежал каждый день рядом с этой мадам Сильвенер без всяких одеяний, он наверняка начал бы о ней мечтать, как школьник. Умиленно улыбаясь, он слушал щебетание Одилии, посмеивался над заместителем прокурора и пытался представить себе, какого оттенка было голубое платье Натали. Впрочем, в конце рассказа Одилия всегда — возможно, по доброте душевной — набрасывала прозрачную пелену грусти на лучезарный облик мадам Сильвенер, а Жиль принимал рассеянно-скромный вид, как будто бы это его не касалось. Наконец Одилия, упоенная романтикой, укладывалась спать возле Флорана, который, упившись шампанским, так же, как и она, мгновенно засыпал.

Прошло уже две недели с тех пор, как Жиль приехал из Парижа, а он еще нигде не бывал, если не считать утренних поездок с Одилией за покупками в соседний поселок. Его судьба словно остановилась: ему казалось, что отныне он всю жизнь будет нежиться на солнце, днем любить Натали, а вечерами — мечтать. Мысль, что через два месяца он станет редактором политического отдела газеты, будет занят по горло и начнет в такой же мере беречь свое время, в какой сейчас его растрачивает, и что время это будет пролетать в сером круговороте Парижа,— казалась ему просто нелепой. Впрочем, он даже и не думал об этом, так как всегда очень легко относился к проектам на будущее. Проснувшись, он решал лишь весьма простые вопросы: идти ему с Флораном удить рыбу или не идти, в каком настроении приедет Натали, будет она нежна или требовательна и сможет ли он сам починить обвисший ставень в их жаркой спальне. Иногда, читая газету, он принимался размышлять, что может толкнуть человека на то, чтобы разрезать своего ближнего на восемнадцать кусков, и делился своим недоумением с Одилией, которая от ужаса начинала пронзительно кричать, как павлин; а Флоран по своему обыкновению прибегал к мимике и жестам: постукивал себя пальцем по лбу или делал из галстука петлю-удавку и затягивал ее. Короче говоря, Жиль был счастлив — более того: он сознавал это и с мужской гордостью повторял это Натали на разные лады. «Подумай только,— говорил он,— подумай только, всего два месяца назад я был конченым человеком, а теперь я так счастлив...» Казалось, он сам не мог поверить своему счастью, и это смешило Натали; а когда он добавлял: «И все благодаря тебе», у нее быстро-быстро трепетали ресницы.

Наконец устроили у себя вечер и Сильвенеры. Каждый год, приблизительно в одно и то же время, Франсуа Сильвенер собирал в своем доме светское общество Лиможа и его окрестностей. Это был самый изысканный прием в летнем сезоне, и Одилия, презрев соображения морали, начала радостно готовиться к нему за десять дней. Это был единственный прием, ради которого Жиль решился пожертвовать своим одиночеством. Ему хотелось увидеть, где живет Натали. Ему хотелось увидеть ее в роли хозяйки дома, и он заранее забавлялся.

Франсуа Сильвенер занимал большой особняк восемнадцатого века, очевидно всегда принадлежавший блюстителям правосудия. Дом стоял в самом центре Лиможа, окна выходили в большой великолепный сад, пожалуй, слишком ярко освещенный по случаю празднества. И, пожалуй, слишком много тут цветов, подумал Жиль, поднимаясь по ступенькам, и слишком пахнет деньгами. Конечно, деньгами, добытыми честным путем, деньгами, полученными по наследству, но все-таки деньгами: тяжелая полированная мебель, старинные ковры, большие чуть потускневшие зеркала и два красномордых метрдотеля за стойкой буфета, в явно стеснявших их белых перчатках,— все говорило о богатом и благоустроенном доме. Однако Жиль, как журна-

лист и парижанин, бывавший на приемах более блестящих, на умопомрачительных пирах, которые задавали нередко уже разорявшиеся прожигатели жизни, глядел вокруг с чувством некоторого превосходства. Он любил только деньги, которые бросают на ветер. В доме же Натали вас подавляла не роскошь, а ощущение прочного достатка. На верхней площадке лестницы стояли рядом Натали и Франсуа Сильвенер и принимали гостей — совсем как в романах девятисотых годов. Но когда Жиль поцеловал руку Натали, он прочел в ее взгляде такое желание понравиться ему, глаза ее так ясно говорили: «Все это для тебя», что ему вдруг стало стыдно за собственное высокомерие. В самых теплых выражениях он расхвалил ее прекрасный дом, пожал руку Сильвенеру и вошел в большую гостиную.

Комнату уже заполняла толпа восторженно настроенных гостей; Жилю пришлось выдержать несколько разговоров и выслушать несколько комплиментов по поводу его здорового вида, прежде чем ему удалось улизнуть в комнату, которая, очевидно, служила библиотекой. Он попытался представить себе, как Натали сидит тут в кресле у камина напротив своего мужа, но это оказалось невозможным. Он мог представить себе Натали только раскинувшейся на кровати в жаркой мансарде или лежащей в траве. Немного передохнув в библиотеке, он направился на балкон и тут на кого-то наткнулся. Перед ним был тот, кого он после рассказов Натали об ее детстве называл про себя «братиком». Они встретились в Лиможе один-единственный раз, но Пьер Лакур сразу протянул ему руку. «Братик» был высоченного роста, с мужественным, как отметил про себя Жиль, и очень красивым лицом. Жиль улыбнулся, вспомнив, как он приревновал к нему Натали на балу у Касиньяков.

— Мы уже отчаялись вас увидеть,— проговорил Лакур.— Вы совсем не появляетесь в обществе. Я везде вижу вашу сестру, а вас — никогда.

— Я действительно не очень люблю бывать в обществе,— сказал Жиль.

— Вам, наверно, скучно на наших провинциальных праздниках?

Голос Лакура звучал довольно агрессивно, но Жилю захотелось расположить его к себе:

— Ну что вы! Просто я очень устал в Париже и приехал сюда отдохнуть.

Наступило недолгое молчание, и вдруг Пьер Лакур, как будто набравшись решимости, взял Жиля за локоть.

— Мне хотелось бы поговорить с вами... вы знаете, что я очень... дружу со своей сестрой?

— Да, знаю,— улыбаясь ответил Жиль.

Он не собирался изображать удивление. Либо Пьеру все известно, либо он ничего не знает. Этот человек чем-то привлекал Жиля — в нем чувствовалась угловатая прямота и при этом, безусловно, ясный ум. Однако первые же слова «братика» привели Жиля в замешательство.

— Натали вас любит,— резко произнес он,— и я просто в отчаянии.

Он проговорил это отвернувшись, и Жиль на секунду усомнился, правильно ли он понял.

— Почему в отчаянии?

— Потому что вы не внушаете мне большого уважения, простите за откровенность.

Они говорили вполголоса — будто два врага уславливались в этой темной комнате о тайной неизбежной дуэли. У Жиля сильно забилось сердце.

— Почему вы меня не уважаете? Мы с вами едва знакомы.

— Натали вас любит, и вы, по вашим словам, любите ее. Что же она в таком случае здесь делает? Быть может, вы думаете, что она — мещанка, привыкшая к любовным похождениям? Или, быть может, думаете, что ей легко жить сейчас бок о бок с Франсуа? Неужели вы так плохо ее знаете?

— Она решила подождать до конца лета...— начал было Жиль.

Пьер Лакур яростно взмахнул рукой.

— ...ничего она не решила. Она думает, что вы не уверены в себе, и не хочет принуждать вас. Вот и все. Уже целый месяц ее жизнь — сплошной компромисс, а ведь она всегда ненавидела половинчатость. И все это — из-за вас.

Жиль начал раздражаться. Господин Лакур, играя роль благородного брата, зашел слишком далеко.

— Не похоже, что я первое ее увлечение...

— Нет. Но ее первая страсть — безусловно. И я очень боюсь за Натали.

— Почему?

— Потому что вы — слабый, безвольный эгоист...

— Все мужчины эгоисты,— сухо заметил Жиль.

— Но не все мужчины так снисходительны к себе.

Теперь они были готовы броситься друг на друга. Жиль пытался взять себя в руки. Пьер, конечно, прав и вместе с тем не прав. Жиль глубоко вздохнул.

— А что бы вы сделали на моем месте?

— Я никогда не был бы на вашем месте: если бы я был не я, а другой и Натали не была моей сестрой, я бы уже давно ее увез...

Он повысил голос, и Жиль улыбнулся.

— Господи, как же вы ее любите!..

— Я должен был вам это сказать, верно?

Воцарилось молчание.

— Но я люблю ее,— тихо проговорил Жиль.

— Тогда позаботьтесь о ней.

Лицо Лакура уже не выражало гнева — наоборот, теперь оно было грустным и умоляющим, почти покорным, такое выражение Жиль уже видел у Натали. У него защемило сердце.

— Вы считаете, что я должен увезти ее? Завтра?

— Да,— ответил Лакур.— Как можно скорее. Она слишком несчастна.

Они пристально смотрели друг на друга. В трех шагах от них стоял веселый гул праздника Сильвенеров. Внезапно Жиль почувствовал себя не то лирическим героем, не то романтическим.

— Так я и сделаю,— сказал он.— И буду заботиться о ней.

Он уже представлял себе, как пересекает бальный зал, хватает Натали за руку и, не говоря ни слова, проводит ее сквозь толпу потрясенных гостей... Настоящий девятнадцатый век! Голос Лакура вернул его к действительности:

— Сильвенер порядочный человек. Она должна прилично расстаться с ним. Если можно бросить кого-нибудь прилично.

У Жиля промелькнуло воспоминание об Элоизе, и он ничего не ответил.

— Только никогда не забывайте, что Натали — цельная натура, цельная и страстная.

Лакур прошел мимо Жиля и исчез. Эти несколько минут разговора были похожи на сон. Если хорошенько поразмыслить, юноша, должно быть, не в своем уме. Зато Жилю все стало ясно. И целуя пе-

ред уходом руку Натали, оставляя ее одну на верхней площадке лестницы рядом с мужем, в ее доме, он вдруг понял, что эта женщина, которую он считал своей, не может сейчас уйти вместе с ним, что она так же, как и он, в отчаянии. И в эту минуту он принял решение.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Париж

Глава 1

— Да что же, наконец, случилось?

Они были в Париже, у него в квартире; Натали только что приехала, он ее ждал три дня, не получая никаких вестей. И вот она тут и смотрит на него, растерянная, притихшая, словно ошеломленная каким-то ударом. Она только что поставила в передней свой чемодан, бросила пальто на стул; приехала она, не предупредив, и казалось, вот-вот уедет обратно. Она даже не посмотрела квартиру, и это было довольно странно, потому что ей предстояло тут жить вместе с ним — ведь это решение они приняли на следующий день после вечера в ее лиможском доме, приняли в каком-то вдохновении глубокого счастья. Глубокого и мудрого. Жиль не знал, что счастье может иметь оттенок непреклонной и нежной мудрости, помогающей сделать то, что надо сделать. И все же Натали потребовала, чтобы он уехал раньше ее — для приличия, как она сказала, и только через три дня, когда он просто уже с ума сходил от беспокойства, эта молчальница без предупреждения явилась к нему. Он протянул к ней обе руки, он ее усадил, он налил ей вина, а она все молчала, не произносила ни слова.

— Да скажи же, что случилось?

— Ничего не случилось,— ответила она как будто с раздражением.— Я объяснилась с Франсуа, поговорила с братом, он отвез меня на вокзал, я не успела тебя известить. В Париже я взяла такси — адрес у меня был...

— А если бы меня дома не оказалось?..

— Но ведь ты сказал, что будешь ждать.

И что-то новое во взгляде Натали — несомненно, воспоминание о неописуемо жестоких минутах — вдруг помогло ему понять, каким пустяком была, в сущности, его нервозность и это холостяцкое ожидание. В конце концов, она порвала со всей своей прежней жизнью, а у него свелось все к скуке ожидания. И сравнивать нельзя: одно дело — перечитывать от тоски старые газеты, другое — заявить мужу, что больше не любишь его. Он наклонился, поцеловал Натали в щеку.

— Как он к этому отнесся?

Она бросила на него удивленный взгляд:

— А что тебе до этого? Ты никогда не интересовался, как он себя ведет, когда я жила с ним вместе, верно? Тогда почему же тебе важно знать, как мы с ним расстались?

— Мне только хотелось спросить... не было ли это оскорбительным — для тебя, конечно...

— Ах, для меня? — переспросила она.— Но ведь я ушла от него к человеку, которого люблю. А он остался один, не так ли?

У Жиля мелькнула смутная, довольно циничная мысль: в конечном счете брошенный муж куда больше в тягость, чем муж еще наличествующий — с точки зрения эмоций. Натали, по-видимому, знобило. Жиль не мог согреть в ладонях ее руки, холодные как лед; ему

почему-то хотелось, чтобы она заплакала, чтобы все рассказала, во всем ему доверилась или чтобы бросилась в его объятия в порыве чувственной страсти, которую внезапно порождает задним числом у любовников собственная жестокость в отношении третьих лиц. Но ему было больно смотреть на эту продрогшую, стыдливую и безгласную женщину.

— Тебе страшно,— сказал он.— Тебе тяжело. Давай посмотрим мое обиталище.

С увлечением, совсем для него необычным, он «готовил» свой дом к приему ее. Привратница все прибрала, он купил чаю, пачку бумажных салфеток, уйму цветов, сухариков и новую пластинку. Муж привратницы сменил перегоревшие лампочки, включил холодильник. Словом, Жиль думал о чем угодно, кроме страданий Натали. Вернее, он представлял их себе как некую театральную условность с разными перипетиями, бурными сценами и рыданиями — в общем, в виде событий «рассказуемых» и даже захватывающих. Он никак не мог представить себе этого тихого отчаяния.

Она встала, машинально пошла следом за ним. В сущности, тут нечего было и смотреть кроме спальни да ванной, облицованной деревянными панелями (эстетическое новшество Элоизы). Натали вежливо и рассеянно осмотрела все достопримечательности квартиры. Глядя на нее, никто бы не сказал, что она будет спать в этой постели, вешать свою одежду в этот шкаф,— никто, и даже сам Жиль. Его охватил панический страх. А что, если она не решилась? Что, если она приехала сказать (сообщить в письме или по телефону — не в ее духе) — да, приехала только для того, чтобы сказать, что она не может уйти к нему. И сразу же — цветы, купленные им, широкая, уже разобранная для нее постель, наступающий сентябрь и предстоящие зимние месяцы, да и вся жизнь показались Жилю отвратительными, невыносимыми. Он взял Натали за руку, повернул к себе лицом.

— Ну конечно,— сказала она.— Здесь прелестно.

Это «прелестно» доконало его. Недаром, значит, она молчит и не тянется к нему, и руки у нее холодные, и смотрит она куда-то в сторону. Нет, Натали уже не любит его. Не зря он так тревожился в эти три дня мучительного ожидания, разворачивая и бросая на пол газеты, снимая и тотчас вешая трубку телефона,— да, все это были верные симптомы. Опять он останется один, она уедет, бросит его. Он отвернулся от Натали, подошел к окну. Уже наступила ночь, но на улицах еще было по-летнему оживленно.

— Жиль! — окликнула его Натали.

Он обернулся. Она лежала на постели, сбросив с ног туфли. Нет, сегодня она еще не уедет, она проведет вечер, проведет и ночь со своим «ненаглядным», будет называть его «любовь моя», а утром все скажет ему и уедет. Конечно, она честная женщина, но ведь есть удовольствия, от которых трудно отказаться. В душе Жиля вспыхнуло негодование, он отошел от окна и сел на край постели. Как хороша была Натали в эту минуту — усталая, рассеянная и чуть-чуть презрительная. Он любил ее.

— Ты звала меня?

Она с удивлением посмотрела на него, протянула руку. Он схватил на лету эту холодную руку, сжал ее.

— Ты хочешь подарить мне последнюю ночь?

Она слегка приподнялась. Он продолжал:

— А завтра ты мне скажешь, что не можешь так жестоко поступить с Франсуа, нарушить все его привычки и так далее, и уедешь. Верно?

Преисполнившись гнева, он ждал, что она растеряется под уда-

ром истины и смутится, пораженная его интуицией. Но она только пристально смотрела на него, и вдруг он увидел, как эти широко раскрытые глаза наполнились слезами, хотя ни один мускул не шевельнулся в ее лице, и тогда Жиль понял, что ошибся. Со стыдом и чувством облегчения он бросился на постель рядом с нею и уткнулся головою ей в плечо. Говорить он не мог. Тогда она прошептала:

— Боже мой, Жиль, какой ты эгоист!

— Я так испугался,— ответил он.— Ведь три дня!.. Да еще и теперь... Ты никогда не уедешь от меня?

Наступило короткое молчание. Потом послышался голос Натали, наконец-то ее обычный, ласковый и насмешливый голос.

— Нет,— сказала она.— Разве только ты сам об этом попросишь.

— Мне этого не перенести! — сказал он.— Я сейчас это понял.

Он не шевелился. Он вновь вдыхал ее аромат, знакомый аромат, так тесно связанный в его воспоминаниях с зеленью лугов, со свежей травой, с пустой чердачной комнатой. Ему казалось странным, почти кощунственным вдыхать его здесь, в этой городской спальне, где перебывало столько женщин, где еще недавно жила Элоиза. Он видел и не узнавал эту комнату сквозь облако чудесного аромата, да еще отгороженную от него плечом Натали. Он чувствовал себя тут чужим, как и эта перепуганная женщина, с таким же успехом они могли бы находиться в номере гостиницы, как бесприютные любовники, о которых поет Пиаф. Но ведь теперь он соединил свою судьбу с судьбою Натали, они у себя дома. Откуда же это смятение? Отчего-то щемило сердце. И это уже не был панический страх, как в прошлые дни, не гнев и не огорчение, а что-то более глубокое, еще ему неведомое, что-то вроде предчувствия грозы.

Он прижался к Натали, шептал ей слова любви и нежности, даже стонал. Ладони Натали лежали на его затылке, она дышала ровно, тихо, и вдруг он понял, что она спит. Он поднялся, достал из холодильника бутылку шампанского, налил себе бокал и, возвратившись с ним в спальню, встал в изножии кровати. Лицо Натали было доверчивым, усталым, кротким. Он высоко поднял бокал, поклялся в душе, что никогда, никогда не причинит ей зла, и выпил залпом холодное шампанское. И тотчас ему вспомнилось, как он одним духом выпил кружку теплого пива в кафе, когда разговаривал там с Жаном и внезапно признался, что любит эту женщину. Было это месяц — нет, десять лет назад. А теперь она у него в доме, она принадлежит ему, он выиграл. И он не мог сдержать усмешки. Он усмехнулся над своей прежней слепотой, над своим упорством, над своими представлениями об ответственности, над своим сумасбродством, над своими победами.

Глава II

— Я еще ничего не сообщил тебе об Элоизе,— смеясь сказал Жан.— Полагаю, он докладывал вам о бедняжке Элоизе?

Натали улыбнулась и покачала головой. Они сидели втроем за столиком в маленьком ресторанчике на набережной; Жан и Натали, казалось, понравились друг другу. Жиль был очень доволен.

— А я был уверен, что он рассказывал вам о ней. Жиль не способен молчать. Единственный раз он попробовал это сделать, когда речь шла о вас. Тут-то я и понял, что он вас любит. В чем и заставил его сознаться. Ну, уж об этом наверняка он вам не рассказывал.

— Ну, довольно, хватит,— сказал Жиль.

Но он блаженно улыбался. Разумеется, в удовольствии, которое он сейчас испытывал, было что-то мальчишеское, но, право, удивительно приятно слышать, как твой закадычный друг и твоя любовни-

ца ласково подтрунивают над тобой. Тогда ты чувствуешь себя немного в стороне, словно некий любопытный, хрупкий и неуловимый предмет разговора, но постепенно приходишь к мысли, что этот предмет ты сам и есть, что это они тебя описывают, и сразу сознаешь свое значение и их любовь.

— Ну что ж, я сейчас разочарую тебя. Элоиза сделала умопомрачительную карьеру — стала любовницей фотографа номер один в журнале «Вог», и все у нее идет хорошо. Посмотрите-ка на него, Натали: он действительно разочарован. Ему хотелось бы, чтобы женщины оплакивали его всю свою жизнь.

— Плевать мне на них! — воскликнул Жиль.

— На твоем месте я бы тоже так сказал,— согласился с ним Жан и, наклонившись, поцеловал руку Натали.

Она улыбнулась ему. Уже неделю они с Жилем бродили по еще пустому Парижу, каким он бывает в августе, уже неделю они каждую ночь спали вместе в широкой постели на улице Наследного принца, и Натали казалась очень счастливой. Они ни с кем не виделись кроме Жана, только что вернувшегося из отпуска. Когда он два часа тому назад заехал за ними, на него произвело странное впечатление то, что Натали вела себя дома как случайная гостья: Жилю самому пришлось доставать из серванта рюмки, а из холодильника — лед и так далее и тому подобное. («Не забыть бы спросить его потом, почему у них так получается».)

— Надо заехать в клуб,— сказал Жан.— Натали уже побывала там? Нет? Вы обязательно должны заглянуть туда — посмотреть, что вам готовит жизнь с таким шалопаем.

Натали встала и пошла поправить прическу. Жан посмотрел ей вслед и грустно покачал своей крупной головой.

— Хороша! Здорово хороша! — произнес он.

— Ты находишь? — спросил Жиль.

И оба рассмеялись — таким забавным, тоненьким фальцетом сказал это Жиль и посмотрел на друга этаким рассеянным взглядом.

— Она гораздо лучше тебя,— задумчиво продолжал Жан,— гораздо лучше. И я говорю не о внешности,— добавил он.

— Спасибо,— отозвался Жиль.

— Постарайся...— начал было Жан и умолк.

— Знаю, знаю,— весело подхватил Жиль.— Постарайся не доставлять ей страданий, сохрани ее такою, как сейчас, постарайся не быть эгоистом, веди себя как мужчина и так далее и тому подобное.

— Да,— подтвердил Жан.— Постарайся...

Они посмотрели друг другу в лицо, и оба одновременно отвели глаза. Минутами Жиль ненавидел себя таким, каким видел в глазах Жана. Оба встали и, как только Натали вышла из спальни, отправились в клуб.

В клубе было весело и уже полно народу. Видимо, для парижан август уже кончился. Принимал гостей Пьер, бронзовый от загара; он обнял Жиля и назвал его «сын мой», совсем забыв, что дал этому «сыну» зуботычину при последней их встрече, потом с интересом окинул Натали взглядом знатока. Жиль замялся. Явись он с какой-нибудь другой дамой, он сказал бы: «Натали — вот Пьер, познакомься» — и все было бы кончено, новую любовницу Жиля Лантье, оказывается, зовут Натали. Но тут он не мог. Он сказал церемонно: «Натали, позволь тебе представить Пьера Леру. Пьер, познакомься — мадам Сильвенер». Да еще покраснел при этом.

Этот церемониал представления он проделал раз пятнадцать за вечер. Мужчины хлопали его по плечу, девицы целовали, согласно незыблемым правилам приятельства, установившимся в те годы, и

каждый раз он снимал со своего плеча могучую длань или хрупкую ручку (в зависимости от пола друзей, да и то не обязательно), а затем, повернувшись к Натали, представлял мадам Сильвенер того или другого. И всякий раз эта простая вежливость явно вызывала недоумение, но Жиль упорствовал в своей учтивости, забавлявшей Жана и нисколько не удивлявшей непонятливую Натали. Разумеется, к ним прицепился старина Никола́, как всегда «под мухой», и после должных представлений сказал Натали:

— Так это вы похитили нашего ребенка? Мы, знаете ли, беспокоились. Но, право, я бы на его месте ни за что не вернулся.

Он благодушно засмеялся, как подобает галантному кавалеру, и преспокойно уселся за их столик.

— Надеюсь, вы угостите меня виски, чтобы отпраздновать радостное событие?

— Мы ничего не празднуем,— раздраженно отозвался Жиль,— мы праздновали свое спокойствие, а тут пожаловал ты.

— Боже мой,— воскликнул Никола, человек не обидчивый и прежде всего жаждавший выпить.— Боже мой! Да он ревнует!.. Я уверен, что мадам Сильвенер будет в восторге, если мы выпьем в честь ее первого появления в клубе, ведь я вас тут еще никогда не видел, правда? Иначе бы запомнил, могу вас уверить...

Нежно улыбаясь Натали, он завладел бутылкой, стоявшей на столике, и налил себе виски. Жиль был взбешен, тем более что видел, как Жан, сидевший по другую сторону столика, щурит глаза, едва сдерживая смех, Натали не произнесла ни слова.

— Слушай, Никола,— сказал Жиль,— мы о делах говорим.

— Если вы говорите о делах, то мадам Сильвенер скучно вас слушать. Пойдемте лучше потанцуем, мадам Сильвенер.

И вдруг Натали расхохоталась, а вслед за нею захохотал и Жан. Они не могли остановиться. По природной своей веселости Никола последовал их примеру и тоже захохотал, не забыв налить себе второй стакан. Жиль один хранил степенный вид, но чувствовал себя униженным и весь кипел от негодования.

— Ха-ха-ха,— уже икал от смеха Жан,— если бы ты видел, какая у тебя сейчас физиономия!..

Натали смеялась до слез, и Жилю пришлось выдавить из себя жалкую улыбку. Как ему хотелось бросить этих двух хохочущих идиотов, пересесть за другой столик и напиться с компанией старых приятелей... Он так давно не видел Парижа, в конце концов. И если все его старания пощадить щепетильность своей любовницы привели к таким результатам, плевал он на все... Это легче легкого.

— Почему бы тебе не потанцевать? — сказал он Натали.

— Я этого не танцую,— ответила она,— ты же знаешь. Не сердитесь на меня, мосье,— сказала она Никола.— Я приехала из провинции.

— Боже мой! — воскликнул Никола.— Откуда именно?

— Из Лимузена.

— Из Лимузена? Обожаю Лимузен. У меня там даже родственники есть. Ну так, значит, надо это вспрыснуть. Жиль, выпьем за Лимузен.

И тут, на глазах изумленного Жиля, начался длинный разговор между Натали и Никола о прелести лимузенских пейзажей, о поре жатвы и сбора винограда,— причем именно последняя особенно нравилась Никола. Было уже два часа ночи, когда Жан, тоже чуть подвыпивший и развеселившийся, подвез их домой. Натали слегка покачивалась, а у Жиля было собачье настроение. В ванной он подготовил несколько язвительных фраз, но когда пришел в спальню, Натали уже спала крепким сном. Он лег рядом и долго не мог уснуть.

На следующее утро, когда Натали проснулась, вид у нее был озадаченный и смущенный, как бывает с человеком, который, однако, выпил накануне лишнего и чувствует себя из-за этого неловко, выспался на славу, бодр и свеж. Натали лукаво посмотрела на Жиля, и он невольно улыбнулся ей.

— Ну что? — сказал он.— Наверное, видела во сне Никола?

— Никола мне ужасно понравился,— ответила она.— Такой славный, похож на большого пса.

— Согласен, на большого и пьяного пса. Кстати сказать, я не знал, что ты не прочь выпить.

Она посмотрела на него и, помолчав немного, сказала:

— Дело в том... дело в том, что мне было страшно. Я никого там не знала, а ты всех знаешь. И у меня был такой нелепый вид по сравнению со всеми этими девицами...

Жиль изумленно поднял на нее глаза.

— Да-да. На мне было такое простенькое черное платье, нитка жемчуга, а они все прямо Дианы-охотницы. И тебе явно неловко было знакомить меня с ними.

— Ну, это уже слишком! — вознегодовал Жиль.— Слишком!.. Ты действительно думаешь, что я мог стыдиться тебя?

Он бросился навзничь на постель и прижал к себе Натали. Ей было страшно! Натали, которая ничего не боялась, которая бросила вызов всему Лимузену, которая оставила мужа, этой дерзкой Натали вдруг стало страшно в клубе симпатичных алкоголиков. Жилю это казалось смешным и трогательным.

— Ну, я не то чтобы стеснялась,— задумчиво проговорила она.— Нет, не стеснялась, а боялась, что тебе будет скучно со мной. Вот поэтому я и обрадовалась, когда Никола к нам подсел.

— Но ведь с нами был Жан. А по его мнению, ты чудо из чудес.

— Что ни говори, Жан — прежде всего твой друг. Ты можешь делать с ним или со мной что угодно, он тебе все простит. Я даже вот о чем думаю: не доставляют ли ему удовольствие твои дурные поступки?

— Ты с ума сошла! — сказал Жиль.

Однако ему теперь вспомнилось, какое ликующее выражение лица появлялось у Жана, когда он, Жиль, по их словам, «переживал очередной кризис» и способен был на всякие дикие или нелепые выходки. Жан успокаивал друга, старался образумить, но с какой-то веселой снисходительностью, даже как будто восхищался его затеями, и зачастую уговоры Жана только подливали масла в огонь. Во всяком случае, никто ничего не знает о своих друзьях и о тех подспудных, иногда для них самих неведомых влияниях, которые они на нас оказывают. Тем не менее смешно было представить себе Жана, славного Жана, в роли Мефистофеля. Жиль расхохотался.

— Ты все ставишь под вопрос. Ты, значит, намереваешься перевернуть всю мою жизнь?

— Мне кажется, что с моей жизнью ты не слишком церемонился,— миролюбиво ответила Натали.

Она смотрела на него, улыбаясь и полузакрыв глаза. Может быть, она и боялась всех этих людей в клубе, но уж его-то она, несомненно, нисколько не боялась.

— Ты — женщина суровая и жестокая,— сказал он.— Ты ничего не боишься. А кроме того, ты пьяница. А кроме того, бесстыдница,— сказал он в заключение, тормоша ее.— Надо познакомить тебя с Жильдой.

— А кто такая Жильда?

Но он уже думал только́ о ней и не имел ни малейшего желания говорить о Жильде. Все же он пробормотал:

— Развратница.

— О-о-о! — воскликнула она.— Все женщины могут быть развратницами. Я ведь тоже, ты знаешь... Но это ничего не значит.. Когда любишь, наслаждение...

— Молчи, болтунья,— сказал он.

Пообедали они у Липпа, очень поздно. Жиль и тут повторил вчерашнюю церемонию «представления», но уже весьма непринужденно. Через три дня он начнет работать в новой должности, его любовница была красива, он был счастлив. И он с удивлением думал: как могло случиться, что три месяца назад он был каким-то жалким, трепещущим, полным отчаяния существом? Он, должно быть, дошел до точки, не отдавая себе в этом отчета. А теперь весь мир принадлежал ему. По этому поводу следовало выпить шампанского. Запивать шампанским сосиски с тушеной капустой — сущее идиотство, но они выпили шампанского.

Потом пошли вдвоем в соседний кинотеатр на какой-то дурацкий фильм, и Жиль весь сеанс нашептывал глупости на ухо Натали, к глубочайшему ее возмущению, так как она ко всякому зрелищу относилась с детским вниманием и серьезностью. Недаром она уже три дня приставала к Жилю с просьбой сводить ее в театр на «интеллектуальную пьесу», как говорили, отличную, но при одной мысли о ней у Жиля кровь застывала в жилах. Он уже годы как не бывал в театре и вообще терпеть не мог заранее запланированных развлечений; он смеялся над «провинциализмом» Натали, как он это называл.

— Ну зачем спешить? Успеется,— говорил он.— Ты же не на одну неделю приехала в Париж. Вовсе не обязательно все увидеть за неделю, чтобы рассказывать потом лиможским дамам-благотворительницам.

— Да мне все это по-настоящему нравится,— возражала она.— Как ты не понимаешь? И мне хотелось бы именно с тобой потом это обсуждать.

— Мне, кажется, попалась интеллектуалка. Весело, нечего сказать.

— Я от тебя никогда этого не скрывала,— отвечала она даже без улыбки, зато он хохотал до упаду, представив себе свою любовницу Натали с ее горячей, требовательной страстью превратившейся вдруг в интеллектуалку.

Но иногда он изумлялся, заметив по какой-то мелочи, что она обладает куда более глубокой и широкой культурой, чем он. Разумеется, в провинции у тридцатилетней дамы достаточно времени для чтения, но ей действительно «все это нравилось», и когда он, устав с ней спорить, отделывался парадоксом или модными общими местами, она с каким-то негодующим удивлением набрасывалась на него, словно он вдруг оказывался недостойным самого себя.

— Детка, я же не очень интеллигентный человек,— отвечал он (хотя убежден был в противном),— принимай меня таким, каков я есть.

— А ты мог бы стать интеллигентным человеком,— холодно возражала она,— если бы пользовался своим интеллектом не только в сугубо личной жизни. Тебя ничто не интересует. Удивляюсь, как это тебя еще держат в газете.

— Потому что я работящий, послушный и быстро печатаю на машинке.

Натали пожимала плечами и смеялась, но какая-то досада звучала в ее смехе. Впрочем, когда дело доходило до таких споров, Жиль бывал в восторге: он просто обожал, чтобы его «бранили». Все это кончалось, разумеется, словами любви, объятиями, и Жиль, подчиняя ее своей власти, прерывистым от страсти голосом спрашивал, приятно ли Натали быть со своим глупым любовником. Оба они еще были в той чудесной поре счастья, когда влюбленные обожают ссориться и даже представить себе не могут, что их нежные ссоры станут зачатками, предвестниками куда менее веселых столкновений.

Глава IV

Впервые за два месяца работы в новой должности Жилю захотелось выпить в одиночку стакан вина в каком-нибудь баре, перед тем как вернуться домой. Право же, приятно вообразить себя молодым человеком, человеком свободным, зная, что тебя любит женщина, в которой ты уверен, которая где-то ждет тебя. Парижские кафе — это бездны для одиноких неудачников, а для счастливых любовников — они трамплины. Жиль отнюдь не спешил, даже нашел время поболтать с барменшей и просмотреть вечерние газеты. Он не задавался вопросом, почему не сразу идет домой,— он просто был признателен Натали за то, что благодаря ей эта нелепая, нарочитая задержка в пути была как бы счастливым и многозначительным предвестником свободы. Ведь человек бывает свободен только соотносительно с кем-то. И если это чувство он испытывает в дни счастья, то такая свобода — наиприятнейшая в мире. В тот день Жиль хорошо поработал, вечером предстоял ужин в ресторане, на который Фермон пригласил их с Натали и Жана с Мартой. Еще неизвестно, пожалует ли на обед жена Фермона. Весьма вероятно, что нет, поскольку Жан и Жиль приглашены были с любовницами. Жилю надо было поторапливаться, чтобы заехать домой и переодеться. Однако в этом баре он испытывал сейчас такое приятное чувство беззаботности, что хотелось его продлить. Натали уже несомненно вернулась, немного усталая от непрестанных походов, в которых она с неохладевающей страстью открывала для себя Париж, его музеи, старинные кварталы, к чему Жиль относился скептически. Она знала теперь такие улицы, кафе, картинные галереи, о которых он никогда и не слыхал, и он уже не без тревоги задавал себе вопрос, когда же она кончит свое изучение города. И что она тогда будет делать? Каждый вечер они ужинали в ресторане, случалось, ходили в клуб, но там Натали выказывала полное равнодушие к «интересным людям», с которыми он ее знакомил, делая исключение только для Никола — к нему она относилась как-то по-русски жалостливо. Впрочем, Жиль с удивлением заметил, что этот жирный болван Никола оказался человеком весьма начитанным, что он неглуп и высказывает довольно тонкие суждения, когда более или менее трезв, и что он прямо на глазах все больше влюбляется в Натали. В конце концов получалось довольно забавно: вместо того, чтобы сплетничать о нравах модного актера, говорили о нравах персонажей Золя, и хотя Жиль не надеялся услышать тут ничего нового, все же он кое-что узнавал. Натали страстно возмущалась тем позорным обстоятельством, что Никола не может найти проницательного продюсера, который рискнул бы для него тремястами миллионов франков, просто чудо, что такой талантливый человек не озлобился из-за этого. Жилю, покоренному простодушием Натали, не хотелось объяснять ей, что Никола, как это всем известно, заядлый лодырь, безнадежный алкоголик, безуспешно прошедший шесть курсов лечения, и что он уже де-

сять лет — полный импотент во всех смыслах этого слова. Иногда к ним присоединялся Жан со своей волоокой Мартой, явно пугавшейся, как неприличия, и самой Натали, и ее разговоров: по мнению Марты, женщине положено только слушать и молчать. И в глазах Жана появлялась досада — по-видимому, он тоже был недоволен. Но Жиль знал, откуда шло это недовольство: пятнадцать лет они с Жаном разговаривали через головы покорных пленительных женщин, и то, что между ними вдруг появилась женщина пленительная и с живым умом, могло вызвать у него только ревность. А такая разновидность дружеской ревности, пожалуй, страшнее любой другой. Но Жиль благодушно и даже с некоторой гордостью слушал, как Натали задает вопросы, подает реплики, возражает — иной раз резко,— но не теряет спокойствия. Через час, через два она будет принадлежать ему, влюбленная, покорная, и так будет всегда, и этого ему более чем достаточно. Он знал, что Минерва вот-вот превратится в пылкую любовницу. Конечно, она еще не носит экстравагантных пижам и высоких сапожек, как Дианы-охотницы из их клуба, но ее гордая головка, ее зеленые глаза, какая-то сдержанная страсть во всем облике заставляли забыть ее простенькое черное платье и вышедшие из моды ожерелья, с которыми она упорно не желала расставаться. Жиль даже испытывал какое-то эротическое волнение, слушая, как эта молодая, чуть старомодная женщина темпераментно рассуждает о Бальзаке, как эта благовоспитанная дама, говорившая «вы» всем этим веселым полуночникам, беззастенчивым сплетникам, сегодня же, через несколько часов, будет лежать в его объятиях, нагая и, несомненно, более смелая в любви, чем любая из этих ультрасовременных девиц. К тому же по красноречивым взглядам некоторых посетителей клуба, настоящих мужчин — а такие всегда редкость,— он сделал открытие: эти люди, понимающие толк в женщинах, завидовали ему.

Ужин с издателем газеты состоялся в большом ресторане на Правом берегу Сены; из-за Жиля приглашенные приехали с небольшим опозданием. Фермон явился один и извинился за отсутствие жены в таких выражениях, что Жан и Жиль улыбнулись. Издатель окинул взглядом Натали, по-видимому удивляясь, что ужинать ему придется не с какой-нибудь юной кандидаткой в кинозвезды, и с несколько смущенным видом заказал ужин. Марта, вероятно по наущению Жана, смотрела на его начальство таким застывшим и восторженным взглядом, что Жиль едва сдерживал смех. Он знал, что Фермон доволен им, что Натали любопытно познакомиться с издателем газеты,— значит, все пойдет хорошо. И действительно, вначале все шло хорошо. Фермон спросил Натали, нравится ли ей этот ресторан; она ответила, что бывала здесь когда-то с мужем и ела тут превосходные устрицы. Фермон, по-видимому, был в курсе дела и задал неизбежный вопрос о красотах Лимузена. Натали ответила очень кратко, и разговор принял общий и ничего дурного не предвещавший характер. В сущности, вели его Натали и Фермон — он уже смотрел на нее чуть вопрошающим взглядом, словно недоумевая, что она могла найти в таком субъекте, как Жиль Лантье. И Натали, угадав его мысль, подарила своему любовнику такую нежную улыбку, что он, не удержавшись, пожал под столом ей руку. Теперь Фермону уже хотелось ей понравиться — он разглагольствовал, тем более что был под хмельком, а Марта от чрезмерного восхищения косила глазами.

— Положение у нас наитруднейшее,— говорил Фермон.— События так противоречивы...

— Они всегда противоречивы,— заметила Натали.

— Словом,— вдруг продекламировал Фермон,— пусть сердце разобьется иль станет бронзой, как сказал Стендаль.

— Кажется, это Шамфор сказал,— поправила его Натали.

— Простите?

Фермон замер с вилкой в руке. Он милостиво пригласил своих сотрудников на ужин, даже с их любовницами, но вовсе не желал, чтобы ему давали уроки литературы. Жиль толкнул ногой Натали, она ответила ему удивленным взглядом.

— Весьма огорчен, что приходится вам противоречить, но это слова Стендаля,— безапелляционно заявил Фермон.— Кажется даже, из «Пармской обители»,— добавил он задумчиво, и самый тон его реплики поверг Жиля в ужас: в нем чувствовалось легкое сомнение, а это доказывало, что Натали права.

— Во всяком случае, изречение замечательное,— поспешил он вставить.

— Если разрешите, я проверю,— сказал Фермон, обращаясь к Натали, и добавил, повернувшись к Жилю: — Как бы то ни было, я очень рад, что вы знакомы с молодой и культурной женщиной.— Он произнес это сладким голосом — верный признак, что злился.— Вы изменились.

Все молчали. Жиль поклонился.

— Благодарю,— сказал он.

Он обозлился на Фермона за его грубость, на Натали за бестактность. Натали слегка покраснела. Наступило долгое и неприятное молчание, и только было Жиль собрался выразить восторг по поводу великолепно приготовленного суфле, как услышал рядом с собой голос Натали.

— Мне очень жаль,— сказала она.— Если бы я знала, что вас может рассердить поправка к цитате, я бы промолчала.

— Все, что исходит от хорошенькой женщины, никогда меня не сердит,— сказал Фермон с улыбочкой.

«Я кончу рассыльным в его газете»,— подумал Жиль и с мольбой посмотрел на Жана, который, казалось, бесстрастно следил за перепалкой. Бесстрастно, а может быть, и с тайным восхищением. Но чем он восхищается? Тем, что Фермону наконец утерли нос? Или тем, что Натали поставила Жиля в неловкое положение?.. Конец ужина не отличался оживлением, разошлись очень рано. Когда Натали и Жиль остались наедине, у себя дома, Натали сказала:

— Ты сердишься, Жиль? Но ведь от него тоже можно взбеситься. На редкость самодовольный господин.

— Как-никак, а это он кормит нас,— произнес Жиль.

— Но это не дает ему права путать Шамфора со Стендалем,— миролюбиво возразила Натали,— да еще с таким дурацким апломбом.

— С дурацким или не с дурацким, но он — мой патрон,— буркнул Жиль.

Ему самому противно было, что он говорит такие вещи. Он чувствовал себя сейчас «новоиспеченным начальником» или «старым служащим», но уж ни в коем случае не тем находчивым и бойким хроникером, каким ему хотелось бы быть. И все из-за этой женщины, которая сидит рядом и улыбается. Почему она не подыграла ему, в конце концов? Она же прекрасно знает, что такое жизнь; знает, что бывают случаи, когда надо улыбаться, стараться понравиться, стушеваться,— потом можно и похохотать над своим мелким угодничеством. Нельзя же в Париже, да еще в 1967 году, да еще при нашем ремесле, вставать в позу поборника истины, а уж упорствовать в этом просто недобросовестно. Почему она всегда и во все вносит эту бескомпромиссность, питает ужас перед полумерами, хотя именно полумеры — и тут уж ничего не поделаешь — дают человеку возмож-

ность спокойно жить? Ему казалось, будто Натали предала его, и он это так и сказал ей.

— Если бы я любила полумеры,— ответила она,— меня бы здесь не было. Я жила бы в Лиможе и каждые две недели приезжала к тебе.

— Ты немножко путаешь чувства и эффектные поступки,— съязвил он.— Ты уехала со мной, потому что полюбила меня, потому что я тебя полюбил и другого выбора не было. Но ведь совершенно ясно, что не так обстояло дело сегодня, когда ты разговаривала с Фермоном.

— Я только хочу сказать, что если бы я могла вынести самодовольную тупость этого человека, то я прекрасно могла бы вынести и свою прежнюю жизнь — вот и все.

Жиль внезапно почувствовал ожесточение, острую обиду — этого он еще никогда за собой не замечал.

— Короче говоря, ты весьма довольна своей ролью: ты женщина свободолюбивая, которая все бросила ради своего любовника, женщина образованная, которая бегает по музеям, млеет перед произведениями искусства, открывает черты чеховских героев в пьянице Никола, женщина возвышенная, умная, случайно соединившая свою жизнь с несчастным писакой, существом слабохарактерным и совсем не таким хорошим от природы, как ты, а ты настоящая женщина, чуткая и страстная, женщина, которая...

— Да,— оборвала она его,— я довольно цельная натура. И хотя я этим не горжусь, мне думается, что отчасти из-за этого ты и полюбил меня.

— Что ж, это верно,— сказал он задумчиво,— ты всегда права.

— Жиль! — окликнула она его.

Он посмотрел на нее. В ее глазах был ужасный страх. Он обнял ее. В сущности, он подло ведет себя с нею. По целым дням оставляет ее одну, в чужом, незнакомом городе, тащит ужинать с тупицами да еще корит из-за них. Может быть, она смертельно скучает в Париже, может быть, ее отчаянные усилия сохранить хотя бы тень достоинства в роли признанной любовницы такого человека, как он, вызваны лишь инстинктом самосохранения, столь же важным для нее, как ее страсть к нему... Почему она не хочет выйти за него замуж? Он десять раз предлагал ей это, и она десять раз отказывалась. Ради него, конечно,— он это знал. Действительно, он боялся жениться бы, боялся глупо, как буржуа, якобы желая избежать буржуазности. А ей следовало бы ответить: «Да, я согласна», развестись с мужем и за волосы тащить любовника в мэрию, какие бы сомнения и опасения она ни угадывала в нем. Бывают моменты, когда человека надо принудить и, не входя в его переживания, действовать в своих собственных интересах против этого колеблющегося, но в конечном счете для его же блага. Но так поступить она не могла, и именно за это он и любил ее. Как все запуталось!

— Иди, ложись,— ласково сказал он.— Поздно уже.

По крайней мере в их широкой постели меж ними не возникнет никаких осложнений. Так, вероятно, считала и она, потому что была полна страсти и нежности еще больше, чем в прошлые ночи. Около пяти часов утра он проснулся и увидел, что Натали неподвижно сидит возле него на постели и курит в темноте сигарету. Он хотел было стряхнуть с себя сон, расспросить ее, но какое-то смутное чувство заставило его снова закрыть глаза, трусливо промолчать. Можно будет объясниться и завтра, если не исчезнут причины для объяснения.

— Рюмочку коньяку? У нас есть еще время.

«Хоть сто рюмочек»,— в бешенстве подумал Жиль. Они сидели в ресторане, где непременно надо отведать мясо в горшочке, а через четверть часа всей компанией будут смотреть в театре модную пьесу, заинтересовавшую Натали.

Натали разыскала в Париже свою подругу детства, некрасивую, умную женщину, очень неудачно вышедшую замуж за какого-то промышленника, крикуна и жуира. Она-то и устроила этот ужин, предупредив заранее Натали, что ее супруг — субъект довольно скучный, и как только сели за стол, весело защебетала со своей старой подружкой о всяких происшествиях их детства, предоставив Жилю и скудоумному супругу самим выходить из положения. Перебрав все темы — биржу, налоги, рестораны и голлизм, Жиль почувствовал, что нервы у него, того и гляди, сдадут.

— Поверьте своему другу Роже — я вас буду называть Жиль, не возражаете? — поверьте, мы с вами столкуемся. На меня театры тоже сон нагоняют. А моя супруга по меньшей мере раз в месяц таскает меня в театры.

«Ну вот у нас что-то и нашлось общее,— с отвращением подумал Жиль.— Бедные мужья-труженики, которых их милые женушки по вечерам тянут из дому».

— Тем более, есть телевизор,— не унимался Роже.— Конечно, телевизор не бог весть что, я с вами согласен, но иной раз там показывают интересные штучки. Сидишь себе дома, в удобном кресле, покуриваешь, выпиваешь, а в театре изволь платить такие деньжищи за то, чтобы изнывать от скуки. Верно я говорю?

— Нет, я очень люблю театр,— с твердостью возразил Жиль.— Но коньяку я все-таки выпью.

— А помнишь, дорогая?..— начала было Натали.— Вы о чем тут говорите?

Она бросила на Жиля молящий взгляд, словно просила извинить ее.

— Мы о театре говорили,— насмешливо ответил Жиль.— Мосье... Нет, простите: Роже предпочитает телевизор.

— Мне безумно трудно бывает вытащить его из дому,— сказала подруга детства.— Но у нас заключен договор: раз в месяц я насильно веду его в театр.

— И мы, вероятно, к этому придем,— сказал Жиль, глядя со злой усмешкой на Натали.— Договор, вот в чем сила супружеских пар.

Натали не улыбнулась. Ее лицо, только что сиявшее весельем, вдруг сделалось таким печальным, что Жилю стало совестно. Ведь у нее, в конце концов, не было в Париже никаких знакомых, кроме этой злополучной подруги, и она не виновата, что у подруги такой муж. И ей так приятно пойти в театр. Ну зачем же ей портить вечер?

— Хочешь рюмочку коньяку? — спросил он.

Он потянулся через столик, взял ее за руку. Она бросила на него благодарный взгляд, и у Жиля защемило сердце. Он ее сегодня огорчил и, очевидно, будет огорчать. А ведь не так уж страшно поскучать один вечер. Она наверняка провела немало скучных вечеров в обществе его приятелей. Но надо все-таки отдать им справедливость: ни один не отличался таким убийственным красноречием, как этот Роже. Право, только провинциалы способны якшаться с такими парижанами, как он.

— Надо поторапливаться,— сказала подруга.— Вы и представить себе не можете,— обратилась она к Жилю,— как я рада, что Натали живет теперь в Париже. Надеюсь, мы часто будем видеться?

Слова эти были сказаны с вопросительной и несколько тревожной интонацией. Должно быть, она прекрасно знала, что представляет собой ее муж. Но разве можно упрекать ее за такой брак? Ведь это было, в конце концов, логично: некрасивая девушка тосковала в провинции, а тут подвернулся парижанин. Разумеется, она поступила вполне логично, но Жиля возмущало то, что она уподобляла свою историю роману Натали. Правда, одеты они были немного похоже и вели оживленную беседу, словно две школьницы,— такого разговора между парижанками не услышишь: парижанки обычно слишком заняты своими мужчинами и им не до задушевных бесед с подругами. Но ведь Натали красива, в ней нет ничего буржуазного. Она любит его. И Жиль улыбнулся.

— Ну разумеется, будем встречаться. Будем время от времени ходить для разнообразия на «вестерны».

— А по телевизору как раз сегодня «вестерн» передают,— сокрушался Роже.— В следующий раз, дружище, мы с вами вдвоем останемся дома, проведем вечерок по-холостяцки, а жен пошлем в театр, пусть смотрят свои драмочки. Что вы на это скажете?

Мысль о таком вечере столь явно ужаснула Жиля, что Натали нервно рассмеялась. Она тихонько смеялась еще и в театре и взяла в темноте его за руку. В ответ он забрался под ее меховую пелерину и положил руку ей на бедро, чтобы взволновать ее и подразнить, но она уже не обращала на него внимания, так ее захватил действительно прекрасный спектакль, тогда как Жиль в нервном своем возбуждении, да еще отяжелев после бесконечного обеда, почти ничего не слышал.

В антракте они пошли, как водится, выпить виски, и пока женщины обсуждали пьесу, а Роже с мрачным видом глотал одну порцию за другой, Жиль смотрел вокруг. Казалось, все провинциалы назначили друг другу свидание в этом театре. Тут были молодые парочки и супруги зрелого возраста, по две, по четыре пары, дамы в более или менее красиво сшитых скунсовых или норковых пелеринах, все были принаряжены и горды, что попали сюда, и разглагольствовали о замыслах драматурга самодовольным, притворно развязным тоном, свойственным французским буржуа. Жиль знал, что на премьерах бывает то же самое, только публика поэлегантнее, но ему вдруг показалось чрезвычайно важной именно эта элегантность,— благоприобретенная или врожденная. Нужно быть либо снобом, либо уж коммунистом, но Жиль не мог решиться ни на то ни на другое. Выпив на прощанье неизбежный «посошок» в каком-то мрачном баре около театра, они наконец расстались. Сидя за рулем в своей старой «симке», возвращенной наконец в строй, Жиль соблюдал осторожное и слегка язвительное молчание. Прервав наконец это молчание, Натали грустно сказала:

— Ты ужасно скучал, правда?

— Да нет,— ответил Жиль,— пьеса хорошая. Поедем в клуб, выпьем по последней рюмке, хорошо?

— А знаешь, она была очень славная девушка,— продолжала Натали, не отвечая на его вопрос.— Такая была милая, такая романтичная.

— Да, в ней есть обаяние,— заметил он.— Только жаль, что вышла замуж за такого субъекта.

— Да, очень жаль.

Жиль с улыбкой повернулся к ней.

— Ты, знаешь, Натали, что я очень тебя люблю?

Он и сам не знал, почему это говорит,— просто чувствовал, что надо сказать ей это. Натали не ответила, только сжала его руку, лежавшую на руле. Они подъехали к клубу.

Дым, галдеж, возбужденные голоса, знакомое лицо контролерши в дверях — все это подействовало на Жиля, как струя свежего воздуха. Даже странно, что так. Они сразу нашли свободный столик и торопливо выпили. Жилю стало легко и весело, ему хотелось захмелеть, говорить глупости, подраться с кем-нибудь для смеху, подурачиться. Вдруг он увидел на другом конце зала Жана в какой-то незнакомой компании. Жан поманил его рукой, и Жиль тотчас встал, увлекая за собой Натали. Ну вот, наконец-то он оказался среди равных ему, среди «полуночников», дегенератов, алкоголиков, никчемных людей. Только подойдя к столику, он узнал сидевшую там Элоизу. Она была очаровательна в экстравагантном кожаном костюме с очень короткой юбкой, вся обвешанная цепочками. Она улыбнулась Жилю, без всякого смущения, бросила на Натали одобрительный взгляд и представила им какого-то рослого подвыпившего американца — есть женщины, которые обожают знакомить всех со своим официальным любовником. Жан, улыбаясь, встал, усадил рядом с собой Натали. Жиль не сомневался, что сейчас у них пойдет разговор о пьесе (Жан любил беседы такого рода) и, значит, все будет хорошо. А он, Жиль, может немного разойтись, почувствовать себя молодым. Американец обхватил его за плечи и все пытался под грохот музыки что-то сказать, но Жиль не понимал:

— Элоиз и вы... Before? Yes? [1]

Он, смеясь, тыкал указательным пальцем то в Элоизу, то в Жиля. Тот наконец понял и засмеялся:

— Yes. It is me.[2]

Встретив взгляд Натали, Жиль улыбнулся ей. В сущности, ему лестно было, что она познакомилась с Элоизой, да еще когда Элоиза в такой прекрасной форме,— право, это было для него лестно. Да и для Натали тоже.

— Да-да, это он причинил мне столько страданий! — кричала Элоиза, перекрывая галдеж.

— Bad guy [3],— сказал американец, встряхивая Жиля за плечи.— А теперь вы один?

— Нет,— орал Жиль, стараясь перекричать гремевшую музыку.— Я люблю вот эту даму.

— Которую?

Жиль указал пальцем на Натали и, хотя заметил на ее лице легкий ужас, не обратил на это внимания. Она, конечно, поняла, о чем он говорил с американцем,— ну и что же? Он сказал славному, симпатичному малому, что любит ее. Разве это нескромно с его стороны? Он ведь говорил без церемоний, в теплой ночной беседе—что ж тут такого? Он выпил залпом большой стакан шотландского виски. После такой скучищи имеет же он право встряхнуться. Вполне заслуженное право.

— Понравилась тебе пьеса? — спросил Жан.

— Безумно! Бе-зум-но!

Жан расхохотался и заговорил с Натали. Жилю было удивительно весело, ему казалось, что он ведет себя безупречно и ни за что не отвечает. Очень хорошо кончался нудный вечер.

---

[1] Прежде? Да? *(Англ.).*

[2] Да. Это я *(англ.).*

[3] Скверный мальчишка *(англ.).*

— Ты мог бы потанцевать со мной в память о добром старом времени,— сказала Элоиза.

Жиль не любил и не умел танцевать, но что за важность? Не успев опомниться, он очутился на пятачке для танцев и смело принялся топтаться среди почти неподвижных танцоров. Мужчины пристально смотрели на Элоизу, привлекавшую всеобщее внимание своим костюмом подруги Тарзана.

— Боже мой! — возмутилась она.— Ты все так же плохо танцуешь, Жиль!

Он только засмеялся в ответ. Он узнавал ее духи, ему было приятно видеть эту женщину — очередную веху на его пути.

— А как насчет остального? — опять заговорила она.

— Какая ты стала бесстыдница! Но я же не могу тебе тут ответить.

А почему бы и нет, в конце концов? Было бы любопытно опять закрутить любовь с этой новой Элоизой. Новая Элоиза! Забавнейшая игра слов. Он сказал ей об этом, но она, очевидно, не поняла. Натали поняла бы, Натали — образованная женщина. И тут он увидел ее — она промелькнула мимо него в объятиях американца: он немного спотыкался, ей, по-видимому, было просто скучно. «Да развеселись же ты,— подумал он с какой-то яростью,— развеселись!» Он и Элоиза вернулись на свои места первыми, Натали все еще танцевала с американцем.

— Твоей Натали, кажется, невесело,— заметила Элоиза.

— Должно быть, твой дружок ей все ноги оттоптал,— ответил Жиль.

— Он очень славный,— сказала Элоиза.

«А ведь два месяца назад она никогда не сказала бы о мужчине, что он «славный»,— подумал Жиль.— Должно быть, со мной она считала, что все мужчины злы». И внезапно пьяная чувствительность нахлынула на него.

— Скажи мне, что ты счастлива, Элоиза.

— Если тебе это доставит удовольствие, пожалуйста, скажу,— сухо ответила она и отвернулась.

В это мгновение перед его глазами проскользнул склоненный, почти скорбный профиль Натали, и Жиль осушил еще один стакан. «Да, что там! Все женщины одинаковы — никогда не чувствуют себя счастливыми. И всегда виноваты мы. Только с приятелями и отводишь душу». И он лукаво перемигнулся с Жаном. Возвратилась Натали, и он поднялся. Она нерешительно посмотрела на него:

— Ты не устал?

Ну вот, теперь ей домой захотелось, как раз в ту минуту, когда он развеселился, когда только начал веселиться!..

— Нет,— ответил он.— Пойдем потанцуем.

К счастью, заиграли медленный фокстрот, старый медленный фокстрот, как тогда, летом. Сразу вспомнился бал на свежем воздухе в окрестностях Лиможа и как он вырвал у Натали согласие на этот танец, когда приревновал ее к родному брату. И эти безумные поцелуи, которыми они тайком обменялись, укрывшись за деревом... Натали... Сейчас она плавно покачивалась, прижавшись к нему, он хотел ее, он ее любил, свою провинциалочку, синий чулок, любил свою сумасшедшую. Он наклонился и зашептал ей это на ухо, и она положила голову ему на плечо. И уже не было ни приятелей, ни бывшей любовницы, ни сообщников — была только она.

А потом, гораздо позднее, уже на рассвете, они вынырнули из этой ночи, и Натали пришлось самой сесть за руль и вести машину. Жиль едва держался на ногах, но говорил без умолку, выражая

смутные и смелые мысли. Он понимает, что произошло. Пока он был болен, пока она заботилась о нем, как о ребенке, он чувствовал себя цельным, собранным, полноценным благодаря ее любви. А теперь, когда он в свою очередь должен заботиться о ней, защищать ее, он чувствовал свою противоречивость, раздвоенность: с одной стороны, он — прежний Жиль, а с другой — Жиль, влюбленный в Натали. Все это он объяснял ей заплетающимся языком, пока она укладывала его в постель, но она ни слова не отвечала. Утром, чуть свет, его разбудил посыльный из цветочного магазина, явившийся с огромным букетом цветов, и Натали, позевывая, рассказала, как американец всю ночь уговаривал ее выйти за него замуж.

Глава VI

Жиль переживал свою досаду целый день. В конце концов, он все время играет при этой женщине глупейшую роль. Он ничего не понимает в театре, не очень-то разбирается в литературе, лишен художественного чутья, ему случается сморозить глупость даже в тех вопросах, которые он считает своей специальностью, а она незаметно старается его спасти. Как она, наверно, смеялась, видя его ухаживания за Элоизой, за этой несчастной Элоизой, которую богатый любовник (должно быть, у него губа не дура) готов сию же минуту бросить ради Натали. Конечно, в Натали, при всей ее воспитанности и безупречных манерах, есть изюминка: даже пьяный американец — и тот это учуял. Когда Жиль запер за посыльным дверь и вернулся в спальню, держа с глупой миной большущий букет, Натали, не объясняя, в чем дело, принялась хохотать. А он с минуту сидел на краю постели и бормотал: «Ну и ну! Ну и ну!» — пока она не взяла у него из рук цветы и не поцеловала его.

— А что ты ему ответила?

— Что это очень любезно с его стороны, но я люблю другого. Я, правда, забыла показать на тебя пальцем,— вскользь добавила она

— Все-таки он порядочный нахал,— заметил Жиль.

Он был уязвлен. Рядом с нею он никогда не будет в выигрышном положении. Разумеется, она его любит, но ведь в чем-то самом главном она неизмеримо сильнее его. У него мелькнула было мысль, что, несомненно, это и спасло его три месяца назад, и вместе с тем он ломал голову, как бы доказать ей обратное. Если поразмыслить хорошенько, то с самого начала их связи инициатива во всем исходила от нее. Он же сделал только одно — ускорил их отъезд. А так — ведь это она его выбрала, соблазнила и добилась того, что они теперь вместе. И, конечно, если дать ей волю, вскоре вся их жизнь пойдет по ее указке. Доказательство — вчерашний вечер. Правда, за два месяца он впервые по ее милости нес такую тяжелую повинность, как вчера, но ведь, как говорится, лиха беда начало. Отныне он уже человек не обиженный, а скованный. Работалось ему в тот день плохо, настроение было ужасное, и он решил навестить Жильду. Со времени своего возвращения он ни разу не заглянул к ней, это было очень неделикатно с его стороны, тем более что Жильда обладала двумя огромными достоинствами: во-первых, она всегда была на стороне мужчин, во-вторых, она умела молчать. В шесть часов он уже был у нее и, едва переступив порог, вспомнил, какой ужасный вечер провел тут весной, ожидая какую-то женщину, которой он в конце концов даже не отворил дверь. Это было еще «до Натали», и, разумеется, он должен о ней молчать. Натали — это его тайна, она ему жена, и он не должен болтать о ней ни с кем,

иначе это будет подло, и этого она ему наверняка никогда не простит. Но он уже сидел в глубоком красном кресле со стаканом ледяного виски в руках, а напротив сидела дружелюбная, любопытная женщина, сообщница былых его сумасбродств. Он чувствовал себя помолодевшим. В конце концов, любовное приключение — это любовное приключение, и только.

— Ну как? — спросила Жильда.— Выглядишь ты прекрасно. Ты, говорят, очень счастлив.

— Очень,— вяло подтвердил он.

Она, как всегда, была обо всем прекрасно осведомлена.

— Так зачем же ты сюда пожаловал? — И она засмеялась.— Мужчины приходят ко мне либо затем, чтобы заняться любовью, либо затем, чтобы пожаловаться. Ты не очень-то похож на счастливого любовника. В чем дело?

— Это сложно,— начал Жиль.

И он заговорил. Говорил долго, чуть подтасовывая факты к своей выгоде, хотя и ненавидел себя за это. К концу рассказа он совсем расстроился. Она слушала молча, прищурив глаза, курила сигарету за сигаретой, и выражение лица у нее было как у хиромантки — у нее бывало такое выражение лица. Когда он умолк, она встала, прошлась по комнате, слегка покачивая бедрами, потом снова села в кресло и пристально посмотрела на него. В общем, это было довольно смешно, и Жиль уже раскаивался, что пришел к ней. Она заметила лукавую искорку в его взгляде и рассердилась.

— Если я верно поняла, мадам забрала тебя в руки и ты не знаешь, как вырваться.

Жиль возмутился.

— Вовсе нет,— сказал он.— Я забыл главное. Я не сказал тебе самого главного...

А главным была горячая страсть Натали, ямка у шеи Натали, куда он утыкался лицом, засыпая, непрестанная нежность Натали, глубокая ее правдивость, его безоговорочное доверие к ней. Все то, что Жильда, роскошная полупроститутка, с ее дешевой развращенностью, уже разучилась понимать. Но зачем же тогда он здесь?

— А что же главное? Втюрился ты в нее, что ли?

Но он уже вскочил и, заикаясь — не то от гнева, не то от стыда,— забормотал, с трудом выговаривая слова:

— Я плохо тебе объяснил... Забудь это. Извини меня.

— Ну, когда она вернется к своему мировому судье, приходи ко мне,— сказала она.— Я всегда дома, ты ведь знаешь.

«Да,— думал он с ненавистью,— ты всегда дома. И ты всегда рада любой подлости, любой гнусности и прихотям своих приятелей. Ты из той породы женщин, с которыми мужчина как будто все в жизни забывает, а на самом деле просто захлебывается во всякой мерзости».

Уже подойдя к двери, он обернулся.

— Вовсе она не забрала меня в руки, как ты говоришь, я сам к ней прицепился.

— Ну, тогда по-другому надо было рассказывать о ней,— смеясь, заметила Жильда и заперла за ним дверь.

Очутившись на лестнице, он почувствовал, что его трясет от негодования, но и сам не знал, на кого негодует. Он, точно бешеный, промчался через весь Париж, поставил куда-то машину, бегом поднялся по лестнице. Но за дверью своей квартиры он услышал смех Натали и мужской голос. Тяжело дыша, он остановился. «Если это американец, набью ему морду — и вся недолга. Это пойдет на пользу и мне и американцу, обоим сразу». И вместо того, чтобы от-

переть дверь своим ключом, он позвонил, находя, что так будет изящнее. Однако Натали, звонко смеясь, открыла дверь.

— Угадай, кто у нас! — сказала она.

В дверях гостиной стоял ее брат и улыбался. Вероятно, у Жиля было очень странное выражение лица, потому что Натали спросила:

— А ты думал, кто пришел?

— Не знаю,— пробормотал он.— Здравствуйте, Пьер.

— Ты думал — это Уолтер?

— Уолтер?

— Ну тот, вчерашний американец. Я как раз Пьеру рассказывала про него...

И, смеясь до слез, она бросилась в кресло. Брат стоял возле нее и тоже смеялся, и Жилем овладело ощущение счастья. Брат и сестра смеялись заразительно, как дети, в них чувствовалось что-то ребячливое и честное, и оба были такие красивые, что на них приятно было смотреть. Нормальные люди. Значит, еще существуют на свете нормальные люди. Жиль рухнул в кресло, измученный и довольный. Он у себя дома, в своей семье, после того как из-за своего дурацкого характера так по-дурацки провел день.

— Когда вы приехали, Пьер?

— Сегодня утром. У меня оказалось два свободных дня, а мне очень захотелось увидеть Натали. Мне ее писем недостаточно.

Так она, значит, часто писала брату? Между посещениями музеев? А что она вообще делает целыми днями? Он всегда рассказывал ей, возвратившись с работы, как у него прошел день; они, как сумасшедшие, спорили о политике, говорили о газете, о знакомых, но никогда не касались повседневной жизни Натали. В сущности, она никогда ему ничего не рассказывала о себе, говорила только о своей любви к нему. Что же она могла писать брату? «Я счастлива... Я скучаю... Жиль очень хороший... Жиль не очень хороший...» Он бросил взгляд на Пьера, пытаясь прочесть на его лице отзвуки этих писем, но ничего не увидел. Ласковое любопытство — и только. Нет, она, наверное, одинаково таится и от него, и от брата. Он вспомнил о том, что говорил о ней, сидя целый час у Жильды, и ему стало стыдно.

— Я вижу, вам и выпить нечего,— торопливо сказал он.— Натали совсем не хозяйка.

— Натали всюду чувствует себя гостьей,— добавил брат.— Тут она уж ничего не может с собой поделать.

Он весело улыбался. Натали побежала к холодильнику, мужчины остались одни.

— Судя по виду, моя сестра счастлива,— сказал Пьер.

Говорил он спокойно, но в его голосе звучала все та же нотка угрозы. Как в тот знаменательный вечер в Лиможе. В общем, он выступал в роли «благородного брата», и это немного раздражало Жиля.

— Надеюсь, что она действительно счастлива,— сказал он.

— Очень рад буду, если я ошибся в своих опасениях,— миролюбиво продолжал Пьер.— А как мне стало тоскливо в Лиможе без нее!

— Огорчаюсь за вас,— сказал Жиль.— Но мне было бы так же тоскливо в Париже.

— Вот это главное. В сущности, только это мне и хотелось узнать.

— Она вам не писала об этом?

Пьер засмеялся:

— Натали не любит говорить о своих чувствах. Вам-то следовало бы это знать.

Неумело держа поднос, вошла Натали, и Пьер тотчас вскочил с

кресла, чтобы освободить ее от ноши. Да, ее, вероятно, всю жизнь оберегали, всю жизнь любили, и, должно быть, Жиль, с его нервозностью избалованного ребенка, зачастую внушал ей страх. Между нею и братом была глубокая взаимная любовь, взаимная благодарность, множество воспоминаний обо всем, что они сделали друг другу хорошего,— просто так, по велению сердца, и Жилю вдруг захотелось, чтоб и у него в жизни было так же. Но он прекрасно помнил, что с сестрой у них не было душевной близости, если не считать привязанности с ее стороны, а его отношения с другими женщинами сводились к подспудным и печальным битвам, прерывавшимся минутами счастья, но всегда заканчивавшимся либо победой с привкусом поражения, либо просто поражением. Он вдруг почувствовал усталость, оттого что перепил вчера: таким он не любил себя.

— А почему бы вам не поужинать где-нибудь вдвоем? — сказал он.— Так вам будет спокойнее. А я пораньше лягу. Я совсем расклеился — слишком много вчера выпил.

Он ждал возражений, но Натали просияла:

— А тебе не будет скучно? Мы с Пьером так давно не виделись...

— Вы правда не против? — спросил Пьер.

«Бедняжка Натали,— думал Жиль,— ты так давно не видела приличных людей. Ну, в самом деле, кого ты видела? Пропащего Никола, Жана, который ревнует меня к тебе, твою злосчастную подругу, весьма унылую особу, а с восьми часов вечера и до утра видела меня — этакое жалкое существо, которое ты, моя сумасшедшая, любишь». Он замотал головой.

— Нет, нисколько, наоборот. Ступайте, поужинайте без меня. Если я еще не засну к вашему возвращению, мы вместе выпьем по чашечке липового чаю.

Когда они ушли, он включил телевизор, но тут же выключил его, съел ломоть ветчины, стоя у холодильника, и лег в постель. У него был превосходный детективный роман, большая бутылка минеральной воды под рукой, сигареты, а по радио передавали очень хороший концерт. Время от времени не мешает побыть в одиночестве — это имеет свою прелесть. В сущности, он всегда был одинок, добрый, старый, одинокий волк, и, умилившись этому своему образу, Жиль уснул, не погасив света.

Глава VII

Время шло, и Натали решила поступить на работу. Она сообщила Жилю, что нашла себе очень приятное место в туристическом агентстве, с приличным, кажется, жалованьем, которое поможет им сводить концы с концами, что было зачастую нелегко. Жиль сначала засмеялся: ему стало досадно, что она устроилась без его содействия, и забавно было вообразить себе Натали за конторским столом.

— Разве ты уже успела осмотреть все музеи? Что это на тебя нашло?

— Мне целыми днями нечего делать,— ответила она,— так совсем отупеешь.

— А что ты делала в Лиможе?

— В Лиможе у меня было благотворительное общество,— спокойно ответила она.

Он расхохотался. Вот сумасшедшая!

— Я понимаю, это кажется глупым,— заметила она,— но знаешь, я многим помогала...

— А все-таки... Ты — в роли дамы-благотворительницы... Ты же целые дни проводила со мной.

— Так ведь это было летом,— возразила она.— А для бедняков самое тяжелое время — зима.

Он изумленно уставился на нее.

— Если я правильно понял, то стоило мне приехать к сестре зимой, и мы бы с тобой не встретились?

Она засмеялась, покраснела:

— Да нет же... Но не о том речь. В агентстве очень приятная работа, директор — очаровательный человек, приятель Пьера. И знаешь, так интересно разрабатывать туристам маршруты. Я их буду отправлять в Перу, в Индию, в Нью-Йорк...

— Если ты собираешься служить из материальных соображений, то, по-моему, это идиотство,— сказал Жиль.— Можно просто вести себя чуть разумнее.

А ведь совершенно очевидно было, что транжирил-то деньги он, причем сам не знал, куда они уходят. Приятели, бары, такси — деньги так и текли между пальцев. И если Натали могла где-то бывать и одеваться, то этому она обязана была не заработкам Жиля, а скорее тому, что ежемесячно получала из Лиможа сто тысяч по какой-то старой семейной ренте. А тут еще Жиль купил ей к рождеству прелестную старинную брошь, за которую никак не мог расплатиться. Право, Натали пришла неплохая мысль, но почему-то она очень раздражала Жиля.

— Нет, не из материальных соображений,— сказала она,— а потому, что меня это заинтересовало. Но если тебе это неприятно, я могу отказаться.

— Делай как хочешь,— сказал он.— Кстати, о путешествиях — когда возвращается цветочник?

Дело в том, что фотограф-американец упорствовал. Он забрасывал Натали розами — отсюда и прозвище, которое дал ему Жиль,— и нежными письмами. Ему пришлось отправиться в дальнюю поездку, и почти отовсюду он посылал Натали безобидные открытки со спокойной уверенностью человека, решившего ждать хотя бы тридцать лет,— послания его то забавляли, то возмущали Жиля, смотря по настроению. Натали они трогали, и она это по своему обыкновению не скрывала, что, конечно, должно было успокаивать Жиля, но мешало им смеяться вместе над обожателем. Натали заявила, что во всякой искренней страсти, какова бы она ни была, нет ничего смешного. На эту тему она вела долгие разговоры с Гарнье, которого Жиль представил ей однажды,— тот все еще ждал выхода своего юного друга из колонии. Кстати сказать, Гарнье все больше перекладывал работу на плечи Жиля, и зачастую Жиль, возвратившись домой, заставал там Гарнье. Уютно расположившись у камина, они с Натали увлеченно болтали. Странный все-таки у нее вкус! В компании пьяницы Никола и развратника Гарнье она становилась оживленной, веселой, тогда как общество Жана, человека интеллигентного, ее, по-видимому, тяготило. «Ты не понимаешь,— возражала она, когда Жиль говорил ей об этом,— в них есть что-то наивное, искреннее, и это мне нравится». Жиль пожимал плечами; по его мнению, и Никола и Гарнье — люди нудные, но он предпочитал, чтобы Натали интересовалась ими, а не американцем-цветочником.

Итак, Натали начала работать и зачастую вечерами заезжала за Жилем в газету. Во всем мире люди все больше сходили с ума, между ведущими работниками газеты шли все более яростные споры, и Натали случалось часа по два проводить внизу, в баре, дожидаясь Жиля. Она, конечно, никогда его не упрекала, даже жалела, но мысль, что она сидит внизу и, жестоко скучая, ждет его, мучила Жиля. В конце

концов они решили встречаться только «у себя». И однажды он не пришел ночевать.

День выдался ужасный. Мерзкий Тома, ужасный Тома перешел все границы подлости. Потом Жиля вызвал к себе Фермон и дал ему нагоняй: он, видите ли, находил статьи Жиля чересчур «академическими», в них, по его мнению, отсутствовала сенсационность, которая нравится «читателю». Жиль не знал этого пресловутого читателя, о котором ему прожужжали все уши, этого неведомого часового, охраняющего склады глупости, но если бы этот охранитель попался ему в руки, Жиль задал бы ему хорошую трепку.

— Читателю,— говорил Фермон,— надо, конечно, давать объективную информацию, но тема должна увлечь, даже взвинтить читателя.

— А вы не находите, что сами факты, сама действительность достаточно взвинчивают читателя? — иронически спросил Жиль.— Всюду война, всюду...

— Война взвинчивает читателя только в том случае, если она непосредственно его касается.

— Она и касается,— в отчаянии сказал Жиль.— Вы что же, хотите, чтобы я дал читателям адрес конторы по вербовке солдат для отправки во Вьетнам? А цифры кажутся вам недостаточно красноречивыми?

— Это вы недостаточно красноречивы.

Короче говоря, Жиль вышел от Фермона в бешенстве и принялся заново переделывать статью, а было уже шесть часов. Натолкнувшись на Гарнье, он попросил его предупредить Натали и, если возможно, повести ее куда-нибудь поужинать, что, по-видимому, восхитило Гарнье, а сам Жиль остался в своем кабинете, сел за пишущую машинку, но мысли его были куда больше заняты обдумыванием запоздалых реплик в ответ на обвинения Фермона, чем злополучной статьей. В редакции было безлюдно, и он расхаживал по всем комнатам, чувствуя глубочайшее отвращение к своему творению. Зайдя в кабинет Жана, он откопал там бутылку шотландского виски и налил себе стакан, но, выпив, не почувствовал облегчения. До чего же ему осточертела эта проклятая газета, ничего он не добьется, будет тут прозябать до конца своих дней, а Фермон совсем выживет из ума и все больше будет жучить его. Жиль Лантье постареет. Натали превратится в почтенную провинциалку, они, может быть, поженятся, и, может быть, у них пойдут дети; супруги Лантье купят себе машину, маленькую, благоустроенную ферму с телевизором. Да еще хорошо, если им удастся достигнуть такого благополучия. Все ужасно. Он, Жиль Лантье, способный на все крайности, жаждущий объездить мир, он, кипучий Жиль, вот-вот загубит свою жизнь под игом хозяина и любовницы, и оба они еще осуждают его... Ну так вот, он больше не желает, ни чтобы его осуждали, ни чтобы его прощали, ни чтобы его заковывали в какие бы то ни было рамки — будь то профессия или область чувств. Он хочет быть одиноким и свободным, как раньше. Свободным, словно молодой пес, каким он был. Прикладываясь к бутылке, он перебирал свои обиды и разъярялся все больше. Ах так! Они воображают, будто Жиль Лантье сидит и переписывает наново свое сочинение, как двоечник-школьник, оставленный без обеда?! Ах так! Они воображают, будто он возвратится домой к своей верной и благородной любовнице?! Хорошо же, мы им покажем! Он надел плащ и ушел, оставив гореть все лампы. Пресловутый «читатель» заплатит по счетчику.

Проснулся он в полдень в чьей-то незнакомой, вернее слишком хорошо знакомой постели — в доме свиданий. Рядом с ним храпела толстая черноволосая девка. Ему смутно вспомнились ночные кабаки

на Монмартре, какая-то драка, физиономия полицейского,— слава богу, глупости-то он вытворял на правом берегу Сены. У него даже голова не болела, только смертельно хотелось пить. Он встал и напился — пил без конца из крана над эмалированной раковиной, премило украшавшей комнату. Потом подошел к окну, выходившему на какую-то незнакомую улочку. И застонал про себя. Что же он все-таки натворил? Он встряхнул спящую девицу, она что-то буркнула и, приоткрыв глаза, поглядела на него почти так же удивленно, как он на нее. На редкость противная девка!

— Это я с тобой, значит?..— произнесла она.— Ну и нагрузился же ты.

— Где мы?

— Около бульваров. Ты мне должен пять косых, мальчик.

— А что я вытворял?

— Не знаю. Ты попал ко мне в шестом часу. Я тебя уложила, и все тут! А что раньше было, не знаю.

Он быстро оделся, положил на ее постель кредитку и направился к двери.

— До свидания, дядя,— сказала она.

— До свидания.

Светило яркое солнце. Он вышел на Итальянский бульвар. Натали, Натали, где же сейчас Натали? Может быть, в агентстве? Нет, должно быть, обедает где-нибудь по соседству, как обычно. Он взял такси. Голова была пустая. Надо увидеть Натали во что бы то ни стало. Это главное. Но агентство было заперто, в соседнем ресторане он Натали не обнаружил. Он перепугался. Такси не отпустил и велел ехать домой. Он бесшумно отпер входную дверь и замер в передней: Натали сидела в кресле и казалась спокойной. У него возникло ощущение, будто разыгрывается очень старая и очень глупая сцена: возвращение беспутного мужа после ночного кутежа.

— Я напился,— сказал он.

Она не ответила. Он заметил, что у нее темные круги под глазами. Сколько ей, в сущности, лет? На ней было черное платье, его брошка,— должно быть, она не ложилась, просидела в этом кресле всю ночь.

— Я заходил в агентство,— продолжал он.— Тебя там не оказалось. Я... мне ужасно неприятно, Натали. Ты беспокоилась?

Он говорил глупые слова, но что же ему оставалось говорить? На душе, однако, стало легче. Теперь он сознавал, что, когда ехал в такси, то все время боялся только одного — вдруг он не найдет ее. Но вот она тут и как будто даже улыбается.

— Беспокоилась? — переспросила она.— Почему?

Он подошел к ней, и тогда она встала с кресла, посмотрела ему в лицо с каким-то любопытством, почти что с интересом. А затем дала ему две увесистые пощечины. И направилась на кухню.

— Сейчас сварю кофе,— сказала она ровным голосом.

Жиль не шевелился. Он совсем ничего не чувствовал, только горели щеки: у Натали оказалась тяжелая рука. Постояв, он пошел на кухню и прислонился к косяку. Она с величайшим вниманием следила, как закипает вода.

— Гарнье просидел со мной до трех часов утра,— сказала она так же спокойно.— Звонил по телефону в редакцию, потом в клуб. Тебя там не было. Тогда он позвонил Жану, и Жан нам сказал, что ничего тут нет особенного. Кажется даже, это показалось ему довольно забавным, что нас и успокоило.

В голосе ее звучала убийственная ирония.

— Так как Жан не знал, что я слушаю по отводной трубке, он

даже сказал Гарнье, чтобы тот посоветовал мне привыкать. Мне это понадобится.

— Перестань,— сказал Жиль.

— Я стараюсь в две минуты объяснить то, что ночью заняло у меня двенадцать часов. Я не так уж злоупотребляю твоим временем.

— Всякий может раз-другой напиться.

— И этот «всякий» может позвонить по телефону и сказать: «Я напился, спи спокойно». Но я думаю, что это тебе испортило бы все удовольствие.

«А ведь верно,— подумал Жиль.— Как раз мысль о моей виновности и подстегивала меня ночью».

— Вот кофе,— сказала она.— Ты получил все, что тебе требовалось: нелепый ночной кутеж, сцену, устроенную любовницей, две пощечины, чашку кофе. Правильно? Твой портрет-схема завершен? Прекрасно. Я ухожу в агентство.

Она на ходу надела пальто и вышла. Он с минуту постоял, озадаченный, потом выпил кофе, развернул газету, но читать не стал. Оказалось, что он не вызвал у Натали ни ревности, ни гнева. Прежде всего она чувствовала беспокойство, а потом презрение. Зазвонил телефон. Жиль бросился к аппарату. Может быть, она раскаивается в своей суровости.

— Ну что, старик,— послышался голос Жана,— опять за глупости принялся?

— Да,— ответил Жиль.

— Ты один?

— Да.

В голосе Жана звучала веселая снисходительность сообщника. Но что-то в душе Жиля мешало ему соскользнуть по той наклонной плоскости, на которую толкал его Жан и все, что звучало в этом голосе.

— Как прошло возвращение? Плохо?

— Две оплеухи,— ответил Жиль и, когда Жан рассмеялся, понял, что все-таки соскользнул.

Глава VIII

Теперь он знал, что в его отношениях с Натали появилась трещина. Он не знал в точности из-за чего — может быть, просто из-за того, что она даже не устроила ему сцену ревности, а может быть, из-за того, что он, сам того не ведая, тщетно ждал от нее какого-нибудь низкого или пошлого поступка, который поставил бы их на один уровень. Неужели ночная пьянка — выходка, в общем, банальная для раздосадованного человека—выявила внутреннюю сущность их обоих и показала, что Натали выше него? Но, может быть, расхождение было неизбежной расплатой за шесть месяцев совместной жизни? А действительно ли Натали лучше него? Бывает ли один лучше другого в любовных отношениях, то есть в таких отношениях, где значение имеют не моральные, а эмоциональные качества? А все же, как бы то ни было, она теперь смеялась реже, чем прежде, худела, и нередко в их чисто физической близости было что-то неистовое, нарочито яростное, словно каждый хотел с избытком утолить страсть другого и подчинить его себе и словно само наслаждение уже не было тем великолепным подарком, каким оно бывало для них прежде, но доказательством чего-то... Но что могли доказать эти восклицания, эти стоны, эти вздрагивания? Что могли доказать объятия двух жалких существ, которых так влекло друг к другу? Что все это значило по сравнению со взглядом Натали в иные минуты или с отсутствием

взгляда у Жиля? Они ничего не могли поделать: было плотское влечение, но этого было недостаточно, их близость приносила лишь наслаждение — и ничего больше. Жиль никогда еще не был так влюблен физически и никогда еще не находил так мало радости в своей любви.

Настал день, когда Натали понадобилось съездить в Лимож. Тетя Матильда, та, что присылала ежемесячно по сто тысяч, была при смерти и звала племянницу. Решено было, что Натали пробудет там с неделю, остановится у Пьера и возвратится как можно скорее. Жиль отвез ее на вокзал — на Аустерлицкий вокзал, который видел, как восемь месяцев назад Жиль уехал ужасно несчастный, как вернулся, не сознавая, что влюблен, снова уехал влюбленным и возвратился, связав себя с Натали. Теперь он вспомнил о каждом из этих четырех путешествовавших Жилей и не знал, каким из них он хотел бы сейчас быть. Нет, знал — ему хотелось быть тем влюбленным Жилем, который в мае, уже сознавая свою любовь, но не зная, что его ждет, смотрел из окна вагона, как течет Луара, проносятся пригороды, облака, и для которого ночные часы пути полны были чудесных неожиданностей, завершившихся самым большим чудом — на перроне стояла Натали, сбежавшая со званого ужина. Как она бросилась тогда ему навстречу! Жилю нравилась история их любви, хотя иной раз и не нравилась их совместная жизнь. Ему даже нравился тот худой и грустный, несчастный парень на грани отчаяния, тот страдалец, каким он был тогда, а как ему нравилась та страстная, безрассудная, не знавшая меры и такая благовоспитанная женщина, которая внезапно влюбилась в него. Ах, луга Лимузена и трава, нагретая солнцем, и дно прозрачной реки, ах, ладонь Натали, охватившая его затылок, и та мрачная комната, где они соединились в первый раз, и взгляд хозяина гостиницы, и душная комната под раскаленной крышей, и коктейли Флорана!.. Но почему же теперь они бродят по перрону растерянные, как заблудившиеся собаки, придумывая, что бы сказать друг другу, сверяя свои часы с вокзальными, покупая какие-то нелепые иллюстрированные журналы? Что случилось? Он взглянул на четкий профиль Натали, вспомнил, как они прожили в Париже эти три месяца, и не мог разобраться в себе. Он вовсе не хотел, чтобы она куда-то уезжала, но если бы по какой-то фантастической причине вдруг искривились рельсы где-то в пути, например около Орлеана, и ей пришлось бы вернуться сейчас с ним домой, он был бы взбешен. В тот день он собирался ужинать с Жаном и с приятелями — ничего увлекательного не было в этой перспективе, во всяком случае, ничто его не увлекало больше, чем эта женщина, а все-таки ему хотелось, чтобы она уехала, чтобы поезд отошел поскорее. Да он с ума сошел! В нем живет какой-то несчастный сумасшедший, которому всего дороже его свобода, бесполезная, ненужная свобода.

Он простился с Натали долгим поцелуем, посмотрел, как она проходит по коридору вагона. Перед ним простирался город, огромный и весь в трещинах, как фотография лунной поверхности,— город сухой и залитый светом, город как раз для него. Да, Натали была права, когда говорила, что он отлично приспособлен к своему времени.

«В сущности, ты только это и любишь,— говорила она.— Ты заявляешь, что тебе ненавистны дикие нелепицы, свойственные нашему веку, его ложь и насилие. Но ты в нашем веке — как рыба в воде. Ты прекрасно плаваешь во всем этом,— конечно, против течения, но уж очень ловко. Ты выключаешь у себя телевизор, ты выключаешь радио, но только потому, что тебе нравится их выключать. Этим ты выделяешься».

«А ты? — спрашивал он.— Ты в каком веке хотела бы жить?»

«Я? В том, которым можно восхищаться»,— отвечала она.

Восхищаться?.. Женщина не должна говорить таких вещей. Женщине достаточно восхищаться мужчиной, с которым она живет, и тогда у нее не будет ребяческой и головной тоски по несбыточному.

Немного позже он присоединился к приятелям, и ему был оказан торжественный прием — разумеется, весьма скромный торжественный прием, но все же прием, каким удостаивают приятеля, вырвавшегося на свободу. «Вот и Жиль!» — крикнул кто-то, и все дружно засмеялись, когда он поклонился, прижав руку к сердцу. И конечно, никогда бы они не сказали таким же тоном: «Вот Жиль с Натали!» Но за это нельзя было на них сердиться: у людей, ищущих удовольствий, очень крепка сила привычки, а ведь он очень долго, уже лет пятнадцать, играл роль одинокого человека. Правда, этого одинокого зачастую сопровождала та или иная женщина, но, конечно, такая женщина, которую можно было оставить в клубе за чьим-нибудь столиком или в обществе приятеля — словом, женщина вроде, например, Элоизы: она знала всех, и он мог, не задумываясь, оставить ее, будучи уверен, что к ней за столик непременно подсядет какой-нибудь юнец или приятельница. Но вот теперь в его жизни появилась Натали, Натали, которая в эту минуту, вероятно, уже миновала Орлеан.

Он очень спокойно провел вечер, пил мало и вернулся домой один, в первом часу ночи. У него был записан номер телефона Пьера, и, придя домой, он позвонил. К телефону тотчас подошла Натали, и Жиль нежно доложил ей, что он дома, что он слушает музыку Моцарта, что без нее постель слишком для него широка. Он, естественно, немного присочинял, сам восхищаясь своим примерным поведением.

— Я ужасно долго ехала,— сказала Натали,— не люблю этой дороги. Как ты себя чувствуешь? Хорошо?

Голос ее долетал откуда-то издали, слышимость была плохая, Жиль мялся, подыскивая слова. Если бы он наделал глупостей, у него наверняка нашлось бы, о чем поговорить с ней. Необходимость лгать пробуждает изобретательность, воображение.

— Сейчас лягу,— заявил он.— Завтра у меня много работы. Думаю о тебе — ты же знаешь.

— Я тоже. Покойной ночи, дорогой.

Она повесила трубку.

Они разговаривали друг с другом так, словно были женаты лет десять. Он, позевывая, снял галстук, посмотрелся в зеркало. Вот сейчас он благоразумно вытянется в этой постели, благоразумно послушает хорошую музыку — в такой час это легко (он лишь забежал немного вперед, сказав Натали о Моцарте), а потом уснет, как дитя; завтра проснется в полной форме, будет работать, словно одержимый, и ждать, когда вернется его прекрасная возлюбленная. Но из зеркала на него смотрело собственное его отражение, и этот посторонний Жиль, оказавшийся напротив него, улыбался — да, действительно Жиль видел себя улыбающимся. Он схватил куртку и вышел из дому, хлопнув дверью.

— Ну, мы так и думали!..

Он снова очутился в клубе. Жан смеялся; Жилю было так тепло со своими друзьями, настоящими или мнимыми друзьями, конечно, но все же друзьями, веселыми ребятами, готовыми на все что угодно— с друзьями, которых он основательно забросил ради женщины. Это нехорошо с его стороны: душевное равновесие у всех этих людей неустойчиво, им не следует подолгу пропускать занятия в вечерней школе — это их размагничивает. Он наклонился к Жану:

— Я, право же, хотел остаться дома и вдруг вижу — не могу уснуть. Не люблю спать один.

— Вероятно, такое дело можно уладить,— сказала подруга Жана.

Как она была вульгарна в тот вечер!.. Жиль всегда считал ее глуповатой, но она еще никогда не казалась ему вульгарной. Жан даже бровью не повел, и Жиль решил, что его друг уже вообразил невесть что. Будто это Натали вдолбила ему понятия о хорошем и дурном тоне, а разбираться в таких вещах весьма утомительно.

— Разумеется, на свете существует малютка Катрин,— сказал он.

Катрин была заманчивой блондиночкой и всегда намекала Жилю, что он ей нравится. Как раз в эту минуту она проходила мимо.

— С ней не советую,— сказал Жан.— Она болтлива как сорока, и Натали все узнает.

Вот ведь говорит с ним, как со школьником, удравшим из дому. Да еще и неизвестно, что он имеет в виду; хотел ли он избавить Натали от огорчения или подчеркнуть зависимость его, Жиля.

— Я достаточно взрослый,— сказал он неопределенно.— И уж во всяком случае из-за какой-то Катрин ничего не порвется между мной и Натали.

— Я не так в этом уверен,— миролюбиво ответил Жан.— Твоя Натали — женщина с характером.

И на лице его заиграла, казалось, умиленная улыбка. Жиль бросил на него инквизиторский взгляд, который, как все инквизиторские взгляды, ничего ему не открыл. Только случайный взгляд может что-то уловить. На Жиля решительно напала хандра. Когда Натали была с ним, он чувствовал себя в капкане, а теперь, когда ее нет, стало чуть ли не хуже. Наверно, это и называется «испортить себе жизнь». В каждом взгляде своих друзей, во всех их разговорах он чувствовал, что его считают «несчастным влюбленным, тоскующим в одиночестве» или же «беднягой, которого любовница держит в ежовых рукавицах и которому требуется разрядка». (Обе эти роли были не его.) Если он будет сидеть смирно и не отойдет от своего столика, он всем покажется грустным; если он вдруг бросится, да еще в клубе, к «малютке Катрин», это будет унизительно для Натали, да и для него самого. Он вздохнул и потребовал счет. Испортил себе час жизни.

Глава IX

Нет, он испортил себе не только час. В этом он окончательно убедился на следующее утро, когда проснулся и сразу же позвонил по телефону Натали.

— Я позабыла вчера напомнить тебе, чтобы ты взял из чистки свой синий костюм — он уже готов,— сказала она.— Позвонила еще раз, но ты не подошел к телефону.

Ну, конечно, не подошел: ведь пай-мальчик удрал из дому через минуту после телефонного разговора. Впрочем, удрал-то совершенно зря — но разве она теперь поверит ему? И правда и ложь объединились в заговоре против него. А ведь он в самом деле собирался остаться дома, когда разговаривал с ней.

— Я сразу догадалась, что тебе захотелось повидаться с друзьями,— произнес далекий голос Натали.— Но зачем ты выкинул со мной этот номер? Неужели я тебе в тягость? Зачем было говорить о нашем доме, о слишком широкой постели и о музыке? Зачем, Жиль?

— Я действительно хотел остаться, когда звонил тебе,— ответил он.— А потом вдруг решил пойти в клуб.

— Через минуту?

Слова его прозвучали фальшиво — правда звучит ужасно фальшиво, и тут он ничего не мог поделать. Но все-таки он продолжал объяснять:

— Выпил в клубе с Жаном и через час уже был дома.

«Мало того, что ради тебя не подступился к этой очаровательной Катрин, мало того, что вел себя, как ангел, а все равно причинил страдание тебе, и ты еще думаешь, будто я лгу». Положение безвыходное! Он был просто в ярости, но понимал ее: при всей своей добросовестности он был уличен во лжи.

— И не так важно то, что ты сделал или не сделал. Важно то, что ты сказал, то, что считал себя обязанным сказать.

Он вздохнул, закурил сигарету, провел рукой по волосам.

— Я потом тебе объясню,— сказал он.— Как тетя?

— Очень плоха. Вряд ли протянет еще день-два. Я как раз еду туда с Пьером.

Правда, ведь она живет у Пьера, и, должно быть, Пьер был свидетелем, как его сестра вчера снимала трубку, отвечала ласковым голосом, как потом она воскликнула: «Ах, чистка!» — позвонила сама и, не получив ответа, обратила к брату чересчур спокойное лицо. Мы зачастую больнее раним людей через их близких, чем причиняя боль им самим. Ведь тогда пострадавшему приходится из гордости лгать, что-то придумывать, изощряться, как будто и позабыв, что телефон-то рядом. Будь Натали одна, она, может быть, стала бы звонить ему каждые полчаса и при вторичном звонке натолкнулась бы на него. Ах, в конечном счете жизнь устроена слишком глупо.

— Натали,— сказал он,— я люблю тебя.

— Я тоже,— ответила она, но голос ее прозвучал невесело: скорее, она смиренно признавала бесспорный факт.

И она повесила трубку. Через неделю он все ей объяснит, он будет держать ее в объятиях, будет прижимать к себе теплое, живое тело Натали, оно и станет связью между ними, а не ее упрямо замкнутое лицо и не те нелепые унылые фразы, которыми они обменивались по телефону. Что же до других (он не знал в точности, кто эти «другие»,— просто в воображении его возникал злобно жужжащий рой парижан) — они еще увидят. Вернее сказать, ничего не увидят. Во-первых, не увидят Жиля Лантье целую неделю, а потом, когда Натали вернется, не увидят их обоих. Они будут сидеть у себя дома или ходить в театры, раз она любит театр, или будут ходить на концерты, раз она любит музыку. Разумеется, он лично предпочитает слушать хорошую пластинку, лежа на ковре, но раз нужно, так нужно,— он все будет делать в угоду Натали. Приободрившись от этих мыслей, он встал, напевая, отправился в редакцию чуть не раньше времени, работал хорошо. И как же он был ошеломлен, когда в три часа утра оказался в клубе и вдруг обнаружил, что рассуждает с английским журналистом о сегрегации в Америке.

А через десять дней в одиннадцать часов вечера приехала Натали, и он встречал ее на их любимом Юго-Западном вокзале. На перроне их обгоняла — или шла за ними — веселая толпа дам-провинциалок, одетых так же, как Натали: все в юбках чуть длиннее, чем требовалось, в шелковых платочках на голове, в руке — чемоданчик. Кроме гордой посадки головы, а при ближайшем рассмотрении — и красоты, ничто не отличало ее от других. У него бывали любовницы, чьих собачек носили грумы, как букеты цветов, и тогда он не находил в этом ничего особенного. Но на этом сером и унылом вокзале (шел дождь) ему хотелось, чтобы Натали появилась, как яркое цветное пятно, как что-то необычное, как взметнувшееся пламя. Он крепко

обнял ее, поцеловал. Глаза у нее были обведены темными кругами, и она была, конечно, в трауре. Какой же он дурак!

— Ах, это ты! — сказала она и застыла, прижавшись к нему.

На них смотрели, и ему стало немного стыдно: ведь им, в конце концов, не по двенадцати лет, чтобы так откровенно выказывать на вокзале свои чувства. Он попытался пошутить:

— А кто, по-твоему, это мог быть?

— Ты,— ответила она.— Именно ты.

Она вскинула голову, и он пристально посмотрел на нее. Ему показалось, что лицо у нее немного опухло, что она плохо подкрасилась, этот осмотр казался ему вполне естественным, так же как и ее возвращение к нему. Он приехал на вокзал встретить любовницу, почти жену, и рассматривал ее, как все старые любовники рассматривают друг друга — вот и все. Он взял ее под руку.

— Я купил жареную курицу, поужинаем дома. Ты выехала сразу после похорон?

— Да, разумеется. Ты же понимаешь, мне не так-то приятно было в Лиможе.

— Честные люди бросали в тебя камнями на улице?

— Ну нет,— ответила она,— они знают, что плоть слаба. Они теперь читают газеты.

Дома она окинула рассеянным взглядом беспорядок, который он успел произвести за два часа—перед тем как поехать на вокзал,— прошла в ванную, подкрасилась, а он тем временем, яростно ругаясь, разрезал курицу. После кофе они прошли в гостиную, и Жиль осторожно поставил только что купленную им пластинку Гайдна.

— Ну что? — сказала она.— Что нового в Париже?

Она произнесла это небрежно, закрыв глаза, таким тоном, словно в Париже ничего нового не могло быть.

— Да больших новостей нет,— ответил он.— Ты читала газеты?

— А ты?

Тон вопроса был тот же. Он улыбнулся.

— Я тоже не читал. Много работал. Пожалуй, выпивал лишнего без тебя, да вот купил эту пластинку.

Он не добавил, что в конце концов пошел, очень пьяный, проводить Катрин до дому и потерпел полное фиаско. Но во всяком случае на этот раз девица будет помалкивать. В ее же интересах скрыть его внезапное бессилие, поскольку ему теперь известны все ее прихоти. Он протянул руку, и Натали сжала ее.

— Ну, а ты? Видела Франсуа?

— Да, видела. Он нарочно приезжал к Пьеру, чтобы встретиться со мной.

— Зачем?

— Уговаривал вернуться. Мне кажется, он скучает.

— Провинция переменилась,— сказал Жиль.

Он был раздосадован, сам не зная почему. Все мужчины хотят отнять у него эту женщину и ни на секунду не допускают мысли, что она его любит... что она может любить его. Ясно. Он в ее жизни — просто случай.

— И что ты ему сказала?

— Что не вернусь. Что люблю тебя. Что очень жалею, но... Пьер тоже уговаривал остаться.

Что-то вроде негодования поднималось в душе Жиля. Конечно, он тут десять дней вел себя как мальчишка, как свободный от всяких уз молодой человек. А к чему все это свелось? Провел два часа с порочной девчонкой да целые ночи разговаривал с умниками, у которых душа опустошена алкоголем и приспособленчеством. А в это

время Натали видела знакомые лица, видела взволнованных людей, вдруг утративших всю свою гордость,— она жила, она играла роль Анны Карениной — только наоборот. Она переживала угрызения совести, даже сожаление — словом, испытывала человеческие чувства.

— Не знаю даже, зачем я тебе говорю об этом. Я так устала. Ты, значит, доволен своей работой?

Уж не собирается ли она поставить ему хорошую отметку за поведение? Он сам не мог понять своей ревности, своей бешеной злобы. Ведь Натали вернулась. Все бросила ради него. Вот она тут. Чего же он боится?

— Я видела и твою сестру, и Флорана — на похоронах. Она жаловалась, что от тебя нет вестей. Ты бы ей написал.

— Завтра напишу,— сказал он.

Он старался успокоиться, чтобы голос не срывался, чтобы не дрожали руки. Он даже улыбался.

— Тебе надо лечь спать,— сказал он,— ты совсем извелась. Я сейчас приду.

Оставшись один, он выпил большой глоток виски, прямо из бутылки, спирт обжег ему горло. Сейчас настанет час любви с этой совершенной подругой, с этой совершенной возлюбленной, с этим воплощением совершенства. Жизнь в конечном счете выправилась. Он даже сможет сказать сейчас: «Знаешь, мне очень тебя недоставало»,— и это не будет ложью. Но у него зуб на зуб не попадал.

Глава X

Она действительно сожгла последние мосты, соединявшие ее с прошлым, с детством, с друзьями. Брат замучил ее советами, мольбами, а муж поставил ультиматум: «Или оставайся сейчас, или уходи навсегда». Она обо всем этом рассказала Жилю короткими, отрывистыми фразами, и он радовался, что она в темноте не видит его слез. Никто в Лимузене не доверял ему, решительно никто, даже родная его сестра Одилия, которая, вдруг набравшись смелости, отвела Натали в сторону и спросила, счастлива ли она, но с таким видом, будто спрашивала о чем-то невозможном.

«Мне там больше нечего делать»,— говорила Натали, а он теперь часто задумывался: быть может, они правы, эти положительные люди, прочно стоящие на земле. Время шло, уже апрель опушил зеленью деревья, и они жили, как жилось. Однажды утром Жиль пришел в редакцию газеты сияющий: накануне вечером он написал очень хорошую статью о Греции. Он прочел ее Натали, она была взволнована этой статьей, и он чувствовал себя уверенно. В самом деле, Фермон нашел, что написано хорошо, и Жан похвалил; даже Гарнье, который со времени знаменитой ночной вылазки Жиля немного сторонился его, поздравил товарища с удачей. Статья была написана сжато, страстно и четко; именно такие статьи газете следовало бы печатать каждую неделю, заявил Фермон. Жиль был в восторге и, когда утром заверстали газету, пригласил Жана, доброго, старого друга Жана, позавтракать с ним. За столиком они все время говорили о политике, потом из лени решили не работать больше, а пойти в кино. Обошли все кино на Елисейских полях, но тщетно: если один не видел картины, другой непременно видел.

— К себе я тебя не приглашаю,— сказал Жан.— Сегодня у Марты гости. Не могу подложить тебе такую свинью.

— Пойдем лучше ко мне,— сказал Жиль.— Натали вернется в половине седьмого. А дома нам удобнее будет поговорить о событиях в Греции.

Он чувствовал, как ясно, абстрагируясь от всего, работает сейчас его ум, и радовался, что еще два часа может развивать свои мысли перед Жаном, который, как он знал, умел и слушать и возражать. Он отпер дверь в квартиру, усадил Жана, налил ему кальвадоса.

— Давненько я здесь не бывал,— сказал Жан, усаживаясь поудобнее.

В голосе его не звучало ни малейшего укора, но Жиль подумал, что Жан совершенно прав. А раньше всегда к нему приходили люди, даже стульев не хватало. Так было до... до Натали. Он поморщился:

— Знаешь ли...

— Да знаю, знаю, дружище,— прервал его Жан.— Страсть — это страсть. Это лучшее из всего, что могло с тобой случиться. В особенности страсть к такой женщине, как Натали.

Казалось, он говорил совершенно искренне.

— И да и нет,— сказал Жиль и наклонился к Жану. Он почувствовал, что способен к анализу, тонкому, прустовскому. Когда чувствуешь себя умным, предателем себя не чувствуешь.— Видишь ли, когда я с ней познакомился, я был... ну, ты, конечно, помнишь... с меня словно кожу содрали. Бог знает почему, но именно так и было. Она положила меня на пуховую подушечку, согрела, вернула к жизни. Право. Но теперь...

— Что теперь?..

— Теперь подушка давит мне на лицо, душит. Вот как. Все, что я любил в ней и что поддерживало меня — ее властность, ее прямолинейность, цельность,— все это обратилось против нее...

— Потому что сам ты вялый и неустойчивый,— ласково сказал Жан.

— Если хочешь, да. Может быть, я последняя сволочь, но, право же, бывают минуты, когда я дорого дал бы за то, чтобы не представать перед ее судом. И быть, как прежде, одиноким.

Ему следовало бы, ради точности, добавить, что он не может и помыслить себе жизни без нее. Но в порыве гордости и самодовольства по поводу своей удачной статьи, видя всеобщее одобрение и явное сочувствие Жана, он избавил себя от этого признания.

— Может быть, тебе следует все это объяснить ей,— сказал Жан и умолк.

Жиль обернулся. В дверях спальни стояла спокойная Натали. Нет, глаза у нее были светлее, чем обычно. А дверь была закрыта, когда они пришли?

— Добрый вечер,— сказал Жан.

И поднялся с места. Он тоже немного побледнел.

— Вы тут беседовали? — сказала Натали.— Агентство сегодня днем закрыто, и я этим воспользовалась, чтобы немного поспать.

— Я... Ты спала? — в отчаянии лепетал Жиль.

— Только что проснулась. И сейчас покину вас: мне надо кое-что купить.

— Да останься же,— торопливо проговорил Жиль,— останься. Мы с Жаном как раз говорили о моей статье, которую я вчера прочитал тебе.

— Хорошая статья, верно? — сказала она Жану.— Нет, остаться я не могу. Право, мне надо идти.— И, улыбнувшись им, она ушла.

Они медленно опустились в кресла.

— Ах, дьявол! — выругался Жиль.— Ах, дьявол!.. Как по-твоему, она...

— Нет, не думаю,— ответил Жан.— Мне кажется, дверь была закрыта. Во всяком случае, ты не сказал ничего существенного. Только то, что иногда тебе бывает муторно. Каждой женщине это знакомо.

— Нет, это существенно. Даже очень существенно. Как ты не понимаешь? — крикнул он.— Ужасно, что я говорил вот так о моих отношениях с ней да еще тебе...

— Что значит — «еще тебе»? Чем я провинился?

— Ничем,— ответил Жиль.— Не время обижаться.

— Послушай меня, давай допьем кальвадос и подождем немного. Вечером она тебе закатит бурную сцену — это худшее, что тебя ждет, но ведь ты уже привык к этому.

— Нет,— задумчиво сказал Жиль,— нет, я не привык.

Время шло и как будто не шло. Жиль едва слышал, что говорил Жан,— он подстерегал шаги на лестнице. Уже час ее нет, уже полтора часа. А ведь она терпеть не могла бегать по магазинам, не может быть, чтобы она ушла за покупками. На всякий случай он позвонил Гарнье, но тот не видел Натали. В пять часов ему стало совершенно ясно, что она на вокзале — сейчас сядет в поезд и поедет назад в Лимож. Он бросил Жана и помчался на вокзал, пробежал по всем вагонам и не нашел Натали. Другого поезда по расписанию не было, самолета на Лимож в этот день тоже не было. В шесть часов поезд отошел без него и без нее. На вокзале ее тоже не было. Он помчался обратно и чуть не выл от бешенства, попав в «пробку»... Может быть, Натали дома? Может быть, она ничего не слышала? Было уже почти семь часов вечера, когда он отпер дверь своей квартиры. Там было пусто, на столе лежала записка от Жана:

«Не волнуйся ты! Если хочешь, приходи к нам ужинать».

Да что, Жан с ума, что ли, сошел? Оставалось только одно — ждать, а для Жиля это было самым невыносимым. А может быть, она у своей уродины подруги? Он бросился к телефону. Нет, у подруги ее не было. Он измучился. Нет погоди, как только она вернется, он тоже даст ей две оплеухи. Она правильно поступила в то утро, когда он пришел после пьянки. Но разве она станет сознательно пугать его и мучить — это на нее не похоже. Она уважает людей. Он сел в кресло, но даже и не пытался читать газету. В голове была гудящая пустота. В полночь зазвонил телефон.

Доктор был низенький и рыжий, с мускулистыми волосатыми руками. Странно, что у рыжих даже на фалангах пальцев пух растет. Доктор смотрел на него безразличным взглядом, в глазах его не было ни осуждения, ни сочувствия — Жиль часто замечал такой взгляд у врачей в больницах. Натали нашли в половине двенадцатого. Ровно в четыре она сняла номер в гостинице, сказала, что очень утомилась и просит разбудить ее завтра в двенадцать дня, а сама приняла огромную дозу гарденала. Около одиннадцати часов вернулся к себе сосед и сквозь стену услышал ее хрип. Она оставила записку Жилю, и после оказания ей первой помощи ему позвонили. Надежды на то, что она выживет,— очень мало. Организм, разумеется, восстал против смерти, борется, но сердце, должно быть, не выдержит.

— Можно мне ее увидеть? — спросил Жиль.

Он еле стоял на ногах. Все это казалось нелепым кошмаром. Врач пожал плечами.

— Если хотите.

Она лежала, полуобнаженная, и кругом были какие-то трубки. Что-то незнакомое искажало ее лицо. Он видел, как у нее на шее бьется синяя жилка, вспомнил, как быстро билась эта жилка в часы любви, и его охватило смутное чувство негодования. Она не имела права так поступать, отнять навсегда у него себя, такую прекрасную,

полную жизни, такую любимую, она не имела права даже пытаться бежать от него. Ко лбу Натали прилипли мокрые от пота пряди белокурых волос, руки шевелились на одеяле. Сидевшая у постели медицинская сестра бросила на врача вопрошающий взгляд.

— Сердце слабеет, доктор.

— Ступайте отсюда, друг, я сейчас выйду к вам. Вы здесь не нужны.

Жиль вышел, прислонился к стене. В конце коридора было окно, и видно было, что там еще темнота, что над этим неумолимым городом еще простирается ночь. Жиль сунул руку в карман, нащупал какую-то бумагу, машинально достал ее. Это было письмо Натали: он развернул его и не сразу понял слова, которые прочел:

«Ты тут ни при чем, мой дорогой. Я всегда была немного экзальтированная и никогда никого не любила, кроме тебя».

Вместо подписи она поставила, немного криво, большую букву «Н». Он положил записку в карман. А куда же он дел сигареты? А Натали? Ведь тут рядом была Натали,— куда же, куда он дел Натали? Из палаты вышел врач — он действительно был безобразно рыжий.

— Все кончено, друг мой,— сказал он.— Слишком поздно. Мне очень жаль. Хотите ее увидеть?

Но Жиль бросился бежать по коридору, натыкаясь на стены. Ему не хотелось, чтобы этот рыжий видел, что он плачет. Стремглав спускаясь по лестнице безвестной больницы, он едва слышал, что ему кричал врач. На последней ступеньке он остановился, задыхаясь от сердцебиенья.

— А документы? — кричал сверху голос, где-то очень далеко.— Насчет документов как? У нее никого нет, кроме вас?

Он заколебался, но ответил правду — зная, что это правда:

— Никого.

Критика

СТОЯН КАРОЛЕВ

ПРОСТОРЫ РЕАЛИЗМА

(Изображение человека у Иво Андрича и Эмилияна Станева)

Известный болгарский критик и литературовед Стоян Каролев в статье, которую мы предлагаем нашим читателям, исследует возможности реализма на примере сравнительного анализа творчества двух крупных современных прозаиков — Иво Андрича (Югославия) и Эмилияна Станева (Болгария), произведения которых неоднократно издавались в Советском Союзе.

Стремление к объективному изображению действительности, к историзму, к проникновению в психологию героев объединяют эти два имени. Различие же национальных истоков, разница в художническом видении мира определяют глубокое своеобразие каждого из них. Сопоставляя произведения болгарского и югославского прозаиков, Стоян Каролев показывает, что именно в реалистическом искусстве могут наиболее полно проявить себя таланты и личности даже столь несхожие, как Иво Андрич и Эмилиян Станев.

Иво Андрич и Эмилиян Станев, ведущие представители современной югославской и болгарской литератур,— последовательные реалисты. И оба, говоря словами Белинского, обладают способностью «понимать предметы так, как они есть, отдельно от своей личности, переселяться в них и жить их жизнью». Самобытные и богатые творческие индивидуальности, они обладают талантом изображать действительность объективно. Как художники они не проявляют односторонней субъективности, не насилуют жизненных явлений в угоду заранее предопределенным чувствам, отношениям, критериям, морализаторским и другим целям. Они могли бы сказать вслед за Тургеневым: «...точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни — это величайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями».

Реалистическая объективность Эмилияна Станева и Иво Андрича находит выражение и в историзме изображения — не только в колорите места и времени, но и во взгляде на события и людей, в подходе к ним,— и в психологических характеристиках. Герои обоих писателей обрисованы в их тесных связях со средой, временем, обществом, народом. Они национальны не по одежде, а по духу.

Эмилиян Станев и Иво Андрич смотрят на жизнь и людей ясным, испытующим и смелым взглядом. Чуждые скуке, духовной усталости и пресыщенности, они интересуются всеми явлениями жизни, всеми проявлениями человеческого духа. И оба не боятся (в эстетическом смысле) прозы жизни, ее суровых контрастов, сосуществования возвышенного и низкого, утонченного и грубого. Оба «боятся» сентиментальности, сторонятся умилительности. Их перо не ща-

дит чувствительности читателей, оно требует от нас духовных сил, чтобы мы видели жизнь такою, какая она есть, во всей ее многоликости и противоречивости. Не раз они «отрезвляли» нас в тот момент, когда мы были готовы умилиться или растрогаться. В их палитре совсем нет идиллических, приукрашивающих тонов. По словам Джузы Радовича, творчество Иво Андрича приводит читателя к заключению, что «два компонента жизни, позитивный и негативный, не могут осуществляться врозь, их нельзя почувствовать один без другого». Подобное же мнение высказывает и Славко Леовац, который взял эпиграфом к статье «Иво Андрич» мысль Гегеля: «Der Wiederspruch ist das Fortleitende».[1] Таким же эпиграфом можно начать статью и об Эмилияне Станеве. Наша критика уже раскрыла диалектическую сущность его художественных взглядов и метода. Эмилиян Станев видит и изображает жизнь и человека как единство и борьбу добра и зла, красивого и безобразного, возвышенного и низкого и т. д.

Поскольку жизнь исполнена противоречий, поскольку она вечно подвижна, изменчива, она постоянно рождает все новые и новые загадки. Следовательно, творческая мысль писателя не может до конца разгадать явлений вечно текущей жизни. Иво Андрич несет в себе это сознание — сократовское, как его называют некоторые критики. Есть оно и у Эмилияна Станева. Эта загадочность жизни — источник и человеческих мучений, и поэзии. Она отражена в творчестве обоих писателей, особенно у Иво Андрича.

Но как бы глубоко они ни раскрывали жизненные противоречия и конфликты, Иво Андрич и Эмилиян Станев сохраняют в тоне повествования эпическое спокойствие. И самые тяжелые события, и самые страшные сцены они описывают с простотой и сдержанностью, напоминающими народный эпос. Повествование течет плавно, какие бы волнения ни скрывались в его глубинах. Драматизм обуздан, сдержан. Оба писателя чужды всякой патетике, громкой возвышенности или желчной сатиричности, они стремятся к эстетически уравновешенному и гармоничному повествованию. Не пытаясь исчерпать все общие черты, укажу еще на одну: на большую пластичность и живописность изображения. Чего бы ни коснулся их взгляд, их слух, все начинает переливаться свежими красками, наполняться новыми звуками. Действительность в их произведениях сверкает, словно залитая каким-то новым светом, вырисовывающим все с необыкновенной рельефностью. И не побывав в Боснии, читатель Иво Андрича несет в своем сердце ее самобытную красоту, ее живописные контрасты. К тому же перед туристом он имеет немалое преимущество, поскольку может увидеть Боснию и в прошлом — такую, какая живет в «Мосте на Дрине» и в «Травницкой хронике».[1] И не посетив нашей страны, иностранный читатель Эмилияна Станева сохранит в своей душе очарование ее природы, полей, гор, лесов, чья вечно молодая и бессмертная красота живет в произведениях писателя.

Реалистическая объективность изображения не только не исключает, но предполагает выявление субъективности автора, свойств его творческой индивидуальности. Я думаю, что реализм раскрывает перед художником и в этой области самые большие возможности — даже больше, чем романтизм (и его перевоплощения), несмотря на то что романтизм как художественный метод более субъективен. Это не парадокс, а выражение реальной диалектики между объективным и субъективным в художественном творчестве. Чем глубже и многостороннее перевоплощения, вживания художника в объективный мир, тем больше он имеет стимулов и предпосылок для проявления богатства своего духа.

Могущественная и буйная субъективность в творчестве романтика все же имеет меньше возможностей для многообразных проявлений. Писатель же реалист раскрывает своеобразие своей творческой индивидуальности в более широком аспекте.

Я указал на сходства, которые ни в коей мере не являются результатом влияний; это художественное выражение близости духовных взглядов и мировосприятия. Но если речь идет о больших талантах, о сильных индивидуальностях, то совершенно естественно, что между ними есть и существенные различия, которые также найдут выражение в их творчестве.

Эмилиян Станев не только понимает, что противоречия — источник неиссякаемого движения, двигатель развития, что добро и зло часто сосуществуют и переходят одно в другое, что жизнь исполнена неиссякаемого драматизма. Он видит величие мироздания именно в этой гармонии противоречий, наслаждается ею, наслаждается вечным обновлением, торжеством жизни — через страдания, трагедии и смерть. Жизнь бесконечно интересна не только для созерцания и изображения, но и просто чтобы жить, ибо она пестра, многолика, полна контрастов. Именно в противоречиях он видит вечный источник красоты. Его взгляд на мир мужествен, жизнелюбив, жизнерадостен, его творчество светло по своей общей тональности, каких бы тяжелых драм оно ни касалось. Оно — прославление жизни, хотя и косвенное, несмотря на всю сдержанность и объективность Эмилияна Станева как художника, несмотря на его старание не выражать своих «личных» чувств и волнений.

[1] Андрич Иво. Мост на Дрине, Вышеградская хроника. М., Издательство иностранной литературы, 1956; Андрич Иво. Травницкая хроника. Консульские времена. М., Гослитиздат, 1958.

СТОЯН КАРОЛЕВ
ПРОСТОРЫ РЕАЛИЗМА

[1] Противоречие движет вперед *(нем.)*.

В спокойствии, с которым Иво Андрич пишет о жизненных конфликтах, таится глубокая печаль. И для Андрича жизнь интересна своей драматической многогранностью, при ее изображении он как художник не сторонится самых тяжелых и неприятных, даже уродливых явлений, потому что и они обогащают искусство эстетически. Но гармонии в противоречиях жизни он не чувствует, хотя его творчество чрезвычайно гармонично по стилю и по форме. Он не наслаждается торжеством жизни, «песней жизни», как выразился Эмилиян Станев, потому что она рождается в тяжелых драмах, страданиях и смерти. «Тяжело быть человеком, господи!» — восклицает Андрич еще в своей первой книге «Ex ponto». И этот возглас как вечное эхо отдается во всех его произведениях.

«Весело быть человеком, господи!» — сказал бы Эмилиян Станев, как любит говорить, ибо писатель радуется, созерцая жизнь, потому что понимает «божьи дела» и наслаждается ими. Конечно, в этой радости может быть и дыхание печали, потому что «божьи дела» часто очень запутаны, драматичны, порою страшны. Но эта печаль только оттеняет общую ясную атмосферу в творчестве Эмилияна Станева. А от творчества Андрича веет глубокой и вечной, хотя и сдержанной, печалью. Андрича больше трогают страдания человека, хотя они и неизбежны: его взгляд художника более мягок и скорбен. Он постоянно мечтает о все большем совершенстве человеческой жизни, печалится из-за несовершенств человека, несмотря на то что не выражает ни своей мечты, ни своей скорби непосредственно. Да и скептицизм сдерживает его порывы, подавляет его волнения. Его сердце переполнено грустным опытом, его ум — печальной мудростью. Он дает им выход в частых размышлениях, обобщениях и наблюдениях над жизнью — в отличие от Эмилияна Станева, который не очень любит выражать прямо свои мысли, свою жизненную философию.

Иво Андрич — человеколюбец, он любит «простых» людей и не склонен резко их осуждать и изобличать, потому что знает, как сложна и мучительна бывает жизнь, он не саркастичен и не желчен, хотя и не проходит мимо человеческих недостатков. Его наблюдательный взгляд, его трезвая мысль не подвержены никаким иллюзиям, они проникают всюду, анализируют, обобщают, собирая все новые и новые «запасы» грустной мудрости. Это — мудрость писателя, который знает, как угасают порывы совести в среде, где царят равнодушие и застой, как «личности с исключительными дарованиями и исключительной судьбой», о которых позднее будут рассказывать легенды и петь песни, погибают, окруженные «ненавистью и злорадным ожиданием». Андрич напоминает нам, какую вредную пассивность и какие скверные дела рождает духовная слабость. Он делится с нами своими мыслями о слабых людях, склонных искать «такую общую и общепринятую формулу», «которая обещает им удовлетворить их страсти за счет обирания и унижения других и одновременно освобождает их от угрызений совести и от ответственности», о тех людях, которые «легко теряют терпение и совершают ошибки, когда судят о чужом деле», потому что «сами они не работают, ничего не предпринимают в жизни».

Критика с полным основанием называет Андрича писателем жизненной трагедии. У него обостренный взгляд на трагическое, он видит его даже в источниках человеческого наслаждения. Одна из самых острых проблем его творчества—проблема противоречий между духовным и телесным, между духом и плотью. Некоторые критики обвинили его в том, что — особенно в ранних рассказах — он обращает чрезмерное внимание на секс. Но сексуальное интересует Андрича не само по себе, а именно в его конфликте с духовным. Эротика в творчестве Эмилияна Станева — источник и наслаждения и радости, и счастья. Это жизнерадостная, поэтичная эротика, чуждая натурализму, не знающая конфликта с духовным. У Андрича эротика часто бывает болезненно патологичной, потому что нарушена гармония между плотским и духовным началами.

Иво Андрич не только пишет (в «Зеко» [1]), что «избавление от страха» «в своей основе дело напрасное», потому что «страха в нас больше, чем сил, которые мы постоянно ему противопоставляем», но и часто изображает страх в различных его формах. Его герои испытывают многочисленные страхи, боязнь, ужасы, они много страдают и часто одиноки и беспомощны перед злом жизни.

И в мировосприятии писателя многие критики видят «страх перед жизнью», «темную боль», источники которой он не может открыть, непреодолимое одиночество. Да и сам Андрич в своей первой книге признается: «Весь трагизм моей сегодняшней жизни может быть охвачен одним словом: одиночество». И в «Ex ponto» он снова пишет: «И нет другой правды, кроме единственной: боли, и нет другой реальности, кроме мучения». Это, разумеется,— поэтические гиперболы, потому что автор, который видит боль и мучение «в каждой капле воды, в каждом ростке травы, во всяком звуке живого голоса, во сне и наяву...», этот одиночка и меланхолик в действительности — активный борец за национальное освобождение Боснии. Но его гиперболы выражают нечто характерное в переживаниях писателя. Очевидно, его острая чувствительность к злу мира отразилась и на его мировосприятии. При дальнейшей эволюции его творчества она смягчается, но не исчезает полностью.

Если Иво Андрич утверждает, что все, к чему бы он ни прикоснулся, есть боль, Эмилиян Станев мог бы сказать (также художественно заостряя), что все, к чему бы он ни прикоснулся, есть радость. Пото-

---

[1] Андрич Иво. Зеко. М., «Молодая гвардия». 1958.

му что он умеет находить своеобразную эстетическую радость в жизненных конфликтах, умеет переживать непосредственно и полно простые земные удовольствия.

Единение с природой — неиссякающий источник жизнерадостных порывов в творчестве Эмилияна Станева. Для него мир природы и красив, и гармоничен, несмотря на вечную в нем борьбу, несмотря на кровь и смерть. Иво Андрич также находит в этом мире источники эстетического наслаждения, но не находит источников душевной бодрости и стойкости.

Однако не выходят ли эти различия за границы реализма? Не стоит ли, в сущности, Иво Андрич — с его отношением к миру и его поэтикой — вне этих границ? Такие сомнения порождают некоторые рассуждения и толкования критиков. Если в творчестве Андрича страх — это «глубокое ощущение жизни» (Джуза Радович), если абсурд для писателя — «то же, что и сама жизнь», если абсурд «невозможно охватить», «невозможно, как и самое жизнь, измерить целями и смыслом вне его, а только им самим», если для Андрича весь мир это — «проклятый двор», в котором человек осужден на «неизлечимую бесплодность» (Карло Остоич), не попал ли тогда автор «Травницкой хроники» в плен к декадентству? Но даже исследователи, подобные Карло Остоичу, которые особенно подчеркивают у Андрича болезненное, не включают писателя в число «современных представителей абсурда», современной модернистской литературы. И не без основания.

По мнению Фрейда и его многочисленных последователей, в искусстве сознательное человеческое Я — это «истинный очаг страха», потому что оно непрестанно подавляется и темными, аморальными и неискоренимыми подсознательными инстинктами, и непонятно враждебным внешним миром. У героев Андрича страх — не имманентная и вечная черта, как в творчестве декадентов, не ужас перед непроницаемой действительностью, перед заранее предопределенным всемирным злом, он имеет свои реальные и объяснимые причины.

Андрич раскрывает абсурды в жизни, обусловленные социально и исторически, но не считает абсурдной саму жизнь, как бы много загадок в ней ни было. Все его творчество согрето неистощимым стремлением проникнуть в тайны мира, выйти из одиночества, найти смысл явлений, человеческой жизни. Он убежден, что логика есть и в тех явлениях, в которые человеческий разум не проник. Рассказывая в «Травницкой хронике» о торговых «чаршийских бунтах» [1] — «наглых, разнузданных и всегда бесплодных», сопровождающихся непонятными жестокостями,— он отмечает, что и они имеют свою логику. И хотя он заявляет, что невозможно проникнуть в эту логику, все же его зоркий глаз проникает в некоторые социальные и психологические причины этих массовых психозов. Андрич далек от точки зрения Камю, считавшего, что человек неминуемо терпит крах в стремлении познать общественную жизнь и мир (так как они абсурдны), открыть их закономерности, найти смысл своего существования. (Характерные для Камю герои — когда они стоически выполняют свой нравственный долг и когда они борются, живут сознанием, что жизнь абсурдна и не может быть понята и осмыслена.) Иво Андрич — отнюдь не пессимист, он, пожалуй, даже «героичен», потому что трагизм в его произведениях, как бы он ни был глубок, не внушает читателю, подобно трагизму Кафки, будто все усилия человека улучшить и преобразовать свою жизнь и жизнь общества бессмысленны, обречены на провал. Он придерживается мнения, что «идея, когда она возникает у человека и найдет опору в его характере, как раз является тем, что делает человека большим или малым». Такой взгляд, такое отношение к человеку решительно отделяют Андрича от всех декадентских течений прошлого и настоящего.

Иво Андрич изображает действительность объективно, во всей ее многосторонности и в то же время с точки зрения идеала — гражданского, нравственного, эстетического. А это — несомненная и очень характерная черта реализма.

И по своей поэтике Андрич существенно отличается от модернистов. В его творчестве, как и творчестве Эмилияна Станева, нет и следа пренебрежения к индивидуальному и психологическому, столь характерного для современного модернистского искусства. И оба они не считают, что вследствие всеобщей «технизации» духовная жизнь умирает, поэтому не описывают это умирание, не пренебрегают (как устаревшей) психологической характеристикой человека. Их герои не лишены индивидуального облика, своей физиономии, они ярко индивидуализированы. Обоим авторам не свойственна алогичная игра ассоциаций, оба они не отрывают символа от действительности, их повествование ясно, даже когда оно эстетически многопланово, когда в нем скрыт подтекст.

Реализм Иво Андрича выдерживает все испытания, все проверки. Только это — реализм особый, своеобразный, как, впрочем, реализм всякого большого писателя. В сущности, границы реализма очень широки, очень просторны, они «вбирают» в себя самые различные творческие индивидуальности.

Реализм требует от писателя создания своего, индивидуального стиля в соответствии с его художественным взглядом, с художественными идеями, а также и с объектом изображения. Он дает таланту — благодаря большой эстетической подвижности, приспособляемости, гибкости — неограниченные возможности проявить свой стиль. Никакой другой метод в истории ли-

[1] Чаршия — крытый рынок *(сербско-хорватский)*.

тературы не создал таких реальных эстетических предпосылок для формирования, для расцвета индивидуальных стилей. Велики преимущества реализма перед классицизмом, но так же велики его преимущества и перед романтизмом и натурализмом. Несомненны, очевидны — для непредубежденного взгляда — эти преимущества и при сравнении с декадентскими и модернистскими направлениями и течениями.

Возведение формы в культ опасно и с формальной точки зрения — искусство, порожденное этим культом, страдает однообразием формы, сколько бы виртуозна она ни была. Для реализма не существует какой-либо одной, наиболее совершенной формы, формы вообще, совершенной самой по себе, без учета содержания. Всякая форма может быть совершенной, если она выражает свое содержание художественно наиболее полно, наиболее глубоко.

■

Эмилиян Станев при его диалектическом подходе к художественным явлениям улавливает противоречия не только в жизни, в обществе, но и в человеческой душе. «Если я вижу образ,— признается писатель в одной анкете,— значит, я видел конфликт, противоречия, которые составляют живую сущность характера». Это сказано очень точно. Такова правда о его героях. Его любимец Костадин Джупунов [1] живет — как художественный образ — в противоречиях и благодаря противоречиям между его любовью к красотам и тайнам земли и его чувством собственности по отношению к земле; между его поэтичными патриархальными мечтами и его хозяйскими привычками и делами; между его сочувствием к страданиям, бедствиям восставших крестьян и ожесточением из-за их бунта; между его чистой и большой любовью к Христине и его мещанскими предрассудками по отношению к семье, женщине. Костадин и нежен, и груб, и чувствителен, и деликатен, он примитивен и стихиен, сдержан и вспыльчив. Невольно вспоминаются слова Толстого в «Воскресении»: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни и те же определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д... Люди, как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди».

Эти слова — ключ к поэтике Толстого, к его способу изображения человека, к «диалектике души» в его творчестве. Эмилиян Станев, изображая человека, следует толстовскому принципу. Духовную сущность своих героев он раскрывает в противоречивом — и все же едином! — многообразии ее проявлений. Фашистский следователь Александр Христакиев («Иван Кондарев»), который проповедует, что «секрет хорошей жизни состоит в том, чтобы не иметь угрызений совести и уметь наслаждаться противоречиями», который сам живет очень хорошо, потому что его не терзают никакие угрызения совести и он наслаждается жизнью со всеми ее противоречиями, этот жизнелюбивый, алчный к наслаждениям и власти Александр Христакиев может от души воскликнуть: «Боже, как грустно твое творение!». Он может даже спасти от смерти — без какой бы то ни было личной выгоды — такого прекрасного юношу, как Кольо Рачиков, помогавшего восставшим, и в то же время быть вдохновителем массовых расстрелов после сентябрьского разгрома.

«Люди, как реки...» Следовательно, когда писатель их изображает, ему нужно уловить движение — чувств, мыслей, души. Так и у Эмилияна Станева: писатель прослеживает и воссоздает борьбу и смену противоположных душевных состояний, раскрывает противоречивый ход человеческих мыслей и чувств.

Эмилиян Станев изображает человеческие переживания в их зависимости не только от основных черт характера, но и от среды, от данного момента. Движения души сопровождаются неожиданными зигзагами, взлетами, падениями, потому что обусловлены многими, различными и не всегда осознаваемыми людьми, причинами. Поэтому, вероятно, герои удивляются своим собственным переживаниям и поступкам, как удивляется Элисавета своему поведению с «похитителем персиков» [1] при второй встрече с ним, когда дует жаркий и пьянящий ветер, или как Петр Янков («Иван Кондарев»), которому кажется во время восстания, после его освобождения из-под фашистского ареста, что его мысли «текут как бы против его воли».

У писателя нет предвзятого, строго определенного отношения к своим героям, он их не сковывает, а оставляет им свободу действия — проявлять себя, развиваться самостоятельно. Он перевоплощается в них, «исчезает» и одновременно находится где-то поблизости, несколько в стороне — на отдаленной и возвышенной художественной позиции, с которой он созерцает мир и изображает его внимательно, спокойно, аналитически. Он как бы следит за тем, что произойдет, как поступят его герои в той или иной жизненной ситуации, после тех или иных событий; он не предрешает их поведения, а всматривается в их души испытующим взглядом, исследуя психологические реакции, изменения мыслей и чувств, обусловленные меняющимися причинами и обстоятельствами.

Идя из села в село с бунтарской миссией, сентябриец [2] Иван Кондарев при «встрече» с Балканами испытывает чудесное, возвышающее чувство единения с народом и

[1] Один из персонажей романа Э. Станева «Иван Кондарев». М., «Прогресс», 1967.

[1] Станев Эмилиян. Похититель персиков. Рассказы и повести. М., «Художественная литература», 1966.

[2] Сентябриец — участник антифашистского народного восстания в Болгарии в сентябре 1923 года. *(Прим. перев.)*

его заступниками. Но позднее, путешествуя в крестьянской телеге, он испытывает горечь, представив себе рабский путь, по которому все еще идут многие трудовые люди. Его острая мысль в поисках выхода устремляется к своей цели, охватывая со всех сторон то, что его мучит. И постепенно все снова просветляется перед его очистившимся взглядом, и он сознает, как высоки революционные цели и обязательства, как велика его новая любовь к этим замкнутым в своей тяжелой жизни крестьянам,— он чувствует, что, вопреки всему, связан с ними так же прочно, как связан со своей родиной, со всем народом. «Как мне радостно и легко!» — восклицает он, заглядевшись на розовый отблеск зари «на плечах Балкан». Но несколько позже надо убить старосту — участника фашистского переворота 9 июня 1923 года, и снова герой оказывается над пропастью. И читатели видят, как сильный, твердый, непоколебимый Иван Кондарев дрожит, губы его бледнеют и он хриплым голосом просит ятака [1] Радковского об отдыхе, о воде. Мы видим его таким, каким никогда не могли себе представить. Он совсем другой и все-таки тот же. Потому что в отличие от душевно слабого Анастаси Сирова он преодолевает потрясение, вызванное необходимостью убить, и вступает в борьбу, полный новых сил, о которых он и сам не подозревал, как будто они копились веками и прорвались внезапно. Во время восстания он действует уверенно, обдуманно, зрело. Но его трудный идейно-духовный путь не завершен. В сущности, выше всего он поднимается после разгрома, когда начинает понимать, что народ знал и мудро принимал страшную правду, которую Иван от него скрывал из-за своего неверия в его силы. Почувствовав себя перед народом жалким и слабым, смирившись, подавив в себе гордость, он находит источник самой высокой духовной силы, которая поможет ему стать выше торжествующего после разгрома Александра Христакиева, поможет спокойно пойти на расстрел. Взгляд писателя постоянно направлен к диалектической противоречивости духовного процесса.

Иво Андрич не разделяет в своем творчестве мысли Толстого, будто душевный склад людей подвижен, как река, что человек лишен постоянных, «вечных» свойств. В диалектическом единстве постоянного и изменчивого его взгляд художника прежде всего останавливается на постоянном, устойчивом. Многие из его героев, подобно героям Бальзака, мономаны, охваченные одной постоянной и сильной страстью, которая владеет ими всецело и определяет их духовный облик, их жизненный путь, которая является их счастьем и проклятием, божьим даром и наказанием, их судьбой. Одни из героев охвачены неистощимым стремлением к накопительству, они постоянно что-то чинят и латают, дрожа над каждой копейкой, живя только для денег, не пользуясь ни одним из благ, которые деньги дают человеку. Другие, напротив, транжирят все, что имеют,— их щедрость сочетается с жадным стремлением испытать побольше наслаждений. Одни всегда молчат, углубленные в себя, чуждые окружающей их жизни, другие с ненасытной страстью стремятся все узнать и обо всем рассказать. Одни вечно созерцают и мечтают, другие вечно стремятся властвовать; одни непрерывно восторгаются или переживают потрясения, душа других никогда не дрогнет, погруженная в холодный сон.

Такая характеристика не отличается многосторонностью, многокрасочностью, но дает серьезное представление об индивидуальном своеобразии. При этом, как бы она ни была целенаправленна, как бы сильно ни была заострена, ее нельзя назвать однолинейной. Барышня из одноименного романа [1] прежде всего — скряга, но в то же время она замкнута в себе, аскетична по природе, не испытывает влечения ни к каким земным радостям, враждебно смотрит и на чужие радости и увлечения, ей чужды горести и страдания людей, она холодна, бесчувственна даже со своей матерью, ее духовный кругозор очень узок, она лишена культурных интересов и т. д. Она — героймономан не потому, что основная ее страсть исчерпывает духовную характеристику, а потому, что все ее черты окрашены этой страстью, связаны с ней, преломляются через нее. Это — живой и жизненный человек, как ни сильно абстрагирующее, типизирующее начало в ее характеристике. Барышня тоже может испытывать наслаждение, но— когда штопает и латает. В то же время, штопая и латая, она испытывает бремя «вечной борьбы», «утомительного поединка с сильным, невидимым противником».

Описывая, как Райка вкладывает всю свою «тихую, незаметную, но огромную и неодолимую силу» в накопление, Иво Андрич не только обличает. В его спокойном, серьезном, а не ироничном или саркастичном тоне опять чувствуется печаль. Это печаль по изломанной человеческой душе, сильной, но чуждой красоте, добру, сосредоточившей все свои порывы и возможности на чем-то пустом и бесполезном. Но это и печаль, вызванная существованием тех преград, которые встают перед личностью в ее отношениях с действительностью и людьми.

Андрич широко и глубоко раскрывает противоречия жизни, противоречия между людьми, но скупо показывает противоречия человеческой души. И это естественно, потому что его герои обладают «одними и теми же» устойчивыми влечениями и страстями. И все же противоречия существуют и у них. Об Йованке Танаскович он пишет:

[1] Ятак — человек, прятавший людей, преследуемых властями. *(Прим. перев.)*

[1] Андрич Иво. Барышня, М., Гослитиздат, 1962.

«Она была совсем бескорыстной, хотя капризной и неуравновешенной, была предана и добра до самопожертвования, но в то же время навязчива, злопамятна и мстительна». Но эти противоречия органически связаны со страстью героини «приводить в порядок» чужие дела, они обязаны этой страсти своим существованием, они проявляются через нее. При этом писателя не увлекает динамика этих противоречий, борьба между ними, переход одного в другое. Его взгляд художника прежде всего поглощен проявлениями самой страсти. И все сказанное о противоречивости души Йованки остается почти только констатацией...

Иво Андрич обычно не склонен прослеживать — как это делает Эмилиян Станев — противоречивые движения души в зависимости от среды, условий, от различных объективных причин и «возбудителей». И переживания, и поступки его героев прежде всего мотивированы их устойчивыми наклонностями и страстями. Среда, условия сыграли свою роль (и значительную!) в формировании их мировосприятия, их мировоззрения, но, уже сложившись как личности, они стали устойчивыми к внешним влияниям. Они удивительно верны себе. Они постоянны и в своем непостоянстве, как Колоня из «Травницкой хроники». Страсть этого необыкновенного героя редкостна. Он испытывает неутомимую жажду «проникнуть в судьбу человеческой мысли, независимо от того, откуда она явится и в каком направлении будет двигаться». Он так вживается в то, что исследует в данный момент, что воспринимает это до поры, до времени «как единственную и абсолютную истину», отбрасывая все, во что верил до этого, чем до этого восхищался. И так — до нового увлечения новой философией, новым вероваением... Та же «последовательная непоследовательность», как назвал ее автор, живет и в характере героя. Все у него непрерывно меняется — повсдение, настроение, убеждения. Но как раз в этом изменении, которое выражает «болезненную, но большую и необыкновенную страсть», и состоит его единство, его постоянство и, если угодно,— его неподвижность. Это движение вовсе не развитие, какое переживают многие герои Эмилияна Станева, оно кругообразно, замкнуто. Как бы ни менялись убеждения, верования, настроения Колони, он сам, в сущности, не меняется.

Такое, замкнутое, движение мы наблюдаем не только у Колони. Вот другой герой «Травницкой хроники» — Анна-Мария фон Митерер, жена австрийского консула. Анна-Мария страдает «болезненной, непреодолимой и неутомимой потребностью восторгаться». Она приходит в восторг и восхищение по самым разнообразным поводам: поэзия, природа, старые картины, новые идеи, Наполеон... но чаще всего — молодые люди. В каждом из них она видит «рыцаря своей мечты, о котором мечтала, родственную душу». Но когда «рыцарь ее мечты» по-мужски посягает на эту женщину с легко и буйно воспламеняющимся воображением, но холодную телом, она впадает в страшное разочарование, ее любовь превращается в ненависть и отвращение — до нового увлечения какой-нибудь «родственной душой». Это не развитие, не прохождение различных психологических фаз, не переход к другим духовным кругозорам. Это — вращение в замкнутом круге, возврат к первоначальной точке. Сменяются «рыцари», объекты увлечения, но переживания Анны-Марии остаются в принципе теми же, ее душевный склад не меняется, не развивается и не обновляется.

Подобная героиня невозможна в художественном мире Эмилияна Станева. Невозможна и как характер,— героини Станева более земные и чувственные, хотя остаются при этом поэтичными,— и как литературный образ.

Взяв перо, чтобы писать о том или ином своем герое, Иво Андрич имеет о нем уже в значительной степени завершенное представление, созданное его необыкновенным, реалистичным и вольным, очень поэтичным воображением. Представление Эмилияна Станева о герое, которого он собирается изобразить, менее завершенно, оно оформляется постепенно в процессе творчества, как постепенно оформляется и облик героя, обнаруживая все новые и новые черты в процессе «самораскрытия».

Иво Андрич как бы торопится показать своего героя сразу, во всей его исключительности и внушительности. Эмилиян Станев предоставляет ему возможность «самовыявляться» постепенно, в цепи событий.

Композиция произведений Эмилияна Станева всегда ясна, гармонична, сюжет развивается последовательно, без больших отклонений и возвратов, без внезапных остановок. Фабула плавно течет до самого конца, когда наступает развязка. Эмилиян Станев создает фабулу очень умело, находя гармонию между развитием событий и психологией героев, стремясь дать герою большие возможности для проявления себя в действии и диалоге.

У Иво Андрича фабула развивается не так легко и стройно, он часто отклоняется в сторону, возвращается назад, забегает вперед. Сюжет у него не течет плавно и целеустремленно, с последовательностью звеньев цепи Писатель готов сообщить читателям, «что будет дальше», что случится, как бы подчеркивая этим, что особенно-то не дорожит развязкой и фабулой, не рассчитывает на них. И в рассказах, и в романах его есть что-то от очерка. Их гармоничность, завершенность покоятся не на сюжете и фабуле, а на тоне, которым так дорожит и Эмилиян Станев, на эмоциональной созвучности частей, каким бы различным ни было их социальное и психологическое содержание, на авторском отношении к миру, как бы косвенно оно ни было выражено.

«Завязав» фабулу рассказа, Эмилиян Станев сразу же, как правило, начинает следить непосредственно за действием, в то время как Иво Андрич свободно отклоняет-

ся, останавливается, возвращается, чтобы характеризовать героя более прямо и всеобъемлюще. Его стихией в изображении человека являются именно прямые характеристики, хотя он и не прибегает к длительному психологическому анализу. (Он больше синтезирует, внушает, чем анализирует.)

У Иво Андрича есть эстетическое, художественное влечение к необычным, болезненным в том или ином отношении людям: к чудакам, горемыкам, сладострастникам, «божьим» людям, людям, жестоко злоупотребляющим властью, авантюристам, базарным силачам или дурачкам, пьяницам, азартным игрокам, цыганам-палачам, кровопийцам, головорезам, ипохондрикам, мошенникам и т. п. Он склонен изображать противоестественные, извращенные, аморальные отношения между людьми, жестокое и коварное взаимное выслеживание, мучительные, кровавые, страшные сцены. В «Мосте на Дрине», например, он, не колеблясь, описывает, как сажают на кол,— подробно, обстоятельно, но с присущей ему сдержанностью в интонации, с грустным эпическим спокойствием. Его взгляд художника с интересом останавливается и на отчаянных, безнадежных мечтаниях сбившихся с пути людей «дна»: одноглазый и страшный Чоркан, исполняющий в городке все самые грязные, отвратительные работы,— под влиянием рома, раззадоренный «приятелями»-зеваками,— мечтает о недоступных красавицах; ничтожный пьяница Люл-ходжа, низко павший и падающий все ниже, мечтает о встрече и поединке с Наполеоном...

Эмилиян Станев не тяготеет к болезненному, патологическому. Его герои — в своей основе — стабильны, душевно здоровы, как бы сложны и противоречивы они ни были, какие бы кризисы и потрясения ни переживали. Автор отдает предпочтение обычным, нормальным вещам и явлениям, но это в известной степени его стесняет, хотя, в общем, дает большие возможности для разнообразия в выборе героев. Эмилиян Станев хорошо пользуется этими возможностями. В его произведениях встречаются герои всех классов, сословий, люди из разной среды, герои, отличающиеся друг от друга образом жизни и образом мыслей, привычками, мировоззрением и мировосприятием. Характеризуя их, писатель раскрывает свой необыкновенный талант, свою необычайную способность вживаться и перевоплощаться, «влезать в шкуру» каждого.

Такие герои располагают к изображению в «формах самой жизни», к классически уравновешенным характеристикам, к гармоничному сочетанию личного и типического, фабульного и психологического.

И, наоборот, необычные по своей судьбе и характеру герои Андрича располагают к необычным, условным приемам изображения, к художественному заострению и гиперболизации, даже к гротескности.

Но разве писатель не выбирает, исходя из своего опыта, таких героев, которые дают наибольшие возможности выявить свой талант, свою творческую оригинальность? И не связан ли этот выбор с его своеобразным взглядом на жизнь и с его эстетическими вкусами? Между взглядом на жизнь, на объект художественного исследования, на характер этого объекта и способом его изображения существует глубокая взаимная связь и обусловленность.

В сильном влечении Андрича к необыкновенному, исключительному, к чудакам и людям со странностями есть черты эстетического предрасположения к романтизму. И в его стиле, и в способе изображения человека, в его реализме есть романтические краски. Андрич может так описать низкую, низменную страсть, что читатель почувствует нечто вызывающее уважение, нечто почти величественное даже в ничтожестве, в уродстве. Казначей одного из визирей в «Травницкой хронике» — Баки — своеобразный скряга. Он страстно бережет и копит всякий грош — не только свой, но и визиря,— пряча деньги от всех, даже от самого визиря. Баки — «борец» против расточительства. Эта его борьба изобилует, разумеется, комическими элементами: Баки подкупает людей, чтобы ему доносили, в какой из комнат дворца свет горел дольше, чем нужно, проверяет, кто сколько ест и пьет, считает в огороде перья лука, как только они прорастут, и тому подобное. Но писатель подчеркивает не комическое, а отвратительное. Баки бьет и увольняет более слабых и более молодых, без конца пишет доносы на более сильных и более старых. В сущности, он борется не против расточительности, а «против всякого удовольствия и всякой радости, почти против любой деятельности вообще». Он борется против «самой жизни», против «естественного хода вещей». «И больше всего он бы был рад, если бы смог погасить жизнь всего мира, как он гасил лишние свечи в комнатах, послюнив большой и указательный пальцы, и, оставшись один во мраке у погасшей свечи жизни, наслаждаться тем, что для всех наступил уже мрак, что, наконец, никто не живет, то есть не ест, а он продолжает жить и существовать как победитель и свидетель своей победы».

Романтизмом «веет» именно от этой исключительности, фантастичности страсти, от характера художественного заострения, которое поднимает жалкое и смешное до зловещего, даже до демонического.

Романтические традиции — в реалистическом рисунке — чувствуются и в этом необыкновенном, страшном нагромождении стольких отрицательных черт и свойств в одном человеке. Баки — подлинное чудовище. Он не только злой скряга, мечтающий задушить всякого, кто тратит, то есть кто живет, он к тому же еще доносчик, шпион, клеветник, отравивший многим жизнь и многих погубивший. Живущий в далекой Боснии, уже стареющий Баки способен день и ночь писать доносы в Константинополь,

---

чувствуя при этом своеобразное опьянение, подобное любовному, способен целые дни проводить над деньгами, «шепча над ними, как во время молитвы».

Эти две страсти, необыкновенные по своим масштабам, по силе, рождают склонности и свойства, составляющие портрет казначея визиря. У Баки нет жены, и он не чувствует потребности в семье, нет и друзей — он ненавидит всех, как и его ненавидят все. Он ни в чем не нуждается и ничего не выигрывает от своих доносов, которые делает «по какой-то внутренней необходимости», из-за своей безумной и неутомимой борьбы против «расточительства». Жалкий маньяк превращается в некоего зловещего демона зла. Он живет только злом и ради зла, служит ему бескорыстно, как можно служить добру, высокому идеалу. Его родство с романтическими злодеями явственно.

Если бы тип, подобный Баки, был героем Эмилияна Станева, ему хоть когда-нибудь, хоть в чем-нибудь пришлось бы проявить более человечные черты, ну хоть засмеяться при случае или быстро выдать требуемую сумму из кассы визиря, не быть вечно злым, фатально злым. Эмилиян Станев ищет и «улавливает» противоречия, нюансы, светотени, которые разнообразили бы характер, но не меняли бы его духовной сущности. Его поручик Балчев в каком-то смысле более зол, жесток и свиреп, чем Баки, потому что приканчивает людей не доносами, а прямо саблей и пистолетом. Следуя своему мрачному фашистскому «идеалу», он фанатично прямолинеен, действен, он не колеблется ни перед чем, он всегда наэлектризован мыслью, что, наказывая непокорных, служит «царю и отечеству». Но вот читатель видит того же самого поручика Балчева после разгрома восстания—размякшим, опустившимся, испуганным, видит, как он сидит в кабинете Александра Христакиева с дрожащей сигаретой между пальцами и жалуется на бессонницу, на то, что дома все смотрят на него как на чужого. Конечно, это состояние — временное, непродолжительное, но писатель не прошел мимо него, потому что стремится раскрыть зигзаги душевного движения персонажа, вызванные изменяющимися условиями жизни, потому что для него оттенки в поведении и облике героя очень важны — он стремится к многосторонности и плотности характеристики.

Читатель «Ивана Кондарева», как и Костадин Джупунов, поражен, когда того «осеняет мысль», что Манол, грубый, алчный, наглый, озверевший Манол Джупунов, «может страдать, что и у него есть сердце». Но писатель убеждает нас в этом, убеждает нас в правоте слов Манола, когда тот говорит, что ему тяжело, что у него болит сердце за брата. И это — после того, как мы только что услышали из уст Манола его жизненную философию: не верить фантазиям, «охам» и «ахам», а что-то решив, идти напрямик и уничтожить того, кто мешает ему на его пути, даже если бы это был его собственный брат. Это опять-таки противоречие, но не мертвое, а жизненное, реальное. Убежденный в своей «правде», Манол страдает от того, что его брат не понимает жизни, забывает о своих обязанностях по отношению к «копейке», не хочет «плясать под эту дудку». Манол хочет выйти из игры, разделиться, завести свое хозяйство, создать вымечтанный патриархальный уют.

И даже если страдание Манола — только мгновение, для писателя Эмилияна Станева это мгновение очень важно, потому что в нем отражается одно из душевных противоречий героя. А для него, повторим еще раз, без противоречий человек — не человек и литературный характер — не характер. Потому что в это мгновение рождается столь существенная для писателя зависимость душевных переживаний героя от момента, от непосредственного события, от контакта и столкновения с внутренним миром другого человека.

Даже не изображая человека прямо, а характеризуя атмосферу, описывая природу, обстановку, Иво Андрич склонен к своему способу заострения — эмоциональному, внушительному. Осенняя изморось в Травнике поднимается от земли и спускается с неба, она ползет, окутывает город, проникает во все, изменяя, «невидимая, но властная», «цвет и облик предметов, характер животных, поведение, мысли, настроения людей». Когда в «Проклятом дворе» дует южный ветер, мучительный зной «идет не только от гавани, а струится от всех зданий и предметов; как будто вся земля, которую придавил проклятый двор, медленно гниет»... Восточная тишина, «таинственная и соблазнительная», затуманивает, смешивает, перепутывает, «усложняет все, делает двусмысленным, многосмысленным, а потом уносит куда-то за пределы досягаемости нашего зрения и разума, делает неприметным и незначительным и оставляет нас слепыми, безмолвными и беспомощными, заживо погребенными и хотя существующими на свете, но отделенными от него».

Эмилиян Станев и атмосферу, и обстановку воссоздает более детально, чем Иво Андрич, с большим количеством светотеней, может быть, не так внушительно, но очень непосредственно и жизненно. Хотя и Иво Андрич чудесный художник, Эмилиян Станев как живописец и пластик еще более ярок. Велико и эмоциональное воздействие его манеры письма, но в этом отношении Андрич имеет преимущества.

Романтические черты и краски в изображении не снимают реализма Андрича. Наоборот, они доказывают большую эстетическую силу и жизненность реализма, способного «сотрудничать» и с другими методами. (И в творчестве более строгого реалиста Эмилияна Станева иногда появляются романтические краски—например, в поэтичной повести «Когда иней тает...», или в конце повести «Тихим вечером»[1]— в пережива-

[1] Станев Эмилиян. Когда иней тает... М., Издательство иностранной литературы, 1958; Станев, Эмилиян. Тихим вечером. (В кн. «Болгарские повести и рассказы XIX и XX вв.»). М., Гослитиздат, 1953.

ниях смертельно раненного Антона, заглядевшегося на закат в горах, или в романе «Иван Кондарев»: «встреча» Ивана Кондарева с Балканами, начало восстания, возвещенное ночным колоколом, и т. п.)

Эстетическая широта реализма выражается не только в его «сотрудничестве» с романтизмом. Художественный опыт писателей различных стран доказал, что реализм успешно использует и приемы натурализма. Он не отказывается и от некоторых выразительных средств, открытых модернизмом, переосмысливая и их в своей поэтике, в своем способе изображения. Он свободен от догматической ограниченности и подозрительности к форме. В этом — одно из самых больших его преимуществ перед модернизмом, который ищет наилучшую, наиболее совершенную форму, не заботясь о содержании, склонен абсолютизировать данную форму, данную изобразительную систему как «наиболее современную», выражающую «ритм эпохи», «дух времени». Пренебрегая конкретным содержанием, считая его нейтральным по отношению к форме, модернизм ограничивает изобразительные средства, а следовательно — и свои художественные возможности, впадает в монотонность, страдает, как выразился В. Днепров, «эстетическим сектантством».

В борьбе между реализмом и модернизмом, характеризующей литературный процесс в ряде стран, идущей и в творчестве отдельных писателей (среди которых есть очень талантливые), реализм имеет бесспорно бо́льшие перспективы. Большие, между прочим, и потому, что реализм обладает исключительной подвижностью и гибкостью в области формы.

Творчество Иво Андрича и Эмилияна Станева занимает свое определенное и объективное место в этой борьбе. И мне кажется не просто счастливой случайностью то, что наиболее талантливые современные писатели в литературах передовых стран, как правило,— реалисты. В этом выражается одна из эстетических закономерностей нашего времени.

г. София

Перевод с болгарского А. ОПУЛЬСКОГО

Критика

М. ХАРИТОНОВ

ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ, ПРОЧИТАННЫЙ СЕГОДНЯ

Этого юношу с красивым, одухотворенно-серьезным лицом, которому в мае прошлого года исполнилось бы всего 50 лет, но который прожил чуть больше половины этого срока, по праву называют первым среди зачинателей современной западногерманской литературы. Он первым заговорил от имени тех, кого после войны назвали «поколением вернувшихся». Когда в феврале 1947 года по радио прозвучала пьеса Борхерта «За дверью», многие из его сверстников словно услышали свой собственный голос. «Один из нас первым нашел в себе мужество заговорить»,— писали ему в своих благодарных и взволнованных откликах те, кому горечь и отчаяние героя пьесы — бывшего унтер-офицера Бекмана, вернувшегося из плена после ужасной, позорной войны,— были знакомы «изнутри», для кого сегодняшними были его бездомность, голод и смертельная усталость.

С тех пор прошло ровно четверть века. Бывшее некогда злободневным стало достоянием истории. Что может сказать нам голос Борхерта сегодня?

Всего через десять лет после смерти писателя западногерманский критик Эрнст Даушер без обиняков заявил по поводу пьесы: «Обвинения Борхерта теперь не трогают нас... Не трогают, потому что для нас, при нашей сытости, при нашем благосостоянии, уже невозможна тогдашняя горечь... потому что *так* уже нельзя говорить... Сейчас, спустя десять лет, это превосходное, яркое сочинение выглядит пресным, выдохшимся, несовременным».

«Современен ли еще Борхерт?» — именно так и озаглавил свою острую реплику Даушеру критик из ГДР Иоахим Кнаут. Он нашел самый действенный способ ответа: показал, как многозначительно совпадает аргументация Даушера с доводами директора кабаре, одного из героев самой пьесы Борхерта. В самом деле, не теми ли же — почти буквально! — словами встречал этот директор напоминание о войне: «Но война давно позади. Мы уже давно живем сытой штатской жизнью... Нет, мы не можем кормить людей черным хлебом... когда они требуют бисквитов».

Так, сам того не желая, западногерманский критик, этот «директор кабаре, только ставший на десять лет старше», подтвердил, что пьеса Борхерта отнюдь не перестала звучать современно. Недаром одна из ее постановок подверглась обструкции группы бывших нацистов, заявивших, что сочинения вроде борхертовских «мешают укреплять способность нашего народа сопротивляться своему упадку... сеют ядовитые семена, углубляют существующую, к сожалению, трещину между молодым и старым поколениями».

Спор о наследии Борхерта неизбежно выходит за рамки чисто литературной дискуссии: слишком явственно звучат в нем голоса тех, кто много лет уже — и с немалой настойчивостью — призывает не вспоминать больше тему минувшей войны. Сейчас иные времена — хватит об этом. В мае прошлого года западногерманский еженедельник «Ди цайт» посвятил 50-летию писателя статью критика Петры Киппхофф.

«Борхерт стал символом, легендой,— писала она.— Но за созданием мифа неизбежно следует его разрушение, когда эпоха, поэтом которой был назван Борхерт, сменяется новыми временами и новыми людьми». Критику в том же номере возражал первый исполнитель роли Бекмана, актер и режиссер Ганс Квест, который собирался возобновить постановку борхертовской драмы в Базеле. «Я знаю, что множество молодых людей продолжает чувствовать свою связь с Борхертом,— заявил он,— что о нем, как и прежде, спорят в школах, его читают». И на вопрос: «Верите ли вы, что пьеса «За дверью» может в наши дни идти с успехом?» — Квест ответил: «Абсолютно уверен».

О Борхерте продолжают говорить и спорить. Но наше сегодняшнее восприятие писателя определяется звучанием не только его произведений. Темы и мотивы, впервые обозначенные в них, на много лет вперед стали самыми существенными для послевоенной литературы ФРГ. Пауль Шаллюк и Гюнтер Зойрен, Гюнтер Грасс и Генрих Бёль — при всей своей несхожести, каждый по-своему, на разном материале продолжали эти темы, развивая их и углубляя, но нередко и полемически отталкиваясь от Борхерта. Перечитав заново Борхерта, мы кое-что лучше поймем в западногерманской литературе последних лет, и не только в литературе. В то же время эти авторы по-новому открывают и объясняют нам многое в Борхерте. Сегодня мы способны прочесть его, пожалуй, в чем-то глубже, чем современники, хотя иное и не обожжет нас так непосредственно, как их. Впрочем, это можно сказать о любом удаляющемся от нас во времени писателе, если помимо преходящего есть в нем что-то на долгие времена.

■

Вольфганг Борхерт родился 20 мая 1921 года в Гамбурге. Отец его был школьный учитель, мать — писательница. Известны свидетельства об антинацистских настроениях в этой семье. Знавшая Борхерта с детства подруга матери Алина Бусман пишет: «Вольфганг несказанно страдал при нацистском режиме. Он ненавидел его до глубины души». Но это неприятие фашистской действительности выражалось не в какой-либо активной или тем более организованной деятельности, а на свой, обусловленный характером и темпераментом юного Борхерта, лад: в уклонении, неучастии, аутсайдерстве. Школьные товарищи вспоминают его то как одиночку, редко примыкавшего к какой-либо группе, то как чудака, склонного к скоморошеству и всяким неожиданным выходкам. Эксцентричным бывало не только поведение, но и одежда Борхерта: он носил широкополую шляпу с надрезанными краями, галстук, продетый сквозь перстень с печаткой, а иногда употреблял вместо галстука шнурки с двумя красными помпонами...

Мы встретим их потом, эти помпоны, эти знаменитые «бомбошки», у одного литературного героя, и вовсе не борхертовского — у «великого Мальке» из повести Г. Грасса «Кошка и мышь»: «Два одноцветных или пестрых шерстяных шарика величиной с теннисный мяч на плетеном шнурке, тоже из шерсти, который надевался под воротник рубашки как галстук...» Трудно сказать, думал ли Грасс о Борхерте, когда вводил эту деталь, но ассоциация возникает здесь вовсе не случайно. Невеселое, судорожное, высокомерное скоморошество Мальке, подобно выходкам Борхерта, во времена, когда все подравнивалось под иной ранжир, неизбежно воспринималось как вызов общепринятому. «Мы еще долго носили «бомбошки», собственно говоря, из протеста, так как наш директор Клозе объявил ношение таковых бабством, недостойным немецкого юноши».

Этот своеобразный оттенок важно сразу же обозначить, потому что он определит в дальнейшем многое и в жизни Борхерта, в его судьбе, и в его литературных произведениях, где мы то и дело встретим героев чудаковатых, странных, совершающих то ли умышленно то ли невинно «ненормальные» поступки,— тип, который оказался в каком-то смысле весьма существенным для последующей западногерманской литературы. У Грасса Мальке шокирует всех, с серьезным видом заявляя, что хочет стать клоуном. Бёлевский Шнир («Глазами клоуна») в самом деле становится клоуном, и это для него не только профессия, но и позиция, противопоставляющая Шнира окружающему его миру. А еще через несколько лет вожаки западногерманского студенчества прямо объявят массовые эксцентричные действия — «хэппенинги» — средством политической борьбы...

Важно, однако, заметить: эти чудачества, клоунады и хэппенинги — весьма неоднородного характера. Выходки Шнира в 60-х годах сравнительно безопасны для него — во времена Борхерта это было куда рискованней; в то же время Шниром они уже в большей степени осознаны как проявление позиции. Мальке у Грасса затравленно, судорожно мечется, не в силах найти себе место в этой жизни, ужас и бессмысленность которой он способен ощутить лучше, чем другие. Эксцентричные поступки, чрезвычайно характерные для многих героев Грасса, вообще обычно связаны с этим ощущением бессмысленности происходящего; задумывая свои действия как протест, герои нередко лишь усугубляют эту бессмысленность. Таковы «акты мщения» Вальтера Матерна из романа Грасса «Собачья жизнь». Вернувшийся с войны Матерн решает расплатиться с теми, кто искалечил его жизнь. Явившись в дом к одному бывшему нацисту, он убивает его любимую канарейку, у другого бросает в огонь коллекцию почтовых марок и т. д.

М. ХАРИТОНОВ
ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ, ПРОЧИТАННЫЙ СЕГОДНЯ

и т. п. (Ассоциация — хотя и пародийно-полемическая — с «хождениями» борхертовского Бекмана здесь, как мы увидим в дальнейшем, очевидна. Пугающе-нелепый, неловкий и беспомощный Бекман мучительно ищет обоснования происшедшему, потрясенно требует ответа; для Грасса ирония, вскрывающая нелепость и комизм любых человеческих действий, со временем становится едва ли не тотальным принципом.) В последнем своем романе «Под местным наркозом» он с той же язвительной усмешкой касается и проблемы «политического хэппенинга»: один из персонажей его в знак протеста против войны во Вьетнаме собирается публично сжечь своего любимого пса, однако под конец ограничивается лишь демонстративной рвотой перед знаменитым рестораном...

Невеселую, слишком серьезную, подчас зловещую клоунаду, привкус которой ощутим во всей судьбе — и соответственно в творчестве — Борхерта, пожалуй, трудно назвать умышленной; она связана словно с каким-то непроизвольным свойством его натуры — свойством, которое определило редкостную и своеобразную стойкость этого хрупкого, впечатлительного юноши перед лицом нешуточных испытаний.

«Я всегда пытаюсь победить все смехом, хотя часто охотнее бы плакал»,— пишет он в 1940 году Алине Бусман. Мы узнаем этот смех во многих его рассказах — смех, вызванный ужасом и полный ужаса, «смех словно крик о помощи». Странноватый юноша, собиравшийся стать актером и призванный в армию с подмостков Люнебургского театра (в ноябре 1941 года его отправляют связистом на Восточный фронт, под Калинин), он не случайно наполняет свои рассказы реминисценциями и образами из театра, кукольных представлений и цирковых клоунад:

«Кто из нас может вынести немые вопли марионеток, когда они, сорвавшись с проволоки, с нелепо вывихнутыми членами валяются на сцене? Кто, кто из нас в силах вынести немые вопли мертвецов?.. Над сорвавшейся с проволоки марионеткой стояла другая, которая была еще невредима. Над мертвым солдатом стоял живой солдат» («Бледнолицый брат мой»).

Так он пишет о войне. Так он пишет и о Нюрнбергской тюрьме, куда был заключен уже в мае 1942 года по обвинению в самокалечении, а также в «устных и письменных высказываниях» против нацистского режима — через ту же гротескную жутковатую призму показывая нам смерть нелепого, похожего на клоуна заключенного по прозвищу Парик:

«И тут произошло нечто чудовищное! Парик, словно приступая к тарантелле, воздел тощие руки, грациозно поднял правую ногу на уровень пупка, а на левой повернулся назад. До сих пор не могу понять, как у него хватило смелости, но его взор торжествующе сверкнул, словно Парик все знал, он закатил свои воловьи глаза, так что показались белки, и затем, точно кукла, сложился пополам и рухнул наземь. О, теперь я не сомневался: он конечно бывший клоун, ибо все кругом заревели от хохота!

Но тут залаяли голубые мундиры, и смех погас, как будто его никогда не было. Один из них подошел к лежавшему и таким тоном, каким говорят «Пошел дождь», сказал: «Умер» («Цветок одуванчика»).

Когда после многомесячной отсидки Борхерту заменили дальнейшее заключение отправкой на фронт, его здоровье было уже всерьез подорвано болезнью. В ноябре 1943 года Борхерта признают негодным к военной службе; он получает разрешение вступить в труппу фронтового театра. Однако за день до увольнения он вновь оказывается схваченным гестапо — и из-за чего же? — все из-за того же неудержимого и небезопасного свойства своей натуры, которое то и дело прорывается наружу! В прощальный вечер он пародийно изображает перед однополчанами выступление Геббельса. Автор доноса на Борхерта цитирует: «Немецкий народ может быть спокоен, у лжи короткие ноги, но моему ортопеду удалось удлинить мою правую ногу до нормы. Сограждане и согражданки, наше руководство обещало вам жилища, полные света и воздуха. Мы сдержали свое обещание, теперь у вас все это есть. Немецкий солдат будет биться до последнего патрона, а потом начнется великое бегство. Позвольте мне уже заранее побежать вперед, потому что я прихрамываю»...

За прошедшие после войны годы мы имели возможность убедиться, как распространены были в третьей империи подобные пародии. Не приходится удивляться, что в западногерманской литературе о войне фигура такого шутника стала особенно приметной. Тирады учителя Рейнеке из романа П. Шаллюка «Энгельберт Рейнеке», этого чудака, который раздобыл медицинскую справку о том, что он не может поднимать руку в нацистском приветствии, а если и поднимает ее, то лишь до высоты живота,— той же природы, что и выходка Борхерта. Рейнеке его шутки стоили жизни; он и сам знал, на что идет. Борхерта, повторяем, нельзя назвать открытым борцом-антифашистом, он вовсе не хотел попадать в тюрьму, сетовал на себя за то, что опять не сумел удержаться. Но именно в таких проявлениях и сказалась его подлинная природа. Если такие «шуточки» определяют судьбу человека, если этим настроением проникнуто все его творчество — значит оно не случайно и не второстепенно.

Когда выпущенный уже под конец войны из тюрьмы, на этот раз Моабитской, и вновь в виде «помилования» отправленный на фронт, на этот раз Западный, сразу взятый в плен французами и бежавший от них Борхерт возвращается пешком домой, в Гамбург, он, чтобы не быть задержанным, изображает из себя сумасшедшего. Нет, в разговоре об этом писателе постоянно надо иметь в виду это свойство его натуры. Недаром он всю жизнь рвался на сцену. Едва вернувшись, Борхерт начинает

работать в гамбургском театре «Комедия». Лишь когда болезнь окончательно лишает его возможности двигаться, когда врачи объявляют его родителям, что он долго не проживет, Борхерт лихорадочно принимается писать. И самым значительным его произведением не случайно оказалась именно пьеса, написанная за восемь дней в январе 1947 года.

Русский перевод заглавия «За дверью» (или «Там, за дверью»), к сожалению, лишь частично передает многозначность немецкого «Draußen vor der Tür». «Draußen» в обыденной речи означает «на улице», «во дворе», но одновременно — «снаружи», «вне» (подобно английскому «outside»).

Вернувшийся из плена Бекман по ходу пьесы действительно не раз оказывается в буквальном смысле на улице, за дверью, ему нигде не находится места, но он и сам сознательно не хотел бы быть с теми, кто там, «внутри».

Этот двадцатипятилетний ровесник Борхерта сродни многим его «странным» героям. Уже внешний вид его: диковинные, на тесемках, очки и стриженая голова — сразу обращают на себя внимание, вызывая желание засмеяться и одновременно вскрикнуть от испуга (характерный для Борхерта настрой!), и Бекман с готовностью, без улыбки заново объясняет каждому, что это специальные противогазные очки, которые он носит взамен разбитых, и что острижен он в русском плену. Он вернулся домой, но жена его живет теперь с другим, двери собственного дома первыми закрылись для него. Хромой, голодный, отчаявшийся, измученный бессонницей Бекман бросается в Эльбу, но Эльба выбрасывает его на берег. На берегу Бекмана подбирает девушка, ведет к себе домой, дает обсушиться и переодеться, зовет остаться с ней. Но костюм, который начинает надевать на себя Бекман,— костюм ее мужа, до сих пор не вернувшегося с войны; Бекману вдруг чудится, что этот человек подходит сейчас к двери, как недавно подходил к своей двери он сам, и, чувствуя себя преступником, он убегает из гостеприимного дома. Вновь Бекман на улице; он не может найти себе места — в прямом и переносном смысле; видения минувшей войны мучают его. Из головы не идут одиннадцать солдат, которых он, бывший унтер-офицер, послал когда-то на смертельное задание — правда, всего лишь выполняя приказ своего полковника... И вдруг ему приходит мысль найти этого полковника и «вернуть» ему ответственность за никому не нужную гибель этих людей.

Сцена у полковника — одна из самых сильных в этой фантасмагорической, напряженной, пронзительной пьесе. Бекман застает своего бывшего начальника и его семью в теплом доме за сытным ужином. Воспоминания не мучают этого человека — одного из тех, кому незнакомы угрызения совести. И лишь когда Бекман рассказывает ему о видениях, которые заставляют его каждую ночь просыпаться от собственного крика: о генерале, играющем на гигантском ксилофоне из человеческих костей, о мертвецах, с упреком повторяющих имя унтер-офицера Бекмана, которым генерал велит делать приседания,— лишь тут полковник начинает нервничать.

«*Полковник:* Чего же вам от меня нужно?..

Бекман: Я хочу вернуть вам ответственность. Вы совсем это забыли, господин полковник? 14 февраля? Под Городком?... Вы пришли на наши позиции, господин полковник, и сказали: унтер-офицер Бекман... передаю вам ответственность за двадцать человек... А потом началась стрельба, и когда мы вернулись на свои позиции, у нас недоставало одиннадцати человек. И ответственность была на мне. Да, вот и все, господин полковник. Но теперь война кончилась, теперь я хочу завалиться спать, я отдаю ответственность вам обратно, господин полковник...»

Полковник уверяет Бекмана, что тот не так его понял, что имелось в виду совсем другое. Но Бекман продолжает говорить о том, что его мучает. «...У меня их одиннадцать. А сколько их у вас, господин полковник? Тысяча? Две тысячи? Вы хорошо спите, господин полковник? Тогда вам все равно, если я прибавлю к вашим двум тысячам ответственность за моих одиннадцать. Вы можете спать, господин полковник? С двумя тысячами ночных призраков? Вы можете вообще жить, господин полковник, и хотя бы минуту не кричать?..»

Растерянность полковника длится недолго. Он быстро берет себя в руки. «Вы, кажется, немного шутник, а? Я угадал? Ну? В самом деле, вы шутник, а? (Смеется.) Чудесно, дорогой, просто чудесно! Вы действительно ловкач! Нет, это настоящий юмор! Знаете (пересиливая смех), знаете, вы можете идти на сцену, в таком вот виде, с номером! Да, на сцену! (Полковник вовсе не хочет задеть Бекмана, но он так здоров, так простодушен, этот старый солдат, что в галлюцинациях Бекмана видит лишь шутку.) Эти идиотские очки, эта потешная уродливая стрижка! Вы должны все это исполнять под музыку... Боже мой, это восхитительный сон! Приседания, приседания под ксилофонную музыку! Нет, мой дорогой, вам надо на сцену! Публика будет хохотать до упаду, прямо умрет со смеху!!! О боже мой!!! (Смеется со слезами на глазах, еле переводя дыхание.) А я в первый момент и не понял, что вы хотите показать комический номер. Я и вправду подумал, что у вас слегка помутилось в голове».

Каков, однако, этот полковник! Мы, признаться, не без напряжения ждали, что он ответит на страстные речи Бекмана. И вот

М. ХАРИТОНОВ
ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ,
ПРОЧИТАННЫЙ СЕГОДНЯ

ведь как простодушно вывернулся... Или — несмотря на авторскую ремарку — не так уж и простодушно? И так ли уж лишена иронии сама авторская ремарка?

Едва ли не у каждого западногерманского писателя после Борхерта мы встретим такого рода сцену: встреча соучастника преступлений, знающего за собой вину, со своим обвинителем. Бывший нацист Гезелер и Нелла Бах (Г. Бёль. «Дом без хозяина»), Неттлингер и Шрелла (его же «Биллиард в половине десятого»), Зенкер и Лебек (Г. Зойрен. «Лебек»), Байерль и Поспишил (М. фон дер Грюн «Два письма Поспишилу»)[1]. Но нам не удается вспомнить ни одной книги, где бы такая встреча заканчивалась реальным разоблачением и справедливым возмездием,— это показательный мотив западногерманской литературы, проницательно предвосхищенный Борхертом.

В романе Г. Грасса «Собачья жизнь» встречам одного из главных героев, Вальтера Матерна, с виновниками его бедствий отведен целый раздел. Грасс — явно не без умысла — наделяет этот персонаж чертами сходства одновременно и с Бекманом, и с Борхертом. Матерн, как и Борхерт, был призван на фронт с театральных подмостков, получил ранение в России, угодил под суд «за оскорбление фюрера и разложение армии», отбывал наказание в штрафном батальоне. Аналогия же с Бекманом прямо проводится в одной из сцен, когда прихрамывающий Матерн является к своему бывшему капитану Хуфнагелю, отдавшему его когда-то под суд. Хуфнагель, подобно борхертовскому полковнику, сидит с семьей за накрытым столом. Он не отрицает обвинений Матерна, он только призывает увидеть во всем и «другую сторону». Да, он отдал Матерна под суд — но в то же время дал показания, которые спасли его от смертной казни. «Разве вы не знаете, что в вашем случае полагалась смертная казнь, и если б не мои показания... вы бы не стояли сейчас здесь и не изображали разгневанного Бекмана. Кстати, отличная пьеса... Вы ведь по профессии актер? Так вот, роль прямо для вас. Этот Борхерт попал не в бровь, а в глаз! Разве это не про нас всех, не про меня? Разве мы не стояли на улице и не чувствовали себя чужими для наших дорогих и близких? Я вернулся четыре месяца назад... Моей фирмы больше нет, дом занят канадцами, жена и дети в эвакуации... угля нет... короче: бекмановская ситуация, как в книге: на улице, за дверью! Так что, мой дорогой Матерн — да вы садитесь, пожалуйста,— я вдвойне и втройне испытал то же, что и вы»...

Вот ведь — можно и так. Дескать, все мы по-своему жертвы. И решительный Матерн, «пришедший, чтобы судить», оказывается по существу беспомощным перед этой расхожей риторикой. (В конце концов он соблазняет дочь Хуфнагеля — к этому сводится его «акт мщения», гротескно-бессмысленный, как и все другие.)

На сходных ситуациях особенно наглядно видно различие в тенденции писателей. Г. Бёль и М. фон дер Грюн вслед за Борхертом пишут о процветании недавних преступников с недвусмысленной и едкой горечью; Г. Грасс, пародийно отталкиваясь от Борхерта, тут же дезавуирует самого обвинителя, насмешливо ставя под сомнение серьезность его собственной позиции. В известном смысле по тому же пути пошел и молодой Г. Зойрен; Лебек у него — слишком сомнительная фигура, чтобы всерьез считаться с его обвинениями, и нацист Зенкер умело пользуется этим. Но не менее важен и общий мотив: произнесенные — и даже еще не произнесенные — слова обвинения во всех случаях заранее точно вязнут в невидимой вате. Эти люди умеют свести на нет угрозу — каждый на свой лад. Одни (Байерль у М. фон дер Грюна) заявляют, что просто ничего не помнят. Другие (Гезелер и Неттлингер у Бёля) сами готовы осудить свое прошлое — ведь теперь они «демократы по убеждению»... У каждого своя тактика. Борхертовский полковник в первый момент прибегает к той же расхожей фразеологии, что и Хуфнагель: «Мой дорогой друг, вы представляете вещи весьма искаженно. Мы все-таки немцы. Лучше бы нам оставаться при нашей доброй немецкой правде. Как говорил Клаузевиц, кто дорожит правдой, тот лучше всех марширует». (Не он ли через несколько лет окажется в числе нацистов, заявляющих протест против литературы, которая лишает нацию силы «сопротивляться своему упадку» и «сеет ядовитые семена»?)

Но когда он сам предлагает Бекману отправиться на сцену — этот неправдоподобный, но оправданный стилистикой пьесы поворот звучит поистине символически. Когда тебя задевают *только* со сцены — можно даже поаплодировать. Как разрешают бёлевскому Шниру дразнить себя персонажи его сатирических сценок. Не так уж, в конце концов, опасен клоун на сцене; Бёль и Борхерт были не первыми, кто с горечью это подтверждал. На Западе достаточно людей, изощренных в умении делать самую острую критику нестрашной. И если западногерманские студенты начинают устраивать свои «хэппенинги» прямо на улицах, уверенные, что это средство политической борьбы, лучший способ обезопасить их — отнестись к этому как к цирку. Так и поступил — воспользовавшись нелепым видом и «ненормальными» речами Бекмана — борхертовский полковник.

■

«...В цирк! Да здравствует цирк! Весь этот огромный цирк!» — восклицает подвыпивший Бекман по дороге в кабаре, где его с воодушевлением встречает говорливый директор. Хотите выступать? Отчего бы нет! «Именно в искусстве нам вновь нужна молодежь, которая занимала бы по всем проблемам активную позицию. Муже-

[1] О книгах Г. Зойрена и М. фон дер Грюна см. «Иностранную литературу» №№ 3 и 7 за 1970 г.

ственная, трезвая... революционная молодежь...»

Быть может, на Бекмана столь смелое начало в первый момент производит впечатление, но нам сейчас фразы о революционности и молодежи сразу оказываются подозрительно знакомыми. Их истинная цена быстро подтверждается, пока директор продолжает пояснять: «Взгляните на меня: уже в семнадцать лет я стоял на подмостках кабаре и показывал обывателю зубы, портил ему вкус сигары Чего нам не хватает, так это авангардистов!..»

Так в пьесе возникает тема, оказавшаяся весьма злободневной для нынешней литературной жизни ФРГ, и не только ФРГ.

Борхерта вряд ли назовешь «традиционным» писателем; его произведения отмечены достаточно смелым по тем временам экспериментальным поиском. Но смысл и лозунг этих поисков был прежде всего — правда, осмысление жизни.

Стоило Бекману исполнить перед директором кабаре свою в брехтовском стиле песенку о собственной судьбе, как тот снисходительно развел руками: «Это еще не искусство». «Но ведь это правда»,— отвечает Бекман. «Ну, правда! Искусство не имеет ничего общего с правдой»...

Современные «революционные авангардисты», появления которых так ждал двадцать с лишним лет назад директор кабаре, выразились бы, пожалуй, более хитроумно. Они усомнились бы вообще в существовании объективной «правды», которую способна найти литература, или даже отказали бы вообще искусству в праве на существование. Но песенку Бекмана, как и пьесу Борхерта, они отвергли бы с не меньшей пренебрежительностью, чем директор,— как и он, уверенные в своей сугубой антибуржуазности. Мартин Вальзер, полемизируя недавно с представителями этого «новейшего направления» отечественной литературы, негативно сформулировал их программу в таких словах: «Как можно дальше от литературной традиции, которая хотела исправить мир, критически его изображая». М. Вальзер, принадлежащий именно к этой традиции и духовно связанный в этом смысле с Борхертом, справедливо усматривает в позиции неоавангардистов неспособность и нежелание иметь дело с реальной действительностью. Директору кабаре просто не по себе от одного вида Бекмана, слишком напоминающего о недавней, *взаправдашней* войне: его раздражают и тревожат уродливые противогазные очки «Но разве это не смешно? — спрашивает Бекман.— Люди ведь до смерти смеются, когда видят меня в очках. Да еще прическа и шинель. И лицо, вы должны обратить внимание на мое лицо. Ведь все это ужасно занятно...» — «Занятно? У людей застрянет смех в глотке, мой дорогой».

■

Еще одна дверь оказывается закрытой перед Бекманом — человеком, чужеродным для среды, которую раздражает его разбереженная, не способная успокоиться совесть; он слишком мучается мыслью об ответственности.

Здесь мы подходим к главному в творчестве писателя, к тому, что определило и основную силу его, и слабость.

Когда читаешь пьесу Борхерта, его рассказы или публицистические манифесты, обращает на себя внимание странное обстоятельство: он практически нигде не обрушивается с проклятиями на главных виновников трагедии, на фашистов и их вождей. Ведь Бекман, да и полковник—сравнительно мелкие сошки. Кое-кто и повыше рангом объявлял себя лишь бессильным исполнителем чужой воли...

Однако несомненная заслуга Борхерта в том, что он первый с такой силой, хоть и не всегда последовательно, заговорил об ответственности каждого, независимо от чина и ранга. Бекман так и не «возвращает» своей ответственности полковнику, он мучается ею сам — не в пример множеству своих сограждан, которые спешили избавиться от неудобного ощущения вины.

Писатель не снимает ответственности ни с него, ни с лейтенанта Фишера («По длинной, длинной улице»); он обвиняет генерала, чьи красные лампасы — точно кровавые ручьи («За дверью»), дельцов, нажившихся на войне, ученых, изобретающих порошки, грамма которых достаточно, чтобы уничтожить тысячу человек («Рассказы для хрестоматии»), пасторов, благословлявших войну. И едва ли не в первую очередь — учителей, школьных учителей, которые готовили молодежь для бойни.

«— В чем дело, штудиенрат, почему вы в черном костюме? Траур?

— Отнюдь. Отнюдь. Присутствовал на торжестве. Мальчики отправляются на фронт. Произнес маленькую речь. Напомнил о Спарте. Цитировал Клаузевица. Говорил о понятиях: честь, родина. Помянул Лангемарк[1]. Мальчики прочли стихи Гёльдерлина...

Рассказывая, он исчертил бумагу маленькими крестами. Сплошь крестами» («Рассказы для хрестоматии»).

Немецкий учитель — фигура вообще примечательная. Известно ходячее высказывание о том, что франко-прусскую войну 1870—1871 гг. выиграл школьный учитель. Не случайно в произведениях западногерманской литературы о войне эта фигура привлекает значительное внимание. Когда маленький Шнир в романе Бёля «Глазами клоуна» обозвал вожака гитлерюгенда Калика нацистской свиньей, именно учитель Брюль с фанатичной жестокостью требовал «выкорчевать преступника», «выкорчевать с корнем» (что не помешало ему после войны занять важный пост в Педагогиче-

[1] В упорных боях при Лангемарке (Бельгия) в 1914 году погибли отряды немецких добровольцев из молодежи.

М. ХАРИТОНОВ
ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ.
ПРОЧИТАННЫЙ СЕГОДНЯ

ской академии). А грассовский директор школы Клозе («Кошка и мышь») едва ли не цитирует борхертовского штудиената, когда произносит перед учениками речь «обо всех, кто на суше, в море и в воздухе за пределами отчизны... и о студентах при Лангемарке».

Складываясь, обобщаясь, эти обвинения постепенно перерастают у Борхерта в обвинение против всего поколения старших, которое обмануло и предало молодых солдат, посланных на войну:

«Они нас предали. Так ужасно предали. Когда мы еще были детьми, они устроили войну. А когда мы подросли, они все рассказывали про эту войну. С воодушевлением... А когда мы стали еще старше, они и для нас придумали войну. И послали нас туда... И ни один не сказал нам, куда мы идем. Ни один не сказал нам: вы идете в ад».

Борхерт все время будто отвлекается от своего собственного уровня: ведь он-то не был в этом смысле обманутым, потому что он никогда и не верил лжепатриотической нацистской демагогии, он не сомневался, что война — ад. Но он нигде не противопоставляет своего понимания заблуждениям остальных. Примечательно: в большинстве его рассказов, где так силен лирический элемент (некоторые из них — по существу лирические стихотворения в прозе), и в публицистических его манифестах («Поколение без разлуки», «Это наш манифест», «Тогда остается одно») речь ведется не от авторского лица. Писатель почти всегда говорит «мы»; он стремится отождествить себя со своими сверстниками, говорить прежде всего от их имени. Этим, может быть, отчасти и объясняется небывалая взволнованность первых откликов на произведения Борхерта; в словах его сверстников звучала, кроме всего прочего, благодарность человеку, который заявил, что перед ними тоже виноваты. И мы вдруг замечаем, что ответственность и вина для Борхерта — это в первую очередь ответственность и вина *отцов* перед своими сыновьями. За несколько дней до смерти в письме к теологу Кордесу писатель говорил о «внутренней оппозиции против поколения наших отцов, штудиенратов, пасторов и профессоров... Они становились командирами батальонов, молились во время богослужений за Гитлера, они становились военными прокурорами... А теперь? Теперь эти же самые штудиенраты вновь стоят за своими кафедрами и обвиняют молодежь в недостаточном доверии и уважении к ним!!!»

Каким знакомым кажется нам сегодня этот мотив «оппозиции против поколения отцов»! За годы после смерти Борхерта он то и дело возобновлялся в разных вариантах. Г. Грасс в романе «Под местным наркозом» вывел образ штудиената Штаруша, представителя примерно того же, борхертовского поколения, которое, пройдя через соблазн «экономического чуда», само выслушивает теперь упреки и обвинения уже новой молодежи. (В данном случае ирония Грасса сослужила ему добрую службу.) В инвективах Борхерта и его героев немало справедливого, но стоит ли говорить, что и в гитлеровской Германии трещина проходила отнюдь не между поколениями и возрастами. П. Шаллюк через много лет убедительно покажет это на примере семьи учителей Рейнеке: молодого Энгельберта и его отца-антифашиста.

Но мы замечаем тут же и другое: вина отцов для Борхерта — это прежде всего вина перед *своими* сыновьями. И ответственность, которой мучится Бекман,— это прежде всего ответственность за одиннадцать *своих* солдат. О том, что и отцы, и сыновья принесли страдания и гибель другим людям, писатель словно не вспоминает. Едва ли не единственный раз — в рассказе «По длинной, длинной улице» — у Борхерта упоминаются убитые русские — «86 Иванов», которых прикончили из одного пулемета. В этом смысле Борхерт оказывается до странности близорук — он словно способен писать лишь о том, что видел совсем рядом, и здесь его реакция непосредственна, как крик. А видел он прежде всего немцев на войне и после нее, причем взгляд его был выборочен. Он видел часового, поющего от страха ночью на посту в морозном русском лесу («Снег, снег, снег»). Капитана Гессе, умирающего в сыпнотифозном лазарете («В этот вторник»). Чудаковатого солдата по прозвищу Иисус, который примеряет на себя свежесколоченные гробы («Иисус отказывается»). И тех, кто искалеченными и опустошенными вернулись с войны («Вороны вечером летят домой», «Может, у нее тоже розовая рубашка»).

Но ведь мы знали и других немецких солдат, ничуть не похожих на тихих тоскующих героев Борхерта. Не так давно Б. Полевой цитировал письма, захваченные зимой 1941 года под Калинином — в тех же самых местах, где в ту же пору находился Борхерт; возможно, он знал иных авторов писем в лицо: наглых, упоенных захватчиков, уже мечтающих о Москве, которая будет отдана им на разграбление, о женщинах и добыче [1].

В осмыслении уроков второй мировой войны западногерманские писатели, не говоря уже о писателях ГДР, сумели пойти дальше Борхерта. Г. Бёль в романе «Где ты был, Адам?» (1951) ставит проблему остро и бескомпромиссно. «Почему все так боятся нас? — спрашивает герой романа Файнхальс у своей возлюбленной.— Неужели мы такие звери?» «Да,— отвечает Илона.— Волки вы». Не менее резко писали об этом Б. Шнурре и П. Шаллюк, В. Кёппен и Г. В. Рихтер. М. Вальзер в статье 1963 года с показательным названием «Наш Освенцим» напоминал, что ответственность за преступления нацистов лежит не только на непосредственных исполнителях, но и на тех, кто были «по меньшей мере терпеливыми свидетелями» творившегося.

[1] Б. Полевой. В ту тяжелую зиму. «Новый мир» № 6 за 1970 г.

Борхерт же где-то поддается соблазну нехитрого обобщения: виновные сами являются жертвами. В своем пересказе пьесы мы не упомянули еще одной, пожалуй, самой непростой для объяснения сцены. Последняя дверь, о которой вспоминает Бекман, выйдя от директора кабаре,— дверь родительского дома. Он идет туда, но родителей его уже нет в живых. Новая хозяйка дома равнодушно рассказывает Бекману о их смерти. «Старики Бекманы не выдержали, знаете ли. Третий рейх порядком поистрепал людей... Вдобавок, он (отец Бекмана.— *М. Х.*) немного свихнулся на евреях... В бомбоубежище, знаете ли, всякий раз как упадет бомба, он посылал проклятия евреям... Ну, а когда с этими коричневыми парнями было кончено, его и поприжали». Не выдержав этого, старик с женой отравились газом.

Мы, конечно же, понимаем, что смерть родителей потрясает Бекмана, и все-таки нам трудно до конца разделить его сочувственную скорбь. Безусловно, в сравнении с процветающим полковником старый Бекман — всего лишь жалкий, немного свихнувшийся обыватель, он тоже по-своему жертва режима. Но так ведь многие могли бы назвать себя жертвами (что иные, вроде грассовского Хуфнагеля, и спешили делать).

Пожалуй, тотчас после войны безоглядное сочувствие и сострадание к своим соотечественникам взяли у Борхерта верх над последовательно трезвой и, может быть, жесткой оценкой. Всем сердцем он был с теми, кому плохо, со слабыми и побежденными. Единственный раз он рассказал о победителе — о фельдфебеле канадских военно-воздушных сил Биллбруке, который ходит по разрушенному бомбами Гамбургу, ужасаясь делу собственных рук. Близкой, как никогда, стала для писателя именно поверженная Германия.

Это всеобъемлющее сочувствие и сострадание порой бывает трудно принять. Но без него мы не до конца поймем Борхерта — писателя, которому было дано для творчества всего лишь два горьких года сразу после войны.

■

Излюбленный герой рассказов Борхерта на послевоенные темы — все тот же незначительный внешне, стеснительный, чудаковатый, добрый, нередко самоотверженный человек. Он неустроен, чаще всего одинок. Но одиночество этих людей опять обусловлено не только внешне, в значительной мере они *предпочитают* жить обособленно, сами по себе. Ибо те, кто вернулся с войны, слишком прониклись ненавистью ко всякой стадности. «Мы никогда больше не будем строиться по свистку... Мы будем плакать, испражняться и петь, когда захотим сами... никогда больше мы не станем шагать в строю, пусть каждый шагает сам по себе» («Это наш манифест»).

Это, по существу, программа, определяющая направление нравственных поисков самого Борхерта и характеры его героев. Она до сих пор продолжает оставаться злободневной для многих западногерманских писателей. Решимость пребывать «вне строя» по крайней мере обеспечивает духовную независимость, дает возможность уклоняться от общепринятых норм, уберегает от унификации. И когда Г. Бёль охарактеризовал однажды позицию своих героев как место «на обочине» — не родственно ли это борхертовскому «Draußen»?

О сильных и слабых сторонах этой позиции писалось немало. Важно подчеркнуть, что для Борхерта отказ от «марширования в общем строю» вовсе не означал пассивного самоустранения от всякой коллективной ответственности. Лучшее свидетельство тому — его знаменитый предсмертный манифест «Тогда остается одно», где писатель страстно призывает людей заявить «нет» опасности новой войны. «Нет» для него — не только отрицание, оно может оказаться символом активной позиции, действия, сопротивления.

Борхерт многое лишь наметил: остается еще раз пожалеть, что ему не дано было завершить начатого. Удивительно другое: этот совсем еще молодой человек, по существу лишь начинавший писать, сразу нащупал, угадал темы, не только не остывшие до сих пор, но с годами по-новому открывшиеся и в творчестве писателей ФРГ, и в самой действительности страны.

Время дало нам возможность по-новому прочесть его книги. Борхерт — не символ и не миф, его творчество продолжает оставаться живым современным явлением, без которого невозможно представить нынешнюю западногерманскую литературу.

Публицистика

ОЛВИН ТОФФЛЕР

СТОЛКНОВЕНИЕ С БУДУЩИМ

Отрывки из книги

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

КОНЕЦ ПОСТОЯНСТВА

800-е поколение

Те короткие три десятилетия, что отделяют нас от двадцать первого века, миллионы обычных, психически вполне нормальных людей придут в резкое столкновение с будущим. Многие и многие жители самых богатых и технически развитых стран мира обнаружат, что характерный для нашей эпохи нескончаемый поток перемен предъявляет к ним все более высокие требования, что им мучительно трудно угнаться за своим временем. Будущее наступит для них слишком рано.

Настоящая книга посвящена переменам и нашему приспособлению к ним. Это книга о тех, на кого перемены действуют, по-видимому, благотворно и кто радостно мчится в будущее на гребне их волн, и о тех (а таких немало), кто противится переменам или пытается бежать от них. О наших возможностях приспосабливаться. О будущем и о шоке от столкновения с ним.

Вот уже на протяжении 300 лет в нашем обществе бушует ураганный ветер перемен. Этот ураган не только не стихает, но, похоже, только теперь набирает силу. По высокоразвитым индустриальным странам с небывалой дотоле скоростью прокатываются мощные валы перемен, вызывая к жизни диковинную социальную флору, начиная с экзотических церквей и «вольных университетов» и кончая научными городками в Арктике и клубами по обмену женами в Калифорнии.

Перемены порождают и каких-то странных индивидуумов: детей, состарившихся к двенадцати годам; взрослых, остающихся до надцатилетними детьми в пятьдесят; богачей, ведущих жизнь бедняков, программистов компьютеров, накачивающихся LSD; анархистов, у которых под грязным парусиновым одеянием скрывается душа отчаянных конформистов; и конформистов, у которых под застегнутыми на все пуговицы рубашками бьется сердце отчаянных анархистов... Чего только у нас не появлялось: и «поп», и «оп», и «кинетическое искусство»... клубы любителей клубнички и кинотеатры для гомосексуалистов... стимуляторы и транквилизаторы... гнев, изобилие, равнодушие. Сколько угодно равнодушия!

Можно ли объяснить столь причудливую картину, не прибегая к профессиональному жаргону психоаналитиков и к мрачным клише экзистенциалистов? По-видимому, в наших недрах вызревает какое-то странное новое общество. Есть ли у нас возможность понять его, направить его развитие? Удастся ли нам поладить с ним?

Многое из того, что ошарашивает нас своей кажущейся непостижимостью, станет куда яснее, если вдуматься в смысл бешеного темпа перемен, превращающего действительность в некое подобие взбесившегося калейдоскопа. Мало того, что ускорение темпа перемен преобразует целые отрасли промышленности или страны,— оно являет собой конкретную силу, которая вторгается в нашу личную жизнь, проникая в сокровенные ее глубины: заставляет нас играть новые роли и угрожает сделать нас жертвами некой новой опасной психической болезни, серьезно нарушить душевное равновесие человека. Эту новую болезнь можно было бы назвать «шоком от столкновения с будущим». Знание ее причин и симптомов поможет осмыслить многое из того, что не поддается никакому другому разумному объяснению. Шок от столкновения с будущим — это состояние ошеломленности, утраты ориентации, вызванное преждевременным

наступлением будущего. Вполне может быть, что этот шок превратится в самое грозное заболевание завтрашнего дня.

Слова о том, что ныне мы переживаем «вторую промышленную революцию», стали избитым штампом. Надо полагать, эта фраза имеет целью подчеркнуть стремительность и глубину происходящих вокруг нас перемен. Но не говоря уже о том, что она банальна, она неверна по существу и только вводит в заблуждение.

Происходящее ныне, судя по всему,— нечто более масштабное, глубокое и значительное, чем промышленная революция. По утверждению многочисленных авторитетов, нынешний момент представляет собой не больше и не меньше, как второй великий водораздел в истории человечества, сравнимый по своему значению лишь с первым великим разрывом исторической преемственности — переходом от варварства к цивилизации.

Все чаще повторяется эта мысль в трудах и статьях ученых и специалистов в области техники. Английский физик лауреат Нобелевской премии Джордж Томсон в своей книге «Провидимое будущее» [1] ближайшей исторической параллелью происходящему сегодня считает не промышленную революцию, а скорее «переход к земледелию в неолите». Американский специалист по автоматике Джон Дайболд предсказывает, что последствия «переживаемой нами сейчас технической революции окажутся более глубокими, чем результаты любой из социальных перемен прошлого».

Подобных взглядов придерживаются не одни только представители научно-технической мысли. Философ-искусствовед Герберт Рид полагает, что единственная сравнимая по своему значению перемена произошла на рубеже палеолита и неолита... А Курт У. Марек, он же К. У. Керам,— автор известной книги «Боги, гробницы, ученые» [2]— замечает, что «мы, люди двадцатого века, завершаем эпоху в истории человечества, продолжавшуюся пять тысячелетий...» Видный экономист и интересный социальный мыслитель Кеннет Боулдинг, доказывая, что наше время является важнейшим поворотным пунктом в истории человечества, утверждает: «Сегодняшний мир... так же отличается от мира, в котором я появился на свет, как тот мир отличался от мира Юлия Цезаря. Я родился как раз где-то посредине всей человеческой истории, если рассматривать ее с точки зрения сегодняшнего дня. С момента моего рождения произошло столько же, сколько произошло до моего появления на свет».

Это любопытное утверждение можно проиллюстрировать целым рядом наглядных примеров. Вот один из них. Если последние 50 000 лет существования человека измерить числом поколений, каждое с продолжительностью жизни порядка 62 лет, то всего получится около 800 таких поколений. Из них целых 650 провели свою жизнь в пещерах.

Только при жизни последних 70 поколений оказалось возможным осуществлять — благодаря появлению письменности — эффективную связь между поколениями. Лишь на протяжении жизни последних шести поколений массы людей познакомились с печатным словом. Только при жизни четырех последних поколений люди научились более или менее точно измерять время. Лишь последние два поколения пользовались электромотором. А подавляющее большинство всех материальных ценностей, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни, было впервые создано на протяжении жизни нынешнего, 800-го, поколения.

Это 800-е поколение знаменует собой резкий разрыв со всем прошлым опытом человечества, потому что при его жизни в корне изменилось отношение человека к природным ресурсам. Особенно это заметно в области экономического развития. На глазах последнего поколения сельское хозяйство, эта первоначальная основа цивилизации, утратило свое господствующее положение во многих и многих странах. Сегодня насчитывается более десятка крупных государств, в сельском хозяйстве которых занято менее 15 процентов самодеятельного населения. На протяжении жизни этого же поколения общество впервые в истории человечества не только сбросило с себя ярмо сельского хозяйства, но и сумело за несколько коротких десятилетий освободиться из-под ига ручного труда. Зародилась первая в мире экономика обслуживания.

Технически развитые страны одна за другой вступают на этот же путь. Среди государств, в сельском хозяйстве которых занято не более 15 процентов самодеятельного населения, ныне имеются и такие — например, Швеция, Великобритания, Бельгия, Канада и Нидерланды, — где «белых воротничков» уже больше, чем «синих». Десять тысяч лет господства сельского хозяйства. Столетие-другое господства индустриализма. И вот уже мы стоим на пороге эры супериндустриализма.

Жан Фурастье, французский экономист и социальный философ, заявил: «В цивилизации, порожденной промышленной революцией, не будет ничего промышленного». Все значение этого парадоксального утверждения понято еще не до конца. Пожалуй, наиболее удачную формулу смысла перехода к супериндустриализму предложил Генеральный секретарь ООН У Тан: «Главное, что потрясает, когда думаешь о сегодняшнем положении экономически развитых стран,— мысль о том, что в самом недалеком будущем они смогут по собственному усмотрению решать, какие ресурсы и в каком количестве будут они иметь. Прошло

[1] Дж. Томсон. Провидимое будущее. М., Издательство иностранной литературы, 1958.

[2] К. Керам. Боги, гробницы, ученые. М., Издательство иностранной литературы, 1960.

время когда решения ограничивались наличными ресурсами. Теперь сами решения создают ресурсы...» Таков грандиозный поворот, совершившийся при жизни 800-го поколения.

Изменив характер отношений с окружающими нас ресурсами, радикально расширив масштабы перемен и, главное, ускорив их темп, мы безвозвратно порвали с прошлым. Мы покончили с прежним способом мыслить, чувствовать, приспосабливаться. Мы подготовили почву для совершенно нового общества, к которому теперь стремительно приближаемся. В этом — вся суть жизни 800-го поколения. И именно это заставляет нас задуматься о пределах возможности человека к приспособлению. Как будет ему житься в новом обществе? Сможет ли он приспособиться к требованиям этого общества? А если не сможет, то удастся ли ему изменить эти требования?

Эскалация ускорения

Среди историков и археологов, социологов и экономистов, психологов и представителей других научных дисциплин крепнет убежденность в том, что многие социальные процессы ускоряются, притом стремительно, с головокружительной быстротой.

Возьмем, к примеру, процесс образования городов. Сейчас на наших глазах происходит самая широкая и быстрая урбанизация в истории мира. В 1850 году всего лишь четыре города на земле насчитывали миллион или более жителей. К 1900 году число таких городов возросло до девятнадцати. Но уже к 1960 году насчитывается 141 город с миллионом и более жителей. Количество горожан во всем мире возрастает ежегодно на 6,5 процента. Это означает, что через каких-нибудь одиннадцать лет численность городского населения на земле удвоится.

Для того чтобы лучше представить себе колоссальные масштабы этой перемены, попробуем вообразить, что произошло бы, если бы все существующие города, перестав разрастаться, сохранили свои нынешние размеры. Случись это, нам пришлось бы, для того чтобы обеспечить жильем все новые миллионы городских жителей, построить город-двойник для каждого из многих сотен городов, усеивающих земную поверхность. Новый Токио, новый Гамбург, новые Рим и Рангун — и все это за одиннадцать лет!

Та же тенденция к ускорению бросается в глаза и в области потребления человеком энергии. Примерно половина всей энергии, потребленной человечеством на протяжении последних 2000 лет, приходится на нынешнее столетие.

Столь же очевидно и ускорение темпов экономического роста стран, стремительно двигающихся к супериндустриализму. Ежегодный прирост производства в этих странах поистине огромен, — и это несмотря на тот факт, что они уже обладают значительной промышленной базой! Более того, возрастают сами темпы роста. Во Франции, например, за 29 лет между 1910 годом и началом второй мировой войны объем промышленного производства увеличился всего лишь на 5 процентов. Зато в период с 1948 по 1965 год, за каких-нибудь 17 лет, он возрос примерно на 220 процентов. Ныне темпы экономического роста порядка 5—10 процентов представляют собой обычное явление для большинства промышленно развитых стран.

Общий объем производства товаров и услуг в этих странах удваивается примерно каждые 15 лет, причем срок следующего удвоения сокращается. Вообще говоря, это значит, что подростка в таком обществе окружает в буквальном смысле слова вдвое больше недавно изготовленных человеком предметов потребления, чем их было у его родителей к моменту его рождения. Это значит, далее, что когда сегодняшнему подростку исполнится тридцать, а возможно и раньше, произойдет новое удвоение. Если он доживет до 75 лет, на протяжении его жизни объем производства удвоится, быть может, пять раз. А из этого следует, что когда наш подросток достигнет старости, в распоряжении человека окажется в 32 раза больше различных материальных благ, чем в момент его появления на свет.

Все эти поразительные экономические факты вызваны к жизни огромной грохочущей машиной перемен, имя которой — технический прогресс.

Наглядным примером технического прогресса в действии может послужить нарастание скорости, с которой человек путешествует. За 6000 лет до нашей эры самым быстрым видом транспорта при путешествии на дальние расстояния был караван верблюдов, передвигавшийся со средней скоростью 8 миль в час. Только примерно к 1600 году до нашей эры, после изобретения колесницы, максимальную скорость путешествия удалось увеличить приблизительно до 20 миль в час. Это изобретение оказалось настолько радикальным, настолько трудно оказалось превзойти этот предел скорости, что по прошествии трех с половиной тысячелетий, в 1784 году, когда в Англии стали курсировать первые почтовые кареты, их средняя скорость не превышала 10 миль в час. Появившийся в 1825 году первый паровоз развивал максимальную скорость всего лишь 13 миль в час, а лучшие парусные суда того времени плавали почти вдвое медленней. Только в 80-е годы прошлого века человеку удалось, благодаря усовершенствованию конструкции паровоза, развить скорость до 100 миль в час. Для установления этого рекорда роду людскому потребовались миллионы лет. Однако ему потребовалось всего лишь 58 лет для того, чтобы увеличить этот рекорд в четыре раза: к 1938 году люди путешествовали по воздуху со скоростью 400 миль в час. Через каких-нибудь 25 лет этот новый рекорд был удвоен. А к концу 60-х годов самолеты с реактивным двигателем вплотную приблизились к скорости 4 000 миль в час, тогда как космо-

навты в космических кораблях облетают землю на скорости 18 000 миль в час.

Если изобразить это возрастание скорости графически, то прогресс, достигнутый при жизни теперешнего поколения, выразится в виде кривой, круто взмывающей вверх. И к какой бы аналогичной серии показателей мы ни обратились, будь то дальность путешествий, покорение высоты, добыча полезных ископаемых и т. д.,— всюду с наглядностью проявляется та же тенденция к ускорению: проходят тысячелетия за тысячелетиями, и вот в наше с вами время — внезапный выход за все мыслимые пределы, фантастический скачок вперед.

Объясняется это тем, что развитие техники происходит лавинообразно. В известном смысле каждая новая машина, каждый новый технологический процесс изменяет все существующие машины и технические процессы, позволяя нам соединять их в новых комбинациях. Более того, каждая такая новая комбинация сама может рассматриваться в качестве новой супермашины.

Необходимо к тому же отдавать себе отчет в том, что технический прогресс не сводится к простому комбинированию машин и технических процессов. Появление принципиально новых машин не только подсказывает идеи изменения других машин — оно также подсказывает новые решения социальных, философских и даже личных проблем. Оно изменяет саму интеллектуальную среду, атмосферу человека — его образ мышления, его взгляд на мир. Так, изобретение и распространение электронно-вычислительных машин стимулировало великое множество новых идей о человеке как взаимодействующей части более крупных систем, о его психологии, о том, как он обучается, запоминает, принимает решения. Это породило целую волну интересных гипотез фактически во всех интеллектуальных дисциплинах, начиная с правоведения и кончая психологией семьи.

Однако если технический прогресс подобен огромной машине, мощному акселератору, то топливом для этой машины следует считать знание. И тут мы подходим к самой сердцевине проблемы эскалации ускорения в обществе: машина технического прогресса с каждым днем потребляет все больше и больше высококачественного топлива. Достаточно, например, заметить, что количество научных журналов и научных статей удваивается каждые пятнадцать лет, а ежегодный прирост научно-технической литературы в мире составляет около 60 000 000 страниц.

Нарастание ускорения — одно из самых существенных и наименее изученных социальных явлений. Но это еще только половина дела. Ускорение темпа перемен является также и психологическим фактором, нарушающим наше душевное равновесие, изменяющим само наше восприятие жизни. Ускорение внешнее преобразуется в ускорение внутреннее. Для того чтобы выжить и избежать шока от столкновения с будущим, человек должен стать несравненно более приспособляемым и пластичным, чем когда бы то ни было раньше. Ему предстоит изыскать совершенно новые способы сохранения жизненной устойчивости, потому что прежние его устои — религиозные, национальные, общинные, семейные и профессиональные — трещат ныне под ураганным напором ускоряющегося темпа перемен.

Ритм жизни

Не будет преувеличением сказать, что темп жизни проводит незримую границу через все человечество, порождая горькое непонимание между родителями и детьми, между Мэдисон-авеню и Мейн-стрит, между мужчинами и женщинами, между американцами и европейцами, между экономически развитыми и развивающимися странами. Жителей земли разделяют не только расовые, национальные, религиозные или идеологические различия, но в известном смысле также и их положение во времени. Присмотримся к жизненному укладу обитателей земного шара. Небольшая группа людей по сей день живет охотой и собиранием плодов, как жили их предки тысячи лет тому назад. Другие — они составляют значительное большинство человечества — кормятся не охотой на медведей и не сбором ягод, а земледелием Живут они во многом так же, как жили их предки столетия назад. К обеим этим группам принадлежит примерно 70 процентов всех живущих ныне людей. Эти люди все еще живут в технологическом прошлом. Немногим более 25 процентов населения земного шара живет в промышленно развитых странах. Эти люди ведут современный образ жизни — порождение первой половины двадцатого века, сформированное механизацией и массовым образованием. У них сохранились лишь кое-какие воспоминания об аграрном прошлом своей родины. По сути дела это люди технологического настоящего.

Однако остающиеся два-три процента мирового населения не принадлежат ни к прошлому, ни к настоящему. Про них уже сейчас можно сказать, что они живут сегодня так, как завтра будут жить миллионы и миллионы. Это первые граждане нарождающегося супериндустриального общества.

Что же отличает их от остального человечества? Разумеется, их уровень жизни выше, они лучше образованны, более мобильны, чем большинство людей. И продолжительность жизни у них больше. Но специфическое их отличие состоит в том, что они уже включились в новый, ускоренный темп жизни. Они «живут быстрее», чем окружающие.

Кое-кого этот бешеный темп жизни притягивает как магнит. Но если одним он при-

ходится по вкусу, то другие испытывают к нему острое отвращение и готовы идти на все, чтобы, как они выражаются, «слезть с этой карусели». Они предпочитают порвать с гонкой и жить в своем собственном ритме. Отнюдь не случаен тот колоссальный успех, с которым прошла несколько сезонов тому назад на подмостках Лондона и Нью-Йорка музыкальная комедия под многозначительным названием «Остановите мир — я хочу сойти». Порой люди активно выступают против перемен в темпе жизни. Многие конфликты, не находящие иного объяснения,— между поколениями, отцами и детьми, между мужьями и женами — оказываются следствием различной реакции на ускорение темпа жизни. Появление в Париже драгсторз — аптек американского образца — приводит многих французов в ярость, как наглядное свидетельство зловещего «культурного империализма» Соединенных Штатов. Американцы недоумевают: почему вполне безобидная стойка для продажи содовой вызвала столь бурную реакцию? А факт объясняется просто: в аптеке-драгстор почувствовавший жажду француз проглатывает на ходу молочный коктейль, вместо того чтобы просидеть часок-другой за рюмкой аперитива в бистро на открытом воздухе. К слову сказать, с распространением за последние годы новой технологии 30 000 бистро навсегда закрыли свои двери.

Ускорение темпов жизни порождает ощущение эфемерности. Эфемерность — это новое качество «скоротечности» повседневной жизни, ощущение мимолетности и непостоянства всего, сегодня более глубокое и острое, чем когда бы то ни было раньше.

ЭФЕМЕРНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Общество «выбрасывателей»

Барби, тридцатисантиметровая синтетическая девочка-подросток,— это, пожалуй, самая популярная кукла в истории, пользующаяся огромным спросом. С 1959 года, когда игрушка появилась на свет, численность кукол Барби на земле возросла до 12 миллионов штук. Девочки души не чают в Барби, потому что она совсем как живая и может менять туалеты. Фирма «Маттел инкорпорейтед», изготовляющая Барби, продает для нее полный гардероб: домашние платья, праздничные наряды, купальник, лыжный костюм. Недавно «Маттел» объявила о выпуске усовершенствованной модели Барби. У новой Барби стройная фигура, «настоящие» ресницы и гибкая талия, придающие ей еще большее сходство с живой девочкой. Кроме того, «Маттел» объявила, что отныне юная особа, желающая приобрести новую Барби, может купить ее со скидкой в обмен на свою прежнюю Барби.

За этим объявлением фирмы «Маттель» кроется многое. Обменивая свою старую куклу на усовершенствованную модель, сегодняшняя девчурка, которая станет завтра гражданкой супериндустриального мира, усваивает главный урок жизни в новом обществе: человека связывают с вещами все более кратковременные отношения. А ведь вещи имеют для нас не только утилитарное значение — они оказывают и психологическое воздействие. Сокращение сроков отношений с вещами еще более ускоряет темп нашей жизни.

Кроме того, в нашем отношении к вещам получает отзвук вообще наша система ценностей. Как разительно отличается новое поколение девочек, с радостью обменивающих своих прежних Барби на новых — усовершенствованных,— от их матерей и бабушек, которые не расставались со своей любимой куклой, пока та не разваливалась от старости. В этом различии как в капле воды отразился контраст между прошлым и будущим; контраст между обществами, основывающимися на постоянстве, и новым, быстро формирующимся обществом, которое исходит из идеи недолговечности.

Девочка, обменивающая свою Барби на новую, с младенческих лет видит, что у нее дома вещи подолгу не задерживаются. Пеленки, нагрудники, бумажные салфетки, полотенца, бутылки из-под содовой — все это быстро используется и выбрасывается. Ее дом подобен большой перерабатывающей машине, через которую проходят различные предметы, появляясь и исчезая со все большей и большей быстротой. С момента рождения ей прививается культура «выбрасывания».

Сдвиг в сторону недолговечности затронул даже архитектуру. Мы сносим строения, придававшие местности привычный силуэт. Мы сравниваем с землей целые улицы и города и с головокружительной быстротой строим на их месте новые.

В прошлом идеалом были прочность, долговечность. Что бы ни создавал человек, пару ботинок или собор, он направлял всю свою творческую энергию на то, чтобы дело его рук служило максимально долгий срок.

Однако с ускорением темпа перемен в обществе на смену экономике прочности с неизбежностью приходит экономика недолговечности. Во-первых, по мере технического развития стоимость производства снижается несравненно быстрее, чем стоимость ремонтных работ. Ведь производство автоматизируется, тогда как ремонт по большей части остается ручной операцией. Во многих случаях дешевле заменить вещь новой, чем ремонтировать ее. Во-вторых, благодаря техническому развитию изделие можно с течением времени все более совершенствовать. Компьютер второго поколения лучше компьютера первого поколения, а компьютеры третьего поколения лучше компьюте-

ров второго. Поскольку предвидится дальнейший технический прогресс — появление все новых и новых усовершенствований через все более короткие промежутки времени,— сплошь и рядом есть прямой экономический смысл изготавливать продукцию, рассчитанную на кратковременное использование. В-третьих, ускорение темпа перемен и проникновение перемен во все более отдаленные уголки общества порождают неуверенность относительно будущих потребностей. Отдавая себе отчет в неизбежности перемен, но не зная, какие именно требования они к нам предъявят, мы не решаемся направлять крупные средства на создание неизменных видов продукции, призванных служить одним и тем же целям. Вот почему в дальнейшем следует ожидать все более широкого применения принципа «использовал — выбросил», все большего сокращения срока отношений между человеком и вещами.

И еще одно новое обстоятельство в корне изменяет связи человека с вещами — переворот в сфере проката. Распространение системы проката, ставшее характерной чертой обществ, устремляющихся навстречу супериндустриализму, тесно переплетается со всеми описанными выше тенденциями, так как система проката тоже способствует утверждению принципов недолговечности.

Возьмем, к примеру, прокат автомобилей. Сегодня миллионы автомобилистов в Соединенных Штатах время от времени берут напрокат автомашины на периоды от нескольких часов до нескольких месяцев. Многие жители больших городов, особенно Нью-Йорка, где проблема стоянки превратилась в настоящий кошмар, предпочитают не связывать себя собственной машиной, а брать автомобиль напрокат для загородных поездок в выходные дни или даже для поездок внутри города, когда они удобней, чем поездки на общественном транспорте. Ныне вы можете с минимумом формальностей взять напрокат автомобиль почти в любом аэропорту, на любом вокзале, в любом отеле Соединенных Штатов.

Параллельно расширению бизнеса проката автомобилей в Соединенных Штатах получает все большее распространение новый тип универсального магазина, в котором ничего нельзя купить, зато все что угодно можно взять напрокат. В настоящее время в США насчитывается около 9 тысяч таких магазинов с общей ежегодной выручкой порядка миллиарда долларов, причем половина этих магазинов открылась за последние пять лет. Нет такой вещи, которую нельзя было бы теперь взять напрокат. Можно арендовать лестницы и газонокосилки, норковые шубки и оригиналы картин известных художников. В Лос-Анджелесе прокатные фирмы сдают внаем желающим временно украсить свой участок живые кусты и деревья. Американцы берут напрокат платье, костыли, драгоценности, телевизоры, туристское снаряжение, установки для кондиционирования воздуха, кресла для инвалидов, постельное белье, лыжи, магнитофоны и столовое серебро. Один мужской клуб взял напрокат — для демонстрации — человеческий скелет, а на страницах «Уолл-стрит джорнел» можно встретить рекламное объявление: «Возьмите напрокат корову».

Система проката еще больше сокращает продолжительность связей человека с используемыми им вещами. Мы вступаем в эпоху временных изделий, изготовленных временными методами для удовлетворения временных потребностей. Происходит неизбежная эфемеризация отношений человека с вещами.

Новое племя кочевников

Никогда в истории расстояния не значили еще так мало. Никогда еще отношения человека с местами, где он живет, не были так непрочны и непостоянны. Для жителей развитых стран привычка к переездам, путешествиям, регулярным переменам местожительства семьи стала второй натурой. Фигурально выражаясь, мы «используем» места проживания и «выбрасываем» их, подобно тому как мы выбрасываем бумажные салфетки и консервные банки. На наших глазах происходит исторический процесс ослабления роли, которую играет в жизни человека привязанность к определенному месту.

С марта 1967 года по март 1968 года — за один-единственный год — свое местожительство сменили 36 600 000 американцев, не считая детей до одного года. Начиная с 1948 года ежегодно каждый пятый американец менял свой адрес: забирал семью, кое-какие пожитки и, переехав, начинал жизнь заново на новом месте. Даже великие исторические миграции, в том числе нашествие монгольских орд и массовое переселение европейцев на Запад в девятнадцатом столетии, представляются совсем крохотными по сравнению с этими цифрами.

Вековые связи человека с родными местами начинают ослабевать не только в Америке, но также и в развитых странах с более прочными традициями. Европу захлестнула небывалая после второй мировой войны волна массовой международной миграции. Тысячи жителей Алжира, Испании, Португалии, Турции ринулись искать счастья в экономически развитые страны Северной Европы, нуждающиеся в рабочей силе. Каждую пятницу 1000 турецких рабочих садится в Стамбуле на поезд, идущий на север — в «обетованные земли». Многие из них избирают конечным пунктом своего путешествия похожий на пещеру вокзал Мюнхена. В Мюнхене уже издается местная газета на турецком языке. Не так давно в ресторане одного старинного английского городка меня с женой обслуживали официанты-испанцы, а в Стокгольме мы забрели в ресторан, который посещают главным образом испанские переселенцы — любители цыганской музыки за обедом.

Но если в Европе новоявленная мобильность объясняется продолжающимся оттоком рабочей силы из сельского хозяйства в промышленность — так сказать, из прошлого в настоящее,— то в Соединенных Штатах постоянное перераспределение населения обусловлено распространением автоматизации, изживанием старых профессий и появлением новых — новый образ жизни связан с характером супериндустриального общества.

Итак, ослабление уз, связывающих человека с определенным местом, идентично ослаблению его связей с вещами. В обоих случаях человек вынужден все быстрее устанавливать и разрывать свои связи, в обоих случаях возрастает степень недолговечности, в обоих случаях происходит ускорение темпа жизни.

Легко заменяемый человек

С приближением к супериндустриализму отношения людей друг с другом приобретают все более временный, непостоянный характер. Люди, так же как вещи и места, проходят через нашу жизнь, не задерживаясь, во все убыстряющемся темпе. Чаще всего мы вступаем с окружающими нас людьми в поверхностные, деловые отношения. Сознательно или нет, мы строим наши отношения с большинством людей на функциональной основе. Пока мы не вникаем в домашние дела какого-нибудь продавца обуви, ни в его надежды, мечты и огорчения более широкого плана, он, с нашей точки зрения, полностью взаимозаменяем с любым другим продавцом такой же квалификации. В сущности, мы распространяем принцип «использовал — выбросил» на человека.

Средняя продолжительность отношений с другими людьми становится ныне все короче и короче. Дальнейшая урбанизация — лишь одна из целого ряда сил, толкающих нас в сторону «эфемеризации» наших отношений друг с другом. Другой такой силой является возрастающая географическая мобильность, которая ускоряет не только проносящийся через нашу жизнь поток мест, но также и поток людей.

В своей блестящей статье «Дружба в будущем» психолог Кортни Толл пишет: «Устойчивость, основывающаяся на близких отношениях с немногими людьми, окажется неэффективной... Дальнейшее увеличение мобильности и развитие способности быстро завязывать, а затем так же быстро обрывать или низводить до уровня знакомства близкую дружбу приведут к тому, что в будущем каждый данный индивидуум станет завязывать вместо нескольких долголетних дружеских связей, характерных для прошлого, множество более кратковременных дружб».

Продолжительность отношений людей друг с другом укорачивается также и вследствие воздействия новой технологии на их занятия. Количество связей между людьми резко возрастает, а их длительность резко сокращается ввиду того, что люди все чаще меняют работу. А сознание того, что никакая работа не бывает по-настоящему постоянной, придает складывающимся на работе отношениям условный, функциональный, временный характер.

Динамический образ

Страны, приближающиеся к супериндустриализму, резко повышают производство «психо-экономической» продукции. Знаменитости-однодневки, эти образы-бомбы, мгновенно запечатлеваются в сознании.

Меньше чем через год после того, как девушка-подросток из лондонских низов по прозвищу Твигги пошла работать манекенщицей, ее зрительный образ врезался в сознание миллионов людей на всем земном шаре. Блондинка с влажными глазами, ногами-палочками и лишь намеком на грудь, Твигги стала знаменитостью 1967 года. Ее милое личико и худенькая фигурка внезапно появились на обложках журналов Англии, Америки, Франции, Италии и других стран. Газеты отводили ей столько же места, сколько обычно отводится подписанию мирного договора или выборам папы. А сейчас образ Твигги уже почти стерся из нашей памяти.

Недавно я спросил одну умную, серьезную ученицу, есть ли у нее и у ее школьных подружек какие-нибудь герои, ну, скажем, Джон Гленн (напомню читателю, что это первый американский космонавт, облетевший вокруг Земли). «Нет,— ответила школьница,— он слишком старый». Сначала я подумал, что она считает человека сорока с лишним лет слишком старым, для того чтобы быть героем. Но, как выяснилось, я ошибся. Она имела в виду, что полет Гленна (февраль 1962 года) был совершен слишком давно, чтобы представлять интерес. Гленн больше не находится в центре внимания, и его образ померк.

Твигги, битлы, Джон Гленн, Джек Руби, Норман Мейлер, Эйхман, Жан-Поль Сартр, Жаклин Кеннеди — тысячи «известных личностей» появляются на подмостках современной истории. Реальные люди, многократно увеличенные и спроецированные в наше сознание средствами массовой информации, они внедряются в виде живых образов в мозг миллионов людей, никогда не встречавшихся с ними, никогда с ними не говоривших и не видевших их в лицо. Они приобретают для нас почти такую же (а иногда и бóльшую) реальность, как многие из тех, кого мы знаем лично. Мы вступаем с этими «заместителями» в определенные отношения, точь-в-точь так же, как мы вступаем в отношения с друзьями, соседями, коллегами. И подобно тому, как все увеличивается количество проходящих через нашу жизнь реальных, лично знакомых нам людей и все укорачивается средняя продолжительность наших отношений с ними, растет количество и сокращается длительность наших связей с населяющими наше сознание «заместителями». То же самое можно сказать и о вымышленных персонажах, чьи образы проникают в наше сознание со

страниц книг и журналов, с театральной сцены, с теле- и киноэкранов.

Все эти «люди-заместители», реальные и вымышленные, занимают важное место в нашей жизни, служат для нас образцами поведения, разыгрывают для нас различные роли и ситуации, позволяя нам делать из этого выводы для нашей собственной жизни. Хотим мы того или нет, мы извлекаем из их поступков уроки жизни. Мы учимся на их удачах и ошибках. Они дают нам возможность «примерить» различные роли или жизненные стили, избежав неприятных последствий, к которым могли бы привести подобные эксперименты в реальной жизни. Все ускоряющееся течение через сознание потока «людей-заместителей» у многих реальных людей, которым не удается найти подходящий для себя стиль жизни, приводит к неустойчивости склада индивидуальности, характера, психики.

Все сказанное выше можно подытожить в более обобщенной форме. Имеет место не просто коловращение реальных людей и даже вымышленных персонажей, но все ускоряющееся обращение в нашем мозгу образов и структур образов. Наши отношения с этими образами действительности, на которых мы основываем свое поведение, становятся, как правило, все более и более эфемерными. Вся система знания в обществе претерпевает бурные изменения. С бешеной и все убыстряющейся скоростью сменяют друг друга даже привычные понятия и коды нашего мышления. Мы все ускоряем темп, в котором должны формировать и предавать забвению наши представления о действительности.

Ныне перемены совершаются в технически развитых обществах с такой неумолимой быстротой, что вчерашние истины становятся сегодня домыслами, самые высококвалифицированные и интеллектуальные члены общества признаются в том, что им все труднее поспевать за потоком новой информации — даже в чрезвычайно узких областях. Новое знание либо расширяет старое, либо делает его устаревшим. И в том, и в другом случае тем, кого это касается, приходится перестраивать свои представления. Они вынуждены бывают переучивать сегодня то, что вчера они считали непреложной истиной. Главный специалист Федеральной комиссии вещания для учащейся молодежи доктор Роберт Хильярд приводит такой подсчет: «При нынешних темпах объем информации к моменту, когда ребенок, родившийся сегодня, окончит колледж, возрастет четырехкратно, а когда этому ребенку исполнится пятьдесят лет, увеличится в 32 раза и 97 процентов всех человеческих знаний будет получено уже после его рождения».

Во всех областях — образовании, политике, экономической теории, медицине, международных отношениях — волны новых образов и представлений, преодолевая наши психологические заслоны, проникают нам в сознание и опрокидывают наши мысленные модели действительности. Результатом этой бомбардировки образами является ускоренное отмирание старых представлений, убыстрение интеллектуальной переработки понятий и появление острого ощущения непостоянства самого знания.

Радио, телевидение, газеты, журналы и книги с возрастающей силой обрушивают на наши чувства целое море закодированной информации. Стремясь передавать все более насыщенную образами информацию со все большей скоростью, журналисты, работники радио и телевидения, специалисты по рекламе, артисты и т. д. и т. п. сознательно заставляют каждую строку, каждую секунду вещания нести максимальную информационную и эмоциональную нагрузку. Тем же самым стремлением ускорить поток информации объясняется распространившееся недавно увлечение широкоформатным и многоэкранным кино.

Даже музыка испытывает на себе все больший напор нарастающих темпов передачи информации. Имеются данные о том, что музыканты исполняют сегодня произведения Моцарта, Баха и Гайдна в ускоренном темпе по сравнению с тем, как исполнялись эти же произведения в эпоху их создания. Мы заставляем Моцарта звучать быстрее.

В живописи свидетельства эфемеризации носят еще более ярко выраженный характер. В старину коренные изменения живописного стиля редко совершались на протяжении жизни одного поколения. Длительность существования того или иного стиля, той или иной школы измерялась несколькими поколениями. Теперь же от мелькания стилей и школ живописи рябит в глазах. Едва успеешь заметить развивающуюся школу и понять ее язык, как она уже исчезает.

Импрессионизм, появившийся на сцене в последней четверти девятнадцатого века, был первой ласточкой, возвестившей о надвигающейся череде сокрушительных перемен. Если мы грубо датируем период расцвета импрессионизма 1875—1910 годами, получится, что он господствовал в живописи примерно тридцать пять лет. С тех пор ни одна школа, ни один стиль, от футуризма до фовизма, от кубизма до сюрреализма, не смогли продержаться хотя бы столько же. Один стиль приходит на смену другому. Самая долговечная в двадцатом веке школа, абстрактный экспрессионизм, господствовала максимум двадцать лет, с 1940 по 1960 год, после чего началась настоящая чехарда: «поп», просуществовавший лет пять; «оп», сумевший привлечь внимание публики года на два-три; наконец, «кинетическое искусство», самым смыслом существования которого является недолговечность.

Потрясающие все общество перемены расширяют пропасть между нашими представлениями и реальной действительностью, между существующими в нашем сознании образами и тем, что они, как предполагается, должны отражать. Для того чтобы не дать этой пропасти разверзнуться слишком

широко мы изо всех сил стараемся обновлять наши представления, поддерживать их на уровне современных требований, переосмысливать действительность. Иначе говоря, стремительное ускорение темпов вокруг нас находит себе соответствие в убыстрении адаптационных функций личности. Наши механизмы по обработке образов, каковы бы они ни были, вынуждены оперировать на все больших и больших скоростях. Это само по себе предъявляет новые, повышенные требования к нашей нервной системе. Подобно тому, как нам приходится все в более быстром темпе устанавливать и разрывать наши отношения с вещами, местами, людьми и организациями, мы вынуждены за все более короткие промежутки времени перерабатывать и заменять наши представления о действительности, наши мысленные образы мира. Оказывается, идея быстротечности — насильственного укорачивания отношений человека — характерна не только для внешнего мира. Она уже поселилась в нашем сознании.

НОВИЗНА

Мы создаем новое общество. Не измененное общество. Не расширенный и укрупненный вариант нашего нынешнего общества. Нет, новое общество.

Преобразования потрясают сегодня институты и системы управления в технически высокоразвитых странах. Студенты в Берлине и Нью-Йорке, Турине и Токио берут в плен своих деканов и ректоров, останавливают огромные фабрики образования и даже грозят свергнуть правительства. Полицейские, сложа руки, наблюдают, как в гетто Нью-Йорка, Вашингтона и Чикаго открыто нарушаются древние законы, охраняющие собственность. Опрокидываются нормы отношений между полами. Забастовки, аварии энергосети, беспорядки парализуют жизнь больших городов.

У нас на глазах одновременно совершаются и волнения молодежи, и сексуальная «революция», и расовые бунты, и революции в колониях, и экономические преобразования, и самая стремительная и глубокая техническая революция в истории. Мы переживаем общий кризис индустриализма. Короче говоря, мы находимся в самом разгаре супериндустриальных потрясений.

Революция подразумевает новизну. Она врывается в жизнь бессчетных людей потоком новшеств, сталкивая их с незнакомыми институтами и непривычными ситуациями. Грядущие великие перемены затронут сокровенные глубины нашей личной жизни, трансформируют традиционные семейные структуры и сексуальные установки. Они в корне изменят привычные отношения между взрослыми и молодежью. Они опрокинут нашу систему ценностей, включая идею богатства и успеха. Они до неузнаваемости преобразят работу, досуг и образование. И совершат они все это в рамках захватывающе эффектного, элегантного, но вместе с тем устрашающего научного прогресса.

Итак, если первый ключ к пониманию нового общества — это идея быстротечности, эфемерности, то вторым таким ключом является новизна. Будущее предстанет перед нами как нескончаемая вереница диковинных происшествий, сенсационных открытий, невероятных конфликтов и сногсшибательных новых дилемм.

Супериндустриальная революция сможет покончить с голодом, болезнями, невежеством и жестокостью. Более того, несмотря на пессимистические пророчества узколобых доктринеров, супериндустриализм не втиснет человека в узкие рамки, не обречет его на унылое и мучительное единообразие. Наоборот, он откроет новые возможности для развития личности, для наполнения жизни радостями и приключениями. Он предстанет в многообразии ярких красок, в удивительном богатстве перспектив для расцвета индивидуальности. Проблема заключается вовсе не в том, сможет ли человек выжить в условиях регламентации и стандартизации. Проблема, как мы увидим, заключается в другом: сможет ли человек выжить в условиях свободы.

Дело в том, что человеку по-настоящему не приходилось еще жить в атмосфере, насквозь пронизанной новизной. Ведь одно дело жить в ускоряющемся темпе при более или менее знакомых жизненных ситуациях, и совсем другое — испытывать постоянное ускорение темпов жизни перед лицом незнакомых, странных и небывалых ситуаций. Выпустив на свободу силы новизны, мы толкаем людей в объятия необычного, непредсказуемого. Тем самым мы поднимаем проблемы адаптации на новый и опасный уровень. Ибо недолговечность и новизна образуют взрывчатую смесь.

В ближайшие десятилетия научно-технические достижения, стартующие одно за другим подобно серии ракет, стремительно вырвут нас из прошлого и поместят в глубины нового общества. Человеку, желающему идти в ногу со своим временем, стать составной частью будущего, супериндустриальная революция сулит непрекращающийся поток перемен. Она не предлагает возвращение к знакомому прошлому. Она предлагает лишь крайне взрывчатую смесь эфемерности с новизной.

Фабриканты ощущений

Когда было обнаружено, что по достижении определенной стадии промышленного развития технически передовое общество начинает переключать свою энергию из сферы производства товаров в сферу обслуживания, это открытие вызвало большой ажиотаж. Многие специалисты предсказывают, что будущее — за обслуживанием. Однако они забывают при этом задать себе очевидный вопрос: а что после обслуживания? Чем займется экономика дальше?

Ажиотаж, поднятый вокруг бурного разрастания сектора обслуживания, отвлек внимание экономистов от другого сдвига, который глубоко затронет в будущем и сферу производства товаров, и сферу производства услуг. Этот сдвиг приведет к следующему этапу развития экономики — к росту удивительного нового сектора, в основе которого будет лежать, если можно так выразиться, «индустрия ощущений». Ибо вслед за экономикой обслуживания грядет экономика психологизации всех видов продукции, начиная с промышленных изделий.

По мере роста доходов покупатели будут все меньше считаться с ценой и предъявлять все более высокие требования к качеству. Однако у все возрастающего количества товаров различия в качестве, как таковом, становятся практически незаметными. Неосведомленная покупательница не отличит сорт А от сорта Б, но тем не менее она будет с жаром доказывать, что один из них лучше другого. Этот парадокс легко объясняется, если принять в расчет психологический компонент производимой продукции. Ибо даже когда во всех других отношениях различные продукты идентичны, в психологическом отношении они могут заметно отличаться друг от друга. С удовлетворением основных материальных нужд потребителя все больше экономической энергии, как это можно с полным основанием предсказать, будет направляться на удовлетворение его более тонких, многообразных и сугубо личных потребностей в красоте, престиже, утверждении индивидуальности и чувственных удовольствиях. Психологический компонент производства товаров будет приобретать все большее значение.

Однако это явится лишь первым шагом в сторону психологизации экономики. Следующим шагом станет рост психологического компонента обслуживания. Некогда путешествие самолетом сводилось к простому перелету из одного места в другое. Потом авиакомпании вступили в конкуренцию друг с другом по части хорошеньких стюардесс, изысканных блюд, шикарного антуража и показываемых в полете кинофильмов. Недавно компания «TWA («Транс-уорлд эйрлайнз») пошла еще дальше, предложив своим пассажирам полеты «с иностранным акцентом». Отныне пассажир TWA может выбрать реактивный лайнер с французской кухней, французской музыкой, французскими журналами, кинофильмами и мини-юбками стюардесс. Он может выбрать воздушное путешествие на древнеримский манер — тогда стюардессы будут одеты в тоги. Он сможет остановить свой выбор на «фешенебельном особняке на крыше манхэттенского небоскреба». Или же он может отдать предпочтение полету в стиле «доброй старой Англии» со стюардессами, именуемыми «служаночками», и всей обстановкой, напоминающей английский кабачок. Яснее ясного, что TWA продает уже не просто услуги по транспортировке, как таковые, но также и тщательно продуманную психологическую упаковку. А не так давно английская авиалиния «Бритиш оверсиз эйруэйз корпорейшн» предвосхитила будущее, объявив о запланированной ею программе, в соответствии с которой каждый пассажир-американец, если он неженат, сможет встретиться в Лондоне с «выбранной научным способом» незнакомкой. Если же подобранная для него с помощью компьютера незнакомка не придет на свидание, ему подыщут другую. Эта программа, получившая наименование «Одинокие красавицы Лондона», была отменена, после того как разработавшую ее государственную авиакомпанию раскритиковали в парламенте. Несмотря на это, следует ожидать, что в дальнейшем будут предприниматься новые колоритные попытки облечь в психологическую упаковку многие виды обслуживания потребителей. Обслуживание, будь то продажа товаров в магазине, сервировка обеда в ресторане или какая-нибудь стрижка волос, далеко выйдя за рамки функциональной необходимости, превратится в заранее подготовленное предоставление новых ощущений.

Далее, мы станем свидетелями бурного развития целых отраслей промышленности, единственным видом продукции которых будут не товары и даже не услуги в обычном смысле слова, а заранее запрограммированные ощущения. Индустрия ощущений, возможно, станет одним из устоев супериндустриализма, самой основой экономики, которая придет на смену экономике обслуживания.

После того как рост изобилия и дальнейшая эфемеризация безжалостно подрубят под корень исконное стремление владеть собственностью, потребители начнут так же сознательно и страстно коллекционировать ощущения и впечатления, как они раньше собирали вещи. Ныне, как это видно из примера с авиакомпаниями, ощущения продаются в качестве приложения к более традиционным видам обслуживания. Сейчас ощущение — это что-то вроде глазури на торте. Однако по мере того, как мы станем продвигаться в будущее, начнет все больше расширяться торговля собственно ощущениями, как если бы это были вещи.

Проектирование новых товаров и процесс облечения их в заманчивую, яркую, эмоционально насыщенную психологическую «упаковку» потребуют от самых находчивых предпринимателей завтрашнего дня максимальной изобретательности.

Впрочем, развитие в этом направлении может затормозиться. Живущие в нищете массы населения во всем мире, возможно, не захотят безучастно наблюдать, как привилегированное меньшинство становится на путь психологического сибаритства. Есть что-то морально отвратительное в том, что одна категория людей стремится удовлетворить свои психологические прихоти, гоняясь за все новыми и диковинными удовольствиями, тогда как большинство человечества терпит лишения и голодает. Тех-

нически развитые общества могут отсрочить приход «экономики ощущений» и на какое-то время сохранить более привычную экономику, максимально расширив традиционное производство, переключив ресурсы на оздоровление окружающей среды и развернув затем широчайшие кампании по борьбе с нищетой и оказанию помощи нуждающимся странам.

Теперь мы должны перейти к рассмотрению третьей, главной характерной черты завтрашнего дня — разнообразия. Ибо не что иное как совпадающее действие трех факторов — эфемерности, новизны и разнообразия — подготавливает почву для исторического кризиса адаптации, которому посвящена эта книга и который я именую шоком от столкновения с будущим.

РАЗНООБРАЗИЕ

Избыток выбора

Многие авторы рисуют мрачную картину грядущего, в котором люди превратятся в нерассуждающих потребителей, окруженных со всех сторон стандартными товарами, обученных в школах стандартного образца, пробавляющихся стандартизованной массовой культурой и вынужденных вести стандартизованный образ жизни.

Подобные предсказания, как и следовало ожидать, породили целое поколение ненавистников будущего и технофобов. Тема утраты выбора красной нитью проходит через писания и высказывания французского религиозного мистика Жака Эллюля и Арнольда Тойнби, пророков хиппи и членов Верховного суда, редакторов бульварных газет и философов-экзистенциалистов. Эта теория исчезающего выбора, если сформулировать ее в простейшей форме, основывается на ложном силлогизме: наука и техника вызвали к жизни стандартизацию; научно-технический прогресс будет продолжаться, стандартизируя грядущее еще в большей степени, чем настоящее; следовательно, человек будет постепенно утрачивать свою свободу выбора.

Между тем, если мы вместо того чтобы слепо принимать этот силлогизм на веру, проанализируем его, то сделаем поразительное открытие. Как это ни парадоксально, люди будущего, вероятно, будут страдать не от отсутствия выбора, а от парализующего его избытка. Они, по всей вероятности, станут жертвами характерной для супериндустриализма дилеммы — чрезмерно богатого выбора.

Спору нет, индустриализм оказывает нивелирующее действие. Способность производить миллионы почти идентичных изделий стала отличительной особенностью индустриального века. Так что когда интеллектуалы горько сетуют на одинаковость наших материальных благ, они верно отражают положение дел в условиях индустриализма. И наряду с этим проявляют поразительную неосведомленность относительно подлинного характера супериндустриализма. Сосредоточив все внимание на том, каким общество было, они не замечают, каким оно быстро становится. Ибо общество будущего сулит нам вовсе не ограниченный ассортимент стандартных товаров, а самое большое разнообразие нестандартизованных товаров и услуг в истории человечества. Мы идем не к дальнейшему расширению материальной стандартизации, а к диалектическому ее отрицанию. Этой тенденции содействуют два экономических фактора: во-первых, у потребителей появляется больше денег для удовлетворения своих сугубо индивидуальных запросов и, во-вторых (и это еще более важно), с усложнением технологии снижаются издержки, связанные с выпуском различных вариантов основной продукции. Стандартизацию порождает только лишь примитивная технология, автоматизация же, напротив, широко раскрывает двери для бесконечного, поистине ошеломляющего разнообразия. Так, уже сейчас Форд выпускает красивый и пользующийся хорошим сбытом автомобиль «мустанг», который рекламируется как «машина, спроектированная Вами самими», поскольку покупателю предоставляется самому выбрать комбинацию из многочисленных вариантов основных частей машины (корпус, двигатель, трансмиссии и т. д.), не говоря уж об окраске, обивке и прочих мелочах. Сама множественность возможных выборов приводит во все большее замешательство как покупателей, так и продавцов автомобилей. Не к стандартизации, а к «избытку выбора» стремительно приближаемся мы — к такому положению, при котором преимущества разнообразия и индивидуализации сводятся на нет сложностью, связанной для покупателя с необходимостью принять решение.

Некоторые утверждают, что разнообразие материальной среды не имеет никакого значения, раз все мы катимся к культурной и духовной стандартизации. Однако на самом деле происходит как раз обратное: мы быстро движемся в направлении фрагментации и диверсификации не только в сфере материального производства, но также в искусстве, образовании и массовой культуре.

Весьма наглядным показателем степени разнообразия культуры в любом образованном обществе служит количество названий издаваемых книг, приходящееся на миллион жителей. Опубликованное ЮНЕСКО исследование тенденций в области книгоиздательства во всем мире красноречиво свидетельствует о происходящем в международном масштабе мощном сдвиге в сторону дестандартизации культуры.

Тенденция к разнообразию лежит у истоков ожесточенного конфликта в области образования. Далеко не случайность, что волна бунтарских выступлений прокатилась по студенческим городкам колледжей и университетов как раз в тот момент, когда потребитель стал требовать и добиваться

большего разнообразия, а новая технология обещает покончить со стандартизацией. События в студенческих городках и события на потребительском рынке тесно связаны между собой, хотя лишь немногие замечают эту связь. Задолго до наступления 2 000 года вся устаревшая структура степеней, дипломов, профилирующих дисциплин и зачетов пойдет на слом. Каждый учащийся будет получать образование по своей индивидуальной учебной программе. Ибо студенты, борющиеся ныне за дестандартизацию высшего образования, одержат победу.

Итак, мы видим, что образование, эта важнейшая культурная сила в обществе, вынуждено, вслед за экономикой, диверсифицировать свою продукцию. И в области образования тоже, точь-в-точь так же как в сфере материального производства, новая технология не только не порождает стандартизацию, но, наоборот, прямым путем ведет нас к супериндустриальному разнообразию. Так, например, компьютеры помогают крупному учебному заведению более гибко строить расписание занятий, легче справляться с проблемами самостоятельной учебы, расширяющегося выбора учебных курсов, растущего многообразия внепрограммной деятельности. Но что еще важнее, обучение с помощью компьютеров, программируемое преподавание и прочая аналогичная методика, вопреки распространенным ошибочным представлениям, радикальным образом расширяет возможности внесения разнообразия в классные занятия. На протяжении ближайшего тридцатилетия системы образования в Соединенных Штатах и ряде западноевропейских стран решительно порвут с характерной для прошлого «педагогикой массового производства» и вступят в эру учебного разнообразия, основанного на освобождающей силе новых машин. Следовательно, и в сфере образования общество неудержимо движется прочь от стандартизации.

Пожалуй, наиболее настойчивые и яростные обвинения в нивелировке сознания современного человека выдвигались по адресу средств массовой информации. Однако почти во всех этих средствах информации, за исключением телевидения, заметна тенденция все меньше ориентироваться на массовую аудиторию. Повсюду идет процесс «сегментации рынка».

Еще лет тридцать тому назад американские кинозрители смотрели почти одни только голливудские фильмы, рассчитанные на так называемого массового зрителя. Теперь же по всей стране на смену этим картинам для широкой публики приходят иностранные кинофильмы, фильмы об искусстве и многочисленные специализированные картины, рассчитанные на любителей.

В радиовещании тоже появились некоторые признаки дифференциации. Одни американские радиостанции передают только классическую музыку для высокообразованных слушателей, другие специализируются на последних известиях, третьи — на джазе (причем в этом последнем случае быстро происходит дальнейшее подразделение на еще более мелкие категории: джаз для подростков, джаз для молодежи постарше, джаз для негров).

Конкуренция телевидения привела к гибели целого ряда крупнейших американских журналов, таких как «Кольерс» и «Вуменз хоум компэнион». Уцелевшие массовые журналы сумели выдержать конкуренцию отчасти благодаря тому, что превратились в собрания региональных и сегментированных изданий. С 1959 по 1969 год число американских журналов, предлагающих специализированные издания, подскочило со 126 до 235. Так, каждый журнал в Соединенных Штатах, издающийся массовым тиражом, печатает ныне слегка отличающиеся друг от друга издания для различных районов страны — некоторые журналы предлагают до ста вариаций. Специальные издания адресуются также профессиональным и прочим группам. 80 000 врачей и дантистов, выписывающих «Тайм», получают каждую неделю номер журнала, несколько отличный от номера, который получают преподаватели, а их издание, в свою очередь, отличается от выпуска, адресуемого студентам. Далее, как грибы после дождя появляются все новые журналы. По данным Ассоциации журнальных издателей, на каждый журнал, прекративший свое существование в минувшем десятилетии, приходится примерно четыре новых. А совсем недавно мы стали свидетелями явления, которое еще несколько лет тому назад не осмелился бы предсказать ни один ученый специалист по «массовому обществу»,— возрождения местных ежемесячников. Вряд ли это можно считать признаком стирания различий. Скорее наоборот, ассортимент журналов у нас теперь куда богаче, а выбор много шире, чем когда бы то ни было раньше.

Притом процесс дифференциации средств информации не ограничивается только теми журналами и газетами, которые издаются на коммерческой основе. Множится число некоммерческих литературных журналов. «Никогда еще в истории Америки,— сообщает «Нью-Йорк таймс бук ревью»,— не выходило у нас такого множества подобных журналов, как в наши дни».

Весьма знаменательно, что этот сдвиг в сторону диверсификации обусловлен не только ростом богатства, но также и введением технических новшеств — тех самых новых машин, которые якобы подстригут нас всех под одну гребенку и уничтожат последние следы разнообразия. Благодаря нововведениям в области офсетной печати и в прочих областях полиграфии удалось резко снизить стоимость малотиражных изданий, так что теперь даже ученики средней школы могут финансировать (и финансируют!) из своих карманных денег публикацию собственных газет и журналов. Не за горами тот день, когда книги, журналы, газеты,

---

ОЛВИН ТОФФЛЕР
СТОЛКНОВЕНИЕ С БУДУЩИМ

фильмы и прочее будут, подобно автомобилю «мустанг», предлагаться покупателям на основе принципа «спроектируйте сами».

Было бы вздорным упрямством продолжать утверждать перед лицом всех этих фактов, что машины завтрашнего дня превратят нас в роботов, лишат нас индивидуальности, покончат с разнообразием культуры и т. д. и т. п. Из того, что примитивное массовое производство приводило к известному единообразию, вовсе не следует, что супериндустриальные машины также будут насаждать стандартизацию. На самом деле главная тенденция будущего развития направлена прочь от стандартизации — прочь от одинаковых товаров, единообразного искусства, нивелирующего массового образования и массовой культуры. Теоретики «массового общества» одержимы действительностью, которая уже уходит в прошлое. Кассандры, слепо ненавидящие технику и предрекающие нам будущее человеческого муравейника, продолжают бурно реагировать на условия, характерные для индустриализма. Однако эта система уже находится в процессе упадка. Если уровень технического развития на заре индустриализма требовал нерассуждающих людей-роботов для выполнения бесконечно повторяющихся операций, то техника завтрашнего дня возьмет эти операции на себя, оставив людям только те функции, которые требуют рассудительности, умения общаться с людьми, воображения. Супериндустриализму потребуются не люди-близнецы, словно сошедшие с одного конвейера, а люди, непохожие друг на друга, личности, а не роботы. Мы вплотную подошли к диалектическому поворотному пункту в техническом развитии общества. Новая технология не только не скует нашу личность, но расширит наш выбор и нашу свободу.

А вот готов ли человек иметь дело с возросшим выбором доступных ему продуктов материального и культурного производства — это уже совершенно другой вопрос. Близится время, когда выбор, вместо того чтобы раскрепощать личность, станет настолько сложным, трудным и дорогостоящим, что превратится в свою противоположность. Короче говоря, грядет такое время, когда выбор обернется избытком выбора, а свобода — отрицанием свободы.

Избыток субкультов

Социальная картина технически развитых обществ отнюдь не отличается унылым однообразием — она прямо-таки пестрит колоритными группками: хиппи и теософов, фанатиков «летающих блюдец», любителей-ныряльщиков, вегетарианцев, культуристов, черных мусульман и т. д. и т. п.

В наши дни под сокрушительными ударами супериндустриальной революции общество буквально раскалывается на мелкие части. Эти социальные подвиды и мини-культы множатся в нашей среде с поразительной быстротой. Те же самые силы дестандартизации, которые способствуют расширению индивидуального выбора в области материальных товаров и культурных благ, дестандартизируют также и наши социальные структуры. Вот почему новые субкультуры вроде хиппи возникают прямо на глазах. По сути дела, мы живем в эпоху «взрывообразного роста субкультов».

Многие субкультуры создаются по профессиональному принципу. Например, ученые одной какой-нибудь специальности обычно держатся друг друга, образуя тесные группировки-субкультуры, у которых они ищут не только авторитетного профессионального одобрения, но и руководства в таких делах, как выбор одежды, политических мнений и всего стиля жизни. С развитием науки и ростом количества научных работников возникают все новые специальности, внося дальнейшее разнообразие на этом неформальном уровне. Короче, специализация плодит субкультуры.

Множатся не только виды работы, но и виды развлечений. Стремительно возрастает количество способов приятного времяпрепровождения, всевозможных хобби, игр, спортивных забав и развлечений. Возникновение целого субкультура вокруг увлечения сэрфингом — скольжением на доске по бурунам прибоя — служит наглядным примером того, что увлечение, которому посвящается свободное время, тоже может лечь в основу всего стиля жизни — во всяком случае, у некоторых людей.

Субкультуры разрастаются — а общество раскалывается — также и по возрастному принципу. Между возрастными группами разверзаются все более глубокие пропасти. Различия между ними столь разительны, что это побудило социолога Джона Лофленда из Мичиганского университета предсказать, что они перерастут в «конфликт, эквивалентный конфликту между южанином и северянином, капиталистом и рабочим, иммигрантом и коренным жителем, суфражисткой и мужчиной, белым и негром». Вот почему братья и сестры с возрастной разницей в каких-нибудь три-четыре года субъективно ощущают себя членами совершенно различных «поколений».

В середине 50-х годов в Сан-Франциско и других местах Калифорнийского побережья объединилась небольшая группа писателей, художников и примкнувших к ним единомышленников. Окрещенные вскорости «битниками», они положили начало своеобразному стилю жизни. Наиболее заметными его чертами были прославление бедности — джинсы, сандалии, хибарки; приверженность негритянскому джазу и жаргону; интерес к мистицизму Востока и французскому экзистенциализму и общий антагонизм по отношению к технократическому обществу. Несмотря на шумиху, поднятую вокруг них в печати, битники оставались маленькой сектой, пока на сцене не появилось одно техническое новшество — LSD. Это средство с мессианским пылом рекламировалось Алленом Гинзбергом и другими: безответственные энтузиасты бесплатно раздавали его тысячам молодых лю-

дей. Из этих двух источников — субкультура битников середины 50-х и субкультура поклонников LSD, возникшего в начале 60-х годов,— взял свое начало новый, более крупный субкульт— движение хиппи. Соединив синие джинсы битников с бусами и браслетами приверженцев LSD, хиппи стали новейшим и наимоднейшим субкультом в Америке. Однако очень скоро он, непомерно разросшись, с неизбежностью раскололся на мелкие части, породив многочисленное потомство субкультов. В Сан-Франциско состоялись шутливые похороны движения хиппи. Затем, словно начиная весь цикл заново, на поверхность всплыл еще один субкульт — «бритоголовые». У этих тоже свое характерное обличье — подтяжки, сапоги, короткая стрижка, а также своя отличительная особенность — предосудительная склонность к насилию.

Конец движения хиппи и появление «бритоголовых» позволяет нам бросить свежий взгляд на структуру субкультов завтрашнего общества. Мало того что субкультуры множатся у нас на глазах — они возникают и исчезают со все большей быстротой. И здесь тоже действует принцип скоротечности. С ускорением темпа перемен во всех прочих аспектах общества становятся все более эфемерными также и субкультуры.

Таким образом, человек, стремящийся обрести чувство принадлежности, установить с другими людьми социальные связи, отождествить себя с определенной группой, ведет поиски в изменчивой среде, где все объекты, к которым он мог бы присоединиться, находятся в быстром движении. Ему приходится выбирать среди движущихся целей, число которых все увеличивается. Проблема выбора тут осложняется не в арифметической, а в геометрической прогрессии.

Все возрастающее число случаев психического расстройства, невроза и просто потери душевного равновесия в нашем обществе красноречиво говорит о том, что многим людям уже сейчас трудно выработать разумный, цельный и достаточно устойчивый личный стиль.

Зачастую кажется, что наше общество трещит по всем швам. Так оно и есть. Вот почему все так неимоверно усложняется. Крепкие узы, объединявшие индустриальное общество,— узы закона, общих ценностей, централизованного и стандартизованного образования, культурной продукции — теперь рвутся. В этом причина того, что города и университеты внезапно начинают казаться неуправляемыми. Старые методы объединения общества, основывающиеся на единообразии, простоте и постоянстве, утратили ныне эффективность.

Разнообразие стилей жизни

В Сан-Франциско бизнесмены ходят обедать в рестораны, где им прислуживают за столом официантки с обнаженной грудью. Однако в Нью-Йорке одну изобретательную виолончелистку арестовали за то, что она исполняла авангардистскую музыку, будучи одета только ниже пояса. А в Колумбусе, штат Огайо, вспыхивает общественная полемика по поводу поступления в продажу кукол «Маленький братик», изготовленных со слишком натуральными подробностями. Трудно найти другую такую страну, где царил бы подобный же разброд в отношении к проблеме секса. Впрочем, то же самое можно сказать и о других видах ценностей. Америку мучает неопределенность идеалов — идет ли речь о деньгах, собственности, правопорядке, расовой принадлежности, религии, семье или судьбе личности.

Семья, школа, корпорация, церковь, сверстники, средства массовой информации и мириады субкультов — все они рекламируют весьма отличные друг от друга совокупности ценностей. Как пишет журнал «Ньюсуик», мы представляем собой «общество, утратившее единство взглядов... общество, которое не может прийти к согласию относительно критериев поведения, речи и манер...»

Перед лицом сталкивающихся систем ценностей и ошеломляющего обилия новых потребительских товаров, видов обслуживания, возможностей в сферах образования, профессиональной деятельности и проведения досуга люди вынуждены по-новому выбирать среди всего этого. Они начинают «потреблять» стили жизни точь-в-точь так же, как люди прежней, менее перегруженной выбором эпохи потребляли обычные продукты.

Поскольку стиль жизни стал способом, посредством которого индивидуум отождествляет себя с тем или иным субкультом, взрывоподобное умножение числа субкультов в обществе привело к взрывоподобному же умножению количества жизненных стилей. Сила субкультов коренится в почти всеобщем отчаянном стремлении людей «принадлежать» целому. Технически развитые общества настолько велики, а их сложность до такой степени выходит за пределы простого человеческого разумения, что мы сможем поддерживать чувство некоторой общности и связи с целым только путем присоединения к одному или нескольким из его субкультов. Неспособность отождествить себя с какой-нибудь подобной группой заставляет нас чувствовать себя одинокими, отчужденными и никчемными.

Рекламируя свои избранные модели стиля жизни, субкультуры настойчиво требуют, чтобы мы обратили на них внимание. При этом они играют на самых чувствительных струнах психологии — на нашем представлении о самом себе. «Присоединяйся к нам,— как бы шепчут они,— и ты станешь более значительным, полезным, хорошим и уважаемым человеком и больше не будешь страдать от одиночества». Останавливая свой выбор на одном из многочисленных субкультов, мы, возможно, лишь смутно сознаем, что это решение повлияет на формирование нашей личности. Конечно, мы вы-

бираем не первый попавшийся стиль жизни. Ведь мы живем на ярмарке конкурирующих моделей. В этой психологической фантасмагории мы подыскиваем себе жизненный стиль, способ упорядочить наше существование, отвечающий нашему складу характера и нашим обстоятельствам. Мы ищем героев или мини-героев в качестве образца для подражания. Человек, занятый поисками стиля жизни, напоминает женщину, которая перелистывает журналы мод в поисках подходящего фасона, затем останавливает свой выбор на приглянувшейся ей модели и, решив сшить по ней платье, запасается всем необходимым: материей, нитками, отделкой, пуговицами и т. д. Точь-в-точь так же и создатель жизненного стиля обзаводится необходимым реквизитом. Он отращивает волосы, покупает репродукции картин «нового искусства» и книжечку сочинений Гевары в мягком переплете, обучается рассуждать о Маркузе и Франце Фаноне, усваивает особый жаргон, состоящий в употреблении таких слов, как «релевантный», «истэблишмент». Однако внешними проявлениями дело не ограничивается, ибо стиль жизни охватывает не только внешние формы поведения, но и кроющиеся за этим поведением ценности. Поэтому поменять свой жизненный стиль невозможно, не изменив вместе с тем своего представления о самом себе. Однако по мере приближения к супериндустриализму люди начинают усваивать и отбрасывать жизненные стили с частотой, которая привела бы в ужас представителя предшествующего поколения. Ведь и сам стиль жизни уподобился вещи, которую выбрасывают по использовании. Поиски себя, своей индивидуальности вызваны не предполагаемым отсутствием выбора в «массовом обществе», а как раз изобилием и сложностью выбора. Однако, когда разнообразие сочетается с эфемерностью и новизной, общество на всех парах устремляется к историческому кризису адаптации. Окружающая нас действительность становится настолько эфемерной, непривычной и сложной, что миллионам людей угрожает адаптационный шок — шок от столкновения с будущим.

ПРЕДЕЛЫ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ

В давнюю геологическую эру волны выбрасывали на выступившую из-под воды сушу миллионы существ, для которых средой обитания был океан. Оторванные от своего привычного окружения, они погибали, глотая воздух и царапая землю. Только немногие счастливцы, лучше приспособленные к земноводному существованию, справились с шоком от перемен. Ныне, по словам социолога Лоуренса Сама из Висконсинского университета, «мы переживаем такой же болезненный период, каким было превращение далеких предков человека из обитателей морей в обитателей суши...»

При всей высокой приспособляемости человека, при всем его героизме и выносливости, он остается биологическим организмом, «биосистемой», способной функционировать, как и все такие системы, только в определенных рамках. «Запускать» человека в будущее, не позаботившись о том, чтобы защитить его от столкновения с переменами,— это все равно как если бы мы запустили Армстронга и Олдрина в космос раздетыми.

Количество перемен, которое способен выдержать человеческий организм, ограничено. Если мы будем бесконечно ускорять темп перемен, не определив предварительно границ допустимого, предъявляемые этой лавиной перемен требования, возможно, окажутся для массы людей просто-напросто непосильными. Мы рискуем довести их до тяжелого расстройства, которое я назвал шоком от столкновения с будущим. Этот шок можно охарактеризовать как физический и психический недуг, вызываемый перегрузкой физических адаптивных систем человеческого организма и психологических процессов принятия решений. Проще говоря, шок от столкновения с будущим — это реакция человека на чрезмерные перегрузки.

Разные люди реагируют на столкновение с будущим по-разному. Симптомы этой болезни также различаются в зависимости от ее стадии и остроты. Диапазон симптомов весьма широк, начиная от тревоги, враждебности, вспышек, казалось бы, беспричинного насилия и кончая физическим нездоровьем, угнетенным состоянием и апатией.

Хотя перемены составляют самое существо жизни, а жизнь есть постоянная адаптация, наша способность к приспособлению имеет свои границы. Меняя жизненные стили, завязывая и обрывая отношения с вещами, местами и людьми, неугомонно перемещаясь по организационной структуре общества, усваивая новую информацию и новые идеи, мы приспосабливаемся — мы живем. Однако всему есть предел. Наша способность восстанавливать свои физические и душевные силы не бесконечна. За каждую перемену ориентации, за каждую реакцию приспособления нам приходится расплачиваться ценою изнашивания своих физических и психических механизмов.

СТРАТЕГИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫЖИТЬ

В ближайшие тридцать-сорок лет нас ожидает не одна-единственная волна перемен, а целая серия грозных катаклизмов. Уровень эфемерности так повысился, а перемены совершаются такими форсированными темпами, что мы оказались перед лицом небывалой в истории ситуации. Нам предстоит приспосабливаться не к одной новой культуре, а к череде стремительно сменяющих друг друга временных новых куль-

тур. Вот почему мы, видимо, вплотную приближаемся к верхнему пределу своей адаптационной способности. Ни одному из прошлых поколений не приходилось подвергаться такому испытанию. Именно сейчас, при жизни нашего поколения,— пока что лишь в технически развитых обществах — обозначаются контуры реальной угрозы массового шока от столкновения с будущим.

Единственный способ сохранить хоть какое-нибудь подобие равновесия в разгар супериндустриальной революции состоит в том, чтобы противопоставить изобретательности технического прогресса иную изобретательность, разработав новые регуляторы личных и социальных перемен. Ни слепая покорность судьбе, ни слепое сопротивление переменам пользы не принесут. Нам предстоит создать целую совокупность стратегических приемов, позволяющих избирательно формировать, направлять, ускорять и замедлять течение перемен. Личность нуждается в новых принципах регулирования темпов своей жизни и ее планирования, равно как и в радикально новом типе образования. Общество же нуждается в новых институтах и организационных формах, в новых амортизаторах и балансах. Необходимо опробовать новые подходы — личные, технологические и социальные, ибо борьба за то, чтобы направить поток перемен по желаемому руслу, должна вестись одновременно на всех этих уровнях. При условии более ясного понимания проблем и более продуманного контроля над определенными ключевыми процессами мы сумеем превратить кризис в благоприятную возможность, поможем людям не просто выжить, а оседлать волну перемен, всесторонне развиться, по-новому почувствовать себя хозяевами собственной судьбы.

В личном плане мы, будучи ограничены возможностями нервной и эндокринной систем, доставшихся нам по наследству от эволюции, должны разработать новую тактику, призванную помочь нам регулировать уровень перегрузок. Но вся беда в том, что такая личная тактика с каждым днем становится все менее эффективной. Для того чтобы создать такую среду, в которой перемены обогащали бы человека, делали бы его жизнь полнокровной, а не подавляли бы его, мы должны прибегнуть не только к личной тактике, но и к социальной стратегии.

Укрощение техники

Шок от столкновения с будущим — болезнь, порождаемая переменами,— может быть предотвращен. Но для этого необходимо принять решительные социальные и даже политические меры. Как бы ни старались отдельные люди отрегулировать ритм своей жизни, какие бы психологические костыли мы им ни предлагали, как бы мы ни преобразовывали систему образования, общество в целом по-прежнему будет напоминать собой бешено крутящуюся карусель, покуда мы не возьмем под контроль сам процесс стремительного ускорения потока перемен.

Речь не идет об остановке технического прогресса с помощью стоп-крана. Одни только романтические глупцы пробавляются бреднями о возврате к «природному состоянию». В этом «природном состоянии» новорожденные чахнут и умирают из-за отсутствия элементарного медицинского облуживания, недоедание иссушает мозг людей, а жизнь, по словам Гоббса, «скудна, отвратительна, груба и коротка». Поворачиваться к прогрессу спиной было бы не только глупо, но и безнравственно.

Учитывая, что большинство человечества все еще живет, фигурально выражаясь, в двенадцатом веке, разве вправе мы даже помышлять о том, чтобы выбросить ключ к экономическому развитию? Болтунов, несущих вздор о ниспровержении техники во имя неких туманных человеческих ценностей, надо в упор спросить: о ценностях каких людей вы толкуете? Ведь умышленно переведя назад стрелки часов истории, мы обрекли бы миллиарды людей на вынужденную беспросветную нищету как раз в тот исторический момент, когда становится возможным их освобождение. Нет, не прекращение технического прогресса нам нужно, а дальнейшее наращивание технической мощи.

Вместе с тем не подлежит сомнению, что мы сплошь и рядом применяем новую технику неразумным и своекорыстным образом. Торопясь извлечь из технических достижений непосредственную экономическую выгоду, мы превратили окружающую нас среду, материальную и социальную, в пороховую бочку.

Происходит своего рода «психологическое загрязнение» — непрестанное ускорение темпа жизни. Наряду с этим возрастает физическое загрязнение всего вокруг. Промышленность отравляет своими отходами воздух и воду. Пестициды и гербициды попадают в пищу. Погнутые каркасы автомобилей, алюминиевые консервные банки, бутылки, отслужившая синтетика образуют повсюду, куда ни кинешь взгляд, гигантские свалки неразлагающихся отбросов. Мы до сих пор понятия не имеем, куда нам девать радиоактивные отходы — то ли зарывать их в землю, то ли забрасывать в космос, то ли погружать на дно океанов.

С увеличением нашего технического могущества возрастают также его побочные эффекты и потенциальные опасности. Мы рискуем вызвать необратимые процессы в океане: повысить его температуру, истребить значительную часть морской флоры и фауны, а быть может, даже растопить полярные льды. Что же касается земной поверхности, то мы сосредоточиваем такие огромные массы населения на таких маленьких урбано-технических островках, что над нашими городами нависла опасность

превращения в безлюдные пустыни в результате более быстрого потребления кислорода атмосферы, чем его восстановления. Нарушая подобным образом экологическое равновесие в природе, мы, возможно, в полном смысле слова «губим,— по выражению биолога Барри Коммонера,— нашу планету как место, пригодное для обитания человека».

По мере того как становятся все более очевидными прискорбные результаты безответственного применения техники, ширится реакция протеста. Причем то, что мы видим сегодня,— это только первые раскаты международной грозы, которая обрушится на парламенты и конгрессы в грядущие десятилетия. Подобный протест против разрушительного действия безответственно применяемой техники может принять патологическую форму своего рода фашизма, пропитанного ненавистью к будущему, где ученые окажутся в концентрационных лагерях. Больным обществам требуются козлы отпущения. Чем сильнее будет давить на человека психологическое бремя перемен и чем больше людей ощутит шок от столкновения с будущим, тем больше будет вероятность подобного кошмарного исхода. Весьма знаменательно, что бастующие парижские студенты чертили на стенах лозунг: «Смерть технократам!!!»

Однако нельзя допускать, чтобы зарождающееся всемирное движение за установление контроля над развитием техники попало в руки безответственных технофобов, нигилистов и романтиков руссоистского толка. Ибо поступательное движение технического прогресса неодолимо, и никакие пароксизмы новоявленных луддитов не смогут остановить его. Более того, безрассудные попытки прекратить развитие техники принесли бы не меньше вреда, чем безрассудные попытки ускорить его.

Перед лицом двух этих опасностей мы остро нуждаемся в движении за ответственное развитие техники. Необходимо образовать широкое политическое движение сторонников дальнейшего разумного научно-технического прогресса, осуществляемого строго избирательно. Вместо того чтобы попусту тратить силы на обличения Машины или на сокрушительную критику программы исследования космического пространства, оно должно будет сформулировать комплекс позитивных технических задач на будущее.

Если такой комплекс задач будет всесторонне продуман и глубоко разработан, нам удастся навести порядок в области, где ныне царит полный хаос. К 1980 году совокупные ежегодные расходы на научно-исследовательскую деятельность в Соединенных Штатах и Европе составят, по подсчетам итальянского экономиста и промышленника Аурелио Печчи, 73 миллиарда долларов. При таком уровне затрат за последующее десятилетие эти расходы составят три четверти триллиона долларов. Казалось бы, раз дело идет о поистине астрономических суммах, правительства должны тщательно планировать техническое развитие своих стран, соотнося его с широкими социальными целями и требуя строжайшей отчетности. В действительности же все обстоит как раз наоборот.

«Никто, даже самые блестящие умы среди ученых нашего времени, по-настоящему не знает, куда ведет нас наука,— утверждает Ральф Лэпп, ученый, сделавшийся писателем.— Мы мчимся в поезде, который все набирает скорость и летит вперед по железнодорожной колее с множеством ответвлений, ведущих неизвестно куда. Ни одного ученого нет в кабине машиниста, а за каждой стрелкой таится опасность катастрофы. Бóльшая же часть общества находится в последнем вагоне и глядит назад».

Общество имеет дело с возрастающим многообразием технических новшеств, и все более остро встают перед ним проблемы выбора. Применявшаяся в прошлом простая политика выбора тех нововведений, которые сулили самую скорую экономическую выгоду, оказывается ныне опасной, дезориентирующей, подрывающей устойчивость.

Сегодня нам нужны гораздо более сложные критерии отбора технических новинок. Такие критерии, определяющие политику выбора, нужны нам не только для того, чтобы предотвратить бедствия, которых можно избежать, но также и для того, чтобы помочь открыть возможности завтрашнего дня. Впервые столкнувшись с избыточным выбором новой техники, общество должно теперь отбирать машины, процессы, методы и системы большими группами, целыми комплексами.

В самом недалеком будущем возможно возникновение разительного контраста между обществом, осуществляющим свое техническое развитие избирательно, и обществом, которое бездумно использует первую подвернувшуюся возможность. Но еще более резким может оказаться контраст между обществом, умеряющим и регулирующим темп технического прогресса во избежание болезненного столкновения с будущим, и обществом, в котором широкие массы людей лишены права участвовать в разумном принятии решений. В первом возможны политическая демократия и широкое участие масс, во втором могущественные факторы способствуют установлению политического господства техно-управленческой элиты.

Вот почему проблемы техники нельзя больше решать исключительно в рамках техники. Это политические проблемы. Более того, они затрагивают нас глубже, чем большинство поверхностных политических вопросов, занимающих наше внимание сегодня. Вот почему мы не можем и дальше принимать технологические решения по-старому. Нельзя допускать, чтобы они диктовались только лишь текущими экономическими соображениями. Недопустимо, чтобы их принимали в политическом вакууме. Мы больше не можем от случая к случаю возлагать ответственность за подобные реше-

ния на бизнесменов, ученых, инженеров или администраторов, которые не отдают себе отчета в том, сколь глубоки могут быть отдаленные и побочные последствия их собственных действий.

Мы больше не можем позволять себе позицию невмешательства по отношению ко вторичным — социальным и культурным — последствиям технологических решений. Нужно стараться заранее предвидеть их, оценивать, насколько это возможно, их характер, силу и сроки наступления. В тех случаях, когда велика вероятность, что эти последствия причинят серьезный ущерб, мы должны быть готовы к тому, чтобы преградить путь данному техническому новшеству. Не больше и не меньше! Нельзя же позволять, чтобы техника творила с обществом все, что хочет.

Спору нет, нам не могут быть заблаговременно известны все последствия того или иного шага, технологические и прочие. Но мы не беспомощны. Иногда, например, есть возможность опробовать техническое новшество на небольшой территории, в ограниченных масштабах, с тем чтобы изучить его побочное действие до того, как ему будет открыта зеленая улица. При достаточном воображении мы могли бы в интересах принятия обоснованных технологических решений предварительно ставить эксперименты в условиях реальной жизни, даже образовать для этого общины добровольцев. Подобно тому, как мы, возможно, захотим создать в нашей среде некие модели будущего, мы могли бы также сформировать — и даже субсидировать — специальные общины по испытанию новинок, где проходили бы экспериментальную проверку и исследовались новые препараты, источники энергии, виды транспорта, косметические средства, бытовые приборы и прочие новшества.

Мы научились создавать могущественнейшую технику, комбинировать ее виды Однако мы не позаботились о том, чтобы научиться предугадывать последствия своих достижений. Ныне эти последствия грозят уничтожить нас. Мы должны учиться, притом учиться быстро.

Перед нами стоит не только интеллектуальная, но и политическая задача. Мало того, что мы должны будем разработать новые средства исследования, новые методы познания окружающей нас среды,— нам предстоит также создать новые, творческие по своему духу политические институты, которые обеспечат деловое изучение последствий технических нововведений, будут содействовать внедрению одних новшеств и препятствовать (вплоть до наложения запрета) распространению других. По сути дела, нам требуется механизм для «проверки благонадежности» машин. Создание такого механизма станет ключевой политической задачей ближайшего десятилетия. Не надо пугаться идеи осуществления систематического социального контроля над техникой. Осуществление такого контроля должно быть вменено в обязанность как общественным органам, так и самим корпорациям и лабораториям, в недрах которых вынашиваются технические новинки.

Шагом в правильном направлении явилось бы учреждение какого-нибудь совета по надзору за развитием техники — общественной организации, в функции которой входило бы принимать к рассмотрению жалобы по поводу безответственного применения техники, проводить расследования по ним и принимать необходимые меры. Однако нельзя ограничиваться простым проведением расследований и возложением ответственности на виновных уже после того, как ущерб причинен. Мы должны создать службу охраны окружающей среды, призванную оградить нас от опасных вторжений, а также систему общественных мер и стимулов для поощрения безопасных и социально полезных технических достижений.

Не приходится говорить, что перечисленные выше предложения сами чреваты взрывчатыми социальными последствиями и нуждаются в тщательной оценке. Может быть, есть лучшие способы достижения желаемых целей. Но время не ждет. Мы просто-напросто не можем позволить себе и дальше нестись вслепую навстречу супериндустриализму. Политика контроля над ходом технического прогресса приведет в будущем к ожесточенным конфликтам. Но какие бы конфликты ни возникали, техника должна быть укрощена — другого способа регулирования ускорения темпов перемен не существует.

Стратегия социального футуризма

Можно ли жить в обществе, вышедшем из-под контроля? Этот вопрос неизбежно встает перед нами при мысли о грядущем столкновении с будущим. Даже если бы на свободу вырвалась одна только техника, то и тогда наши проблемы были бы достаточно серьезны. Однако неумолимый факт состоит в том, что многие другие социальные процессы также начинают становиться неуправляемыми, противятся всем нашим попыткам совладать с ними. Урбанизация, этнический конфликт, миграция, рост населения, преступность — можно назвать еще тысячу других областей, в которых наши усилия обуздать стихию перемен выглядят все более неудачными, можно сказать, тщетными. Результаты социальной политики становятся случайными и труднопредсказуемыми. В этом и заключается политический смысл столкновения с будущим. Ибо подобно тому как отдельный человек получает шок от столкновения с будущим вследствие своей неспособности поспеть за темпом перемен, правительство тоже страдает от своего рода совокупного шока, вызванного столкновением с будущим,— от нарушения процессов принятия решений. А по мере того как накапливаются свидетельства некомпетентности и провалов, получают бур-

ное развитие опасные политические, культурные и психологические тенденции.

Например, одной из реакций на утрату контроля над ходом вещей стало разочарование в силе разума. Поначалу наука позволила человеку ощутить себя хозяином окружающей его среды, а значит, и хозяином своего будущего. Благодаря ей будущее стало казаться не чем-то неизменным в своей предопределенности, а податливым материалом в руках человека-творца. Тем самым наука подорвала устои действовавших как опиум религий, которые проповедовали пассивность и мистицизм. Сегодня, когда со всех сторон поступают все новые доказательства того, что общество вышло из-под контроля, доверие к науке падает. Как следствие этого мы видим бурное возрождение мистицизма. Вдруг началось повальное увлечение астрологией. В моду вошли дзэн-буддизм, йога, спиритические сеансы и колдовство. Создаются культы вокруг поисков дионисийских радостей, способов внеязыковой и даже внепространственной коммуникации. Нас уверяют, что «чувствовать» важнее, чем «мыслить», как будто между тем и другим существует противоречие. Экзистенциалистские оракулы, присоединяясь к хору католических мистиков, психоаналитиков школы Юнга и индуистских «учителей» гуру, прославляют мистическое и эмоциональное в противоположность научному и рациональному.

Неудивительно, что этот возврат к донаучным ориентациям сопровождается широким распространением в обществе ностальгических настроений. Мода на старинную мебель, на афиши давно прошедших времен, на игры — воспоминания мелких примет вчерашнего дня, возрождение «Нового искусства», распространение эдвардианского стиля — все это служит отражением тоски по более простому, спокойному прошлому. На этой тоске уже наживаются деловые круги, специализирующиеся на обслуживании прихотей моды. Спекуляция на ностальгии становится доходным бизнесом.

Итак, на волю вырвались слепые стихийные силы. Хотим ли мы предотвратить столкновение с будущим или поставить под контроль рост народонаселения, покончить с загрязнением окружающей среды или прекратить гонку вооружений — ни в одном из этих случаев мы не можем допустить, чтобы решения глобальной важности принимались непродуманно, небрежно, бесплановo. Оставаться безучастными ко всему этому значит совершать коллективное самоубийство.

Технократы страдают близорукостью. Им свойственно помышлять только о непосредственных выгодах, сиюминутных ближайших последствиях. Скажем, если какой-то район нуждается в электроэнергии, они ничтоже сумняшеся строят электростанцию. Тот факт, что через десяток лет эта электростанция, возможно, вызовет безработицу, а лет через тридцать приведет к разрушительным экологическим последствиям, просто выпадает из их поля зрения в силу своей отдаленности во времени.

В мире ускоряющихся перемен будущий год ближе к сегодняшнему дню, чем будущий месяц в более неторопливую эпоху. Необходимо раздвинуть горизонты мышления во времени. Планировать на более отдаленное будущее вовсе не означает связывать себя по рукам и ногам догматическими программами. Планы могут быть предварительными, гибкими, подлежащими постоянному пересмотру. Однако гибкость вовсе не подразумевает краткосрочности. Для того чтобы выйти за пределы технократического планирования, мы должны научиться заглядывать в нашем социальном мышлении на десятилетия, даже на многие десятилетия, в будущее. Для этого потребуется нечто большее, чем удлинение наших официальных планов. Потребуется, чтобы все общество сверху донизу проникло социальным сознанием, ориентированным на будущее.

Общество стоит не только перед лицом целого ряда вероятных вариантов будущего, но и перед лицом великого множества возможных вариантов будущего, а также конфликта по поводу предпочтительных вариантов будущего. Управление переменами сводится к превращению определенных возможных вариантов в вероятные, к поискам согласованных предпочтительных вариантов.

В периоды бурных перемен социально обусловленные представления о вероятном будущем становятся менее достоверными. Нынешняя утрата контроля над обществом непосредственно связана с нашими несовершенными представлениями о вероятных вариантах будущего.

Несмотря на это, пора раз и навсегда покончить с распространенным мифом о непознаваемости будущего. У нас на глазах происходит поистине захватывающий дух переход к более научным методам оценки вероятностей того или иного будущего. Это само по себе, действуя как фермент, по-видимому, окажет мощное воздействие на будущее. Было бы глупо переоценивать способность науки, на ее сегодняшнем уровне развития, точно предсказывать сложные явления. Но даже когда наши, пока что примитивные, попытки научного прогнозирования оказываются грубо ошибочными, сама работа над этими прогнозами помогает нам выявить главные факторы перемен, уточнить наши цели, заставляет более тщательно оценивать политические альтернативы. Таким образом, исследование будущего окупается уже в настоящем.

Однако предвидеть вероятные варианты будущего — это еще полдела. Вдобавок к этому мы должны значительно расширить круг наших представлений о возможных вариантах будущего. К точному, дисциплинированному мышлению науки мы должны присовокупить пылкое воображение искусства.

Сегодня, как никогда раньше, нужны многообразные фантазии, мечты и пророчества — образы потенциального завтра. Прежде чем мы сможем принять рациональное решение в выборе тех или иных альтернативных путей и стилей культуры, мы должны предварительно установить круг возможных

вариантов. Поэтому выдвижение гипотез, догадок, предвосхищений и предположений становится ныне такой же сугубо практической необходимостью, как и трезвый «реализм» в прошлом.

Конечно, выдвинутые таким образом идеи в подавляющем большинстве своем могут оказаться абсурдными, курьезными или технически невыполнимыми. Но ведь самая сущность творческой деятельности как раз и состоит в готовности взглянуть на вещи «несерьезно», забавляться игрой с нелепым и только потом подвергнуть фантазии суровой критической оценке. Значит, для проникновения в грядущее силой воображения потребуется обстановка, в которой не страшно будет ошибаться, в которой можно будет свободно высказывать и сопоставлять новые идеи. Короче, нам нужны заповедники социального воображения. Исходящий из них каскад неправдоподобных, эксцентричных или просто колоритных идей должен будет пройти — после того как они будут высказаны — безжалостную проверку. Лишь самая малая доля их останется на дне этого фильтра. Но именно среди них могут оказаться те важнейшие идеи, которые привлекут внимание к новым потенциалам и которые могли бы в ином случае остаться незамеченными.

Мы вовлечены в гонку, когда все повышающимся уровням неопределенности, порождаемым ускоряющимся темпом перемен, сопутствует необходимость иметь достаточно достоверные представления о том, что является в каждый данный момент наиболее вероятным будущим.

Быть может, следовало бы подумать о создании крупного международного института, который играл бы роль своего рода банка данных о будущем мира. Назначением этого института, укомплектованного виднейшими представителями всех естественных и социальных наук, стал бы сбор и систематическое обобщение прогнозов и предсказаний, разработанных учеными и наделенными фантазией мыслителями всего света.

Но в конечном счете социальный футуризм должен будет пойти еще дальше. Ибо технократы страдают не только близорукостью и узостью мышления, не способного выйти за рамки экономики, — они, кроме того, поражены вирусом элитаризма. Поэтому, для того чтобы обуздать стихию перемен, нам необходимо будет совершить еще один, последний и самый радикальный разрыв с технократической традицией — мы должны будем революционизировать сам способ определения наших социальных целей.

Системы формулирования целей, основывающиеся на элитарных предпосылках, просто-напросто утратили свою эффективность. В борьбе за установление контроля над силами перемен они все чаще приводят к обратным результатам. В условиях супериндустриализма демократия становится не политической роскошью, а первейшей необходимостью.

Политическая демократия, включающая все большее и большее число людей в процесс принятия социальных решений, облегчает обратную связь. А эта обратная связь как раз и необходима для эффективного контроля.

Технократ сплошь и рядом составляет планы, не предусматривающие достаточной и немедленной обратной связи, так что он редко бывает в курсе того, насколько успешно его планирование. Когда же он предусматривает обратную связь, информация, которую он обычно запрашивает и получает, носит сугубо экономический характер и содержит мало сведений социального, психологического или культурного порядка. Но что еще хуже, при составлении таких планов технократ недостаточно принимает в расчет быстро меняющиеся потребности и чаяния людей, от участия которых зависит успешное выполнение этих планов.

В условиях индустриализма с его более медленным ритмом Америка могла оставаться глухой к нуждам своего негритянского меньшинства; в новом, кибернетическом обществе, живущем в ускоренном темпе, это меньшинство будет в состоянии, посредством саботажа, забастовок и тысячи других способов, подорвать всю систему. С ростом взаимозависимости все меньшие и меньшие группировки внутри общества будут иметь возможность критическим образом нарушать его функционирование. Более того, ускорение темпов перемен делает недопустимым малейшее промедление с удовлетворением потребностей меньшинств. Поэтому — «Свободу сейчас!».

Все это наводит на мысль, что наилучший подход к разгневанным или непокорным меньшинствам заключается в том, чтобы сделать систему еще более открытой, привлечь в нее эти меньшинства в качестве полноправных партнеров, допустить их к участию в формулировании социальных целей, вместо того чтобы пытаться изолировать их или подвергнуть остракизму. Иначе говоря, и в политике, и в промышленности, и в образовании все труднее будет даваться достижение целей, поставленных без участия тех, кого они непосредственно затрагивают.

Для того чтобы подчинить себе стихию перемен, мы должны будем научиться четко формулировать важнейшие долгосрочные социальные цели и вместе с тем демократизировать процесс установления таких целей. А это значит не больше и не меньше, как совершить в технически развитых обществах новую политическую революцию, призванную с невиданной силой утвердить народную демократию.

Пришло время произвести коренную переоценку направлений перемен, причем сделать это должны не политиканы, не социологи, не священники, не революционеры элитарного толка, не технические специалисты, не ректоры колледжей, а сам народ. Мы должны буквально «пойти в народ» с

ОЛВИН ТОФФЛЕР
СТОЛКНОВЕНИЕ С БУДУЩИМ

вопросом, с которым к нему почти никогда не обращаются: «Каким вы хотите видеть мир через десять, двадцать или тридцать лет?» Короче, мы должны положить начало непрекращающемуся плебисциту по вопросу о будущем.

Кое-кому этот призыв к своего рода неопопулизму, несомненно, покажется наивным. Однако нет ничего наивнее представления о том, что мы сможем и впредь осуществлять политическое руководство обществом сегодняшними методами.

Сегодня массы избирателей настолько оторваны от своих выборных представителей, а рассматриваемые этими последними вопросы носят настолько технический характер, что даже образованные граждане, принадлежащие к среднему классу, чувствуют себя безнадежно отстраненными от процесса разработки целей. Ввиду общего ускорения темпов жизни столько всего происходит — и так быстро! — между выборами, что политик все более освобождается от ответственности перед «избирателями у себя дома». Да и сами-то его избиратели непрестанно меняются. В теории избиратель, недовольный деятельностью своего представителя, может проголосовать против него на следующих выборах. На практике же миллионы избирателей не в состоянии сделать даже это. Подхваченные волной массовой мобильности, они оказываются за пределами своего прежнего избирательного округа, а иной раз и вовсе временно лишаются права голоса. В прежнем же их округе поселяются пришельцы из других мест. Среди избирателей, к которым адресуется наш политик, все больше и больше новых лиц. И, возможно, ему так никогда и не предложат отчитаться в своей деятельности — в том, как он выполнял обещания, данные им своим прежним избирателям.

Еще больший ущерб наносит демократии ограниченность политических перспектив. Политик обычно не заглядывает в будущее дальше следующих выборов. Конгрессы, рейхстаги, парламенты, муниципалитеты — вообще все законодательные органы — не обладают ни временем, ни средствами, ни организационными формами, необходимыми для того, чтобы всерьез помышлять об отдаленном, будущем. Что же касается гражданина, то его мнением о более широких, более долгосрочных целях его общества, государства, нации интересуются в последнюю очередь. Избирателю могут предложить выразить посредством голосования свое мнение по тем или иным конкретным вопросам, но никогда — по вопросу о широких очертаниях предпочитаемого им будущего.

По этим и другим причинам мы стремительно несемся навстречу роковому крушению традиционной системы политического представительства. Для того чтобы как-то оправдать свое назначение, законодательные учреждения должны будут установить новые связи со своими избирателями, новые связи с завтрашним днем. Ассамблеи социального планирования могли бы послужить средством воссоединения законодателя с его массовой базой, настоящего — с будущим. Регулярно собираясь через короткие промежутки времени, такие ассамблеи могли бы стать самым тонким из имеющихся у нас ныне средств измерения воли народа. Самый акт созыва этих ассамблей вовлек бы в политическую жизнь миллионы людей, которые сейчас сторонятся политики.

Но важнее всего то, что ассамблеи социального планирования способствовали бы переориентации культуры в сторону более характерных для супериндустриализма долгосрочных перспектив. Впервые сосредоточив внимание общественности не на одних только текущих программах, но и на планах дальнего прицела, предложив народу выбрать предпочтительный вариант будущего из целого ряда альтернативных вариантов, эти ассамблеи смогли бы наглядно выявить возможности гуманного будущего — возможности, на которых слишком многие из нас уже поставили крест. Тем самым ассамблеи социального планирования привели бы в действие могущественные созидательные силы — силы сознательной эволюции.

К настоящему времени вызванный человеком процесс ускорения темпа перемен стал ключевым фактором всего эволюционного процесса на нашей планете. Отныне скорость и направление эволюции других видов, да и само их существование, зависят от решений, принимаемых человеком. Однако эволюционный процесс не содержит в себе никакой гарантии того, что сам человек обязательно выживет.

В прошлом с переходом к каждому последующему этапу социальной эволюции человек осознавал события, как правило, уже после их наступления. Ввиду того что перемены совершались медленно, он имел возможность приспосабливаться к ним стихийно, «органически». В наше время стихийной адаптации уже недостаточно. Человек, во власти которого будет изменять структуру гена, создавать новые виды, заселять планеты или обезлюдить землю, должен теперь научиться сознательно контролировать ход самой эволюции. Обуздав стихию перемен, он должен, во избежание шока от столкновения с будущим, управлять эволюцией, творить завтрашний день в соответствии со своими потребностями. Вместо того чтобы восставать против будущего, он должен будет, начиная с нынешнего исторического момента, предвидеть грядущее и конструировать его.

Такова конечная цель социального футуризма. Он призван не только преодолеть сегодняшний технократизм, заменив его более гуманным, более дальновидным и более демократическим планированием, но и сам процесс эволюции поставить под сознательное руководство человека. Мы подошли к критическому рубежу, к поистине поворотному пункту истории, когда человек либо подчинит своей власти процессы перемен, либо исчезнет с лица земли; когда из беспомощной игрушки эволюции он превратится или в ее жертву, или в ее властелина.

Задача таких масштабов требует от нас совершенно новой, гораздо более глубоко

продуманной реакции на перемены. Перемены были главным действующим лицом этой книги — сначала потенциальным злодеем, а потом ее потенциальным героем. Начав с призыва к замедлению и регулированию перемен, автор кончил призывом к новым революционным переменам. Но это лишь кажущийся парадокс. Перемены нужны человеку как воздух. Они так же необходимы нынешнему, 800-му поколению, как были необходимы первому. Перемены — это сама жизнь. Но перемены, вырвавшиеся на волю; перемены неуправляемые и необузданные; перемены, все ускоряющие свой бег и сокрушающие не только физические защитные механизмы человека, но и его психические механизмы принятия решений,— такие перемены враждебны жизни.

Поэтому, прежде чем мы сможем приступить к осторожному управлению судьбами нашей эволюции, прежде чем мы сможем начать построение гуманного будущего, нам предстоит решить первейшую и неотложную задачу — остановить бешеное ускорение перемен, подвергающее множество людей опасности шока от столкновения с будущим и обостряющее в то же время все проблемы, которые стоят перед ними,— проблемы войны, нарушения экологического равновесия, расизма, позорного контраста богатства и бедности, протеста молодежи и роста потенциальной угрозы массового иррационализма.

У нас нет чудодейственного лекарства против небывалой доселе болезни — шока от столкновения с будущим. Мною были предложены паллиативы для измотанного переменами индивидуума и более радикальные лечебные процедуры для общества: новые социальные службы; система образования, ориентированная в сторону будущего; новые способы управления техникой и стратегия установления контроля над переменами. Следует изыскивать также и другие целебные средства. Однако основной упор сделан в этой книге на диагнозе. Ведь диагноз предшествует лечению, и для того чтобы приступить к оказанию действенной помощи себе, нам необходимо вникнуть в самую суть проблемы.

Э. АРАБ-ОГЛЫ

ГОРДИЕВ УЗЕЛ И ДАМОКЛОВ МЕЧ

— У **нас**,— сказала Алиса, с трудом переводя дух,— когда долго бежишь со всех ног, непременно попадешь в другое место.

— Какая отсталая страна! — воскликнула Королева.— Ну а **здесь**, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на **том же** месте! Ну а если хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по крайней мере, вдвое быстрее.

— Ах нет, я никуда не хочу попасть!

Льюис Кэрролл

Этот эпиграф, заимствованный из сказки Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», вполне мог бы быть предпослан и всей книге Олвина Тоффлера. Выдающиеся произведения литературы, когда бы они ни были написаны, обладают непреходящей духовной ценностью в частности и потому, что из поколения в поколение не только воскрешают перед нами художественно запечатленное в них прошлое, но и вызывают новые злободневные ассоциации. Путешествие Гулливера в Лапуту, вероятно, даже во времена Свифта не воспринималось столь актуально, как сейчас, а Сэмюеля Батлера в наши дни цитируют несравненно чаще, чем при его жизни. Подобно этому и сказочная повесть Кэрролла помогает лучше понять книгу Тоффлера, чем любой толковый или энциклопедический словарь. Ибо там, где стандартная логика здравого смысла отказывается воспринять и осмыслить стремительное и ошеломляющее вторжение будущего в нашу повседневную жизнь, на помощь приходит парадоксальная логика поучительной и для взрослых детской сказки.

В самом деле, разве мы ведем себя по отношению к невозобновляемым естественным ресурсам планеты сколько-нибудь предусмотрительнее, чем Мартовский Заяц и сумасшедший Шляпочник во время безумного чаепития: как только очередная порция чая и печенья была съедена, они просто передвигались к следующей порции и не желали слушать ни о том, что будет, когда исчезнет последняя порция, ни о том, кто будет мыть посуду. И не заставляют ли нас рассуждения Тоффлера о «преждевременном наступлении будущего», которое воздействует на настоящее, вспомнить, что и в Зазеркалье следствия предшествовали во времени причине? Ошеломленные будущим, многие американцы сейчас оказываются в положении Королевского гонца, про которого рассказывали Алисе: «Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну, а про преступление он еще и не думал!» Однако наиболее болезненным испытанием для десятков и сотен миллионов рядовых людей на Западе, несомненно, служит знаменитый «бег на месте», на который их обрекают ускоряющиеся темпы жизни в условиях научно-технической революции.

Экономически отставшие страны, находящиеся в орбите мировой капиталистической системы, прилагают лихорадочные усилия, чтобы нагнать передовые индустриальные державы. Их темпам роста производства в прошлом веке могли бы только позавидовать, но почти столь же быстро возрастает их население, увеличиваются «ножницы цен» в мировой торговле и т. д., так что в итоге контраст между бедностью и богатством в международном масштабе скорее усиливается, чем смягчается.

В развитых капиталистических странах из года в год растут производительность и интенсивность труда, растет зарплата, растут налоги, растут цены, потребности, стоимость жизни, и опять-таки до идеала обеспеченной жизни и уверенности в будущем многим миллионам семей столь же далеко, как и прежде.

Сотни тысяч и миллионы молодых людей устремляются в университеты в погоне за дипломами, призванными принести их обладателям прочное и завидное положение в обществе, а затем спустя несколько лет они обнаруживают, что все это ничуть не продвинуло их в социальной иерархии. Ведь далеко не каждая пешка может, как Алиса в Зазеркалье, стать королевой; для большинства из них, попавших в жизненный переплет, будущее выглядит как в сказке — чем дальше, тем страшнее.

Жертвой этого «бега на месте» становятся и сами ученые. Пытаясь как-то совладать с нарастающей лавиной знаний, они максимально ограничивают объект своих исследований, предельно суживают круг своих научных интересов, но все равно не успевают следить за всей новой литературой, выходящей по их специальности, так что призыв «знать все больше и больше о все меньшем и меньшем» для массы специалистов превращается на практике в унылую констатацию: «Мы просто знаем все меньше и меньше».

Возрастание темпов поступательного хода истории стало теперь уже очевидной истиной. Доказывать ее — все равно что ломиться в открытые двери, и ученые ныне состязаются лишь в том, как наиболее ярко и впечатляюще изобразить эту истину и преподнести ее общественности.

Одним из первых это попытался сделать швейцарский инженер и философ Г. Эйхельберг в книге «Человек и техника»:

«Полагают, что возраст человечества равен примерно 600 000 лет, представим себе движение человечества в виде марафонского бега на 60 километров, который, где-то начинаясь, идет по направлению к центру одного из наших городов как к финишу. Большая часть 60-километрового расстояния пролегает по весьма трудному пути... только в самом конце, на 58—59-м километре бега, мы находим, наряду с первым орудием, пещерные рисунки как первые признаки культуры, и только на последнем километре пути появляется все больше признаков земледелия. За двести метров до финиша дорога, покрытая каменными плитами, ведет мимо римских укреплений. За сто метров наших бегунов обступают средневековые городские строения... Осталось только десять метров. Они начинаются при свете факелов и скудном освещении масляных ламп. Но при броске на последних пяти метрах происходит ошеломляющее чудо: свет заливает ночную дорогу, повозки без тяглового скота мчатся мимо, машины шумят в воздухе, и пораженный бегун ослеплен светом фото- и телекорреспондентов...» Ослеплен, но не утомлен и, не собираясь переводить дух, готов бежать дальше.

Еще более красноречивое сравнение предлагает Дж. Льюис Пауэлл, сопоставляющий 50 тысяч лет истории человечества (со времени появления кроманьонца, или Homo sapiens) с 50 годами жизни одного человека. Если мы воспользуемся данным масштабом, то окажется, что всего лишь десять лет тому назад этот человек переселился из пещеры в первое сделанное своими руками жилище; пять лет назад овладел грамотой; два с половиной года прошло с тех пор, как он познакомился с законами логики и механики; полгода назад он изобрел книгопечатание и узнал, что Земля, на которой он живет,— это шар, вращающийся вокруг Солнца; два месяца истекло с тех пор, как он построил паровую машину, а вскоре затем открыл электричество; три недели назад построил первый самолет, изобрел радио и задумался над теорией относительности; на прошлой неделе изобрел телевизор, атомный реактор и электронную вычислительную машину; три дня назад облетел вокруг Земли на космической ракете, а вчера уже впервые побывал на Луне.

Теперь Тоффлер предлагает нам другой масштаб — измерить те же пятьдесят тысяч лет числом поколений, сменивших друг друга на Земле, приравняв каждое из них к шестидесяти двум годам — средней продолжительности жизни человека в XX веке. И в этой иллюстрации Тоффлера умещается 800 поколений, а «подавляющее большинство всех материальных ценностей, с которыми мы сегодня имеем дело в повседневной жизни, было впервые создано на протяжении жизни нынешнего, 800-го поколения»; именно это поколение, по его выражению, «знаменует собой резкий разрыв со всем прошлым опытом человечества».

В наш век не только неизмеримо возросли темпы истории, но одновременно удвоилась также по сравнению с предшествовавшими эпохами средняя продолжительность жизни человека, которая достигла в наиболее развитых странах 70—75 лет. А это означает, что сейчас на протяжении жизни одного человека в мире совершается больше исторических событий, социальных преобразований и научно-технических

открытий, чем прежде за долгие столетия и даже тысячелетия. Поколение людей, родившихся на рубеже XIX и XX вв., бывшее свидетелем первого полета братьев Райт на самолете и первых опытов передачи сигналов по радио Попова и Маркони, сейчас созерцает на экранах цветного телевидения прогулку первых космонавтов по Луне.

В наш век Ускорение стало символом веры в прогресс, а бесконечная Спешка превращается в привычный ритм жизни. Говорят, что ни одно поколение не располагало таким количеством свободного времени, как наше. Но, наверное, никогда прежде не приходилось так часто слышать выражения «мне некогда», «я очень спешу», «у меня совсем нет времени»! Не удивительно, что все больше людей скептически воспринимает посулы «свободного времени» и возросшего досуга в будущем. Социологи скрупулезно подсчитали, что сейчас «средний человек» в экономически развитых странах **в течение года** совершает поездки на бóльшие расстояния, посещает больше мест, встречается с бóльшим количеством людей, получает больше информации и всякого рода впечатлений, чем у него их было в начале века на **протяжении всей жизни.** А поскольку количество ученых, научных публикаций, открытий и прочих нововведений имеет тенденцию удваиваться каждые 10—15 лет, то нам вряд ли удастся перевести дух в обозримом будущем: еще до конца столетия наш насыщенный переменами год сожмется до месяца...

Будет ли этому конец! — все чаще восклицают на Западе. Разве не превращается подобная бессмысленная погоня во многих случаях в призрачный прогресс: благодушные футурологи, например, соблазняют трудящихся четырехчасовым рабочим днем к концу нашего столетия, но «забывают» предостеречь, что к тому времени в условиях кризиса городского транспорта им придется, возможно, затрачивать еще 4 часа на дорогу в свое учреждение и обратно домой. С введением сверхзвукового авиатранспорта перелет из Европы в США сократится с 7 до 3 часов, но не возрастет ли с 3 часов до 7 время, затрачиваемое на то, чтобы попасть из города в аэропорт и обратно в место назначения,— об этом деликатно умалчивают. И такие парадоксы встречаются на каждом шагу: сейчас, например, почти в любую точку земного шара можно попасть в течение суток, однако иногда приходится ждать визы дольше, чем Филеасу Фоггу понадобилось в прошлом веке для того, чтобы совершить кругосветное путешествие. И когда глашатаи «общества изобилия» сулят, что в недалеком будущем многие товары массового потребления, еще недавно считавшиеся роскошью, станут столь же дешевы и доступны, как вода и воздух, в душу рядового человека, терроризованного инфляцией и экологическим кризисом, закрадывается веское подозрение, а не окажутся ли в скором времени для него и питьевая вода и чистый воздух почти недоступной роскошью.

Некоторые социологи утешают нас тем, что ускорение темпов жизни — временное явление, что научно-технический прогресс неизбежно захлебнется в собственных противоречиях. Выступая летом 1971 года на VIII Международном конгрессе истории науки в Москве, известный американский социолог Дерек де Сола Прайс, общепризнанный авторитет в данном вопросе, заверял, что удвоение объема знаний каждые десять лет не может продолжаться бесконечно, ибо тогда уже спустя несколько поколений количество ученых должно было бы превзойти численность населения земного шара, включая грудных младенцев.

С тревогой смотря в будущее, Юджин Рабинович в статье «Вздымающийся вал неразумия», опубликованной недавно в журнале «Сайенс энд паблик аффэрс», предостерегал: «Число людей, активно занятых в науке, стало удваиваться каждые десять лет, тогда как население передовых промышленных стран удваивается каждые 40—50 лет. С потоком научных публикаций уже невозможно справиться. Ясно, что так не может продолжаться до бесконечности. Неизбежно должны выравняться доля населения и ресурсов страны, «брошенных» в науку и технику. Но вместо постепенной стабилизации на горизонте появилось нечто более тревожное — волна антирационализма, бунт эмоциональных натур против дисциплины рационального, научного мышления».

Однако подобные предсказания, независимо от того, вызывают ли они вздох облегчения или же раздражения, следует воспринимать скептически. Очень многое из того, что происходит сейчас, определенно вызвало бы недоверие у наших далеких предков. Представим себе на минуту, что в середине XVIII века какому-нибудь американцу заявили, что его потомки через двести лет будут ежегодно в среднем путешествовать по 10 тысяч миль. С тем же основанием, что и Прайс, он мог бы сказать, что это физически невозможно, ибо тогда всем американцам пришлось бы путешествовать 365 дней в году по 50 километров в день и у них не осталось бы времени на заботы о хлебе насущном. Вряд ли стоит уподобляться этому недоверчивому американцу и полагать вообще невозможным все то, что выглядит для нас невозможным сейчас.

Ускорение поступательного развития общества — не скоропреходящее явление, которое, как утешают себя некоторые, надо лишь пережить, переждать. Это характерная черта современной эпохи, вызванная к жизни не только и даже не столько научно-техническим прогрессом, как полагает Тоффлер, сколько возрастающим вовлечением в активную историческую деятельность самых широких масс населения. От ускорения так же нельзя укрыться, как и от закона тяготения, с помощью какого-нибудь волшеб-

ного «кейворита», изобретенного Г. Уэллсом. Человек, решившийся бросить вызов научно-технической революции, вероятно, смог бы прожить жизнь, демонстративно не пользуясь никакими товарами, средствами сообщения и информации, изобретенными после его совершеннолетия, но ему бы не удалось укрыться от всеобщего ускорения темпов жизни. И ему не понадобилось бы прожить в отшельниках даже десяти лет, чтобы мир стал для него еще более чужд, чем для Рип ван Винкля, а он сам для него не нужен.

Наглядное представление о том, как уплотнилось «историческое время» в наш век, дает следующее сопоставление нашей революционной эпохи с предшествовавшим переходом от средневековья к новому времени, сопровождавшимся Возрождением в культуре (конец XV — начало XVII вв.), великими географическими открытиями (конец XV—XVIII вв.), реформацией (XVI—XVII вв.), промышленной революцией (конец XVIII—начало XIX вв.), буржуазно-демократическими революциями (конец XVI—XIX вв.). Сейчас аналогичный исторический переворот в технологии производства и освоении пространства, в социальных отношениях и мировоззрении людей, прежде растянувшийся на четыре долгих столетия и расчлененный во времени, укладывается в стремительные десятилетия одного XX столетия. После разгрома Великой Армады и временной утраты самостоятельности Португалией понадобилось почти 250 лет, чтобы испанские и португальские колонии в Латинской Америке освободились от своих метрополий и обрели политическую независимость. От Британской же и других колониальных империй почти не осталось следа на карте уже 25 лет спустя после второй мировой войны.

Жизнь непрерывно вносит свои веские коррективы в самые изощренные футурологические прогнозы. И наученный чужим опытом (в частности, Германа Кана) Олвин Тоффлер не только предусмотрительно ограничивается в своей книге анализом тенденций, воздерживаясь от количественных прогнозов, но считает нужным специально заметить: «Ни один серьезный футуролог не занимается «предсказаниями». Это занятие для телевизионных оракулов и газетных астрологов. Ни один человек, сколько-нибудь знакомый со сложностями прогнозирования, не претендует на абсолютное знание будущего.... Каждое заявление в отношении будущего должно, по справедливости, сопровождаться квалифицированными оговорками «если», «но» и «с другой стороны».

Его предусмотрительность, как подтвердили события, не была излишней. Не прошло и года после выхода книги Тоффлера, как многие из описанных им социальных явлений приобрели несколько иную окраску. «Экономический спад, например, уже задержал или обратил вспять некоторые из тенденций будущего, о которых столь красочно писал Тоффлер,— иронически констатирует Роберт Склар в журнале «Рэмпартс».— Он придавал большое значение конкуренции между авиационными компаниями, стремящимися соблазнить своих клиентов оформлением полета с помощью фильмов и изысканной кухни, иначе говоря, предлагающих им скорее «приключение», чем простой перелет. Но сокращение доходов и огромные затраты на капиталовложения в аэробусы заставили авиакомпании урезать расходы на еду и прочий лоск. Подобным же образом нарисованная Тоффлером радужная картина жизни инженера, наслаждающегося «футуристическим стилем» жизни, была радикально изменена сокращением занятости в аэрокосмической промышленности. Экономические условия могут отложить и даже отменить пришествие нового мира, описанного Тоффлером, и шок от столкновения с настоящим занимает место шока от столкновения с будущим». Так что утверждение Тоффлера об удвоении промышленного производства каждые 15 лет в развитых капиталистических странах выглядит сомнительной экстраполяцией.

Не станем, однако, вменять в вину Тоффлеру то, что он не смог предвидеть многие конкретные события и явления, происходящие сейчас в США. И для того, что он сделал, нужен был незаурядный талант и огромное трудолюбие. При всех недостатках и недомолвках, его книга в целом — увлекательное и поучительное социологическое произведение, представляющее большой интерес и для советского читателя.

Книга Тоффлера глубоко полемична по своему содержанию. Хотя он и не всегда прямо называет своих оппонентов по имени, тем не менее даже беглое знакомство с футурологической литературой позволяет легко понять, кого он имеет в виду. Ибо речь идет о двух широко распространенных на Западе идейных течениях, придерживающихся весьма крайних, если не диаметрально противоположных, взглядов насчет грядущих последствий научно-технической революции. С одной стороны, это пессимистические концепции Жака Эллюля и Льюиса Мэмфорда, предрекающие человечеству порабощение техникой и утрату свободы в мире тоталитарной рациональности; с другой — концепция так называемой «социальной технологии», представители которой восторженно усматривают в современной науке и технике всемогущее средство избавления от социального зла и несправедливости. При всем различии в исходных посылках, в доводах и в выводах и тем и другим, однако, присущ своеобразный технологический фатализм, о котором французский социолог Бертран де Жувенель писал: «Жизнь в западном обществе проходит под знаком нового фатализма, убеждения в том, что наше будущее предопределено независимым от нас действием сверхчеловеческой силы, чья почти божественная природа подтверждается преклонением перед ней капитала, а именно — Технологией. Она извергает на нас блага по своему собст-

венному усмотрению и предъявляет нам требования, от которых мы не смеем уклониться. Подобно мифической колеснице Джагернаута, она прокладывает путь будущему, попирая нас, если мы оказываемся на ее пути, и вознося нас от успеха к успеху, если мы следуем за ней. Таким образом, технология олицетворяет собою идола, который щедро одаряет своих поклонников, не подвергающих сомнению ее поступательное движение».

Как это ни парадоксально, восклицает де Жувенель, но наша приверженность к науке, наш рационализм, кажется, ничуть не подорвал унаследованную от прошлого склонность к суеверию, к предрассудкам. Мы выглядим, пожалуй, даже большими идолопоклонниками, чем наши далекие предки, наивно обожествлявшие силы природы, ибо последние все же были вне их контроля, тогда как технология является творением наших рук и ее развитие зависит от наших намерений и решений. Техника, отмечает он, в конце концов — всего лишь средство для достижения определенных социальных целей. Именно этой точки зрения придерживается в своей книге и Олвин Тоффлер, хотя ему часто недостает последовательности во взглядах и изменяет политический реализм.

Прежде всего, он решительно отвергает попытки возложить на науку и технику ответственность за социальные противоречия и конфликты современного западного общества. Ему нельзя отказать в убедительности, когда он отмечает, что однажды сделанное изобретение уже невозможно «разизобрести» и, следовательно, надо не только считаться с ним, но по возможности извлечь из него всю пользу. Так или иначе, убежденно заявляет он, «мы можем влиять на ход изменений. Мы можем предпочесть одно будущее другому. Мы, однако, не можем удержать прошлое». Поступательный ход научно-технического прогресса не только исторически неизбежен, но и потенциально благотворен для человечества, если оно сможет разумно им распорядиться в своих интересах. Благодаря достижениям науки и ее технологическому применению отныне не для ограниченного меньшинства, а практически для всех людей, наконец, возникла вполне обоснованная надежда на избавление от нужды и лишений, на жизнь в материальном достатке и свободный доступ к духовным ценностям и научным знаниям, накопленным цивилизацией.

Современный мир, как справедливо считает Тоффлер, страдает отнюдь не от избытка технологии, а от ее вопиющего недостатка: десятки миллионов людей подвержены наследственным заболеваниям и умирают преждевременной смертью потому, что еще не открыты эффективные средства их излечения; сотни миллионов людей в мире недоедают, бедствуют, остаются неграмотными не только вследствие эксплуатации, но и из-за крайне низкой производительности труда. Возвращение к патриархальным условиям, как бы их ни идеализировали, означало бы возвращение к периодическим голодовкам, к массовым эпидемиям, к изнуряющему физическому труду, к огромной детской смертности и т. д. «Итак,— заключает Тоффлер,— вопреки всей антитехнологической риторике Эллюлей и Фроммов, Мэмфордов и Маркузе, как раз сверхиндустриальное общество, наиболее развитое технологическое общество из когда-либо существовавших, расширяет пределы свободы. Люди будущего будут пользоваться бо́льшими возможностями для раскрытия своих способностей, чем какая-либо группа людей в прошлой истории». Социальная критика существующих недостатков приобретает прогрессивный смысл только тогда, когда она ведется с позиций лучшего будущего, а не сопровождается вздохами по идеализируемому прошлому. В противном случае она превращает обличителя социальных пороков цивилизации в честертоновского нового Дон-Кихота, воюющего против... компьютеров.

Главным объектом критики Тоффлера, однако, является концепция «социальной технологии», претендующая на роль провозвестницы будущего. Наиболее последовательно и недвусмысленно она изложена в книге видного американского футуролога Олафа Хелмера «Социальная технология», а также в статьях и выступлениях Олвина Вейнберга, который в речи по случаю присуждения ему премии в Чикагском университете следующим образом сформулировал свое кредо: коль скоро социальные проблемы не поддаются непосредственному воздействию путем изменения поведения людей, технология призвана стать тем мечом, который разрубит гордиев узел социальных противоречий. Смысл «социальной технологии» в изложении Вейнберга состоит в том, чтобы найти «обходные пути» решения различных противоречий в обществе, не прибегая к глубоким социальным преобразованиям и не затрагивая интересы и предрассудки сколько-нибудь значительных слоев населения. Зачем, вопрошает он, преследовать пьяных водителей автомашин, не проще ли вмонтировать специальные технические устройства, предотвращающие запуск, когда за руль садится пьяный? Стоит ли биться над решением расовой проблемы в США, демагогически восклицает Герман Кан, ведь легче и дешевле изобрести средство для депигментации негров? Нужны ли международные соглашения для предотвращения случайного возникновения термоядерной войны, если, как убеждают эксперты Пентагона, можно изобрести техническую систему, заведомо исключающую подобные случайности?

Концепция «социальной технологии», пользующаяся растущей популярностью в США, пришла в конце 60-х годов на смену концепции «социальной инженерии», которая доминировала в американской социологической литературе на протяжении нескольких десятилетий как «теория человеческих отношений». Многочисленные сторон-

ники последней ставили своей целью непосредственное влияние на сознание и поведение человека в угодном для правящего класса направлении, чтобы предотвращать нежелательные отклонения от «нормы», принятой в обществе, как в процессе производства, так и в повседневной жизни. Объектом «социальной инженерии» был непосредственно человек, а главным средством воздействия — манипуляция его сознанием с помощью психологического внушения. Эта концепция была практическим, прикладным воплощением буржуазного либерализма и умеренного социального реформаторства. В отличие от нее «социальная технология» выражает технократические устремления представителей современного государственно-монополистического капитала, в значительной мере разочаровавшихся в реформизме, изверившихся в возможности внушить массам такое поведение, которое не вытекало бы непосредственно из их интересов. Вот почему основная установка «социальной технологии» состоит в том, чтобы заставить людей косвенно, с помощью тщательно разработанной системы технических средств, вести себя определенным образом, независимо от их непосредственных желаний. Конечно, на практике эта концепция еще не означает отказа от «социальной инженерии» и выступает в качестве ее все более широкого дополнения.

Вот почему, ополчаясь на «социальную инженерию», поборники «социальной технологии» сейчас передергивают карты и демагогически утверждают, что имеют в виду не робкие реформистские начинания в рамках капиталистического общества, с которыми они благополучно уживаются, а социальные преобразования вообще и в первую очередь — теорию научного коммунизма, представляющую в их глазах наиболее радикальную форму «социальной инженерии». Тем самым теоретическое содержание концепции «социальной технологии» приобретает совершенно явное антимарксистское содержание, и научно-техническая революция недвусмысленно противопоставляется социалистической революции, освободительному движению трудящихся. Об этом прямо пишет в статье «Может ли технология заменить социальную инженерию»?» Олвин М. Вейнберг: «Технические достижения обеспечили массовое производство товаров, которое позволило нашему капиталистическому обществу достичь многих целей марксистской социальной инженерии без прохождения через социальную революцию, которая, согласно Марксу, была неизбежна».

Концепция «социальной технологии» исходит, следовательно, из увековечения существующих антагонистических отношений, из незыблемости социального статус-кво. Для ее поборников общественные противоречия свидетельствуют лишь о недостатке научного знания об обществе, а конфликты и потрясения бросают вызов не социальной системе, но нашему интеллекту. Любая социальная проблема, уверяют они, может быть преобразована в технологическую, и для нее затем со временем может быть найдено техническое решение.

Тоффлер, надо воздать ему справедливость, подвергает подобные представления резкой, хотя и не всегда последовательной, критике. Он не только отклоняет несостоятельные претензии технократов вершить судьбами общества, но и подчеркивает вместе с тем, что проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты в процессе научно-технической революции, являются социально-политическими и не могут быть сведены к технологическим. «Вот почему,— заявляет он,— проблемы техники нельзя больше решать исключительно в технологических рамках. Это политические проблемы. Более того, они затрагивают нас глубже, чем большинство поверхностных политических вопросов, занимающих наше внимание сегодня. Вот почему мы не можем и дальше принимать технологические решения по-старому... Нельзя допускать, чтобы они диктовались только текущими экономическими соображениями. Недопустимо, чтобы их принимали в политическом вакууме. Мы больше не можем от случая к случаю возлагать ответственность за подобные решения на бизнесменов, ученых, инженеров или администраторов, которые не отдают себе отчета в том, сколь глубоки могут быть отдаленные и побочные последствия их собственных действий».

Научно-техническая революция, продолжает он, не может уместиться в рамках существующей социальной системы. Наивно полагать, будто все наши беды вызваны тем, что «техника вышла из-под контроля»; из-под контроля вышло общество в целом, так что речь идет отныне не об «укрощении техники», но о необходимости глубоких социальных преобразований. «Если мы не осознаем этого, мы разрушим себя в попытках справиться с будущим»,— заявляет Тоффлер. Обращаясь к читателям, он призывает их перестать цепляться за отжившие взгляды, за традиционные социальные институты и привычный образ жизни: «Мы создаем новое общество. Не измененное общество. Не расширенный и укрупненный вариант нашего нынешнего общества. Нет, новое общество». Это общество будет не только сверхиндустриальным; оно вместе с тем будет и «послекапиталистическим», ибо в нем утратит смысл само понятие частной собственности, а производство ради прибыли будет выглядеть анахронизмом. «Что произойдет с экономикой,— вопрошает он,— когда, похоже, вся концепция собственности будет сведена к бессмыслице?»

Тоффлер, несомненно, усвоил и отразил в своей книге некоторые элементы радикальной, антикапиталистической критики существующей социальной системы в США со стороны «новых левых». Однако эта критика в целом носит у него просветительский, народнический характер, который становится очевидным, как только он переходит к изложению своей позитивной программы. Отсутствие политического реа-

лизма он пытается восполнить социологическим воображением, а иногда и просто словотворчеством, а в ряде случаев и сам платит дань технологическому детерминизму. И хотя он не ограничивается лишь мечтами о лучшем массам будущем в качестве альтернативы «уготованному будущему», которое пытаются навязать технократы, тем не менее его политическая программа исчерпывается, в сущности, призывом «пойти в народ» и положить начало «непрекращающемуся плебисциту» о возможных путях общественного развития. Он отчасти и сам отдает себе отчет в наивности и утопичности многих своих предложений, и ему не остается ничего другого, как возлагать надежды на демократические традиции и учреждения американского народа.

Конечно, эти традиции и соответствующие им социальные институты, включая принцип разделения властей и представительную систему, далеко не исчерпали свои исторические возможности и перспективы, связанные с социальными преобразованиями. Однако их потенциальная роль в предстоящей борьбе американского народа за лучшее будущее сама зависит от перипетий массового освободительного движения в стране, от хода и исхода предстоящих социальных конфликтов. Без глубокого анализа соотношения классовых сил в стране предлагаемые Тоффлером варианты будущего утрачивают характер социальных альтернатив; вместо выбора между принципиально различными «образами жизни» читателю приходится довольствоваться сомнительным выбором между многочисленными, конкурирующими «стилями жизни», которые, как он справедливо подозревает, рискуют все оказаться эфемерными.

Следует заметить, что книга Тоффлера написана в основном на американских материалах и трактует по преимуществу «американские сюжеты». Даже в странах Западной Европы, не говоря уже о Японии, многие социальные проблемы, сопровождающие научно-техническую революцию, преломляются сквозь иную конкретно-историческую призму экономических, социальных, политических и культурных отношений. И это обстоятельство объясняется далеко не одним лишь различием в уровне технологического развития. Сам Тоффлер как автор предисловия к недавно вышедшей книге «Социальные ценности и будущее», в которой приняли участие ведущие западные футурологи, хорошо понимает, что различия между викторианской Англией и современной Японией, между предвоенной Швецией и Испанией наших дней никак не могут быть сведены к уровню достигнутого ими экономического и технического развития. Социальные проблемы, с которыми в недалеком будущем столкнутся остальные развитые капиталистические страны, могут быть аналогичными текущим противоречиям и конфликтам в Соединенных Штатах, но они заведомо не будут идентичными.

Но если это справедливо по отношению даже к странам, принадлежащим к одной социальной системе, то тем большее возражение вызывают встречающиеся в книге попытки обобщить социальные последствия научно-технической революции, независимо от характера социальных систем — капитализма и социализма.

Согласно Тоффлеру, различия между индустриальным и сверхиндустриальным обществом затмевают различия между капитализмом и коммунизмом. Мы могли бы — книга в целом дает для этого основания — рассматривать немногочисленные его высказывания на этот счет как словесную дань модной ныне на Западе теории конвергенции. Но сути дела это не меняет. Характерно, что журнал «Америка» акцентировал именно на них внимание в одном из своих последних номеров. Вот почему на этом необходимо остановиться, особо подчеркнув, что воздействие научно-технической революции на общество зависит от господствующих в нем социальных отношений.

Современная научно-техническая революция — неотъемлемая составная часть глубокого социального переворота нашей эпохи, который завершится переходом всего человечества от антагонистического общества к социальной справедливости. Ее историческая роль состоит в создании материально-технической базы и объективных предпосылок для изобилия жизненных благ и всестороннего развития личности. Однако этот процесс происходит в своеобразных конкретно-исторических условиях сосуществования и соревнования различных социально-экономических систем.

Как подтверждает история, технологические перевороты, аналогичные научно-технической революции, обладают известной, относительной самостоятельностью во взаимодействии с общественным строем: они могут как предварять переход к новому общественному строю, так и непосредственно следовать за политической революцией. Промышленная революция XVIII—XIX веков в Англии, Нидерландах и США, например, совершилась уже после того, как пришла к власти буржуазия, тогда как в Германии и ряде других стран она предшествовала буржуазно-демократическим преобразованиям. В этом втором случае технологический переворот сопровождался резким обострением противоречий старого, исторически изжившего себя строя. Именно это происходит сейчас в развитых капиталистических странах, где научно-техническая революция усиливает неустойчивость всей социально-экономической системы. Капиталистическая система не в состоянии ни предвидеть долговременные социальные последствия технологического переворота XX века, ни тем более поставить их под общественный контроль в интересах широких масс населения. Но в подобных случаях, как гласит «принцип Питера», «если вы не знаете, куда идете, то, вероятнее всего, попадете туда, куда и не рассчитывали попасть». Под воздействием научно-технической революции капиталистическая система все больше превращается в эфемерную цивилизацию.

Хотя это прямо и не входило в намерения Тоффлера, содержание его книги подтверждает марксистский вывод о том, что научно-техническая революция в конечном счете не сможет уместиться в исторических рамках капитализма. Приведенные им конкретные факты и примеры подтверждают, что она чем дальше, тем больше ускользает из-под контроля общества, становится стихийным, неуправляемым социальным процессом, который грозит бедствиями населению, увеличивает неуверенность в будущем, чреват неразрешимыми конфликтами и катастрофическими потрясениями. «Можно ли жить в обществе, вышедшем из-под контроля? — восклицает он.— Этот вопрос неизбежно встает перед нами при мысли о грядущем столкновении с будущим. Даже если бы на свободу вырвалась одна только техника, то и тогда наши проблемы были бы достаточно серьезны. Однако неумолимый факт состоит в том, что многие другие социальные процессы также начинают становиться неуправляемыми, противятся всем нашим попыткам совладать с ними».

Известное «технологическое сходство» капитализма и социализма в наши дни порождено отнюдь не предстоящим «схождением» этих различных социальных систем, как уверяют сторонники теории конвергенции, а исторически преходящим стечением обстоятельств. Дело в том, что социализм, идущий на смену изжившему себя капитализму, первоначально победил не в передовых, а в экономически сравнительно отсталых странах и в ходе своего развития был вынужден испытать самые опустошительные войны в истории. Вследствие этого социалистические страны только сейчас нагоняют передовые капиталистические страны в экономическом отношении, и этот процесс совпал во времени с начавшейся в мире научно-технической революцией. По мере того, как социалистические страны в своем движении к коммунизму оставят позади наиболее развитые капиталистические страны, канет в историю и временное «технологическое сходство» между ними, на котором спекулирует теория конвергенции. Технология, в конце концов,— это пусть могущественное, но все же лишь средство человеческой деятельности, которое в различных социальных системах служит разным общественным целям, исключающим друг друга социальным ценностям и идеалам. В конечном счете, научно-техническая революция ведет не к схождению, а к расхождению, то есть не к конвергенции, а к дивергенции различных социальных систем. Это вынужден признать и сам Тоффлер, когда отмечает возрастающий и «разительный контраст между обществом, осуществляющим свое техническое развитие избирательно, и обществом, которое бездумно использует первую же подвернувшуюся возможность».

Контраст между социальными последствиями современного технологического переворота при капитализме и социализме становится все более очевидным. В то время как XXIV съезд КПСС поставил историческую задачу **«органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства»**, книга Тоффлера убедительно раскрывает, какими отрицательными последствиями сопровождается анахроническое соединение научно-технической революции с недостатками и пороками антагонистической социальной системы. Вместо всестороннего развития личности — сведение ее к взаимозаменяемой частице, к «человеческому модулю» не только на производстве, но даже в семье и кругу друзей; вместо реального материального изобилия — «цивилизация на выброс»; вместо уверенности людей в своем общественном положении и осуществлении своего призвания — «ошеломление будущим».

Как отмечал Л. И. Брежнев на международном Совещании коммунистических и рабочих партий в 1969 г., «широкое развертывание научно-технической революции стало одним из главных участков исторического соревнования между капитализмом и социализмом». В этом соревновании Советский Союз продемонстрировал миру выдающиеся достижения и успехи. «Но, говоря об этих успехах,— продолжал Л. И. Брежнев,— мы не хотим преуменьшать силы тех, с кем приходится соревноваться на научно-техническом поприще. Борьба здесь предстоит длительная и трудная. И мы исполнены решимости вести ее всерьез, чтобы доказать превосходство социализма и в этой области. Это отвечает не только интересам строительства коммунизма в нашей стране, но и интересам мирового социализма, интересам всего революционного и освободительного движения». Исход этого исторического соревнования определяется не столько тем, чьи машины окажутся лучше, сколько тем, кто лучше сможет обратить их на пользу общества, на благо человека.

Научно-техническая революция, как об этом свидетельствует и книга Тоффлера, все туже затягивает гордиев узел экономических и социальных противоречий современного капитализма. Технологический меч, о котором мечтают Олвин Вейнберг и прочие поборники «социальной технологии», бессилен разрубить этот узел. В условиях антагонистического общества современная технология, скорее, уподобляется дамоклову мечу, напоминающему об опасности опустошительной термоядерной войны, о неустойчивости эфемерного процветания, о неуверенности масс в будущем и призрачности их надежд на социальную справедливость. Гордиев узел капиталистических противоречий может быть рассечен не технологическим мечом, а мечом освободительной социальной революции, который история вложила в руки прогрессивных сил общества.

Изобразительное искусство за рубежом

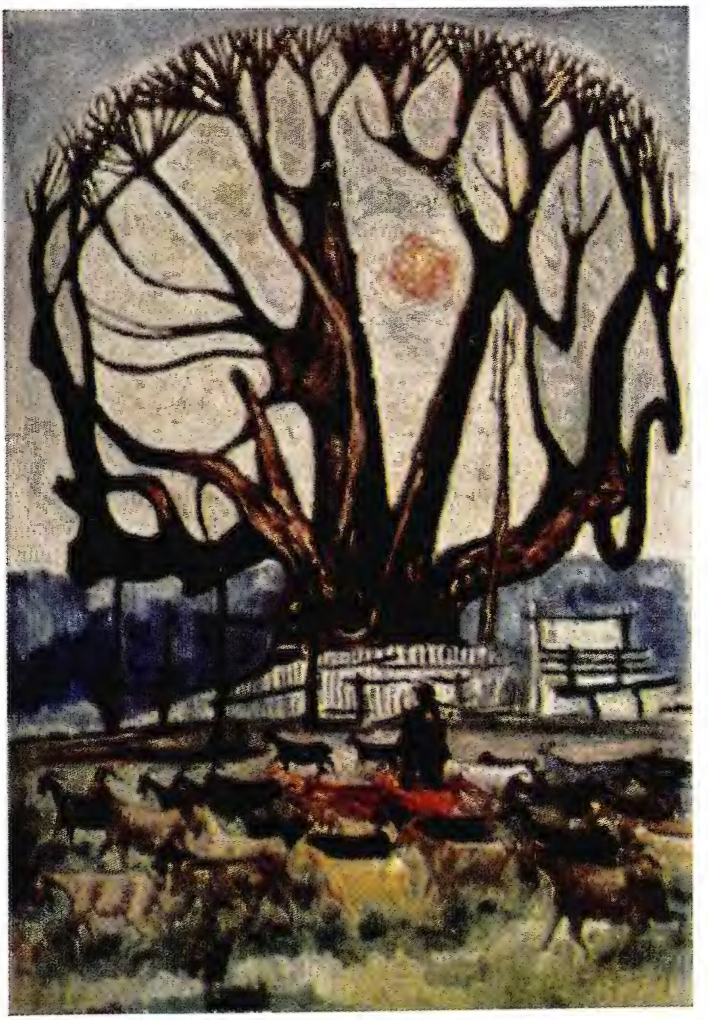
Болгарский художник Злато Бояджиев

Косари.

Дождь.

Пейзаж.

Деревня Святой Спас.



Старая чинара.

Диптих. Автопортрет и портрет жены.

Культура и современность

Заметки на полях

САМОКРИТИКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛА

Перед левой интеллигенцией Запада в последние годы встала проблема, глубоко волнующая умы и вызывающая острейшие споры. Речь идет о самом главном: о роли и месте творческой интеллигенции в современном мире, о задачах литературы и искусства в условиях зрелого капитализма.

На протяжении почти всего 1971 года на страницах органа Итальянской коммунистической партии, еженедельника «Ринашита», велась на эту тему широкая дискуссия. Началом и непосредственным поводом для дискуссии явился выход в свет книги известного критика-коммуниста Джан Карло Ферретти под броским заглавием «Самокритика интеллектуала». Дискуссия, отчасти перебросившаяся и на страницы других журналов, дает возможность судить об особенностях «итальянского варианта» проблемы, обусловленных спецификой развития капитализма в этой стране, национальными традициями и историческим опытом. (Не следует забывать о том, что Италия прошла через черное двадцатилетие фашизма и что многим интеллектуалам старшего и среднего поколения до сих пор приходится «сводить счеты» с прежней реальностью.)

Прошло четверть века с тех пор, как понятие «impegno» [1] категорическим императивом вошло в сознание левой итальянской интеллигенции. В основе этого понятия лежит тезис о том, что культура вовлечена в живой социально-исторический процесс. Интеллигент не имеет права укрываться от бурь своего времени, он обязан быть одновременно деятелем культуры и борцом, который вместе со своими единомышленниками участвует в перестройке мира. Иначе говоря, он должен сделать тот личный выбор, от которого отказываются сторонники так называемого «чистого искусства». Эти добровольно принятые на себя нравственные и гражданские обязательства художника, не желающего стоять «над схваткой», и выражены в емком слове «impegno».

На протяжении четверти века менялась действительность, менялось и содержание понятия «impegno». В Италии произошли глубокие структурные преобразования, она стала индустриально-аграрной страной, итальянский капитализм вступил в свою технологическую фазу, возникли противоречия и диспропорции, присущие этой фазе. Проблема «исторического блока», который, сплотившись вокруг рабочего класса, сможет осуществлять общие цели антикапиталистической борьбы, приобрела новые грани, и это в большой мере коснулось положения и роли интеллигенции в обществе.

В шестидесятых годах в Италии много спорили о роли литературы и о задачах писателя, хотели проникнуть в «индустриальную реальность», думали о возможностях создания уже сегодня ценностей социалистической культуры. Конец шестидесятых годов ознаменовался резким обострением классовых противоречий. С одной стороны, происходил большой рост организованного рабочего движения, знаменовавшийся все возрастающей тягой к единству. С другой стороны, буржуазия перешла в контрнаступление, в частности в области идеологии. Оно выражалось различно, но надо отметить самое главное: литературу стремились максимально нейтрализовать; оппозиционно настроенную интеллигенцию по возможности интегрировать; развивать при помощи средств массовой информации тип культуры, безопасный для «системы», поощряя в то же время литературу и искусство для элиты.

[1] Буквально: обязательство, обещание *(итал.)*.

В конце шестидесятых годов возникло бурное движение «контестации», опять-таки не специфически итальянское, но принявшее в Италии своеобразные формы. Слово «контестация» можно перевести как оспаривание, возражение, протест. Движение, пестрое, разнохарактерное, охватило различные слои, причем впервые в качестве новой социальной силы выступила студенческая молодежь, которая подвергла сомнению решительно все традиционные ценности — морали, культуры, искусства. На этом фоне споры о роли интеллигенции приобрели новое качество, в них порой возникали апокалипсические интонации. Некоторые группы, участвовавшие в контестации, глобально перечеркивали всю культуру, ибо она «скомпрометирована своими связями с системой», а деятели культуры виновны в том, что «соглашаются на компромиссы, ведут полемику, служащую целям мистификации, устраивают себе преступное алиби» и тем самым создают путаницу, мешающую борьбе.

Вот в момент, когда договорились до таких вещей, и вышла книга Ферретти, страстная, резкая и спорная, вызвавшая весьма темпераментные дебаты. Ферретти не ставил перед собой теоретических задач. (Хотя само понятие «интеллигенция», безусловно, нуждается в теоретическом уточнении, ибо оно изменилось по сравнению с тем временем, когда Грамши писал о максимальных границах понятия «интеллигент».) Он выбрал несколько узловых вопросов, в частности, о классовой позиции интеллигента и о том, каким сегодня предстает в Италии институт литературы; статус писателя он рассматривает не изолированно, а в связи со всей сложной и противоречивой диалектикой классовых битв.

В дискуссии, которая развернулась на страницах «Ринашиты», приняли участие прозаики, поэты, критики, эссеисты, социологи — люди, пользующиеся большой известностью, и менее известные широкой публике. «Ринашита» предоставила возможность высказаться и коммунистам, и социалистам, и деятелям культуры, формально не примыкающим ни к одной партии, но считающим себя марксистами и революционерами.

Итак, есть ли в сегодняшнем итальянском обществе место для интеллектуала и возможно ли создание настоящих художественных ценностей? Иными словами, могут ли писатели, пользуясь специфическими средствами своего искусства, вносить вклад в антикапиталистическую борьбу и можно ли в рамках неокапиталистического общества, где издательства, журналы, средства массовой информации в лучшем случае нейтральны, а чаще враждебны, эти ценности создавать и доносить до того читателя или слушателя, которому они предназначены?

Чуть-чуть схематизируя (ибо невозможно в кратких заметках обозначить все оттенки), скажем, что водораздел проходит именно по этой главной линии: возможна ли, эффективна ли работа революционной творческой интеллигенции и какова ее подлинная роль. Студенческий журнал «Омбре россе» («Красные тени») пишет, например:

> «В буржуазном обществе культура не может быть пролетарской и революционной. В буржуазном обществе культура, даже если она присоединяется к прогрессивной традиции внутри буржуазной культуры и ставит своей целью протест против системы и разоблачение ее, все равно всегда останется буржуазной».

Против такого догматического и примитивного тезиса сейчас даже нет смысла спорить. Эта обширная тема имеет много действительно важных аспектов, вокруг которых по-настоящему и сосредоточилась дискуссия. Один из них — то, что итальянцы называют tempi brevi — tempi lunghi (близкое будущее — отдаленное будущее). Иначе говоря, вопрос о том, существует ли непреодолимое различие между конкретными задачами сегодняшнего дня, которыми обязан заниматься левый писатель, и созданием духовных ценностей, важных, быть может, только для отдаленного будущего. Это непосредственно связано с кризисом традиционного понятия культуры. Сам Ферретти пишет:

> «Открылся неразрешимый кризис. Отныне невозможно не сознавать двусмысленность старого понятия автономии (культуры). И сознавая это, необходимо сделать должные выводы, даже рискуя совершить ошибки».

Все участники дискуссии согласны с тем, что представление о писателе как о жреце или пророке, представление о литературе как об автономной сфере принадлежит прошлому. Идею чистого искусства не поддерживает никто из левой итальянской интеллигенции.

Другой аспект темы — «больная совесть» творческой интеллигенции, своего рода комплекс вины, связанный со взаимоотношениями между интеллигентами и «массами» (заметим, что массы предстают довольно туманно, скорее как метафизическое понятие). Но комплекс вины приводит некоторых людей к самым крайним выводам, смыкающимся с сартровской идеей самоуничтожения интеллигенции. К этой безумной идее участники дискуссии относятся по-разному. Так, Марио Лунетта заявляет, что

> «никто ни от кого не требует такого жестокого самоуничтожения. В самом деле, мученичество, каким бы оно ни было благородным,— бесполезнейшая из всех бесполезных вещей нашего времени».

Вполне здраво сказано, но тот же Лунетта и некоторые другие не видят для левого интеллектуала реальной возможности обрести синтез, ибо его творческие интересы и политический долг якобы зачастую противостоят друг другу.

А почему, собственно, они должны противостоять? Тут мы попадаем в настоящую логическую ловушку. Вот как идет мысль: интеллигенты, обладающие большой суммой знаний, естественно, тяготеют к «вечным» общечеловеческим ценностям. Однако фактически в классовом обществе что бы писатели или художники ни создавали, все равно они служат «частным» (то есть классовым) интересам. Пусть левые интеллигенты участвуют в оппозиции, ставят свою подпись под воззваниями, примыкают к партиям рабочего класса. Все равно свои произведения они печатают в буржуазных издательствах, а раз так — они работают на буржуазию. Как видим, такой ход мыслей не очень далек от довода журнала «Омбре россе».

Против такой аргументации выступает Марио Спинелла:

> «Это звучит парадоксально, но можно ли требовать от рабочего, чтобы он отказался работать на заводе потому, что это работа для буржуазии, для капитала? Парадоксально, повторяем, ибо ничто в аргументации Ферретти и других не доказывает «буржуазного» характера литературы, производимой внутри буржуазной системы. Разве что метафорически, и это все равно что a priori назвать произведения Маркса буржуазными, ибо они тоже созданы внутри этой буржуазной системы».

Тут мы подходим к третьему аспекту проблемы: к классовому положению писателя в современном буржуазном обществе. Так как общество это по природе своей противоречиво и самое главное противоречие заключается в том, что оно порождает рабочее движение, которое против этого общества борется, то, по убеждению Спинеллы, если писатель, по случайному стечению обстоятельств, не земельный собственник, не капиталист и не рантье — он пролетарий. Писатель должен определить свое отношение как к буржуазии, так и к рабочему движению. «Отчуждение» писателя носит иной характер, нежели отчуждение рабочего, и это — особая тема, требующая глубокого теоретического осмысления. Никто не может отрицать, продолжает Спинелла, что в отношениях между рабочим движением и интеллектуалами существуют известные трудности. Однако все разговоры о самоликвидации интеллигенции и литературы — абсурд.

Спинеллу вежливо, но вполне ясно упрекнули в старомодности, хотя само это слово не было произнесено. Ему возразили, что по сравнению с эпохой Маркса и Энгельса времена изменились. Тот же Лунетта считает вполне естественным, что Спинелла защищает серьезную и высококачественную литературу, он согласен и с тем, что не существует готовых рецептов, которые можно было бы предложить революционным писателям, и все же, по его мнению, Спинелла недостаточно энергично говорит об «альтернативной», то есть небуржуазной, культуре. Вывод, к которому приходит Лунетта, звучит так:

> «Спасение литературы не заложено в ее собственном лоне. Оно параллельно и переплетено со спасением всего мира. Если литература осуществляет только эстетическую функцию, создавая прекрасное, если она не разоблачает и не борется против капитала, страдающего манией величия,— то все ее существование основано на сообщничестве».

Этот довод мог быть вполне уместным, если бы Лунетта оспаривал взгляды представителей традиционной интеллигенции, которые все еще сводят функцию литературы к созданию прекрасного. Мне кажется, однако, что итальянцы, пережившие в начале XX века культ этого «прекрасного» (вспомним Д'Аннунцио и все, связанное с его влиянием на литературу и нравы), пережившие фашизм и прошедшие через Сопротивление и опыт неореализма, вряд ли склонны сегодня удовлетворяться такой эстетической формулой. Дело, по-моему, не в ней. Дело в объективно существующих трудностях и противоречиях, и Ферретти не случайно пишет о том, что многие итальянские интеллигенты, и в том числе писатели, приходят к горькому убеждению, что литература внутренне неспособна оказывать сопротивление «угнетающей неокапиталистической реальности».

Против таких настроений энергично высказался А. Леоне Де Кастрис. Он считает все рассуждения о смерти культуры неприемлемыми для марксиста. Разговоры о собственной бесполезности — это бессмысленное «нытье». Кроме всего прочего, это несерьезно. В обществе развитого капитализма происходит процесс трансформации и деградации интеллектуального труда, который и приводит к тому, что многие интеллигенты, находящиеся в стадии пролетаризации, уже отошедшие от своего класса, но еще органически не включившиеся в иную социальную среду, испытывают глубокое смятение и не находят ничего лучшего, как твердить о необходимости саморазрушения, о том, будто культура вообще не может играть революционной роли. Де Кастрис называет такой ход мысли идеалистической псевдодиалектикой:

> «Убедительный ответ на процесс деградации, который объективно существует и неопровержимо доказывает кризис буржуазной культуры и исторически

образующуюся пустоту (ее призван заполнить научный социализм), ни в коем случае не основан на тщетном отстаивании автономии культуры. Но это также решительный отказ от противоположного, лишь мнимодиалектического решения: от идеологии «смерти культуры», которая механически приносится в жертву на алтарь немедленных задач практической политики, превращенных в миф».

Надо понять объективные законы развития общества и развития классовой борьбы, продолжает Де Кастрис, и тогда станет очевидным, что между культурой и политикой нет противопоставления: и та и другая являются взаимосвязанными аспектами общего дела, возглавляемого рабочим классом. Только так надо рассматривать соотношение политика — культура. Добавим к размышлениям Де Кастриса, что все это опять-таки связано с проблемой «близкое будущее — отдаленное будущее». Ферретти очень основательно ее анализирует и приводит конкретные примеры. Так, он излагает взгляды поэта, эссеиста и критика Франко Фортини, который пришел к убеждению, что писатель, ушедший от своего класса (буржуазии или мелкой буржуазии) и сблизившийся с рабочим движением, должен понять: противоречия между задачами близкого и отдаленного будущего непреодолимы. Для себя лично Фортини сделал выбор, отдав предпочтение близкому будущему. Он перестал писать стихи и занимается преимущественно популяризаторской работой. Он, как сдержанно комментирует Ферретти, испытал на себе влияние китайской «культурной революции». Замечание правильное, но его можно отнести не только к Фортини.

В самом деле, нужна ли интеллигенция вообще? Вальтер Педулла остроумно пародирует обывательские разговоры на эту тему. Наконец-то итальянцы точно знают, кто во всем виноват: разумеется, интеллигенты. Они несут полную ответственность за то, что дела в Италии идут из рук вон плохо.

«Мы жили бы совсем иначе, если бы не их разглагольствования, и авантюрные прожекты, и губительные затеи, и компромиссы, и измены, и филистерские плутни, и подлая трусость, и гнусные интриги».

Педулла продолжает обыгрывать эту тему: наконец-то установлено, кто виноват в том, что в стране эпидемия чумы. И ясно, что от чумы никак не удастся избавиться, если раз навсегда не покончить

«с этими паразитами, болтунами и фанфаронами, которые называют себя интеллектуалами, или, выражаясь точнее, прозаиками, поэтами, критиками, а также социологами, психологами, антропологами и другими тому подобными. Все это люди, которые практически ни к чему не годны, не выполняют никакой полезной работы, не помогают нам ни понять, ни изменить мир, хотя тысячу раз хвастались, уверяя, что сделают это».

Но Педулла не только шутит. Он примыкает к той группе участников дискуссии, кто наиболее решительно протестует против идеи самоуничтожения интеллигенции и смерти культуры. Педулла настойчиво проводит мысль, что революционная интеллигенция Италии должна избавиться от комплекса неполноценности, потому что она отнюдь не стоит вдалеке от реальной классовой борьбы. Педулла не признает противопоставления близкого и отдаленного будущего. Интеллигенция выполняет присущую ей функцию: и в литературе, и в искусстве, и в науке она стремится вскрывать сущность общества, в котором живет, она чутко реагирует на мистификацию и на попытки реставрировать отжившие институты в борьбе против системы. Мало того: революционная интеллигенция, пишет Педулла, обладает одной серьезной привилегией, связанной со специфическим характером ее работы: эта работа не анонимна, сопряжена с личной ответственностью и дает возможность действовать активно. Особенно это относится к писателям:

«Когда интеллектуал пишет книгу или статью, он совершает акт критической активности. Его «послание» в большей или меньшей степени в состоянии непосредственно способствовать бунту или оппозиции против системы».

Напомним, что под коротким словом «с и с т е м а» подразумевается неокапиталистическое общество, его базис и его надстройки. Педулла не только, подобно Марио Спинелле, спорит с утверждением, будто литература, созданная внутри буржуазной системы, в силу одного этого «буржуазна». Он убежден в том, что писатель, делая свою специфическую работу (разумеется, он имеет в виду революционных писателей), созревает и политически. Его труд наполняется определенным социальным содержанием, приобретает новый смысл. Интеллектуал находит своих естественных союзников и начинает вести не только культурную, но и чисто политическую работу, совместно и рядом с другими товарищами. Позиция, как мы видим, оптимистическая, но далеко не все участники дискуссии разделяют ее.

Роберто Натале не называет имени Педуллы, но явно полемизирует с ним. Он считает, что объективно левая интеллигенция Италии находится сейчас в очень трудном положении, ибо

«параллельно с мощными попытками осуществить политическую реставрацию, консервативная тактика в области культуры направлена на то, чтобы восстано-

вить Трансцендентные Ценности, столь дорогие буржуазии и столь полезные ей для осуществления ее реальной власти».

Именно спекулируя этими вечными ценностями, которые преподносятся как универсальные, правящие классы и проводят, пишет Натале, ту операцию в области культуры, которая соответствует операции политической; то есть, в конечном счете, коренным интересам зрелого капитализма. В таких условиях левая итальянская интеллигенция, не обладающая многообразными каналами и средствами воздействия на массы, не может не испытывать глубокой горечи.

Здесь точки зрения сталкиваются особенно наглядно. Педулла верит в силу, в эффективность влияния книги, статьи, слова; он, как мы знаем, убежден в том, что революционная интеллигенция может непосредственно влиять на сознание людей, внося тем самым реальный вклад в борьбу против системы. Для Натале это — иллюзия:

> «Что может сделать книга, манифест, группа элиты перед лицом плотной сети взаимосвязанных представлений, которые незаметно и тайно навязываются индивидууму, которыми он опутан постоянно, даже в немногие свободные часы?»

А раз так, Натале отказывается верить в возможность успешной деятельности левой интеллигенции и убежден в том, что она фактически не может в сегодняшних условиях противостоять зрелому капитализму, «неожиданно оказавшемуся в состоянии поглощать, использовать и нейтрализовать различные течения оппозиционной культуры».

Действительно, теперь, когда идеологический и классовый противник вышел из «палеокапиталистической» фазы, вести борьбу с ним стало сложнее. У идеологов неокапитализма разработана и стратегия и тактика. Они совершенно не боятся безобидной фронды, или экстремистского кокетничанья сверхреволюционными лозунгами. Они не только хотят интегрировать работников культуры, они хотят «высвободить их из плена левых настроений», то есть так или иначе оторвать писателей и деятелей искусства от влияния партий рабочего класса и организованного рабочего движения.

Неокапитализм пытается создать свою систему духовных ценностей, используя при этом и средства массовой информации, и пресловутую идею «деидеологизации», и все это, разумеется, под предлогом обеспечить деятелям литературы и искусства максимальную свободу творчества. Еще до дискуссии в «Ринашите» литературовед Габриеле Бальдини писал:

> «Некоторые экспериментальные формы современного романа приобретают смысл, если их рассматривать в связи с неокапитализмом, но лишь в известной степени... Нет сомнения, что «магнитофонный» роман, картина, на которой с несколько портновским изяществом расположены пятна либо гладкая поверхность изборождена линиями, лента с записью различных комбинаций звуков или механическое фортепьяно — несравненно проще для усвоения и понимания, нежели роман Стендаля и Достоевского, симфония Бетховена, квартет Брамса, портрет Дега или пейзаж Коро».

Многие участники дискуссии разделяют этот пессимизм, и психологически их можно понять, если представить себе обстановку, в которой они живут и работают. Кое-кто из них считает, что со всем этим могут справиться только новые поколения интеллигенции, а теперешнему так и не удастся выйти из тупика. Роберто Натале приходит даже к выводу, что левой интеллигенции, пожалуй, стоило бы сделать себе харакири, только харакири, так сказать, диалектическое, с тем чтобы потом опять воскреснуть в новом, высшем качестве.

Фактически это проповедь пассивности, уход от борьбы, измена самим себе, своему призванию интеллигента. Те, кто разделяет такую точку зрения, как будто не понимают, что именно это и входит в расчеты идеологов неокапитализма, которые не случайно, а вполне намеренно прибегают к мистификации, к маскировке и мимикрии. Один итальянский публицист точно заметил: «Сейчас как-то не принято называть капитализм его собственным именем, потому что большинство людей во всем мире рассматривает его как нечто постыдное».

И ведь это сущая правда. Вот почему идеологи итальянского неокапитализма уже не отрицают, например, «ценностей Сопротивления», очень охотно говорят о социальном прогрессе и всеми средствами стараются создать оптимистическую философию «общества благоденствия».

В общем, все-таки большинство левой интеллигенции это сознает. Но вопрос в том, какие выводы делать из всех этих фактов и тенденций. Мне лично кажется, что и книга Ферретти, и вся дискуссия отражают искреннюю тревогу, душевное смятение и сознание кризиса не только традиционной, но отчасти и левой культуры. Тем не менее временами споры принимают умозрительный, я бы сказала — метафизический, характер. Большинство, вполне справедливо, сходится на том, что идея «мессианизма» литературы умерла. Автономия культуры — миф, она не подтверждается жизнью, но Оттавио Чекки, например, полагает, что трагедия левой интеллигенции как раз и заключается в том, что она никак не может окончательно расстаться с утопическим

представлением, будто писатели должны идти впереди и своими творениями освещать путь народу. Поэтому необходимо не самоуничтожение интеллигенции, как таковой, а

> «самокритика романтического поколения интеллектуалов, которые постоянно (в периоды надежд, гибели надежд, соучастия, «импеньо», «мандарината» и т. д.) предлагали пролетариату свои утопии, а затем свои элегии. Это самокритика того интеллектуала, который сам себя избрал пророком и вождем».

Дискуссия в «Ринашите» показала очень наглядно, что сейчас критически переосмысливаются многие моменты взаимоотношений между партиями рабочего класса и интеллигенцией в Италии. В какой-то мере это «перечень взаимных болей, бед и обид», но прежде всего — это стремление найти синтез.

Подводя предварительные итоги дискуссии, главный редактор «Контемпоранео» Бруно Шакерл в статье «От самокритики к политике» справедливо отмечает, что дискуссию нельзя считать завершенной: жизнь не останавливается, классовая борьба приобретает все больший размах и новые формы и левая интеллигенция не вправе удовлетворяться готовыми формулами. Каждый этап знаменуется какой-то центральной проблемой, и сейчас это — «реставрация» в области литературы и культуры. Однако, продолжает Шакерл, есть много симптомов, свидетельствующих о том, что культурная гегемония буржуазии переживает кризис, этот кризис реален и многообразен и его надо рассматривать в свете общего кризиса капитализма.

> «Сегодня главная задача,— пишет Шакерл,— состоит не только в том, чтобы, пользуясь оружием марксистской критики, сломать гегемонию, которую буржуазия осуществляет в различных промежуточных слоях, и, следовательно, вовлечь в классовую борьбу новые силы. Задача в том, чтобы предоставить этим силам возможности для самостоятельного, активного вмешательства».

Влияние марксистской мысли на традиционную интеллигенцию в Италии велико. Оно распространяется и на новые слои (техников, студентов). Но для того, чтобы это влияние не было поверхностным, а глубоким, определяющим, необходимо, считает Шакерл, «быть на высоте времени».

Заметим, что итальянская культура всегда была чрезвычайно чуткой к социальной и политической проблематике, это относится и к XIX веку и тем более к нашему времени. Псевдокультура, псевдолитература, ширпотреб, выбрасываемый на книжный рынок, вполне могут быть «нейтральными», и те, кто заинтересован в социальной консервации, естественно, поощряют развлекательное, «утешающее», создающее иллюзии искусство. Не надо закрывать глаза на то, что такое псевдоискусство легко пробивает путь (ему помогают в этом) не только к мелкобуржуазному, но и к рабочему читателю и зрителю. В этом смысле главная задача писателя и художника заключается в том, чтобы средствами искусства бороться за души людей. И эта задача ни в какой мере не вступает в противоречие с чисто политическим impegno художника, а, напротив, органически связана с его прямым участием в общей антикапиталистической борьбе.

Ц. КИН

Наши гости

ПИСАТЕЛИ ИЗ ДОРТМУНДА

Недавно в гостях у «Иностранной литературы» побывали три западногерманских писателя: Макс фон дер Грюн, Йозеф Рединг и Эрвин Сильванус.

Макс фон дер Грюн, в прошлом рабочий-шахтер, автор романов «Люди двойной ночи», «Светляки и пламя» (опубликован в №№ 3—4, 1967 г. нашего журнала), «Два письма Поспишилу».

Йозеф Рединг, романист и новеллист, лауреат литературной премии за книги для юношества. В «Иностранной литературе» (№ 11, 1961 г.) напечатаны его рассказы из сборника «Один в Вавилоне».

Эрвин Сильванус, драматург, известен в ФРГ пьесами «Корчак и дети», «День рождения пятидесятый» и др.

Три писателя — три творческие индивидуальности. Их связывает принадлежность к литературному объединению «Группа-61», которое в последние годы занимает все более заметное место в литературно-общественной жизни Западной Германии.

Во время беседы писатели рассказали об истории возникновения и деятельности своей группы, о себе и о своем творчестве.

Мы предлагаем вниманию читателей запись этой беседы.

Й. Рединг. История возникновения нашей группы вкратце такова. В Дортмунде живет человек, который, будучи сотрудником Городской библиотеки, основал литературный рабочий архив. Здесь хранятся произведения рабочей литературы двадцатых годов, письма, записки, наброски и т. п. И совершенно естественно получилось так, что многие современные авторы, пишущие об угнетении и эксплуатации рабочего класса, тянулись к архиву, искали свои корни в прошлом. Почти одновременно дорогу к архиву нашли Макс фон дер Грюн и Эрвин Сильванус. Постепенно вокруг архива образовалась группа писателей, которые стали собираться вместе и обсуждать волнующие их вопросы. Все мы были едины в мнении, что положение рабочих в ФРГ не занимает достойного места в литературе. И вот однажды Макс фон дер Грюн принес рукопись своей книги «Люди двойной ночи» (он был тогда машинистом поезда, шахтером он стал потом). Книга произвела на нас сильное впечатление, а когда она была опубликована, то сразу приобрела известность. Вторая его книга — в вашем журнале она была напечатана под названием «Светляки и пламя» — имела еще больший успех. К нам пришел также молодой писатель Вольфганг Кёрнер, автор романа о жизни рабочих, ряд других писателей. И тогда у нас возникла мысль создать литературное объединение для обмена мнениями, для обсуждения своих писательских проблем и для практических дел. В 1961 году группа окончательно сформировалась и получила название дортмундской «Группы-61». Наша группа, отметившая свое десятилетие и насчитывающая теперь 20—25 человек, стала уже неотъемлемой частью истории немецкой литературы. За десять лет мы в своей программе произвели ряд изменений, кое-что исправили, а недавно был разработан новый устав группы.

Если первый пункт прежнего устава гласил, что писатели нашей группы должны заниматься отражением жизни промышленных рабочих, то теперь в первом пункте говорится, что писатели своими литературными произведениями и общественной деятельностью должны бороться с эксплуатацией человека человеком.

Поэтому мы стремимся отражать в своем творчестве такие темы, как расизм и социальное неравенство. Мир рабочего, мир труда рассматривается нами теперь более широко — раньше «рабочий» означал для нас лишь человека у конвейера. А это ведь и служащие учреждений, и специалисты различных областей, то есть все те, чья рабочая сила превращается, в конечном счете, в деньги. Таким образом естественно сблизились по тематике романы о рабочих, о техническом предприятии и о бирже.

ЙОЗЕФ РЕДИНГ

Одним из наиболее популярных авторов нашей группы является Гюнтер Вальраф. Его репортажи, написанные непосредственно с заводов и фабрик, из ночлежек для бездомных, всколыхнули общественное мнение.

— Связана ли группа с каким-либо издательством?

Й. Рединг. Мы, конечно, хотели бы быть независимыми от капиталистических издательств, но экономические трудности заставляют нас обращаться к тем, которые существуют. Разумеется, мы стараемся не иметь дела с издательствами и печатными органами определенного характера, например с концерном Шпрингера. Мы мечтаем о том времени, когда сможем иметь собственное издательство.

— Легко ли членам вашей группы найти издателя?

Й. Рединг. Сначала было очень трудно. Печатать наши произведения для издателя было актом мужества. Против тех, кто осмеливался нас публиковать, даже возбуждались судебные дела. Промышленники, которые видели в наших произведениях отражение дел на своих предприятиях, обвиняли нас в клевете или в нанесении морального и материального ущерба. Судебные процессы были возбуждены против меня и Макса, и в том и в другом случае они были фирмами проиграны. Когда же наши книги стали иметь успех и приносить издателям доход, то даже те, кто раньше не желал иметь с нами дела, стали лично обращаться к членам нашей группы с просьбой отдать книгу в их издательство.

— Приходится ли вам встречаться со своими читателями?

Й. Рединг. Это очень важный вопрос. Мы много думали над тем, как найти путь к читателю, который еще не знает нас. Мы не отказывались, когда нас приглашали читать свои произведения в магазинах и на рынках. И даже в церкви с амвона. В Дюссельдорфе такое чтение было устроено однажды в банке, и, так как зал вмещал только 300 человек, а желающих было гораздо больше, мы, прочтя страницу, передавали ее по рядам тем, кто стоял на улице, чтобы и они могли прочитать. В зале сидели оба директора банка, и мы нарочно при чтении выделяли все острые социально-критические места. Потом до глубокой ночи мы яростно спорили с этими директорами... Помните у Брехта? «Что аморальнее — учредить банк или ограбить его?» Так вот, мы доказывали директорам, что в смысле аморальности грабеж банка ничто по сравнению с его учреждением.

Макс фон дер Грюн. Я хочу добавить, что студенческие беспорядки в Западной Германии в 1967—1968 годах необычайно активизировали читателей. Заметно вырос интерес студентов к встречам с писателями. Я бы, например, мог 360 дней в году встречаться со своими читателями, если бы принимал все приглашения, которые получаю. За два дня до нашей поездки в Москву я был в Боннском университете и полдня читал там свои вещи (около 600 страниц). А потом была дискуссия, которая продолжалась до глубокой ночи. Вообще студенческая молодежь вносит в нашу жизнь здоровое беспокойство.

МАКС ФОН ДЕР ГРЮН

Й. Рединг. В последнее время очень активными стали ученики промышленных училищ. Раньше эти подростки были самой тихой и послушной частью рабочего класса. Теперь они поняли, что их эксплуатируют, злоупотребляют их подчиненным положением. Мы получаем много приглашений из таких училищ: их питомцы — наши новые читатели. Мы приобрели и еще один

новый круг читателей, о котором раньше не думали. Это католическая и евангелическая молодежь, те, кто пытается усмотреть общее в принципах социализма и христианского учения или, по крайней мере, найти какие-то точки соприкосновения, чтобы объединиться в общей борьбе. Надо сказать, что такое стремление не находит поддержки в официальных церковных кругах, но, несмотря на это, теперь нередко происходит так, что в демонстрациях, скажем, против сокращения жилищного строительства или против эксплуатации учеников-ремесленников участвуют не только рядовые христиане, но и священники.

— Какие тенденции существуют сейчас в западногерманской литературе?

Макс фон дер Грюн. В нашей литературе происходит поляризация двух тенденций. С одной стороны — политизация литературы, а с другой — эстетизация политики. Скажем, творчество Вальрафа — это политизация литературы. Эстетизация же ведет к утере политического воздействия. Читаешь иногда стихи о Вьетнаме и вдруг замечаешь, что тебя радует удачная метафора, красота образа и т. п., а речь-то идет о преступлениях американцев во Вьетнаме! Такое направление не представляется мне верным...

— Какое же место в этом процессе поляризации занимает Генрих Бёль?

Макс фон дер Грюн. Бёль — это особое дело. Я люблю Бёля. У него я учился писать. Когда я читаю его произведения, мне кажется, будто все, что происходит с его героями, происходит со мной. Сейчас нередко говорят, что он пишет усложненно и порой недоступен для тех, кто не имеет высшего образования. Но для меня он остается цельным писателем и цельным человеком во всех отношениях. Что касается некоторых аспектов его видения жизни и проникновения в механику власти... что же, на многое, о чем пишет Бёль, я имею другую точку зрения.

Й. Рединг. Бёль является для нас примером верности самому себе. Несмотря на глобальность успеха, которым он пользуется, он не превратился в самодовольного баловня судьбы. Он продолжает критиковать и клеймить в печати темные стороны нашей действительности, как делал это двадцать лет назад. Я хотел бы сказать вообще о воздействии писателя на общество в наше время. Значение такого писателя, как Бёль, или писателей нашей группы нельзя оценивать только по воздействию их беллетристических произведений. Часто писатель воздействует на общественное мнение и как публицист, своими выступлениями, речами и нисколько не в меньшей степени, чем своими книгами. Поэтому писателей теперь надо оценивать во всей совокупности их деятельности, в том числе и публицистической.

Макс фон дер Грюн. Я приведу конкретный пример такой деятельности. Молодой депутат бундестага от социал-демократической партии спрашивает меня: не соглашусь ли я выступить в местной организации СДП в одном из больших городов. Я отвечаю, что в принципе согласен, но мне нужно письменное заверение, что мне дадут сказать то, что я хочу. Тогда он мне говорит: «Для этого я тебя и зову — ведь ты можешь говорить то, что мне в моем положении говорить нельзя». Я еду в этот город, встречаюсь со всем правлением местной организации, беседую с ними, они вежливо раскланиваются с известным автором, и председатель говорит: «Итак, договорились, ваше выступление будет продолжаться 30 минут, а потом мы устроим танцы». В своем выступлении я разношу в пух и прах действия местного руководства, правление в знак протеста выходит из зала, танцы отменяются, и в зале до четырех часов утра идет спор о классовой борьбе вообще и о

ЭРВИН СИЛЬВАНУС

деятельности местного правления. После этого председатель правления подает в отставку.

Вот факт, который не войдет в историю немецкой литературы, но такие вещи происходят с писателями сравнительно часто.

Й. Рединг. Я произносил речь в церкви и результатом этой речи было то, что деньги, собранные на строительство новой церкви, было решено истратить на детские сады и ясли.

Макс фон дер Грюн. Хорошо, конечно, сидя здесь с юмором об этом рассказывать. Но на самом деле не все так легко и красиво получается, часто меня посещают не очень приятные мысли и я произношу про себя совсем другие слова, которые бумага не выдерживает...

— Расскажите, пожалуйста, о ваших последних работах и ближайших творческих

планах. Что, например, написал Макс фон дер Грюн после своего романа «Два письма Поспишилу»?

Макс фон дер Грюн. После этого романа я написал пьесу для телевидения «Шансы на успех». В основном же я в это время занимался публицистической деятельностью и пьесами для театра. У меня готова пьеса «Мой отец и президент». В основе ее лежит история господина Майера, который был президентом бундестага. Ему противопоставлена судьба моего собственного отца. Пьеса эта отняла у меня много времени, доставила много хлопот, так как требовала большого количества документального материала. Иногда приходилось обрабатывать по 500 страниц документов, чтобы написать 30 страниц рукописи. Зато эти документы, многие из которых не опубликованы, помогли мне создать характеры персонажей пьесы.

Э. Сильванус. Отец Макса до конца войны был в концентрационном лагере. После войны он получил ничтожно маленькую пенсию, теперь эту мизерную пенсию получает за него мать Макса, а господин Майер, который и в годы третьей империи жил безбедно, после войны получил солидное вознаграждение и занимает сейчас профессорскую кафедру.

Макс фон дер Грюн. Большая трудность еще заключается в том, что ходят слухи, будто Майер был агентом гестапо. Эти слухи основаны на том, что Майер — единственный из участников заговора 20 июля — остался в живых. Он получил только семь лет тюрьмы и в первый же день своего заключения был назначен заведующим тюремной библиотекой. Поэтому важно как можно глубже копнуть эти материалы. Формальных обличительных документов против Майера я пока не имею, поэтому в пьесе не мог прямо назвать его имени.

Кроме того, я пишу роман о предместье. Мне кажется, это очень интересная тема — жизнь в предместье большого города. Самые острые социальные противоречия видишь не в центре города, а там, на окраине. Я знаю это из собственного опыта.

— В нашем журнале была опубликована заметка о большом успехе пьесы Эрвина Сильвануса «Корчак и дети». Скажите, господин Сильванус, когда вам стало известно о том, как погиб Корчак?

Э. Сильванус. В 1956 году. Польское посольство присылало мне бюллетени — обзоры польской прессы на немецком языке, и в одном из них была небольшая статья, рассказывающая о гибели Корчака вместе с большой группой детей в газовой камере.

Когда я работал над пьесой, я опирался на опыт, полученный мной в третьей империи; пьеса написана с позиций немецкого лавочника, который задает себе вопрос: «Как мы могли до такого дойти? И с чего все это началось?» Мне кажется, пьеса имела успех, в первую очередь, потому, что именно эти вопросы задавали себе многие немцы. Некоторые даже увидели себя в героях пьесы.

Там у меня есть образ медицинской сестры. После того, как пьеса уже два года шла в театрах, вдруг как-то мне передают привет от медицинской сестры, якобы выведенной в этой пьесе. Оказывается, фигура, которую я создал своим воображением, живет, существует...

В последнее время меня интересует проблема кризиса и распада семьи как социального института, а также проблема преступления и наказания, то есть отношений преступника и общества, закрепленных в уголовном кодексе, о праве общества карать смертной казнью.

Я хотел бы в заключение сказать еще об одном.

Десять лет назад, когда сцены западногерманских театров были заполнены произведениями абстрактной драматургии, я написал пьесу против войны в Алжире — «Созвездие Весы». Ни один театр и ни одно издательство не хотели ее принимать: она выглядела чужеродным телом в духовной обстановке того времени. Поставить на сцене театра пьесу о войне, которая еще не стала историей, казалось немыслимым. А теперь пьесы, направленные против войны во Вьетнаме, воспринимаются как должное. Это свидетельствует о больших сдвигах в общественном сознании.

Беседу записали Л. ХАРЛАП и А. ЧУГУНОВА

Среди книг

Издано в СССР

ЭПОПЕЯ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА

Антон Дончев. Час выбора. Перевод с болгарского Л. Лихачевой. Предисловие Ю. Бондарева. Москва, «Прогресс», 1971. 428 стр.

Антон Дончев принадлежит к болгарским писателям младшего поколения, которое пришло в литературу в шестидесятые годы. Уже в первом романе «Сказание о временах Самуила» обнаружился его оригинальный и интересный талант. «Час выбора» (1965) — его следующий роман — был высоко оценен читателем и литературной критикой. Признанием бесспорных достоинств романа явилось присуждение Антону Дончеву в 1967 году Димитровской премии — наивысшей награды в области литературы. Книга не раз переиздавалась в Болгарии и переведена во многих странах мира.

Листая кровавые страницы пятисотлетнего рабства болгар, Антон Дончев переносит читателя в один из самых драматичных и тяжелых периодов болгарской истории, когда в 1668 году турки, поработившие страну, огнем и мечом вынуждали болгар отказываться от своего рода и от своей веры. Писатель обращает взгляд к истории своего народа, чтобы рассказать о том, как в огне жестоких испытаний выковывался национальный характер. И показ стоицизма и мужества, духовного величия болгар, проявившегося с наибольшей полнотой во время насильственного обращения в магометанство, приобретает силу глубокого обобщения: такой народ не может погибнуть, он обручился со свободой, и века рабства бессильны его сломить!

Роман насыщен исключительными обстоятельствами, порождающими богатый, напряженный до крайнего предела драматизм. Участие двух рассказчиков, свидетелей описываемых событий, придает оригинальность авторскому повествованию и усиливает ощущение исторической достоверности. Но не только это. Летописцы — поп Алигорко и Венецианец, ведущие рассказ,— оценивают события с двух противоположных точек зрения. Алигорко — болгарин, он смотрит на все глазами своих соотечественников, а Венецианец, этот бывший французский дворянин, принявший в плену ислам, является, по существу, прислужником в лагере поработителей. Сопоставляя эти два воспоминания, читатель должен открыть для себя истину.

Летописцы переносят читателя высоко в Родопы, в окруженную лесами долину Елинденя, где влачат свою рабскую долю пастухи, братья Манол-кехая. Но прибывает орда янычара Караибрагима, и обычный ритм жизни нарушается, и встают друг против друга Манол и Караибрагим.

Антон Дончев в этом романе выступает как художник-исследователь. Противопоставляя насилию сопротивление, зверству — человеческое благородство, необузданной ярости — привязанность ко всему родному: традициям, природе, автор достигает большого художественного эффекта и возвеличивает народные начала. Динамичный и убедительно раскрытый поединок Манола с верным защитником султанской власти Караибрагимом — это в конечном счете

противоборство двух общественных сил, двух концепций: за и против народа. Автор показывает несокрушимую жизненную энергию героя, крепко связанного со своим народом. Именно в этом — источник его нравственной силы и стойкости. Манол и его сын Момчил — плоть от плоти, кровь от крови своего народа, их судьба сплетена с судьбой народной. Поэтому нет у них другого пути. На свою голгофу они идут сознательно и твердо, поддерживая малодушных, ибо знают, что народ, который их вскормил и воспитал, не может погибнуть.

Иным предстает Караибрагим. Он лишен всякой опоры: он — дерево без корня, человек без рода. А там, где разрушается связь с народом, говорит писатель, начинается нравственное опустошение личности. Тогда «сила» поработителя, его зверская жестокость и фанатизм становятся наиболее очевидным выражением его слабости. И он сам это понимает, видя огонь презрения, который горит в глазах его жертв.

Антон Дончев с мастерством психолога-аналитика раскрывает объективное отражение этого падения. Даже Венецианец уже не просто немой свидетель духовного крушения Караибрагима. Сквозь дым пожарищ и мучения он начинает различать истинный героизм и величие. «Спасибо тебе, Манол, что ты встретился на моем пути,— исповедуется в своих душевных страданиях Венецианец.— По высоте твоей понял я, какой должен быть рост у человека. И, пытаясь стать вровень с тобой, выпрямил я свою искривленную спину и искривленную душу. Ты показал мне, что кроме просто жизни есть жизнь, достойная человека. Спасибо тебе, Манол, за то, что ты снова сделал меня человеком». Глубоко в сердце сохранивший каплю человечности, Венецианец не только прозревает и начинает сочувствовать бесправным, но в конце повествования сам разделяет их участь.

Роман о мужестве и непреклонности болгарского народа был бы, однако, неполным без тех прекрасно написанных страниц, где рассказывается о насильственном обращении в мусульманскую веру. Эти сцены даны в удивительно сгущенных тонах, скупо и точно. Льется человеческий поток, идут плотными рядами люди с застывшими от ужаса глазами. Направо должны пойти те, кто переходит в турецкую веру; налево дорога ведет к кровавой плахе. Как только наступает минута, когда каждый должен избрать себе судьбу, лица меняются. По ним разливается странное спокойствие. Старики, мужчины, женщины и юноши делают шаг налево, а не направо к чалме и парандже. Тихо и молча. Никаких разговоров. Только свист окровавленного топора... Даже проклятия слышатся редко. Но когда народ заговаривает, у него находятся слова, которые разят, как пули.

«Под конец подошла сгорбленная старуха. Разорвала на груди рубаху, вынула свою сухую грудь и пропела:

— Одиннадцать сыновей вскормила я, ты всех их зарезал. Одиннадцатью мертвыми устами проклинаю тебя и еще моими — двенадцатыми».

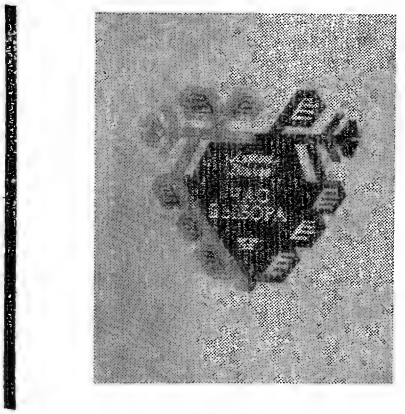
Народ в романе Дончева — тот образ, который в своем нравственном восхождении поднимается на самый высокий пьедестал. За короткое время пережито такое, чего не в состоянии постичь нормальный рассудок. Но народ не страдалец. Его судьба — не фон, на котором разыгрываются исторические события. Он сам участвует в них, занимает определенную позицию и направляет их развитие.

Воскрешая далекое прошлое, автор придерживается глубокого историзма, присущего методу социалистического реализма. Это осознанный историзм, при котором глубина и всесторонность проникновения в прошлое позволяют художнику разобраться в ходе истории с позиций марксистско-ленинской идеологии, зная законы развития общества, понять исторический смысл явлений в их связи и зависимости от прошлого, настоящего и будущего. Тогда конкретный исторический факт получает гораздо более богатое содержание.

С этой точки зрения и образ народа приобретает обобщенный смысл: он становится центром повествования, а Манол — крепким побегом на несокрушимом народном древе. Таков и Момчил, вобравший в себя самые сильные и благородные черты своих братьев — пастухов. Таковы и дед Галушко, Мирчо, Елица, бабушка Сребра...

Прошлое болгарского народа писателю удалось воссоздать успешно в форме художественной прозы. Недавно Антон Дончев в разговоре с автором этих строк сказал: «Когда я пишу, я всегда помню, для кого предназначается мой труд. Наш читатель — это народ: дровосеки на Родопах, учителя, люди разных интересов, но одной, болгарской, крови. Писатель не имеет права этого забывать».

Художественная ткань романа, напоминающая многокрасочную родопскую вышивку, поэтическая возвышенность, глубокий психологизм — все это в романе А. Дончева гармонично сливается воедино с изяществом повествования. Это не противоречит трагедийности произведения, поэтический фон лишь контрастно подчерки-



вает ее сущность. Как справедливо отмечает в предисловии к изданию на русском языке Юрий Бондарев, «даже в часы трагические через густые, рембрандтовские его краски сияет, сквозит эта глубокая нежность, очарованность родной землей, ее запахами, горными реками, ее лесами, неразрывно соединяя реальность неизбежной, как вечность, природы с неиссякаемой силой народного духа».

Роман Антона Дончева так же, как и другие произведения последних лет на историческую тематику в болгарской литературе: «Цена золота» Генчо Стоева, «Легенда о Сибине, князе Преславском» и «Антихрист» Эмилияна Станева, «История Джема» и «Летопись смутного времени» Веры Мутафчиевой, «Золотой век» Андрея Гуляшки, показывает, что социалистические общественные условия значительно облегчают писателю постижение сущности исторических событий. Наша современность помогает ему вникнуть в них, подняться над ними, охватить их во всей глубине и осмыслить с позиций сегодняшнего дня. Это осмысление идейно-философское и художественное. Осложненный историзм писателя, когда он исследует не только характер явлений далекого прошлого, но и движение души народной, дает ему возможность понять, как в поворотные моменты истории шло созревание национального самосознания.

Литературе, обращенной лицом к таким сторонам народной судьбы, никогда не грозит служение незначительному. В этом состоит существенная особенность, объясняющая идейную и художественную силу романа «Час выбора».

ГЕОРГИЙ ПЕНЧЕВ

г. София

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Мира Алечкович. Утро. Роман. Перевод с сербско-хорватского Н. Лебедевой. Слово об авторе Ю. Яковлева. Послесловие Н. Вагаповой. Москва, «Прогресс», 1971. 285 стр.

Через много лет после войны Александр Межиров писал о своей фронтовой юности:

Мне б надо биографию дополнить,
В анкету вставить новые слова,
А я хочу допомнить,
Все допомнить,
Покамест жив и память не слаба.

В романе Миры Алечкович — а она тоже из поколения тех, у кого к двадцати годам за плечами была уже вся война,— главная героиня говорит: «Не сердись, что я напоминаю тебе о том, что прошло... О том, что никогда не кончится...»

...Это было около года назад в Белграде. Мы, советские писатели, приехали сюда на традиционную международную встречу, приуроченную ко дню освобождения столицы Югославии от гитлеровских захватчиков.

— Давайте-ка лучше двинем проходным двором — этот путь короче,— сказала нам Мира Алечкович и неожиданно добавила:— Сколько раз эти проходные дворы выручали меня во время немецких облав.

Где бы мы ни были, что бы мы ни видели, о чем ни говорили — вот так неожиданно и неизбежно возникали воспоминания о том страшном и героическом времени...

Да, для Миры Алечкович и ее героев, как и для всех людей военного поколения, оно действительно никогда не кончится. Они не могут уйти от воспоминаний о войне, они хотят все допомнить: и горящий после немецких бомбежек Белград (ребенок «висел, держась за дверную притолоку на шестом этаже, и кричал, а под ребенком бушевал огонь, пожаром были объяты все этажи»); и первое боевое задание — перерезать у оккупантов кабель связи («...тогда я не задумывалась, удастся ли. Я знала, что мы должны это сделать»); и пытки на допросах («Когда меня положили на сооружение с железными прутьями, похожее на подставку, на которой выбивают ковры, и били, на теле у меня отпечатались ребристые следы. Я онемела. Тогда пытку еще больше усилили, я не могу даже вспомнить, как меня пытали»); и невыносимо тяжкая для партизан зима сорок третьего года — так еще далеко до победы, что иногда не верится, что можно до нее дожить («...идет колонна через село, выходят люди из домов, смотрят на босых и полуголых людей и жалеют их...»); и смерть, которая всюду подстерегает тебя: на улицах Белграда, в горных селах, на партизанских тропах,— смерть от пули карателей, от ножа четников, от холода и голода («Нас пятнадцать в колонне по одному. Четырнадцать, не считая тебя, из двухсот человек молодежной роты»).

Такой предстает перед нами война в романе «Утро». Она вспоминается героями уже из сорок пятого года, радостного и печального, полного горечи и надежд. Он вовсе не безоблачный и безмятежный, этот год, это утро победы. «Поверь, и я тоже не совсем счастлива. И я все представляла себе по-другому. Я думала, что все вдруг сразу изменится. И люди и улицы. Сегодня мы здесь для того, чтобы спасти свои мечты». Герои Миры Алечкович хотят все допомнить, чтобы памятью о пережитом, памятью о тех, кто сложил голову за будущую свободу, судить настоящее и себя — таких, какими они были в сорок пятом, и таких, какими они станут уже в наши дни. Эта проекция в будущее, в сегодняшний день — одна из важнейших функций лирических отступлений в книге, размышлений автора о гуманизме, о сознательности и ответственности, о целях и характере революционной власти, о воспитании чувств нового человека.

В большинстве книг о войне, появившихся в последнее десятилетие, героическое прошлое служит примером и образцом для

современности. В романе Миры Алечкович не только прошлым проверяется наш сегодняшний день, но и современностью — былое. Автор стремится выяснить, что было подлинно человечным и революционным, отделить реальные и долговечные ценности от временного — пусть порой и необходимого, от ложного, как бы внешне правильно оно ни выглядело. Постоянная «съемка» с двух точек: из прошлого — в настоящее и из наших дней — в прошлое, параллельный монтаж, с помощью которого сведены на очную ставку былое и современность,— этот прием продиктован общей концепцией произведения.

Мира Алечкович ведет в романе борьбу на два фронта: и против тех, у кого померкли мечты о будущем, кто решил, что с концом войны завершена революция, все цели достигнуты, кто стал делать карьеру и жить на проценты с прошлого, и против тех, кто, стремясь утвердить в мирное время нравы и законы военной поры, становится бездушен и бесчеловечен.

Героиня романа «Утро» не терпит людей, которые на работе ли, в отношениях с окружающими, в любви (а любовь, испытываемая в огне войны,— сквозная тема романа) придерживаются двойного счета: один, весьма нестрогий,— для себя, другой, ханжески-пуританский,— так сказать, для общего пользования. Но она не терпит и бездушной прямолинейности: «...может ли та, для которой собрание — кстати, на нем легко обошлись и без нее — дороже, чем умирающая мать, быть настоящим человеком будущего?»

Один из центральных эпизодов романа — трагическая история молодого партизана Жарко. «Лучшего парня, чем Жарко, в роте нельзя было сыскать — самый верный часовой, самый надежный при отступлении». Но так случилось, что Жарко не выдержал — поддался минутной слабости: изнемогая от усталости и голода («кто не видел голодного человека, который, обезумев от голода, держит пустую консервную банку перед буком и умоляет его дать ему еду, тот меня никогда не поймет»), от стужи («кто никогда не был босым, тот не поймет, что значит идти в рваных башмаках по снегу»), он зашел в бедный крестьянский дом и украл молоко, которое предназначалось детям. Нет, не украл — хозяйка застала его с миской в руках, он даже не отпил, но она, бедствующая с пятью малыми детьми,— мужа-четника убили партизаны — рада свести с ними счеты, поймать их на неблаговидном деле.

Жарко не отпирается, молчит — он из «тех людей, которые задумываются над своими поступками», он уже сам беспощадно осудил себя за мгновенную слабость: не выпил молоко, но мог выпить, не украл, но готов был украсть. Он сознает, что нарушил священную партизанскую заповедь: село должно знать, что бойцы «не смеют ни сливы сорвать, ни куска хлеба насильно взять». А в толпе крестьян, с недобрым любопытством ожидающих, что же будет дальше, уже кто-то крикнул: «Воры!» И Дана — комиссар молодежной роты — приказывает расстрелять Жарко. И этого уже нельзя остановить, и ничего нельзя исправить...

Но история эта, как осколок снаряда, осталась в груди у каждого. И не дает покоя вопрос: справедлив ли приговор Даны? Казалось бы, Дана неукоснительно следовала суровым законам партизанской войны. Кто осудит? Но осколок засел в груди, идут годы, а боль не утихает.

В сущности, Дана уже не доверяла до конца своим товарищам, не рассчитывала на их сознательность, не верила в здравый смысл и справедливость крестьян. Приговор Даны был продиктован страхом — и опасалась она не только за честь партизан, но и за свой авторитет. И непоправимой жестокости ее приговора ужаснулись все: бойцы партизанской роты, крестьяне и даже та самая женщина, которая обвинила Жарко в краже...

Пафос романа «Утро» — в утверждении подлинно революционной нравственности, революционного гуманизма, нелегкого «искусства быть человеком» — всегда и во всем... Многого еще не знали, многого еще не понимали юноши и девушки, которым пришлось взять в руки оружие, чтобы защищать свободу,— и они были очень молоды, почти дети, и была молода революция, за которую они сражались, но трудное «искусство быть человеком», пишет Мира Алечкович, «мы несли... в себе».

Я не совсем точен, употребляя выражение: «пишет Мира Алечкович». На самом деле — это мысли героини романа Милы. Но ошибка не так велика, потому что Мила — автобиографический образ, отличающийся от прототипа так же, как отличаются их имена — только одной буквой. «Утро» — роман-исповедь. Правда, это исповедь не одной Милы. Не меньшее место в романе занимает внутренний монолог героя — Бранко. А во внутренний монолог главных героев в свою очередь врезается исповедь людей, которых они вспоминают. Если бы автором романа «Утро» был писатель эпического склада, он, несомненно, нашел бы для каждого персонажа свою, индивидуальную манеру мышления и рассказа, свой, неповторимый голос.

Но Мира Алечкович — поэт, лирик, ее дарование отвергает многоголосие, она все пропускает через себя. И внутренние монологи разных персонажей в романе ничем, кроме содержания,— да и то не всегда — друг от друга не отличаются, граница между ними стерта, едва различима. В конечном счете, кто бы ни говорил,— это все тот же авторский голос. И сложность выбранного автором композиционного принципа эстетически никак себя не «окупает»...

Но в характере героини Миры Алечкович — и в этом уже положительно сказался присущий писательнице лирический дар — отразились некоторые общие черты ее поколения. Нет, люди этого поколения не были чудо-богатырями, которым все нипочем, которые не знают сомнений, страха и ошибок. То, что легендарному богатырю дается играючи — он ведь в огне не горит и в воде не тонет,— то живому человеку стоит мук, труда, крови. И показать его красоту и силу духа — значит рассказать правду о том, как нелегок был его путь, какой ценой он платил за победы.

Л. ЛАЗАРЕВ

Издано за рубежом

ЖИЗНЬ ФРАНЦУЗСКОГО КОММУНИСТА

Pierre Abraham. Les trois frères. Préface de Jacques Duclos. Paris, Les Editeurs Français Réunis, 1971.

Автору этой книги в марте исполняется восемьдесят лет. Свой юбилейный год он проводит — как и все предыдущие годы — в разнообразных трудах, разъездах, встречах, в гуще людей. Совсем недавно мы прочитали в «Юманите» его интервью, где он излагал свои взгляды на творчество Пруста и проблемы современного романа. Журнал «Эроп», который Пьер Абраам возглавляет с 1949 года (и который был основан при ближайшем участии Ромена Роллана в 1923 году), пользуется признанием и авторитетом в кругах прогрессивной интеллигенции далеко за пределами Франции; каждый номер журнала — это, в сущности, солидный сборник, посвященный то Бетховену, то литературе Вьетнама, то Пикассо или Леже, недавно вышла очередная книжка, посвященная на этот раз Достоевскому. Меньше года назад, в солнечный майский день, многочисленная, международная по составу публика, собравшаяся в Доме ученых имени Жолио-Кюри в Варне, слушала доклад Пьера Абраама «Ромен Роллан и Европа», произнесенный с подлинно французским ораторским блеском. А в сентябре минувшего года на празднике «Юманите» у книжного прилавка Абраам, окруженный толпой читателей, надписывал только что вышедшую книгу «Три брата».

Это оригинальная по жанру вещь — не роман, не повесть, не мемуары, а скорее цикл автобиографических очерков, различных по времени действия, по материалу, по тональности. Главы, написанные в спокойном, раздумчивом тоне — повествующие о семье, из которой вышел автор, о его юности, об исторических событиях, свидетелем или участником которых ему довелось быть,— перемежаются краткими, динамичными «интерлюдиями», рассказами об отдельных (веселых, а чаще, напротив, драматических) моментах его жизни. Никакого вымысла: повествователь намерен — и декларирует свое намерение — ни в чем не отступать от правды фактов.

Богатство жизненного опыта, который вместила в себя книга, подкрепляется фотодокументами. Тут и детский семейный снимок: чинно, в порядке старшинства, сидят три брата Блок — Марсель, ставший впоследствии инженером, Жан-Ришар, ставший известным романистом и общественным деятелем, Пьер, принявший впоследствии псевдоним Абраам, чтобы не «примазаться» к литературной славе Жан-Ришара. Тут и фотографии, представляющие историко-литературную ценность: Жан-Ришар Блок вместе с И. Эренбургом и Б. Пастернаком, снова Блок с Роменом Ролланом в его доме в Вильнёве. И снимки из Музея авиации: мы видим те, кажущиеся теперь допотопными, машины, на которых автор, командир эскадрильи, летал в пору первой мировой войны. И еще снимок: подложное удостоверение личности — им пользовался Абраам, когда руководил движением Сопротивления в Ницце.

Книга подкупает искренностью тона. Автор, весьма искушенный литератор, ничего не приукрашивает и не скрывает. Да, он вырос в семье буржуазного интеллигента, крупного инженера-железнодорожника, далекого от политики, но завещавшего сыновьям неподкупную честность, строгое чувство долга. Да, Пьер и в юности, и не только в юности, был непоседлив и задирист, любил приключения, риск,— но не в этом ли один из секретов той отчаянной храбрости, которую он проявлял в воздушных боях и позже, в дни Сопротивления, когда ускользал не раз из-под носа у петеновской полиции? Да, он пришел к коммунизму позже, чем его брат Жан-Ришар; и исторический смысл Октябрьской революции он, Пьер Абраам, начал, только еще начал, понимать не раньше 1920 года. Но так было не с ним одним! «Два с половиной года — вот срок, который понадобился моим современникам, чтобы Октябрьская

революция вошла в их сознание, и вошла основательно. А если вспомнить факты военной истории — разве Европа не начала «соображать» только в 1792 году, что произошло во Франции 14 июля 1789 года?»

Книга подкупает вместе с тем скромностью. Подкупает и глубиной братской преданности памяти Жан-Ришара Блока (скончавшегося четверть века назад — 15 марта 1947 года). Абраам с волнением вспоминает, например, как он с женой в дни второй мировой войны, приникнув к радиоприемнику, вслушивался в голос брата, который обращался к французам по московскому радио: этот голос доносился до Франции несмотря на шумы и помехи. Заслуживают внимания письма Жан-Ришара Блока, которые впервые воспроизведены в книге Абраама: они дополняют новыми штрихами облик писателя, хорошо известного в нашей стране.

Жан-Ришар Блок — молодой преподаватель истории, начинающий литератор, редактор журнала «Эффор» — неизменно заботился о духовном развитии своего «старика Пьера» (который был на восемь лет моложе его), поддерживал его в ранних литературных опытах, давал дружеские советы. «Если ты ищешь чтение, полезное для твоей работы и подходящее к твоим нынешним склонностям,— самое сильное, что ты можешь найти, это «Казаки» Толстого. Есть ли у тебя эта книга?» Одно из писем Ж.-Р. Блока к младшему брату (от 7.II 1910) написано на бланке VII Национального съезда социалистической партии. Блок рассказывает, что обедал с Жоресом и Вайяном, пишет о сложных взаимоотношениях группировок, представленных на съезде: гедистов, синдикалистов, жоресистов. «В общем, гедизм переживает участь всех центристских групп (кто бы мог предсказать это пятнадцать лет назад?), он мало-помалу распадается. Впрочем, интересует ли тебя все это? Сомневаюсь. И я не уверен, что ты хорошо понимаешь, что привлекло меня сюда... Придет время, и ты поймешь».

С интересом читается сегодня и речь, произнесенная молодым Жан-Ришаром Блоком в 1908 году на выпускном вечере в лицее Лон-ле-Сонье, где он преподавал. Сквозь известную идеалистическую абстрактность фразеологии в ней просвечивает живое и трезвое видение современности. Блок говорит о XX веке как эпохе больших сдвигов и перемен и обращается к своим ученикам: «Будьте людьми вашего века, века электрического, стремительного, нервного, деятельного. Не забывайте то, что рядом с нациями, которые склонны почить на лаврах былых успехов, встают другие нации, упорно претендующие на то, чтобы стать нашими наследницами. Однако наследство остается лишь там, где кто-то умер. Сумейте же показать, что вы люди живые; оглянитесь кругом себя, сопоставьте ваши нравы и идеи с нравами и идеями других. Обновление, приток новых сил — все это необходимо и народам, и отдельным личностям: к такой работе вы будете подготовлены лучше, чем мы, потому что вступаете в жизнь, в век больших скоростей». Тут есть нечто созвучное тому обращению к молодежи, которым Ромен Роллан предварил последний том «Жан-Кристофа».

О личности и деятельности среднего из трех братьев Абраам рассказывает с особой любовью — и это можно понять. Беглыми, но выразительными линиями обрисована судьба старшего брата, Марселя. Он долгие годы, казалось, жил преимущественно в мире техники. И лишь после освобождения Франции Пьер Абраам узнал, что деятель Сопротивления, о котором он не раз слышал и который носил в подполье имя «майор Оранж» — это был его старший брат, инженер Марсель Блок.

О самом себе автор книги повествует, в сущности, скупо. Наиболее охотно вспоминает он годы своей службы в авиации. Но ведь Пьеру Абрааму — журналисту, редактору «Эропа», автору литературоведческих трудов, другу многих видных писателей и художников — тоже есть о чем вспомнить и о чем рассказать. Быть может, это будет материалом его следующей книги? Так или иначе — в «Трех братьях» дан привлекательный автопортрет французского интеллигента, который, повинуясь естественному побуждению души, принял идеи марксизма-ленинизма и остался им верен до своих нынешних почтенных лет.

Стоит привести заключительный абзац из предисловия Жака Дюкло к книге Пьера Абраама: «Мы читаем эти строки, и перед нами встает благородный облик автора, с его мужеством и чувством долга, с его культурой и способностью понимания, с его верностью и честью, и вместе с тем перед нами встает целая семья, на фоне которой выделяется образ Жан-Ришара Блока; и я уверен, что эта книга будет с интересом прочитана теми, кто, желая лучше понять настоящее, ищет основу для такого понимания в лучшем знании прошлого, близкого и в то же время далекого, которое подготовило наш сегодняшний день».

Т. МОТЫЛЕВА

СМЕРТЬ ОРФЕЯ

Laurenţiu Fulga. Moartea lui Orfeu. Roman. Bucureşti, Editura Eminescu, 1970.

Румынский прозаик Лауренциу Фулга пришел в литературу более десятилетия назад. Творческий путь его — от «Героики» (1956) до «Смерти Орфея» (1970) — во многом показателен не только для Фулги, но и для целого ряда писателей его поколения. Романы последних лет — «Александра и ад» (1966), «Госпожа иностранка» (1968) и особенно «Смерть Орфея» органически вписываются в нынешний период развития румынской прозы, который отличает богатая палитра

поисков и экспериментов, углубление тематики, расширение стилистического диапазона.

«Смерть Орфея» Лауренциу Фулги — современный роман и по тематическому звучанию, и по проблематике, и по видению, углу зрения писателя, по повествовательной манере и художественным приемам. Интересен роман и по литературным истокам в румынской литературе (Камил Петреску, Джиб Михаеску), и в прозе отдельных западных романистов (Пруст, Фолкнер). Ощутимы также переклички с Достоевским, подмеченные некоторыми румынскими критиками.

Румынский прозаик использует в своем произведении миф об Орфее, истолковывая его применительно к современной действительности, проецируя в различные повествовательные пласты.

Герой романа — скульптор, любящий и творящий прекрасное. Он, как мифический Орфей, услаждает людей плодами своего таланта, дарит своим ближним радость познания этого прекрасного. Как и мифическому герою, на долю Орфея — художника, нашего современника — выпадает немало полных драматизма испытаний. Порою автор как будто бы даже нарочито стремится провести параллели с общеизвестными эпизодами мифа об Орфее (попытка бегства героя на пароходе в поисках счастья походит на путешествие Орфея в страну аргонавтов; образы женщин и взаимоотношения с ними напоминают эпизод с сиренами и фракийскими женщинами; исповедь его — это попытка познать непознанное, проникнуть в тайны загробной жизни, куда получил доступ Орфей).

Герой Лауренциу Фулги выходит победителем из многих нелегких испытаний, и преодоление их обостряет его внутреннюю жизнь. Победа оказалась возможной, потому что он верит в силу таланта и искусства, в торжество гуманистических идеалов. Однако жизнеутверждающее кредо его не выдерживает столкновения со смертью любимой женщины — новой Эвридики, носящей в книге имя Горации. Орфея одолевают мысли о бренности человеческого существования перед лицом вечных законов природы.

Умирает юная, прекрасная женщина — герой воспринимает ее исчезновение как нелогичное и, подобно мифическому Орфею, следует за своей возлюбленной — без надежды на возвращение, принеся в жертву всепоглощающему чувству свою жизнь, свое искусство.

«Смерть Орфея» — роман-исповедь, исповедь страстная, проникновенная, драматичная. Это трагическая исповедь человека, столкнувшегося со смертью, ощущающего ее рядом, совсем близко — возле себя и умирающей любимой женщины. И человек бьет во все колокола о своем горе, боли, отчаянии, проклинает свое бессилие. Он — в тисках неминуемой, безжалостной, всеразрушающей и всеубивающей безнадежности, во власти смерти.

Изображая своего героя в безысходной ситуации, автор показывает нам судорожный, заранее обреченный на неудачу поединок — поединок героя с самим собой. Герой то пытается постигнуть, объять разумом суть происходящего—что не поддается постижению,— то вопрошает судьбу, то обвиняет себя или злой рок, то восстает против него, то сникает под непосильной ношей душевной тревоги и беспокойства. Этот судорожный внутренний монолог максимально сжат, короток по времени. Действие романа длится менее двух дней, в течение которых герой книги, потрясенный смертью любимой и находящийся сам перед каким-то главным и, может быть, окончательным рубежом, понимает, что ему нужно задуматься и ответить на вопрос о смысле жизни, о своем собственном назначении на земле.

В течение этих двух дней он переживает не только драму чувств — потерю любимой женщины, но и драму творчества — Горация была для него музой, покровительницей, чей ясный и трезвый ум вдохновлял творчество романтичного, увлекающегося человека. Он переживает драму своего поражения как художника — смерть Горации несет ему собственную гибель, крах творчества, и физическое исчезновение его явится лишь логическим завершением ранее наступившего конца; одновременно он переживает интеллектуальную драму нашего современника, нового Орфея, в какой-то мере и современного Фауста, человека XX века, которого не могут не волновать ведущие, магистральные проблемы бытия, условия человеческого существования.

Долгий внутренний монолог героя, проходящий через все произведение, развертывающийся в «поисках потерянного времени», развивается по своеобразной траектории, когда главный герой отдается наплывам воспоминаний, вызывает образы и мир прошлого, восстанавливает обрывки разговоров с Горацией, собственные мысли, раздумья, реальные или воображаемые беседы с различными людьми.

Глубокий анализ психологии героя — одно из неоспоримых достоинств романа Лауренциу Фулги, раскрывающих своеобычную и многообещающую грань его таланта. Писателя отличает острая интуиция, тонкость, меткость характеристик, умение передать накал переживаний, большие человеческие волнения и страсти. Уподобляясь своему герою, Лауренциу Фулга, как скульптор, высекает человеческие лики из монолитных кусков, из твердого материала. Он предпочитает резко очерченные контуры. Стиль прозы суров, фраза насыщена до предела, отчего временами возникает даже ощущение некоторой тяжеловесности.

Автор умеет пластически изображать конкретно-предметный мир, богатство духовной жизни своих персонажей, чередуя временные смещения планов, сочетая внешне разрозненные сцены, наполненные глубоким подтекстом, обретая во внешнем мире яркие черты для точной передачи психоло-

гии героев. Писатель постоянно — быть может, даже слишком постоянно, настойчиво — использует один и тот же прием: переплетение реального с вымыслом, фантастикой. Изобразительный прием этот дает возможность Лауренциу Фулге выявить, подчеркнуть, передать емче реальность «фантастической действительности», что вновь напоминает нам о школе Достоевского.

Память — не просто клапан, сквозь который приходят в человеческое сознание факты прошлого, память вызывает ассоциации, составляет тот остов содержания, который построен на вымысле, воображении, но вместе с тем базируется на реальности, но эта реальность продолжается, становясь порою навязчивыми снами, кошмарами, невероятно правдоподобными. Так написаны три загадочные женщины в романе (дочь архитектора, Сибилла, «женщина с медовыми волосами»), ипостаси сентиментальной жизни героя, беседы с доктором, бессильным спасти Горацию, и т. д.

Особую роль в романе Лауренциу Фулги играют символы (река Стикс, погребальная процессия, «захоронение» Горации, подобно жене мастера Моноле из румынской народной баллады, которую замуровали в стену строящейся церкви, чтобы церковь не рухнула). Поэтичность, глубина психологического анализа передаются с помощью символической обрисовки дождя, огня, ночи, которые так подходят к сумятице, душевной потрясенности героя. Большинство сцен происходит ночью, или под дождем, или при огне (любовная клятва Горации у огня и другие, обретающие элементы языческой мифологии). Не менее важную роль играют в романе колорит обычно контрастных (черный-белый) или ярких, сочных тонов (излюбленный цвет — красный), афоризмы, максимы, метафоры, эллиптические фразы. Не можем не отметить в романе «Смерть Орфея» и некоторых аналогий с символической прозой и экспрессионистическими поисками.

Сложный, разветвленный по композиции, с многочисленными напластованиями роман Лауренциу Фулги местами страдает некоторой манерностью и нарочитостью, но он, несомненно, является одним из значительных достижений сегодняшней румынской прозы.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ

г. Бухарест

ПОРЯДОК ПРОТИВ МЯТЕЖА, ИЛИ НОВЫЕ СКАЗКИ ПРО ЛЮДОЕДА

Jean Dutourd. L'école des jocrisses. Paris, Flammarion, 1970.

Говорят, что дирижеры «массовой культуры» на Западе строго делят литературную продукцию по категориям «потребителя». Сцена, которая тронула бы до слез молоденькую официантку, оставит равнодушным деловитого агента по страхованию; каламбур, рассчитанный на вкус бывалого Дон Жуана, «не дойдет» до парня, захваченного страстью купить машину. Значит — решают духовные поводыри,— нужно особое чтиво для семнадцати- или семидесятилетних, для пресыщенных роскошью или лишь мечтающих о ней.

Когда известный французский писатель Жан Дютур был приглашен выступить на страницах «Фигаро литтерер» с коротким рассказом, он предложил новую сказку про Людоеда, рассчитанную на почтенных родителей-буржуа, чьи длинноволосые дети шумно бунтуют против «общества потребления», тем не менее пользуясь его благами. Таким родителям — надеется «Фигаро литтерер» — не к чему разбираться, что вообще толкает юных к бунту, справедливы ли обвинения, предъявленные молодежью к системе буржуазного образования.

За приключениями Мальчика с пальчик, придуманными Дютуром, мамы и папы должны следить не переводя дыхания; ведь и у них сынки выманивают одну сотню франков за другой, покрывая бранью «конформистов-потребителей», и у них в доме раздаются «страшные» призывы к «пролетарской революции», «отмене сексуальных табу» и мятежу против «стариков». Может быть, и им, читателям «Фигаро литтерер», отвезти, как в рассказе Дютура, своих ребяток в лес на пикник, а самим потихоньку сбежать, сменив квартиру? Может быть, и на их деток найдется управа — вроде модернизированного Дютуром Людоеда, который обожает шестнадцатилетних (такое нежное мясо!) и усыпляет их дебатами по поводу «противоречий капитализма»? «Никогда еще взрослые не внушали им такого доверия»,— иронизирует автор. «Почему наши родители не похожи на вас?» — восхищенно лепечут засыпающие дети. А Людоед с Людоедкой готовят большой котел...

Литературной продукции, предназначенной для читателей, предпочитающих не думать о путях обновления социальных институтов, появляется достаточно. Она должна успокоить и отвлечь. Сейчас слишком очевидны пороки «общества процветания», слишком мало счастья достается человеку от его «благодеяний». Идея бунта время от времени молнией проносится в воздухе, а города капиталистического мира то там, то здесь горбятся баррикадами, «закрывающими улицу, но открывающими путь» — как писалось в студенческой листовке.

На поверхности справедливого возмущения собирается, как часто бывает, пена террористического анархизма. Не увидеть под пеной мощной социальной волны — такая же близорукость, как не замечать гнилостных пузырей. Близорукой радостью переполнены многие панегирики движению «левых» на Западе. Поэтому к серьезности располагала бы книга, обещающая рассказать, где корень зла, чем виноваты отцы, как заблудились многие дети в чащобе анархических псевдореволюционных лозунгов.

Обо всем этом и пытался порассуждать Жан Дютур уже не в новелле, а в книге публицистических эссе, озаглавленной «Школа простаков» (1970). Именно сюда ведут нити от поучительной интриги нового Мальчика с пальчик. Именно тут под раздражением обиженного родителя бурлит почти слепая ненависть к любым переменам.

Жан Дютур не захотел отделить зерно от плевел, серьезные причины общественного недовольства от анархической эксплуатации его экстремистскими элементами. Все движение протеста показалось ему сплошной пеной. Взбивая ее венчиком пера, Дютур находит все новые и новые аргументы для доказательства полной бессмыслицы бунта.

Нет, он не собирается охранять буржуазию как класс; он вроде бы даже готов защищать народ от крикливых сынков буржуазии. Баррикады, внушает он, строили «только буржуа, люди легкомысленные, а народ, народ-то не поддался глупостям. Дети народа не скандалили...» Словно рабочие крупнейших заводов Франции не объявили в майские дни 1968 года всеобщей забастовки. Словно предпринимателям не пришлось идти скрепя сердце навстречу справедливым требованиям трудового люда. Но как раз эти требования Дютура раздражают. «Профсоюзы, видно, думают, будто государство — волшебник»,— недовольно вспоминает писатель о петициях, составленных синдикатами.

Наконец, противореча сам себе, он дает волю неверию: «Народ — это желе: стоит разбить посуду — и оно бесформенно расползается». И решающий совет: «Пролетариям объединяться? Какая чушь! Им лучше идти рука об руку с классовым врагом» против... «легкомысленных буржуа». А этим именем Дютур объединяет и провокаторов-анархистов, влюбленных в беспорядок, и оппозиционно настроенную интеллигенцию, и коммунистов, предъявляющих серьезный счет «свободному обществу».

Линия на раскол интеллигенции и народа, едва намеченная Дютуром, прочерчена жирной краской в целой серии книг откровенно охранительного толка. «Хвала обществу потребления» — горделиво назвал, например, свое исследование Раймон Рюйер, заведующий кафедрой социологии в университете города Нанси. Рюйер бичует интеллигенцию, этот паразитический «третий социальный сектор, который воспользовался прибылью в ущерб предпринимателям и рабочим».

«Открытое письмо левым», опубликованное Пьером де Буадефром, громко прославляет «крестьянина, не повернувшего даже головы», когда падал с неба Икар (сюжет картины Брейгеля).

Жан Дютур никогда не принадлежал к защитникам эксплуатации и несправедливости; его книги часто привлекали читателя любовью к земле Франции, ее традициям, беспокойством за ее судьбы. Торжественно и полновесно звучали порой ноты национальной гордости. Но идеал, предложенный Жаном Дютуром в «Школе»,— тоже спокойно-невозмутимый гражданин, предоставляющий сеньорам (или предпринимателям?) думать за него. Слышится даже гимн бедности, которая заставляет заниматься хлебом насущным и не позволяет «дурить»: «Душа, убитая техникой?». Все это заботы богатых отпрысков. «Народу некогда думать о душе». «Богач вообще ветрогон, у него нет своего места; бедняк же — дерево, крепко вросшее в национальную почву, его с места не сдвинешь». Итак, нищета достойнее, профсоюзам вредно заботиться о материальных правах рабочих. «Счастье делает нацию тупой, разгульной, жадной, жестокой и трусливой». Только бедность и статус-кво якобы полезны нации.

Бунтующий Мальчик с пальчик, нарисованный Жаном Дютуром и в рассказе про Людоеда, и в сердитом эссе, стоит как бы на развилке: направо — отцы-идеологи, требующие конформистского послушания; налево — хитрый Людоед, плетущий паутину «левых» фраз. Но горизонты подлинно революционного действия шире и заманчивее этой упрощенной конфронтации. Именно эти широкие горизонты автор «Школы простаков» старательно затягивает пеленой страха. А ведь долг писателя — проницательно читать сложную карту современной политической ситуации, чтобы представить самому и объяснить другим, где чей порядок, где чей мятеж, где пролегают дороги Революции, защищающей человека.

Т. БАЛАШОВА

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«БОГ-СКОРПИОН» УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА

Уильям Голдинг, которому недавно исполнилось 60 лет, выпустил новую книгу — «Бог-скорпион», включающую три повести. Одна из них была напечатана в середине 50-х годов, две другие — новые.

По словам обозревателя «Таймс литерари саплмент», художник-моралист Голдинг, как всегда, переносит проблемы современности в условную фантастическую среду: время действия всех повестей отодвинуто в далекое прошлое. Первая повесть, давшая название сборнику, посвящена древнему Египту. Некоторые критики считают это произведение лучшим в сборнике.

...Фараон должен умереть, чтобы стать богом. Он — единственный, кто безропотно подчиняется древним законам. Все остальные бунтуют: принц не собирается жениться на своей сестре и стать богом. А сестра любит Лжеца, придворного рассказчика и шута. Лжец не хочет умирать со своим господином и, нарушая закон, становится возлюбленным принцессы. Так люди порывают с древними, освященными веками обычаями.

Вторая повесть «Клонк-клонк» отнесена еще дальше в глубь веков и рассказывает о жизни африканского «племени леопардов».

Мужчины охотятся за дичью, женщины воспитывают детей и занимаются хозяйством. В центре — судьба молодого воина, охромевшего на охоте и сначала заслужившего всеобщее презрение. Затем, вдохновленный любимой женщиной, он снова становится хорошим охотником. Писатель нарочито осовременивает мужчин и женщин далеких дней. Критика отмечает мастерство писателя, тонкость деталей, умелое использование реалий первобытного мира и примитивного языка его обитателей.

Третья повесть, по отзывам критики, полна юмора, условна и развлекательна без дидактической торжественности. Действие происходит в Древнем Риме. Эксцентричный гениальный изобретатель-грек привозит римскому императору свои последние изобретения, призванные облагодетельствовать человечество: это — пароход, кастрюля-скороварка и порох. Но человечество еще не готово к таким дарам цивилизации и отвергает их...

Некоторые критики видят в этой повести всего лишь веселый анекдот, полный курьезных ситуаций.

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

«САМОБЫТНОСТЬ И НОВАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЕ»

Недавно в Каире состоялась научная конференция, созванная Арабской организацией по вопросам образования, культуры и науки при Лиге арабских стран, на тему «Самобытность и новаторство в современной арабской культуре».

Как пишет обозреватель журнала «Аль-Адаб», вопрос о соотношении самобытного и новаторского в арабской культуре уже лет семьдесят служит предметом периодически возобновляющихся дискуссий среди арабской интеллигенции. Особенно бурный характер эти дискуссии приобрели в последнее время, когда со всей остротой встал вопрос о месте арабской культуры в современном мире.

На конференции, в работе которой приняли участие писатели, литературоведы и критики примерно из десяти арабских стран, было заслу-

шано восемь докладов и сообщений.

Конференция выработала рекомендации, направленные на развитие культуры и науки в арабских странах, с учетом как национальных традиций, так и требований современной эпохи.

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТУРА, ВОЗВЫШАЮЩАЯ ЧЕЛОВЕКА

«Влияние Октябрьской революции на Болгарию было прежде всего идейным,— сказал в интервью корреспонденту еженедельника «Литературен фронт» известный болгарский писатель Эмилиян Станев, знакомый советскому читателю по повести «Похититель персиков», роману «Иван Кондарев» и «Легенде о Сибине, князе Преславском» (опубликована в «ИЛ» № 5, 1970).—Исключительное воздействие оказала на нас, молодых людей из бедных семей, советская литература, пробуждая в нас классовое сознание. Первыми книгами советских писателей, которые я прочитал, были «Железный поток» Серафимовича, затем «Чапаев» Фурманова... Большое впечатление произвели на меня Алексей Толстой, Исаак Бабель, Борис Пильняк и позднее Шолохов. Из поэтов прежде всего Блок и Есенин».

Отвечая на вопросы корреспондента, Э. Станев рассказал о своей работе над новой повестью и романом на современную тему. Рабочее название романа — «Пять дней», сказал Станев, и в центре его образы наших современников, принадлежащих к трем поколениям.

ПЕСТРЫЙ И КРАСОЧНЫЙ МИР

На X фестивале болгарских фильмов в Варне с успехом демонстрировался фильм молодых режиссеров М. Николова и Т. Дюлгерова «Пестрый мир», состоящий из двух киноновелл «Испытание» и «Нагая совесть». Они представляют собой экранизацию рассказов Николая Хайтова из популярного в Болгарии сборника «Дикие рассказы». Фильм был удостоен на фестивале премии за наиболее удачное воплощение национальных черт болгарского характера. Кроме того, Н. Хайтову была присуждена премия за лучший сценарий, а заслуженному артисту К. Коцеву — премия за лучшее исполнение мужской роли.

Как отмечает корреспондент еженедельника «Народна култура», молодым режиссерам удалось проникнуть в самобытный мир автора, описывающего своеобразный быт Родопского края, и удачно передать душевный склад крестьянина. «Прослеживая национальное начало в «Пестром мире»,— пишет корреспондент,— мы открываем его прежде всего в красочном смешении будничного и героического, бытописания и притчи, в несгибаемой внутренней силе героев».

ВЕНГРИЯ

ВЫСТАВКА МЕЛКОЙ ПЛАСТИКИ

В Будапеште прошла Первая международная выставка мелкой пластики.

Заместитель министра просвещения, доктор Ене Шимо, сказал при ее открытии: «Мы надеемся, что будапештская биеннале мелкой пластики станет международным форумом этого важного жанра скульптурного творчества. В разных странах существует множество выставок изобразительного искусства, на которых экспонируются произведения живописи и графики, в то время как мелкая пластика, эта своеобразная форма художественного выражения, до сих пор не имела возможности быть представленной на международных выставках».

Экспозиция включала 527 произведений 106 скульпторов, приславших свои работы из 22 стран: Австралии, Австрии, Боливии, Болгарии, ГДР, Греции, Испании, Италии, Канады, Мексики, Польши, Румынии, Швеции, СССР, США, Эфиопии, Финляндии, ФРГ, Чехословакии, Чили, Югославии и Японии.

Один из залов почти целиком был отведен произведениям знаменитого венгерского скульптора Бени Ференци. Доктор Ене Шимо сказал, что «этой выставкой в рамках биеннале мы воздаем должное памяти замечательного скульптора, одного из первых создателей этого жанра в нашем искусстве».

Скульптор Аболина (СССР), Макё Билл (Швейцария), Андраш Киши Надь (Венгрия), Лучано Минчуцци (Италия), Тимиос Панургиас (Греция), Пабло Серрано (Испания), Йожеф Шомоди (Венгрия), Мирча Стефанеску (Румыния), Фриц Вотруба (Австрия) и Корнелис Ситман (Венесуэла) — были награждены премиями биеннале. Обозреватель газеты «Мадьяр хирлап» писал в связи с этим: «Список награжденных отражает стремление жюри отметить наиболее характерные и выдающиеся произведения представителей каждого из многочисленных стилистических направлений».

ГДР

ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Состоялось вручение ежегодных премий имени Генриха Гейне. Премии за 1971 год присуждены Фолькеру Брауну за его поэтическое творчество и главному редактору журнала «Нойе дойче литератур» Вернеру Нойберту — за публицистические работы.

Премии лауреатам в торжественной обстановке вручил заместитель министра культуры Бруно Хайд. Традиционную приветственную речь произнес поэт Ио Шульц. Отметив заслуги Фолькера Брауна и Вернера Нойберта, Ио Шульц подчеркнул, что «они оба своим творчеством тесно связа-

вы с поэтическим и литературно-критическим наследием Генриха Гейне».

ПЕРВЫЙ РОМАН КЛАУСА ШЛЕЗИНГЕРА

Молодой инженер-химик Михаэль Бергер находит в одной иллюстрированной книге фотографию, на которой изображена группа карателей в Польше. Среди них, как ему кажется, он узнает своего отца. Подозрение, что его отец участвовал в преступлениях фашизма, меняет всю жизнь Михаэля. Вопрос «Кто был мой отец?» перерастает в вопрос «Кто я?» и заставляет Михаэля о многом задуматься, многое переосмыслить.

Этой теме писатель Клаус Шлезингер посвятил свое первое произведение «Михаэль», выпущенное ростокским издательством «Хинстроф». Рассказ ведется от первого лица. «Я ищу. Я хочу разгадать истинную суть моего отца»,— говорит герой, и это становится лейтмотивом книги.

Роман Шлезингера — книга о двух поколениях. Страшное прошлое Германии, преступления, в которых участвовали отцы, а также проблемы, которые стоят теперь перед Михаэлем и его сверстниками, нашли отражение в первой книге Клауса Шлезингера, которую пресса Германской Демократической Республики называет талантливой и интересной.

РАССКАЗЫВАЕТ ГЮНТЕР РЮККЕР

— Героиня моей новой пьесы необычна,— рассказал в интервью корреспондентам еженедельника «Зонтаг» и газеты «Берлинер цайтунг» лауреат Национальной премии за 1971 год Гюнтер Рюккер.— Она смогла подняться над своим прошлым, где не было ничего, кроме тяжелого, изнурительного труда, сумела многого достичь в жизни, а главное обрести внутреннюю красоту, которая делает ее интересной для окружающих. Когда в конце пьесы скульптора, вылепившего ее лицо, спрашивают, почему он остановил свой выбор не на молодой, хорошенькой активистке, а на этой некрасивой, немолодой женщине, он отвечает: «Каждый человек в моей стране мне близок. Но главная моя задача — воплощать в искусстве самое значительное...» Эти слова близки и мне самому. Меня интересует окружающая жизнь во всем ее многообразии, интересуют люди, ничем на первый взгляд не примечательные, такие, как героиня радиопьесы «Портрет толстой женщины».

На вопрос корреспондента, почему он избрал жанр радиопьес, Рюккер ответил:

— Я люблю этот жанр прежде всего за его популярность, за то, что я могу обращаться сразу к большому количеству людей... Успех моих последних радиопьес укрепляет мое желание и дальше работать в этом жанре. Однако я не хочу ограничиваться только радиопьесами. Мое творчество всегда было связано и с кино. Недавно по мотивам репортажа Эбергардта Паница я написал сценарий для фильма «Третий». Осенью 1972 года будет сниматься фильм по моему сценарию «Жизнь и просветление немецкого бунтаря Игнаца Вольца». Кроме того, я предполагаю написать юмористическую историю об одном странном человеке. Думаю, что на этот раз я напишу короткий роман.

Недавно телевидение ГДР показало телевизионный фильм по известной трилогии Вилли Бределя «Родные и знакомые». На снимке: Роланд Кнаппе в роли Карла и Гудрун Вендлер в роли Фриды Брентен.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ФРГ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА

В Нюрнберге, Бонне и других городах ФРГ прошли торжества в честь 500-летия со дня рождения величайшего художника средневековья — Альбрехта Дюрера (1471—1528). В Нюрнберге, где родился Дюрер, состоялось одиннадцать выставок, посвященных его жизни и творчеству. По словам корреспондента журнала «Вог», во время празднования юбилея Дюрера его родной город как бы превратился в большой музей.

«Альбрехт Дюрер принес в Германию Ренессанс,— пишет далее корреспондент.— Вместе со своими современниками Мартином Лютером и Иоганном Гутенбергом он способствовал окончанию периода средневековья в Германии. И все же его творчество представляет собой как бы памятник эпохи, завер-

шению которой он способствовал».

Среди работ Дюрера заметное место занимают его автопортреты. Дюрер оставил большое количество полотен на библейские темы, ксилографюры, книжные иллюстрации, витражи. В них, по словам корреспондента, он «нарисовал детальную картину внешней и внутренней жизни современного ему мира».

Выставки, посвященные Дюреру, состоялись также в других странах. В Нью-Йорке, в музее «Метрополитен», прошла выставка в честь юбилея великого художника.

ВЫПУСКАЕТ «ПЛЕНЕ-ФЕРЛАГ»

Западногерманское демократическое издательство по выпуску грампластинок «Плене-ферлаг», которое шпрингеровская печать называет «красным», отметило недавно свое десятилетие. За время своего существования оно распространило множество записей песен, зовущих на борьбу с реакцией, разоблачающих капитализм и нещадную эксплуатацию трудящихся. Песни, записи которых «Плене-ферлаг» рассылает по всем городам ФРГ, исполняют такие известные певцы, как Ганс-Эрнс Егер, Дитер Зюверкрюп, Фазиа Янзен, Ганс Дитер, Дитрих Киттнер и другие.

Юбилейные торжества проводились в Дортмунде, где находится издательство. В день юбилея состоялись концерты, на которых исполнялись едкие пародии на партии крупного капитала ХСС и ХДС, высмеивалась буржуазия, клеймились позором провокационные вылазки неонацистов, выражалась солидарность с народом Вьетнама и мужественной американской патриоткой Анджелой Дэвис (издательство выпустило специальную пластинку с песнями о ней).

ИОРДАНИЯ

ПОВЕСТЬ О БОРЬБЕ ПАЛЕСТИНСКИХ АРАБОВ

По сообщениям арабской прессы, молодой иорданский писатель Атыйе Абдаллах опубликовал в Аммане повесть «Кровь и земля». Это вторая книга писателя, ранее выпустившего повесть «Когда зеленеют деревья». В новом произведении Атыйе Абдаллаха рассказывается, по свидетельству журнала «Аль-Адиб», «о страданиях и надеждах палестинского народа», о борьбе арабов Палестины против своих угнетателей — начиная с 1920 года, когда палестинцы поднялись на борьбу против британских колонизаторов, до наших дней.

ИСПАНИЯ

«И НА ЦВЕТЫ ОНИ НАДЕЛИ ЦЕПИ»

Пьеса испанского драматурга Аррабаля «И на цветы они надели цепи» — беспощадное обвинение франкистскому режиму, пьеса о жестоких физических и нравственных страданиях, которые приходятся на долю узников испанских тюрем. Сам Аррабаль не один год провел в тюремных казематах Испании и вырвался на свободу лишь благодаря вмешательству видных литераторов и общественных деятелей. Отец Аррабаля был арестован в тот день, когда в Испании началась гражданская война, и до конца жизни просидел во франкистских тюрьмах. Доведенный до отчаяния неслыханными пытками, он вскрыл себе вены... «Я еще и сегодня чувствую, как кровь отца течет по моей груди»,— говорит Аррабаль.

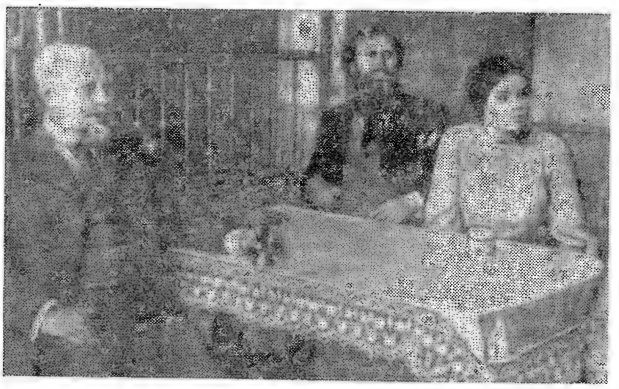
Сейчас пьеса испанского драматурга поставлена в Швеции (о постановке ее в Испании пока не может быть и речи).

«Со времен Августа Стриндберга ни одна театральная постановка не имела в Швеции такого фантастического успеха, как пьеса испанского драматурга Аррабаля «И на цветы они надели цепи» в постановке «Стадстеатра» в Мальме»,— пишет театральный рецензент газеты «Норшенсфламман».

Спектаклю предшествует пролог: зрителей вводят в зал, как заключенных, руки

ДАНИЯ

Датское телевидение познакомило своих зрителей с творчеством Чехова, показав его пьесы «Три сестры», «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня» (датское название: «Сцены из сельской жизни»).
На снимке: сцена из пьесы «Дядя Ваня» в постановке датского телевидения. Роли исполняют Асбьёрн Андерсен, Лене Тимурт и Аксель Эрхардтсен.
(Газета «Ланд ог фольк»)



за спину. В непроглядной тьме слышны крики и стоны узников, звон кандалов, окрики охранников, вопли, проклятия. Зрителей усаживают на подобие скамей для подсудимых — все это занимает полчаса,— и затем начинается спектакль.

Знаменательна заключительная сцена пьесы: человек по имени Тосан невинно осужден и приговорен к смертной казни. Его жена обращается к высокопоставленным лицам, моля о помиловании. Все напрасно. Обращение к общественному мнению приводит лишь к тому, что несчастного казнят раньше назначенного срока. Сцена обагряется кровью. Появляются заключенные — товарищи погибшего. Они поднимают его израненное тело высоко над головами, а из зала вылетает белый голубь — символ мира, свободы, добра.

Реакционные круги Швеции подвергли пьесу яростным нападкам, объявив кощунственной, и потребовали ее запрещения. Однако коллектив театра во главе с директором Ёстой Фольке упорно продолжает играть спектакль, несмотря на угрозы и клевету.

ИТАЛИЯ

«ТОВАРИЩИ РАССКАЗЫВАЮТ»

Под этим названием издательство «Эдитори риюнити» выпустило сборник воспоминаний итальянских коммунистов. Более тридцати авторов описали какое-либо событие в своей партийной жизни или запомнившийся им случай, особенно характерный для деятельности партии или недавней истории Италии. Почти все воспоминания были вручены составителям сборника в письменном виде, но некоторые — и, надо признать, наиболее живые и впечатляющие — представляют собой магнитофонные записи, сделанные «с живого голоса». Все эти непосредственные свидетельства жизни и борьбы итальянских коммунистов охватывают период более чем в полвека. В числе авторов воспоминаний — и рядовые члены партии, принесшие свои записи в районные секции ИКП, и ветераны, занимавшие или занимающие и поныне в партии ответственные посты. Весь этот богатейший материал был передан в Институт Антонио Грамши, а затем его обработал и подготовил к изданию известный журналист Энцо Рава. Посвящая сборнику большую рецензию, газета «Унита» пишет, что книга воссоздает самый правдивый образ пролетарской партии в период после первой мировой войны, годы политической эмиграции до гражданской войны в Испании и подпольного и партизанского движения в Италии во время гитлеровской оккупации. Как пишет автор рецензии профессор-историк Паоло Сприано, один из руководителей Института Антонио Грамши, эта книга является коллективным портретом итальянского коммуниста.

ЮБИЛЕЙ ТРИЛУССЫ

Итальянская печать отметила столетие со дня рождения поэта Трилуссы (настоящее имя: Карло Альберто Салюстри), писавшего на римском диалекте. Вслед за Джузеппе Джоакино Белли и Чезаре Паскареллой умерший в 1950 году Трилусса был одним из самых видных и характерных представителей римской диалектальной поэзии. Многие стихи и эпиграммы его носили антифашистский, а позднее — антимонархический характер. Поэзия Трилуссы была подлинно народной, демократической, чем и объясняется большая популярность его стихов. Наряду с сатирическим, ироническим направлением в его творчестве присутствовало порой незаслуженно отодвигаемое на второй план направление лирическое. Ныне интерес к этому самобытному и недостаточно еще оцененному поэту в Италии весьма велик: например, только издательство Мондадори недавно выпустило два издания — «Все стихи Трилуссы» (в двух томах) и избранное — «Лучшее Трилуссы» (тоже двухтомник). В другом издательстве вышел «Римский словарь Трилуссы».

НЕКРАСОВ НА ИТАЛЬЯНСКОМ

Во многих странах мира, в том числе в Италии, широко отмечалось 150-летие со дня рождения великого русского поэта-демократа Н. А. Некрасова.

Среди русских поэтов-классиков, произведения которых переведены на итальянский язык, Некрасову принадлежит видное место. С некоторыми его стихами итальянцы ознакомились еще при жизни поэта. Наиболее известные его стихи и поэмы были переведены в 20-е годы нашего столетия. Так, в 1923 году в г. Терамо был опубликован сборник произведений поэта под названием «Русские женщины». В 1925 году в Риме вышел сборник избранных стихотворений Некрасова, который через несколько лет был напечатан вторым изданием.

Недавно издательство «Де Донато» в г. Бари напечатало отдельным изданием поэму «Кому на Руси жить хорошо». Перевод поэмы осуществил Этторе Ло Гатто, автор многочисленных трудов о русской и советской литературе, а также переводчик произведений русских писателей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ АННЫ МАНЬЯНИ

После трехлетнего перерыва в кино вернулась Анна Маньяни. Печать сообщает о том, что актриса снималась в последнее время в трех новых фильмах.

Первая картина «Певица из кабаре» повествует о судьбе бедной немолодой певицы из Турина, которую во время первой мировой войны власти направляют на фронт для «поддержания духа» итальянских солдат.

Певица видит трагедию тысяч итальянских парней, гибнущих на фронтах империалистической войны. Несмотря на подавленное настроение, она выступает перед фронтовиками, доставляя им короткие минуты радости. Роль солдата из Неаполя, которого встречает певица, играет Массимо Раньери.

Второй фильм — «Встреча в 1943 году» рассказывает историю медицинской сестры одной из больниц наводненного гитлеровцами Рима, которая скрывает у себя офицера, сбежавшего из итальянской армии. Гитлеровцы арестовывают его и отправляют на принудительные работы в Германию.

По отзывам критиков, Анна Маньяни убедительно передает страдания женщины, ее гнев и бессилие перед тупой жестокостью врага. Образы женщин периода второй мировой войны особенно близки А. Маньяни, искусство которой, как известно, раскрылось в знаменитом фильме Роберто Росселини «Рим — открытый город».

Третий фильм «Автомобиль» — трагикомическая история из жизни сегодняшнего Рима. Женщина средних лет приобретает легковой автомобиль, и для нее начинаются бесконечные хлопоты: томительные ожидания у светофора, проблема хранения машины и т. п. Однажды она едет к побережью Тирренского моря, где знакомится с молодым повесой и доверяет ему руль своей машины. Тот несется по автостраде, не соблюдая правил, попадает в аварию и разбивает новенький автомобиль...

Все три фильма с участием А. Маньяни были показаны по национальному телевидению. Интерес к ее искусству настолько велик, что в эти дни кинотеатры пустовали, зато голубой экран собирал по вечерам до 20 миллионов зрителей.

Выступая перед журналистами в Ассоциации иностранной печати в Риме, А. Маньяни поблагодарила режиссера Альфредо Джанетти за приглашение сразу на три роли. «Все три образа итальянских женщин,— сказала она,— оказались близки мне, чем, очевидно, и объясняется успех фильмов».

ПОЛЬША

ПРЕМИИ 1971 ГОДА

Премии министра культуры и искусства в области литературы присуждены в 1971 году не только за произведения последних двух лет; были учтены лучшие произведения последнего десятилетия, тематически относящиеся к «сельской» и к ставшей вновь популярной военно-партизанской литературе.

Критики обращают внимание на то, что большинство награжденных авторов, как поэтов, так и прозаиков, охотно обращаются к фольклору, народным традициям и преданиям. Это представители «крестьянского» направления, которое в последние годы заняло важное место в современной польской литературе.

В числе награжденных книга Тадеуша Новака «А как станешь королем, а как — палачом» — история жизни деревенского парня, гражданские и духовные взгляды которого формируются под влиянием военных испытаний. Писатель соединяет в своей прозе элементы фольклора с традициями национальной литературы и культуры. Вторая отмеченная премией книга этого автора — сборник стихов «Домашние псалмы», в которых он возрождает поэтический жанр, связанный с именем Яна Кохановского, наполняя его современным содержанием.

История и судьбы современных людей представлены в книге Анджея Кусьневича «Зоны». Писатель сумел воссоздать в романе широкую картину человеческих судеб, нарисовать историческую панораму времен второй мировой войны и предшествующего периода. Автор избегает поспешных оценок и обобщений, стремится выявить скрытое значение человеческих конфликтов, сложных человеческих судеб.

К жанру военной литературы относится премированная книга «Дневник времен Варшавского восстания» Мирона Бялошевского. Роман «Пустота» Анджея Брауна посвящен самому трудному, наиболее сложному и трагическому периоду польской революции — периоду братоубийственной борьбы в первые годы народной власти.

Премию за поэтическое творчество получила Уршуля Козёл. Ее сборники «Список присутствующих» и «Избранные стихи» написаны взыскательным, эмоциональным художником. Ее поэзию пронизывают две основные мысли: о всеобщей ответственности за жизнь, за мир, человечность и человечество и о глубокой связи народа с его неповторимыми историческими и культурными традициями, обусловленными единством языка, пейзажа, родной земли.

В творчестве Богуслава Когута жанр военно-партизанского романа переплетается с элементами «сельского направления». В стихотворениях и прозаических произведениях Б. Когута, удостоенных премий, заметна его тесная связь с сельской средой.

Анна Каменская — поэтесса, прозаик, автор литературных эссе и переводчица славянских литератур. Премия присуждена ей за сборник стихов «Белая рукопись».

К так называемой «сельской» литературе относится и награжденный роман Веслава Мысливского «Дворец». Это одно из заметных явлений послевоенной литературы, проза, отличающаяся богатым поэтическим воображением, психологической тонкостью и социологической достоверностью, с какой показана общественная и классовая обусловленность жизни героя.

Ирена Довгелевич уже издала два сборника стихов и три романа. Книга «Пейзаж с тополем» — история семьи, осевшей после войны на Западных землях. Наибольшее признание критиков получила ее книга «Мост», отме-

ченная премией. Герои Довгелевич — простые люди.

«НЮРНБЕРГСКИЙ ЭПИЛОГ»

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками, закончившийся 25 лет тому назад, послужил темой для сюжета художественного фильма «Нюрнбергский эпилог», поставленного Ежи Антчаком.

В основу фильма положены стенограммы процесса, а также дневник американского психиатра Джилберта, который во время процесса наблюдал за обвиняемыми. Сцены в тюремных камерах усиливают выразительность фильма, придают ему черты психологического исследования преступления.

В показаниях и поведении Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера и других раскрывается механизм преступного заговора против человечества, организованного гитлеровским третьим рейхом. За этими людьми стоит система фашистской власти со всем аппаратом политической и военной организации.

Роль обозревателя в фильме исполняет публицист Кароль Мальцужинский, бывший польский корреспондент, аккредитованный на процессе в Нюрнберге. Благодаря его присутствию и самой концепции фильма, основанной на том, чтобы строго придерживаться исторической истины и не вводить вымышленных эпизодов, эта игровая картина, как отмечает польская кинокритика, производит впечатление суровой объективной хроники.

СИРИЯ

ВОСЬМОЙ СЪЕЗД АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В Дамаске состоялся Восьмой съезд арабских писателей. Съезд, проходивший в здании Дамасского университета, был открыт президентом Сирийской Арабской Республики Хафезом Асадом. В работе этого крупнейшего форума арабских литераторов приняли участие представители Генерального секретариата Союза арабских писателей, руководства Лиги арабских стран и Постоянного бюро Ассоциации афро-азиатских писателей, а также делегации писателей Сирии, Ливана, Арабской Республики Египет, Ирака, Кувейта, Ливийской Арабской Республики, Йеменской Арабской Республики, Туниса, Марокко, Бахрейна, Алжира и Национального фронта освобождения Палестины.

На съезде присутствовали гости из Советского Союза, ГДР, Болгарии, Польши, Чехословакии, Италии, Франции, Испании и Югославии.

Главным вопросом, обсуждавшимся на Восьмом съезде арабских писателей, был вопрос о роли литературы в современной антиимпериалистической борьбе арабских народов.

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Журнал «Аль-Адаб» поместил статью, в которой рассказывается о проходившем в Дамаске III фестивале театрального искусства. (Первый фестиваль проходил в Дамаске весной 1969 г.)

В III фестивале театрального искусства приняли участие семь арабских государств: Ирак, Иордания, Ливан, Ливия, Египет, Алжир и Сирия, а также палестинская театральная труппа «Фатх». Кроме драматических коллективов в фестивале участвовали Национальный ансамбль народного искусства из Арабской Республики Египет, Болгарский ансамбль народного искусства и артисты из ГДР. Участники фестиваля показали зрителям 15 пьес, из которых 11 — пьесы арабских авторов.

После каждого спектакля проводилось обсуждение пьес, в котором принимали участие представители театральных коллективов и зрители. Целью таких дискуссий, указывается в статье, было обогащение художественного опыта арабских драматургов различных стран и их сближение во имя создания единого

Анджей Лапицкий и Кароль Мальцужинский в фильме «Нюрнбергский эпилог».

(Журнал «Польское обозрение»)

общенационального арабского театра.

В соответствии с решениями, принятыми на предыдущих фестивалях театрального искусства в Дамаске, пьесы, показанные на III фестивале, давались на арабском литературном языке. Исключение составил лишь Алжирский национальный театр, поставивший пьесу Брехта «Кавказский меловой круг» на алжирском разговорном диалекте.

В заключение фестиваля состоялась теоретическая конференция по проблемам современного арабского театра.

США

ГОЛОСА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

В издательстве «Тёрд пресс» вышла книга «Если они придут утром (голоса Сопротивления)», в которой собраны высказывания политических узников американской «свободы»—Анджелы Дэвис, Рачелл Мэги, так называемых Соледадских братьев и других. Рецензент еженедельника «Сатердей ревью» Эмили Капуя пишет в связи с выходом книги, что в настоящее время в американских тюрьмах содержится огромное число заключенных. При этом большинство из них — бедняки, ставшие жертвами политических преследований за выступления против «американского образа жизни», за гражданские права.

Основную часть книги составляют высказывания А. Дэвис. Находясь в тюрьме, она продолжает выступать против репрессий. «Нанесен огромный ущерб,— пишет оиа.—Убито множество людей, неизвестно, сколько их ранено. Сейчас, как мне кажется, многие американцы должны осознать, что такие опасные, чреватые взрывами народного гнева акты репрессий не являются чем-то незначительным в обществе, которое в других отношениях на первый взгляд не испытывает серьезных затруднений... Ничто не возникает из пустоты — все выкристаллизовывается и обуславливается глубокими и всеобъемлющими социальными неустройствами».

Суть высказываний А. Дэвис, по мнению рецензента, сводится к тому, что существует безусловная связь между поведением американских войск в Сонгми, национальных гвардейцев в Кентском университете, полиции в Аттике — и восстаниями в тюрьмах. Это, по словам Э. Капуи, ответ на официально санкционированную жестокость, конечный продукт социальной несправедливости.

Выражая свои симпатии А. Дэвис, рецензент пишет, что в ее деле не может быть и речи о полноправной защите в соответствии с законом.

ИНСЦЕНИРОВАН «МОБИ ДИК»

Известный американский актер Джек Арансон осуществил постановку по роману Мелвилла «Моби Дик». Из этого большого романа Арансон взял несколько основных линий: темы— моря, трагического, обреченного вызова, бросаемого человеком природе и величия человека в единоборстве с ней, магическую силу белого кита и страстное, безнадежное желание героя романа загарпунить его. Спектакль идет полтора часа, Арансон играет 12 персонажей, изображая их в 16 сценах, он держит зал в неослабевающем напряжении.

По мнению рецензента американского еженедельника «Тайм», эта необычная постановка, которая идет, кстати, под девизом «Они говорят, что это невозможно», могла быть осуществленной потому, что Мелвилл — прирожденный рассказчик, вся его знаменитая книга монологична, а также потому, что писатель ис-

Джек Арансон на сцене.

(Журнал «Тайм»)

пытал на себе огромное влияние Шекспира и в его романе много готовых с драматургической точки зрения сцен.

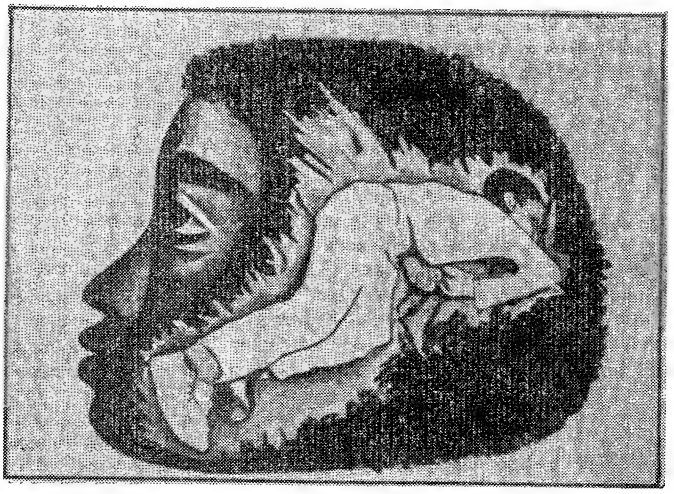
ВЫСТАВКА ЭЛИЗАБЕТ КЭТЛЭТТ

С большим интересом была встречена выставка работ талантливой негритянской художницы Элизабет Кэтлэтт в Гарлемском музее-студии.

Основная тема ее творчества — борьба за социальное и политическое равноправие темнокожих американцев. На выставке представлены графика и скульптура по дереву, бронзе и камню.

Хотя Элизабет Кэтлэтт родилась в Соединенных Штатах, однако у себя на родине она не нашла признания и вынуждена была уехать в Мексику. На открытии выставки в Гарлемском художественном музее Элизабет Кэтлэтт сказала: «Я по-прежнему считаю себя представительницей эксплуатируемого в США национального меньшинства. В своем творчестве я стараюсь воплотить идеи борьбы за счастье, которую ведет мой народ».

Одна из центральных фигур экспозиции — женщина



Композиция Элизабет Кэтлэтт «Муки материнства».

(Газета «Дейли уорлд»)

в кандалах, символизирующая жертву американской реакции. Графика художницы представлена интересной композицией «Муки материнства».

СУДЬБА ТОММИ ФЛАУЕРСА

Крошечный театр «Ист-сайд плейхауз», расположенный на 74-й улице Нью-Йорка, относится к числу так называемых театров «офф Бродвей», то есть находящихся вне Бродвея. В нынешнем сезоне он показывает спектакль «Куда ушел Томми Флауерс?», который привлек внимание публики и критиков.

Томми Флауерс — представитель современной американской молодежи. Он прибыл в Нью-Йорк из провинции с верой в устои американской свободы и справедливости. У него было более чем скромное желание — получить какую-либо работу, как-то устроиться в жизни.

При довольно необычных обстоятельствах он встречает девушку-студентку, занимающуюся по классу виолончели, которая прилагает отчаянные усилия к тому, чтобы закончить учебу. Любовь Томми Флауерса и Недды Лемон (так зовут студентку) делает их богаче духовно, но никак не способствует улучшению их материального положения. Молодым людям нечем даже заплатить за скромный обед, которым они хотели отметить свою помолвку...

Разоблачительный пафос спектакля еще более усиливается эпизодами, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к действию постановки.

...Луч прожектора выхватывает из темноты фигуру — Мэрилин Монро, больную совесть Америки. У Мэрилин берут интервью — с «того света». Перед зрителем вновь оживает Мэрилин — капризная и серьезная, кокетливая и трагичная, которую Америка настолько опустошила духовно, что она не могла больше жить.

«Мэрилин, как вы там себя чувствуете?» — спрашивает интервьюер.

«О, теперь мне хорошо...» — звучит голос, похожий на рыдание.

На сцене появляется пожилая дама, первая леди Америки, которая должна открыть приют для калек. Ее неумение связать двух слов и высказываемые невпопад замечания не оставляют сомнения — перед вами Лейдиберд Джонсон, недавно выпустившая дневник о своей жизни в Белом доме. Основное впечатление от сцены с мадам Джонсон — несоответствие между красивыми словами и обещаниями, на которые щедры американские лидеры, и повседневной, безнадежной действительностью.

В финальной сцене Томми Флауерс стоит один на ночной улице Нью-Йорка. Как и в начале, у него нет пристанища, Недда ушла от него, так как больше не верит в его оптимизм. К Томми подходит полицейский. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает он Томми. «Потерялась моя собака»,— отвечает парень. «Проваливай отсюда»,— говорит полицейский и уходит. Затем он встречает Томми снова — и тут жестоко избивает его. «Ах, так,— сквозь слезы говорит потрясенный Томми,— ах, так!» Он достает из сумки динамитную шашку, которую таскал «на всякий случай». На сцене затемнение, слышно лишь, как тикают часы, их заглушают шаги полицейского — взрыв!..

По мнению рецензентов, спектакль о Томми Флауерсе тонко вскрывает причины зарождения протеста американской молодежи против внешней и внутренней политики властей.

Пьеса создана Терренсом Макнэлли, спектакль поставлен Ричардом Скангой и Аделой Хольцер. В роли Томми Флауерса занят Роберт Драйвес, Недды Лемон — Сэлли Киркланд.

ФРАНЦИЯ

ЖАН ЭФФЕЛЬ — БРЕТОНСКИЙ БАРД

Жан Эффель, создатель замечательных рисунков и остроумного текста четырех томов «Сотворения мира», снова выступил не только как художник, но и как поэт. В издательстве Галлимара вышла его новая книга, героическая поэма «Жаба

из гранита, пожирающая водоросли» с иллюстрациями самого художника.

Жан Эффель посвятил поэму своей родине — Бретани. Сюжет поэмы — злоключения бретонского приходского священника, пытающегося изгнать из своих родных мест нахлынувших туда туристов и курортников. Перипетии этой эпопеи облачены в образы бретонских легенд о святых, истово противостоящих козням дьявола, являющегося в разных обличиях. Колдуньи, гномы, вампиры, людоеды и прочие чудовища, населяющие мир бретонских сказок и легенд, воссозданы художником с великой любовью и неистощимым юмором. Изображен и «сатанинский собор», происходящий в арморикапском лесу. «Монд» называет Жана Эффеля бретонским бардом, а его поэму — «удивительным лирико-фантастическим произведением».

ШВЕЦИЯ

РАБОЧАЯ ТЕМА НА СЦЕНЕ

Новая пьеса шведского Норботтенского театра «Продолжение Норботтена» вызвала в Швеции настоящую бурю восторга и ...негодования. Восторг — у зрителей-рабочих и негодование — у предпринимателей, норботтенских капиталистов, которые снова, как и год назад, стали объектом беспощадной сценической критики.

Осенью 1970 года театр поставил спектакль «Пьеса о Норботтене» — злую сатиру на хозяев Норботтенского металлургического акционерного общества. Тогда пресса, монополисты подвергли постановщиков длительной и злобной травле, с пеной у рта требуя запрещения «отвратительного фарса». Оказав давление на администрацию лена, предприниматели добились «ограниченного показа» пьесы (театру было запрещено вывозить спектакль за пределы губернии). Теперь, когда появилось «Продолжение Норботтена», реакция избрала несколько иную тактику борьбы с новой «крамольной пьесой». Местные газеты, служащие интересам правящих кругов, называют постановщиков «осквернителями», а новую пьесу — грубым и бесцеремонным зрелищем, оскорбляющим тех, кто не жалеет сил для лена и служит интересам народа. Однако никакие уловки реакции не в силах скрыть ту обличительную правду, которая звучит со сцены Норботтенского театра. Так же как и предыдущая пьеса, спектакль построен на фактическом материале. Развивая начатую ранее тему о насильственном переселении рабочих Норботтена, пьеса разоблачает лживость и лицемерие предпринимателей, заставляет их «корчиться, как змей в муравейнике», по образному выражению рецензента газеты «Норшенсфламман».

Постановщики спектакля беспощадно высмеивают напыщенную болтовню важных муниципальных чиновников и профсоюзных бюрократов о процветании и благоденствии. «Если они говорят, что наше будущее надежно, значит, они уже вынесли нам приговор, если они сулят прекрасную работу, значит, уже подписан приказ о нашем увольнении»,— говорит один из персонажей пьесы. Прибегая к обману, власти Норботтена неуклонно проводят политику переселения сотен тысяч норботтенцев с севера на юг. При этом «народные радетели» руководствуются отнюдь не интересами масс, а собственной выгодой. Все, что н е в ы г о д н о, подлежит уничтожению. Можно даже сжечь не приносящую прибыли лесопилку, пригласив для этого... пожарную команду. «Разве пожарные не должны гасить пожары?» — вос-

Рисунок Жана Эффеля из новой книги.
(Газета «Юманите»)

клицает рабочий на сцене. «Только не в нашей губернии»,— отвечают ему. «Мы должны надеяться только на самих себя,— поет рабочий хор.— Нельзя верить лживой трескотне хозяев. Необходимо объединиться и начать борьбу за свои права».

Новый спектакль Норботтенского театра встречается рабочей аудиторией с неизменным энтузиазмом, зал всегда переполнен.

ЮНЕСКО

УТВЕРЖДЕН УСТАВ КНИГИ

По сообщению информационного бюллетеня «Новости ЮНЕСКО», на состоявшемся в Брюсселе совещании профессиональных международных организаций — Международной федерации ассоциаций библиотекарей, Международного союза ассоциаций книготорговцев, Международного союза авторов и композиторов, Международной федерации по документации, Международной федерации ПЕН-клубов, Международной федерации книгоиздателей — в связи с проведением в 1972 году Международного года книги был утвержден Устав книги. В нем определяются основные принципы книжного дела в национальном и международном масштабах.

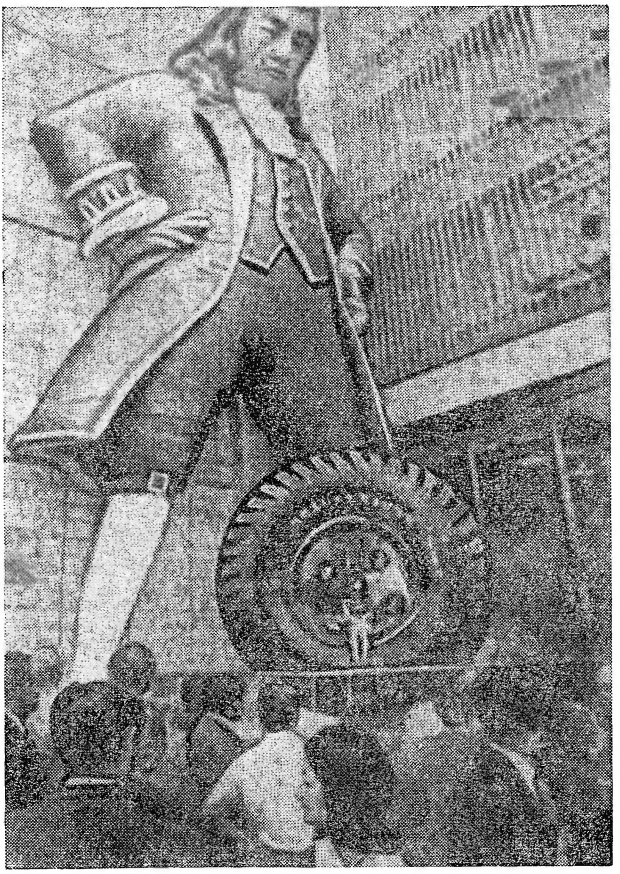
Этот первый международный Устав книги подчеркивает важную роль печатного слова в области образования, а также показывает, как книги могут содействовать международному взаимопониманию и мирному сотрудничеству. Документ отражает различные аспекты существенного вклада, вносимого книгоиздателями, библиотекарями и книгопродавцами в дело социально - экономического прогресса и развития человеческой личности.

Участники брюссельского совещания отметили успешную работу по подготовке Международного года книги и постановили включить предусматриваемые на 1972 год совещания в рамки общей деятельности. Как известно, в программу Международного года книги под лозунгом «Книга для всех» входят четыре основные задачи: поощрение деятельности писателей и переводчиков; выпуск и распространение книг, включая развитие библиотек; поощрение навыков и любви к чтению; книга на службе образования, международного взаимопонимания и мирного сотрудничества.

ЯПОНИЯ

Статуя знаменитого героя Свифта—Гулливера украшает торговый центр в Токио. Свифтовский путешественник символизирует по замыслу работников японской рекламы прочность и надежность новых шин для мощного грузовика. Так благодаря рекламе герой английской литературы поселился сегодня в японской столице. Газета «Интернэшнл геральд трибюн» помещает этот снимок под названием «Шина Свифта».

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)



Авторы этого номера

ЯНОШ САС — SZASZ JANOS (род. в 1927 г.).

Румынский поэт, прозаик, публицист и переводчик, пишущий на венгерском языке. Окончил Клужский университет. В годы 1948—1955 работал в журнале «Утунк», затем в газете «Элёре». В настоящее время — секретарь Союза румынских писателей.

Янош Сас — автор более пятнадцати книг, в том числе сборников стихов «От рассвета до заката» («Hajnaltól alkonyatig», 1947), «Воспеваю рядового солдата» («A sorkatona éneke», 1954), «Нет у меня секретов» («Nices titkom», 1956), «Книга любви» («Szerelmes könyv», 1963), романов «Ночь в Москве» («Egy éjszaka, Moszkvába», 1959), «Первые и последние» («Elsök és utolsók», 1962), «Завтра пойдет снег» («Holnap havazni bog», 1964), книги путевых заметок «Любите голубей» («Szeressétek a galambokat», 1958) и др.

Ему принадлежат переводы стихотворений английских, американских, французских, немецких и румынских поэтов.

Мы знакомим советских читателей с творчеством Яноша Саса, публикуя повесть «Ответ» («Válasz», 1964).

■

ФРАНСУАЗА САГАН — FRANÇOISE SAGAN (род. в 1935 г.).

Французская писательница. Окончила католический лицей в Париже. Первый свой роман «Здравствуй, грусть» («Bonjour, tristesse!», 1954) Ф. Саган написала в восемнадцать лет во время летних каникул, он сразу был издан и имел шумный успех. В последующие годы из-под пера молодой писательницы вышли романы «Подобие улыбки» («Un certain sourire», 1956), «Через месяц, через год» («Dans un mois, dans un an», 1957), «Любите ли вы Брамса?» («Aimez-vous Brahms?», 1959), «Чудесные облака» («Les merveilleux nuages», 1961), «Сигнал капитуляции» («La Chamade», 1965).

Несмотря на однообразие и узость тематики, произведения Ф. Саган пользуются большой популярностью. Достоверность в обрисовке нравов и настроений современной французской буржуазной молодежи, показ психологии современного человека, его опустошенности и одиночества способствуют успеху ее романов у читателей многих стран.

Ф. Саган написала также пьесы: «Замок в Швеции» («Chateau en Suède», 1960), «Скрипки порой...» («Les violons, parfois», 1961), «Фиолетовое платье Валентины» («La robe mauve de Valentine», 1963) и др., шедшие в театрах Парижа. На советской сцене ставилась ее одноактная пьеса «Заноза» и в периодических изданиях публиковалось несколько рассказов.

В этом номере вниманию читателей предлагается повесть Ф. Саган «Немного солнца в холодной воде» («Un peu de soleil dans l'eau froide», 1969). Редакция предполагает еще вернуться к разговору об этой повести, представляющей собою новую веху в творчестве молодой французской писательницы.

■

СТОЯН КАРОЛЕВ (род. в 1921 г.).

Болгарский критик, литературовед, профессор литературного института болгарской Академии наук. Начал печататься в 1943 году. С. Каролев автор работ: «Иван Вазов: художественный метод и литературные позиции» (1951), «Димитр Благоев. Литературный теоретик и критик» (1951), «Замысел и образ» (1959), «Вопросы художественного мастерства» (1963), «Вопросы современной литературы» (1966) и др. В нашем журнале

(№ 1, 1969) опубликована статья С. Королева «О стиле современной болгарской прозы».

Статья «Просторы реализма» получена редакцией в рукописи.

ГЕОРГИЙ ПЕНЧЕВ (род. в 1933 г.).

Болгарский литературный критик, журналист. Окончил филологический факультет Софийского университета. В настоящее время аспирант кафедры теории литературы и искусства Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Статья «Эпопея мужества и героизма» получена в рукописи.

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — TATIANA NICOLESCU (род. в 1923 г.).

Румынский литературный критик. Большинство работ Т. Николеску посвящены русской и советской литературе, в том числе вышедшая в 1963 году книга «Толстой и румынская литература» («Tolstoi şi literatura romînă», 1963) и монография об И. А. Бунине (1971).

Статья «Смерть Орфея» получена в рукописи.

ЗЛАТО БОЯДЖИЕВ (род. в 1903 г.).

Болгарский живописец, Герой социалистического труда, лауреат Димитровской премии. З. Бояджиеву присвоено звание Народного художника Болгарии. Окончил Академию художеств в Софии в 1932 г. Позже продолжил образование в Италии. Живет и работает в Пловдиве.

Многоплановое, многожанровое творчество Бояджиева национально не только по темам, которые разрабатывает художник, но и по характеру их воплощения. Его кисти принадлежат произведения на темы сельского быта, пейзажи, портреты, натюрморты. Картины З. Бояджиева находятся в национальных художественных галереях Болгарии и в зарубежных музеях.

В этом номере представлены репродукции его работ разных лет.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

А 02630. Сдано в набор 6/I 1972 г. Подписано к печати 8/II 1972 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2). Уч.-изд. л. 29,8. Зак. 4423
Журнал выходит один раз в месяц.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394